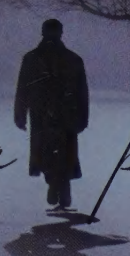


Книга  размышление

об увиденном и услышанном,
грустном, нелепом,
смешном, анекдотичном...

ДАНИИЛ ГРАНИН

Причуды

моей памяти



Книга-размышление



Книга-размышление

ДАНИИЛ ГРАНИН

ПРИЧУДЫ МОЕЙ ПАМЯТИ



Москва — Санкт-Петербург
ЦЕНТРОЛИГРАФ
Мим-Дельта

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Г77

Охраняется законодательством РФ
о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Художественное оформление
И.А. Озерова

Иллюстрации В. Мишина и А. Мишиной-Васьковой

Гранин Д.А.
Г77 Причуды моей памяти. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2010. — 441, [7] с.

ISBN 978-5-9524-4685-4

Новую книгу Даниила Гранина нельзя отнести к какому-либо литературному жанру, в ней он отступил от своей привычной стилистики. Книга-размышление написана в форме кратких заметок, охватывающих промежутки времени от конца 30-х до наших дней.

В этих изящных новеллах автору удалось передать гнетущую атмосферу послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. Беспощадны его мастерские «штрихи», рисующие современную действительность. Важные серьезные вещи перемежаются заметками из записных книжек об увиденном и услышанном — нелепом, смешном, анекдотичном...

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 978-5-9524-4685-4

© Гранин Д.А., 2009
© ООО «МиМ-Дельта», 2009
© Художественное оформление,
ЗАО «Центрполиграф», 2009

НЕПРИВЫЧНЫЙ Д. А. ГРАНИН

Представлять автора и предварять комментариями текст его произведения традиционно принято при литературных дебатах. В данном случае нужды в этом нет — уважаемое имя Д. А. Гранина давно и хорошо известно читающей публике.

Тем не менее есть повод нарушить традицию: предлагаемая вашему вниманию книга по структуре и стилистике разительно отличается от привычной для читателей классической повествовательной манеры писателя.

К какому жанру можно отнести этот объемистый и пестрый конгломерат произведений малых форм?

Мемуары? Нет. Звучит слишком пафосно применительно к этой странной книге. Хотя по сути почти верно. Ведь автор, и по сей день пребывающий не в последних рядах отечественного социума, пережил все перипетии новейшей истории нашей страны в эпохи от Сталина до Путина. Судьба подарила ему встречи (а с кем-то и дружбу) со многими незаурядными людьми. Ему есть что вспомнить, и он вспоминает...

Привычный стандартный ярлык «Из записных книжек» тоже абсолютно неприемлем. Хотя рабочие заготовки (лирические пейзажные зарисовки, подсмотренные житейские ситуации, слышанные благоглупости, лингвистические нелепости «великого и могучего» и т. п. и т. д., все то, что хранится у сочинителей в «закромах» для грядущего использования) вкраплены весьма обильно. Контрастно сочетая «высокое» с «низким», автор перемежает ими основной текст (воспоминания, размышления, образы друзей), меняя ритм изложения.

Представляя объемистую книгу, неуместно пересказывать ее содержание. Но кое о чем можно коротко упомянуть.

Д. А. Гранин рассказывает о выдающихся современниках: О. Ф. Берггольц, Д. С. Лихачеве, М. К. Аникушине, А. Ф. Иоффе, Н. В. Тимофееве-Ресовском, Д. Д. Шостаковиче, А. Л. Минце, А. П. Александрове, Стивене Хокинге и многих других. Он затрагивает в своих размышлениях сложные философские вопросы мироздания, религиозной веры и неверия, смысла жизни человека, вечные вопросы понимания сущности нравственных категорий — совести, стыда, покаяния.

Конечно же, не только Бытие, но и советский быт представлены в книге, в том числе страшные подробности войны и ленинградской блокады, любопытные детали послевоенной жизни. Попутно повествуется «о руководящей роли компартии», о том, как политическая система деформировала личности творческих людей, понуждая большинство из них к конформизму.

Читая книгу Д. А. Гранина, не только интересно узнавать о том, что по разным поводам думает много переживший и повидавший мудрый человек. Книга побуждает к размышлениям о себе, о собственной жизни и об окружающем мире.

Д. А. Гранин всей своей военной и трудовой жизнью, безусловно, заработал право на позицию наблюдателя. Надеемся, что он еще не раз порадует читателей новыми произведениями.

Издатели

Часть первая





ЛЕТНИЙ САД

Перед разлукой мы все трое встретились позади Домика Петра I за спиной одной мраморной богини с ее древнеримской задницей. Там было наше излюбленное местечко. Там мы назначали свидания своим девицам. Там была тенистая прохлада, солнечные пятна лениво шевелились на молоденькой траве.

Бен попал в зенитную часть, Вадим — в береговую артиллерию. Они хвалились своими пушками, оба имели лейтенантское звание, полученное в университетские годы, красные кубари блестели в петличках новеньких гимнастеров. Командирская форма преобразила их. Особенно хорош был Вадим: лихо сдвинутая фуражка, «фуранька», как называл он, его тонкая талия, перетянутая ремнем со звездной пряжкой; весь начищенный, блестящий. Бен выглядел мешковатым, штатское еще не сошло с него, штатской была его печаль, никак он не мог одолеть горечь нашей предстоящей разлуки.

Я не шел ни в какое сравнение с ними: гимнастерка — б/у, х/б (бывшая в употреблении, хлопчатобумажная), на ногах — стоптанные ботинки, обмотки, и в завершение — синие диагоналевые галифе кавалерийского образца. Так нарядили нас, ополченцев. Спустя много лет я нашел старинную потемневшую фотографию того дня. Замечательный фотохудожник Валера Плотников сумел вытащить нас троих из тьмы забытого последнего нашего свидания, и я увидел себя — в том облачении. Ну и вид, и в таком, оказывается, наряде я отправился на фронт. Не помню, чтобы они смеялись надо мною, скорее, они возмущались тем, что неужели меня, вольноопределяющегося, как назвал Вадим, не могли обмундировать как следует.

Они сердито цитировали призыв, тогда звучавший на всех митингах: «Грудью встать на защиту Ленинграда!» Грудью, — выходит, ничего другого у нас нет? Грудью на автоматы, танки. Идиотское выражение, но, судя по обмоткам, — прежде всего — грудью!

Я сказал, что спасибо и за обмотки, я с трудом добился, чтобы с меня сняли броню и зачислили в ополчение.

То есть рядовым ■ пехоту, спросили они, на кой мне ополчение, это же необученная толпа, пушечное мясо. Война — профессиональное дело, доказывал Бен.

Меня растрогала их участливость. Они оба были для меня избранниками Фортуны. В университете на Вадима возлагал большие надежды сам академик Фок, один из корифеев теоретической физики. Считалось, что Вадим Пушкарев предназначен для великих открытий. А Бен отличался как математик, его опекал Лурье, тоже знаменитость.

Я гордился дружбой с ними, тем, что допущен в их круг, на меня, рядового инженера, никто особых надежд не возлагал, в их компании я всегда выглядел чушкой, они по сравнению со мной аристократы, во мне плебейство неистребимо. Но они меня тоже за что-то любили.

Вадим достал из кармана фляжку, с водкой, отцовскую, пояснил он, времен первой империалистической, мы по очереди приложились, сфотографировались. У Бена была маленькая «Лейка». Попросили какого-то прохожего. Блестящий зрачок объектива уставился на нас, оттуда вдруг дохнуло холодком, на миг приоткрылась мгла, неведомое будущее, что ожидало каждого. Вадим посерьезнел, а Бен обнял нас, уверяя, что мы должны запросто разгромить противника, как только пройдет «фактор внезапности», мы их сокрушим могучим ударом, поскольку:

...от тайги до
британских морей
Красная Армия
всех
сильней!

Мы расстались, уверенные, что ненадолго. Так или иначе мы их раздолбаем. Очень скоро нас постигло разочарование, оно перешло в отчаяние, отчаяние — в злобу, и на немцев, и на

своих начальников, и все же подспудно сохранялась уверенность, упрямая, исступленная.

Мы уходили по главной аллее, древнеримские боги смотрели на нас, для них все уже когда-то было: война, падение империи, чума, разруха.

В ноябре я получил письмо от Бена с Карельского фронта, он командовал зенитной батареей, только в самых последних строках, видимо, никак не решался, было про гибель Вадима, под Ораниенбаумом, подробности неизвестны, передавали через университетских однополчан. «Но я не верю», — закончил Бен. К тому времени я уже привык к смертям, но в эту я не поверил. Всю войну не верил, да и до сих пор не верю.

РАЗВЕДЧИК

В первую разведку повел нас Володя Бескончин. Было это в конце июля 1941 года. Ни он, ни мы никогда в разведку не ходили, надо было выяснить, куда немцы движутся, не заходят ли к нам во фланг. Воевать мы не умели, связи с соседями не установили, кто справа, кто слева, не знали.

Бескончину даже пистолета не дали, предложили ручной пулемет, с этой дурой, значит, в разведку.

Пошли ночью. По шоссе двигалась немецкая колонна. Куда они шли, непонятно. Но когда свернули на проселок, стало ясно, что они в тыл к нам заходят. И тогда Бескончин велел пристроиться к немцам. Отчаянный был, подначил, и мы с ними зашагали в хвосте. Бескончин послал двоих предупредить, что так, мол, и так. Послал к командиру батальона Чернякову, но тот испугался и дал команду отступать. Тем временем Бескончин стал шухер в колонне наводить. Гранаты швыряем. Вперед, и назад, и в бок. Немцы никак не разберутся. Паника началась. Побросали они свои пулеметы, рацию в том числе, и бежать. Мы все — в кучу, подожгли. Вернулись. Чернякова вызвали в особый отдел. Потребовали для показаний Бескончина. Он стал темнить, мол, сообщил комбату, «смотря по обстоятельствам, можешь — поддержи, не можешь — отходи». Чтобы того не расстреляли. К тому шло. Кое-как вытащил его, все же они из одного цеха. Вечером пришел Черняков к Бескончину благодарить. Володя говорит: давай выйдем на воздух. Потом Бескончин вернулся. Объясняет — поговорили.

— Устыдил ты его?

— А как же, морду набил, искровянил всего, так, чтобы за-
каялся.

— Жаль, что мы не видели.

— При вас, — говорит он, — нельзя, все же командир он, не
положено.

Посмеялись. Такие мы были. Потому что не понимали, не
было опыта, шел июль 1941 года, в сентябре бы уже побоялись
такие номера выкидывать.

1941 ГОД

В августе 1939 года Молотов говорил на сессии Верховно-
го Совета: «Вчера еще мы были с Германией врагами, сегодня
мы перестали быть врагами».

«Если у этих господ, Англии и Франции, опять такое не-
удержимое желание воевать, пусть воюют сами, без Советско-
го Союза. Мы посмотрим, что это за вояки».

Вот с каким идейным обеспечением мы отправились на
войну.

Перед этим с Риббентропом наши правители торжествен-
но подписали договор о ненападении. На фотографии в «Прав-
де» советские хитрецы вместе с ним весело улыбаются. Потом
Молотов целовался с Риббентропом.

Молотов вещал, что Германия стремится к миру, а Англия
и Франция за войну, это средневековье.

Заблуждался? Кое-как объяснимо. Мог так думать, да еще
политика заставляла. Позже историки старались оправдать и
его, и других.

Война закончилась. После нее Молотов прожил еще
41 год! Бог ты мой — целую жизнь! Было время объясниться с
Историей, поправить себя, оставить какую-то ясность. Нет, не
захотел. Все, что делал, правильно, честно, мудро, иначе было
нельзя, никаких покаяний, фиг вам!

Немцы все кричали «Ура!» Гитлеру, доносили гестапов-
цам, потом стали доносить штази на тех, кто смотрит западное
ТВ. Теперь они требуют выяснить, кто из новых депутатов был
связан с КГБ.

Немец, молодой, веселый, сказал мне: «Какая у вас плохая
туалетная бумага, как вы живете, я взял кусок показать у нас в
ФРГ, чем вы подтираетесь».

В ГДР было 85 000 штатных сотрудников штази.

Как одинаково распадались режимы ■ Болгарии, ГДР, Чехословакии, и как глупо вели себя при этом правители.

Карл Т. вступил ■ компартию, чтобы сделать карьеру, теперь вышел, чтобы опять продвинуться.

ЛИЦО

Лицо — это единственное место у человека, открытое для показа того, что делается там, в душе. У собаки есть еще хвост, что-то она им выражает — приветливость, настороженность, а у человека только лицо. Уши у него не поднимаются, шерсть не встает. Есть шея, плечи, они мало что дают, а вот лицо — это сцена, где свои безмолвные роли играют много актеров. Это театр мимов, где играют чувства, отражаются мысли. Появляются знаки притворства и искренних страстей. Труднее всего приходится глазам, через них можно заглянуть вглубь, им трудно скрыть свой блеск, гнев, еще труднее — горе, когда, хочешь не хочешь, наворачиваются слезы.

Я все это изучал по ее прелестному лицу, безупречно красивому, оно показывало открытость, ни тени притворства, но именно показывало, это была искусная игра, пожалуй, естественная, рожденная женским инстинктом, никто их не обучает этому. Голубые глаза темнели, и тогда проглядывалась мольба, смешанная со злостью, что бурлила там, внутри. Но наверху на лице шла игра оболения, призыв вспомнить все хорошее, что было: поцелуи, шепот, близость, вскрики страсти.

Я смотрел спектакль; то, что творилось на сцене-лице, не имело ко мне отношения. Губы играли отлично, и морщинки вокруг глаз им помогали. Жаль, что я не видел своего лица, можно было сравнить, что за ансамбль получался.

Глаза ее загорелись, как будто там повысили напряжение...



Как хороши поначалу были слова Ольги Бергтольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Как они согревали всех нас: и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства.

Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все что было? Одно за другим приходят письма: «Я, инвалид I группы Красавина Тамара, наша мама всю жизнь трудилась дворником, вечерами в прачечной стирала людям... Мы считаемся блокадниками, и что? У нас есть бедные и богатые. Бедные живут на 2000 рублей, а богатые едут в Италию и Париж. И им все мало».

Ольга Федоровна верила, что слова ее, высеченные на камне одного из главных памятников Великой Отечественной, не устареют, они были как формула, как закон.

Греческий историк Фукидид писал свой труд о войне между пелопоннесцами и афинянами в «уверенности, что война эта великая и самая достопримечательная из всех, какие были».

Это было 24 века назад!

Время от времени комбат посылал меня в подвалы Пулковской обсерватории. Там валялись остатки библиотеки: атласы звездного неба, созвездия, таблицы. Комбату же нужно было что-то для чтения. Я откапывал номера старой «Нивы», попадался журнал «Аполлон» (его бумага тоже не шла на самокрутки).

В блокаду мы на фронте стреляли ворон. Охотились за ними больше, чем за немцами. Ездили еще на «пяточок» охотиться, там можно было подхарчиться за счет убитых, которыми питались вороны.

Получил боец посылку, понес, заблудился, попал к немцам, но не растерялся, сказал: «Ведите к офицеру — мой командир посылает вам на Новый год». Отпустили.

Случилось это на Ленинградском фронте. Когда сценаристы использовали для фильма — получилась выдумка.

Как же так случилось, что я стал седым?

А и сам не помню — был ли молодым.

Воевал ли я? Может, то был другой, а может, меня убили, а остался кто-то другой?

9 Мая 1945 года Эренбург ночью написал стихи «Победа». Кончаются они так:

Я ждал ее, как можно ждать любя,
И час настал, закончилась война.
Я шел домой. Навстречу шла она,
И мы друг друга не узнали.

В те же дни Абакумов писал Сталину донос на Эренбурга.

То и дело открываются тайны прошлого: обстоятельства убийства Кирова, смерть Сталина, расстрел Берии, сведения про Жукова, про Хрущева... Раскрываются всё новые и новые тайны, публикуются легенды, оглашаются подозрения, слухи о нераскрытых преступлениях, документах...

БЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ

Записывая рассказы блокадников, мы с Адамовичем чувствовали, что рассказчики многое не в состоянии воскресить и вспоминают не подлинное прошлое, а то, каким оно стало в настоящем. Это «нынешнее прошлое» состоит из увиденного в кино, ярких кадров кинохроники, книг, телевидения. Личное прошлое бледнеет, с годами идет присвоение «коллективного» — там обязательные покойники на саночках, очередь в булочную, «пошел первый трамвай». Нам с Адамовичем надо было как-то вернуть рассказчика к его собственной истории. Это было сложно, нелегко преодолевать эрозию памяти, тем более что казенная история противостояла индивидуальной памяти. Казенная история говорила о героической эпопее, а личная память о том, что уборная не работала, ходить «по-большому» надо было в передней, или на лестнице, или в кастрюлю, ее потом нечем мыть, воды нет...

Мы расспрашивали об этом, о том, что было с детьми, как раздобыли «буржуйку», сколько дней получали хлеб за умершего.

Мой друг так перефразировал римского сенатора Катона: «Карфаген должен быть разрушен, а Ленинград — восстановлен!»

«Я установил, что я бездарен, поэтому нет смысла оставаться порядочным. Талантливый человек, когда согрешит, его будут осуждать, вздыхать. Порядочность его украшает. Меня ничто не украсит, а расходы на порядочность большие, прославить она не может. Нет уж, тем более что подлости у меня получаются».

Я так и не мог понять, издевался Игорь Федорович над собой или хотел меня вызвать на откровенность. Мы выпили еще, и я стал его утешать, вспомнил, какой замечательный капустник он сочинил. Он прослезился, повеселел, похоже, что это ему и надо было.

В начале мая деревья покрылись зелеными мушками. Не покрылись, а задымились, зеленый прозрачный дымок от первых листочков. Тень появилась светлая, сетчатая, пахучая. Я в нее окунулся. Дул ветерок, но ни березки, ни липы на него не отзывались, нечем им было, они еще бесшумны. Солнце делает новорожденные листки прозрачно зелеными, яркими, от этой детской чистоты природы меня охватывает восторг, на душе весело и молодо, как там, где тоже ликует зелень и солнце, хочется, да нет, ничего не хочется, а просто восторг. Стою и улыбаюсь. Иду и улыбаюсь.

Я хожу в эту рощу часто, знаю каждое дерево, молодняк не различаю, а вот с коренными знаком.

Хорошо здесь к концу сентября, тогда в лесу пылает осеннее пламя. С дороги, там над темными кронами сосен и елей словно восход поднимается, собственный свет бушует, это листва, к осени насыщенная солнцем, сама излучает, а тут еще рябина добавляет, и, невидная все лето, осенью вдруг царственно разыграла.

Желто-оранжевый цвет себя показал, ничуть он не хуже зеленого с его разнообразием оттенков, этот даже ярче, от коричневого до багряного, от рыжего до карминового, апельсинового.

Никогда не было так, чтобы ничего не было — это про лес. И про дерево, вот существо, почитаемое мною, оно восхищает своей самоотверженной прелестью. После смерти оно продолжает служить избой, мебелью, стропилами, по-новому красиво, надежно, оно всегда теплое.

Машина едет по лесному проселку, и между черными елями желтые облачка берез. День серый, отчего краски разгора-

ются ярче, такой силы этот осенний цвет, что кажется, от него тень может появиться на земле.

Человек приговорен к смерти. За что приговорен — неизвестно. Когда исполнят приговор — неизвестно. Он убежден, что осудили его несправедливо. Кому пожаловаться, кому подать кассацию — неизвестно. Как только он решает наплевать на все это и жить в свое удовольствие, за ним приходят и уволят, куда — неизвестно.

Теперь уже не разобрать, кто воевал в артиллерии, кто в редакции, кто в банно-прачечном отряде. Все ветераны, все с колодками орденов, все 9 Мая обнимаются и принимают цветы. А есть такие, что выхлопотали себе инвалидные книжки, доказали, что недавно приобретенная подагра или радикулит окопного происхождения.

БАРАХОЛКА

В июне 1946 года вышло постановление Совета Министров СССР о реставрационных мастерских для пушкинских дворцов. Ленинград еще не оправился от блокады. Стояли разбомбленные дома, не хватало электроэнергии, люди возвращались из эвакуации, а селиться было негде. В нашей коммунальной квартире, когда я вернулся из армии в конце 1944 года, жило двенадцать человек, а в 1946-м — уже восемнадцать. Приезжали и приезжали. Коммуналки были переполнены. Надо было восстанавливать жилье. Прежде всего жилье! А тут реставрация дворцов. Да что же это такое? Но если бы тогда не приступили к этому, если бы помедлили, то растащили бы обломки украшений, карнизов, капители, все, что валялось среди дворцовых развалин. Охраны не было. Копали, копошились и местные, и приезжие. Кто себе в дом, кто для поделок.

Постановление вышло кстати. Не знаю, кто автор, кто его протолкнул, то ли ленинградские власти, то ли Косыгин. Перед нами всегда безымянное «правительство». Среди его пассивного равнодушия действуют какие-то люди, одни — корысти ради, другие, те, кто страдал за пушкинские дворцы и неведомыми нам путями добирался на самый верх, просили, доказывали, убеждали, но про них ничего не известно.

А между тем сколько хитрости им приходилось применять. Они и унижались, и заискивали. Они-то и творят историю.

Теперь, рассуждая об этом, вспомнилось мне одно предложение на барахолке — головка амура, золоченая, бронзовая, обломанная у шеи, так, что еще часть крыла осталась у плеча. Прелестная головка. Барахолка помещалась на Обводном канале. Она заслуживала бы отдельного рассказа. Нигде ни до, ни после ни на одном базаре не видал я такого выбора: ни на блошином рынке Парижа, ни на знаменитых базарах Востока, ни в послевоенной Германии, где хватало всякой всячины. Всюду все уже знали, что почем, знали цену своему товару. Здесь же, на Обводном, торговали солдаты, вдовы, демобилизованные офицеры, тем, что нахватили в Европе, а хватали что ни попадя. Везли мешками, чемоданами из Венгрии, Чехии, Польши, конечно, из Германии. Везли и машинами, и товарными вагонами. Портьеры и ковры, посуду и мясорубки, картины, выдранные из рам, зеркала. Обчищали дома, фермы, учреждения. Тащили пишущие машинки (ходил слух, что дома их легко можно переделать на русский и загнать), письменные приборы, каменные чернильницы, радиоприемники, люстры; коммиссионки ломались от шуб, отрезов, обуви, шалей. Барахолка выигрывала тем, что деньги получить можно было сразу. Не надо паспорта, ни процентов продавцам. Тут же выпивали, spryskывая покупку да и продажу тоже.

Барахолка, было у нее еще название «толкучка», толкотня была ощутимая. Приволье карманникам.

Бронзовый амур был хорош, но мне нужен был пиджак, что-то штатское, осточертела гимнастерка. А на пиджаки был спрос больше, чем на амуров. Кроме амура вспоминаю упущенный большой деревянный горельеф, великолепное произведение, как теперь вижу старинную работу XVIII, а то и XVII века. Сцена из Священного Писания с Марией Магдалиной. Тяжелую эту панель подвыпивший мужик в шинели поставил в грязь, на землю и охрипло-безнадежно зазывал покупателей. Увидел мой интерес, вцепился в меня, не отпускал, обещал донести до дому, сбавлял цену. Хороша была вещь, помню ее в подробностях, заостенелую от времен желтизну фигур и темную дубовую раму, так память бережно сохраняет упущенное.

В другой раз я долго топтался, приходил, уходил, возвращался к малахитовому ларцу с шахматами, выточенными из кости. Фигуры ферзя, слонов, ладьи были в виде голов, украшенных коронами, шлемами. Прелесть состояла в своеобразии каждой физиономии, хотя пешки были разные, однако каждое лицо было пешечно-солдатским, туповато-послушным, в каждом был Швейк. А офицерский состав отличался надменностью, живостью... Художнику не все удалось, но ясен был замысел.

Так и не решился купить. Почему, не помню. Может, потому, что слишком шикарны были эти вещи для нашей коммуналки в страшной коммуналке, которая все уплотнялась и уплотнялась.



Они заночевали в большом дачном доме у друзей под Москвой. Никого в доме не было, она и муж. Он заснул, а она ходила по комнатам и думала, как могла бы сложиться ее жизнь с этим мужем в таком доме, а не в тесной их двухкомнатной квартире. Когда развешивали белье, надо, сгибаясь, пробираться в коридоре. Слышно, как она кряхтит в туалете. Никогда она не может уединиться. Если б у нее была бы своя комната, а у него — своя. Она выходила бы одетой, нарядной. Она физически страдала оттого, что должна при нем переодеваться, он всегда слышит ее разговоры с подругами.

Она мечтала, чтобы они спали в разных комнатах, наутро она бы одевалась одна, не спеша, появлялась бы умытая, пахнущая духами, чтобы что-то прежнее, молодое вернулось к ним. Она поймала себя на том, что раздражается на него, он был ни при чем, наверное, и ему доставалось...

Она ходила по комнатам этого дома, примеривая их к своей жизни, иногда вот так же она заходила в магазин померить модное пальто, повертеться перед зеркалом, увидеть там такую, какой она хотела быть.

ТЫЛ

Директора военного времени были хороши, делали невозможное — Зальцман, Новиков, Завенягин...

В июле 1941-го Сталин собрал совещание по выпуску винтовок. Оказалось, нет винтовок, не с чем воевать мобилизованным.

У Устинова спросили, может ли Ижевский завод увеличить выпуск винтовок с 2000 штук до 5000?

Устинов, как всегда, схитрил, трусливо уклонился — здесь мой зам Новиков, он из Ижевска, он скажет.

«Я встал и говорю: нам на это надо 8 месяцев. Берия — тоже как обычно: нет, 3 месяца! Я говорю — это невозможно. Создали комиссию. Она струхнула, написала: три месяца. Я не подписал. Приносят заключение Берии, он смотрит: “Почему нет подписи Новикова?” Вызвали меня, я говорю, потому что это невозможно, 8 месяцев, и то авантюра. Хорошо, говорит Берия, пусть будет 8 месяцев.

И потом он мне помогал. (2000 довели до 5000, потом до 12000 ■ сутки!)

Звонил Сталин, передал трубку Берии, тот говорит — я сказал т. Сталину, что если Новиков говорит, что сделает, то сделает. Таким образом он как бы поручился за меня. Я решил это использовать. Звоню из Ижевска — нет угля! Нужны женщины из Тулы для пулеметных лент, а то у нас не получается. Сразу же помог. Он соображал и действовал оперативно».

Владимир Николаевич Новиков умел «топить» вопросы.

Хрущев потребовал создавать заводы кукурузного масла. Новиков договорился — определяюсь после уборки кукурузы, посмотрим, какой будет урожай, и постепенно указание «замотали».

На войне мы читали стихи Константина Симонова, я ему навсегда благодарен, и Алексею Суркову, и Илье Эренбургу. Не стоит, наверное, стыдиться той ненависти к немцам, какая была в их стихах, очерках, ненависть ко всем немцам без разбора; народ, или солдат, или фашисты — мы ненавидели их всех, которые вторглись в нашу страну. Мы не могли позволить себе разбираться: это просто солдат, а это нацист. Тогда была ненависть не пропагандистская, ненависть своя собственная, за гибнущую Россию. Город за городом они захватывали: взят был Новгород, Кингисепп, Псков — города, в которых прошло мое детство, а между ними были и станции, поселки, куда мы ездили с отцом. Помню, как я вздрогнул, когда услышал по

радио «Лычково», и оно тоже... Ничего не оставалось, никакой моей России, только Ленинград, один Ленинград, и еще Москва, где был я несколько раз, но и вокруг Ленинграда не было уже ни Петергофа, ни Гатчины, ни Павловска.

«Поступай всегда так, будто от тебя зависит судьба России», — говорил отец.

Он был мальчиком, когда немцы в местечке собрали всех евреев, выстроили у обрыва и расстреляли. Жителей заставили закопать. Его, мальчика, ему было уже 10 лет, тоже послали закапывать.

«Соседка Люба хорошо знала немецкий. Ее взяли в гестапо машинисткой. Она подкармливала их — мать, бабушку, детей. Однажды она сказала маме: “Я печатала списки на расстрел, там вы с детьми как семья комиссара”. Бабушка запрятала нас троих в ледник. Мы отсиделись там месяц, пока немцы не стали отступать. Пришли наши. Любу сразу схватили, потому что служила в гестапо. Мама хлопотала, и другие тоже, она спасла не только нас. Не помогло. Ее приговорили к 25 годам лагерей, там она вскоре погибла.

Отца моего за то, что в окружении уничтожил штабные документы, отправили в штрафную роту. Я возненавидел и немцев, и наших, одинаково, все они палачи, звери. И до сих пор не вижу разницы».

ВОЙНА

Отец Олега Басилашвили рассказывал сыну:

— Как шли и атаку? Очень просто, кричали «Мама!», еще было «За Родину! За Сталина!» Но больше было другое: дают стакан водки на пустой желудок — и вперед. Кричали от страха, от безнадежности, потому что за спиной «ограды», те, в хороших полушубках, и валенках, вот мы и кричали: «Мама!»

— А немцы?

— А немцы навстречу нам, они кричат: «Mutter!» Так вот и сходились.

— А что за трофеи были, что брали себе?

— Часы ручные брали. А один татарин сообразил полный чемодан патефонных иголок. У нас они были в дефиците.

Отец его был начальником полевой почты всю войну. В Будапеште шел он по улице, ударил снаряд, стена дома обвалилась, и открылась внутренность: комнаты, картины, буфет, сервизы. Он забрался внутрь посмотреть. Увидел альбом с марками. Надпись владельца на иврите. Зачеркнуто. Поверх надписи нового владельца — эсэсовца. Взял себе. Зачеркнул немца, надписал себя по-русски.

Почтарь! На немецкие марки ставил самодельную печать. На Гитлера — печать — «9 Мая 1945».

И повсюду страшные, вздутые трупы. Это раненные распознались во все стороны. Умирали, уткнув лицо в землю, скрюченные последними муками.

Передо мной предстала картина отступления наших. Немцы своих подобрали, похоронили. Наши уходили в небытие неизвестными, неизвестными навсегда.

От сладкой вони гниющей человечины тошнило, находиться далее не было сил. Жирные блестящие мухи гудели над трупами, кружили птицы. Здесь, на перекрестке дорог, немцы на броневиках настигли отступающую нашу часть, судя по всему, наши стояли насмерть. Были израсходованы все гранаты, диски автоматов, ручных пулеметов были пусты, так что и пожить было нечем.

— Господи, во что мы превратимся... — сказал Меерзон.

Вот что такое отступление.

Я не мог больше там быть, я бежал, зажимая нос, мы все бежали, и думать нельзя было, чтобы их похоронить, хотя бы землей присыпать, хотя бы документы достать, медальон вынуть.

«Медальон», еще он назывался «смертник», это был черной пластмассы патрончик, куда вставлялась бумажка, свернутая трубочкой, с фамилией, именем и отчеством. Несколько сведений, кажется, группа крови. Не помню, был ли домашний адрес. В моем медальоне через год все стерлось, когда мы переплывали Лугу, ползали по болоту. Наверное, сырость проникла. Два раза я менял бумажки. У немцев были металлические жетоны, что-то на них было выбито, цифры, буквы. С них не сотрется. Патрончики наши в танках сгорали вместе с экипажами, ничего не оставалось. Бывало, успеют выскочить, гимнастерку сбросить, но медальон этот говенный тю-тю.

Он умирал в госпитале, умирал на рассвете, не было сил позвать сестру, да и охоты не было, она помешала бы, потому что он ждал, что ему что-то откроется, смысл уходящей от него жизни, то, что было заложено в его душе и ждало этого часа перед тем, как покинуть мир, смысл взрыва, который настиг его, вернее смысл конца, итога, последней черты. Нет, ничего не приходило, болел еще пуще ноготь, вросший в большой палец ноги, так он его и не успел остричь, и эта глупая мелкая боль пробивалась сквозь обмирание слабеющего сердца, как насмешка. Так он и умрет по-глупому. Наверное, все так умирают, недоумевая, не поняв, что же это все было.

Он вдруг поднялся, откуда нахлынули силы, и громовым голосом, разбудив всех, заорал:

— Двадцать миллионов угробили! Завалили фрицев мясом, на хер мы старались геройствовать! Матросовы, Покрышкины... Подышаем здесь. Мусор. Остатки. Если Бог есть, достанется вам, не вывернетесь, суки.

И упал. Что-то еще хрипел, но уже не разобрать.

Сашу Ермолаева хоронили на Красненьком кладбище. После похорон я подошел к председателю Кировского райсовета.

— Вы слышали сегодня, как Ермолаев хорошо воевал. Мы с ним вместе в одной части прошли весь 1941-й и зиму 1942-го. Почему его фамилию не занести на доску памяти участников войны?

— Там же занесены только погибшие на фронте.

— Я знаю. Но разве это правильно? Оттого, что Ермолаев уцелел, награжден за свои подвиги кучей орденов, от этого он не может быть увековечен?

— Таков порядок. Ничего не могу поделать.

Он сочувственно развел руками, он был защищен законом, ему ничего не надо было предпринимать.

— В сущности, он умер от старой раны. Война догнала его. Выжил благодаря своему богатырскому здоровью.

— Я согласен с вами... Хотя, — он нахмурился. — Если заносить всех, кто выжил, никаких досок не хватит. Извините, вы ведь тоже воевали.

— От нашей дивизии осталось сто человек, — сказал я.

— Вот видите, — сказал он. — Впрочем, это не нам с вами решать.

— В том-то и дело, что решают те, кто не воевал.

Дома я достал фотографию Саши Ермолаева с женой Любой, на обороте была дата «1949 год». Он был уже в штатском. Мы тогда не думали ни о каких мраморных досках, наградой было то, что мы уцелели. А вот теперь стало обидно, что нигде — ни на заводе, ни в районе — ничего не останется о нем. Я вспомнил, как он тащил всю дорогу противотанковое ружье, больше пуда, длинную железную однозарядную дуру...

ВЗГЛЯД

Она смотрела на отца с горечью. Он застал ее взгляд врасплох. О чем-то они говорили, о чем-то печальном, жаловался он, что ли, неважно, сам разговор выскочил из памяти, остался этот взгляд, горечь которого удивила. Черные глаза ее, известные ему каждой ресничкой, каждым выражением, которое делает кожа вокруг глаз, они вдруг заблестели, как в детстве, когда она собиралась плакать, губы стали быстро опухать. Он ничего не спросил, чтобы она не расплакалась. Он продолжал разговор, но взгляд этот не выходил у него из головы. Горечь ее взгляда никак не вязалась с разговором, горечь была о чем-то другом.

Поздно вечером он сидел у себя один, уже все спали, отложил книгу и набрался сил раздеться и лечь. Это с детства — неохота расставаться с прошедшим днем, бессмысленное желание продлить его, задержать хоть на несколько минут. Вот тут почему-то вспомнил своего отца, все соединилось, и он понял ее взгляд. Точно так же однажды в бане он увидел сухие ногти его на ногах, обвислые мышцы, шею в морщинах, коричневые пятна на руках и вдруг понял, как постарело отцовское тело, еще недавно отец без усталости плавал в озере, из бани прыгал в снежный сугроб, ходил на лыжах. От этого разрушения стало горько, даже страшно. То же самое было сейчас во взгляде дочери — страх, горечь, жалость.

Она увидела. Сам он не хотел замечать, а вот сейчас через ее взгляд увидел. Что ж тут делать, ничего не сделаешь. Может, и отец заметил тот его взгляд, тоже все понял, только виду не подал, как нынче и он.

Так, может, будет и с дочерью когда-нибудь, это уже за горизонтом его жизни.

Она ничего не сказала, и он подумал, сколько в этом мужества, сколько такого мужества проявляют тысячи людей (и отцы, и дети), всегда это было и будет. Уход печален не потому, что мы расстаемся с этим миром — им невозможно налюбоваться, и не потому, что мы чего-то не завершили, сколько бы мы ни жили, всегда приходится уходить посреди работы.

Он вспомнил, как отец уже стариком все работал, работал, не давая себе поблажек, как росла его доброта, не от бессилия, а от любви к этому миру, который он покидал, и торопился оставить ему больше хорошего.



Всю жизнь мой отец пил чай вприкуску. На сладкий чай — не хватало, а под конец уже по привычке.

РЕЦЕПТЫ ЛИХАЧЕВА

Дмитрий Сергеевич Лихачев жил, работал в полную силу, ежедневно, много, несмотря на плохое здоровье. От Соловков он получил язву желудка, кровотечения.

Почему он сохранил себя полноценным до 90 лет? Сам он объяснял свою физическую стойкость — «резистентностью». Из его школьных друзей никто не сохранился. «Подавленность — этого состояния у меня не было. В нашей школе были революционные традиции, поощрялось составлять собственное мировоззрение. Перечить существующим теориям. Например, я сделал доклад против дарвинизма. Учителю понравилось, хотя он не был со мною согласен».

«Я был карикатурист, рисовал на школьных учителей. Они смеялись вместе со всеми».

«Они поощряли смелость мысли, воспитывали духовную непослушность. Это все помогло мне противостоять дурным влияниям в лагере. Когда меня проваливали в Академию наук, я не придавал этому значения, не обижался и духом не падал. Три раза проваливали!»

Он рассказывал мне:

«В 1937 году меня уволили из издательства с должности корректора. Всякое несчастье шло мне на пользу. Годы корректорской работы были хороши, приходилось много читать.

В войну не взяли, имел белый билет из-за язвы желудка.

Гонения персональные начались в 1972 году, когда я выступил в защиту Екатерининского парка в Пушкине. И до этого дня злились, что я был против порубок в Петергофе, строительства там. Это 1965 год. А тут, в 1972 году, остервенели. Запретили упоминать меня в печати и на телевидении».

Скандал разразился, когда он выступил на телевидении против переименования Петергофа, Твери в Калинин. Тверь сыграла колоссальную роль в русской истории, как же можно отказываться. Сказал, что скандинавы, греки, французы, татары, евреи много значили для России.

В 1977 году его не пустили на съезд славистов.

Членкора дали в 1953-м, в 1958-м провалили в Академии, ■ 1969-м отклонили.

Ему удалось спасти в Новгороде застройку Кремля от высотных зданий, спас земляной вал, затем Невский проспект, портик Руска.

«Разрушение памятников всегда начинается с произвола, которому не нужна гласность».

Он извлек древнерусскую литературу из изоляции, включив ее в структуру европейской культуры.

У него ко всему был свой подход: ученые-естественники критикуют астрологические предсказания за антинаучность. Лихачев — за то, что они лишают человека свободы воли.

Он не создал учения, теории, но он создал образ защитника культуры.

ИЗ СУЖДЕНИЙ Д. С. ЛИХАЧЕВА

«Русская православная церковь не покаялась за то, что сотрудничала с советской властью, нарушала тайну исповеди, имела священников — членов партии».

«Даже ■ случаях тупиковых, когда все глухо, когда вас не слышат, будьте добры высказывать свое мнение. Не отмалчи-

вайтесь, выступайте. Я заставляю себя выступать, чтобы прозвучал хоть один голос».

«Проблема личности и власти — это проблема не только интеллигенции. Это проблема всех порядочных людей, из каких слоев общества они бы ни происходили. Порядочные люди нетерпимы не к власти как таковой, а к несправедливости, исходящей от власти».

Дмитрий Сергеевич вел себя тихо, пока его мнение не имело для общества и для власти особого значения. Он работал, старался быть незаметным и беспокоился о собственной совести, о душе, желая максимально уклониться от любого, даже малейшего, участия в контактах с властью, тем более — от участия в ее неблагоприятных делах. Спорить с властью, действовать публично на пользу общества Лихачев начал, когда получил достаточный общественный статус, как только почувствовал силу, понял, что с ним стали считаться.

Первыми замеченными в обществе его поступками стали его выступления о переименовании улиц и городов, в частности выступление на Ленинградском телевидении. Телевидением у нас тогда руководил Борис Максимович Фирсов, весьма умный и порядочный человек. Выступление Дмитрия Сергеевича было вполне корректным по форме, но по сути — дерзким вызовом власти. Оказалось, что Лихачева за него наказывать было трудно, либо — неудобно. Кара постигла Фирсова. Его уволили, и это стало большой потерей для города. Таким образом проблема «выступать — не выступать» против власти совершенно неожиданно приняла для Дмитрия Сергеевича другое измерение. Выступая в газете или на телевидении, он подвергал риску не только себя, но и тех людей, кто предоставлял ему возможность выражать свои взгляды, обращаясь к обществу, к массовой аудитории.

Второй жертвой власти в связи с лихачевскими выступлениями стал главный редактор «Ленинградской правды» Михаил Степанович Куртынин. Его уволили после статьи Лихачева в защиту парков. Куртынин, так же как и Фирсов, был хорошим редактором, и это событие также стало потерей для города. Понимал ли Лихачев, что в результате его выступлений могут

пострадать другие люди? Может быть, и понимал, скорее всего, не мог не понимать. Но не мог промолчать. Разумеется, в обоих случаях и Фирсов, и Куртынин хорошо осознавали, что идут на риск, но, видимо, ими двигало то же, что и Дмитрием Сергеевичем: совесть, порядочность, любовь к родному городу, гражданское чувство.

Отмалчиваться или выступать, не считаясь с опасными последствиями, — это вопрос непростой не только для Лихачева, это и для меня непростой вопрос. Такой выбор рано или поздно встает перед каждым из нас, и здесь каждый должен принимать свое личное решение.

Как бы то ни было, но Лихачев начал выступать. Что, собственно, произошло для него в результате? Он вышел из убежища. К примеру, проблема Царскосельского парка формально не являлась проблемой Лихачева как специалиста. Он вступал в конфликт с властью не как профессионал, специалист в своей конкретной области науки, а как деятель культуры, общественный деятель — во имя гражданских убеждений. Существенно, что на этом пути у него могли возникнуть не только неприятности личного свойства, но и помехи для научной деятельности. Так и случилось: он стал невыездным. Не выходил бы за рамки литературоведения — ездил бы за рубеж по различным конгрессам и так далее. Его деятельность — редкий пример в академической жизни. Чаще люди выбирают молчание в обмен на расширение профессиональных возможностей. Но если считаться с такими вещами, то нужно закрывать всякую возможность выражения своих гражданских чувств и строить отношения с властью по принципу «Чего изволисте?». Это — вторая проблема, с которой пришлось столкнуться Дмитрию Сергеевичу, и он также решил ее в пользу исполнения своего общественного долга.

Не могу не вспомнить один весьма удивительный пример лихачевской отваги: его выступление вместе с Собчаком на площади у Мариинского дворца против введения чрезвычайного положения и ГКЧП. Тогда Дмитрий Сергеевич проявил настоящее бесстрашие. Выступление Собчака было по-настоящему красивым поступком. Но Анатолий Александрович был политиком. И часть профессии политика — рисковать. Для Дмитрия Сергеевича это не было профессией, но он принял одинаковую с Собчаком долю риска. Между прочим, исход

политической схватки между демократией и прежним режимом был тогда совершенно неизвестен. Многие функционеры слали в Москву телеграммы с выражениями верноподданничества. А Лихачев выступил, причем — безоглядно.

Наверное, в разные эпохи, в разные исторические моменты страна получает разную власть. Когда-то власть более справедлива, когда-то — менее. Когда-то она совершает больше ошибок, когда-то — меньше. Но «эра милосердия» пока остается лишь утопией. А это означает, что перед каждым новым поколением порядочных людей и перед каждым порядочным человеком в отдельности снова и снова будут вставать те же вопросы, примеры решения которых нам дал свою жизнь Дмитрий Сергеевич Лихачев.

Лихачев рассказывал:

«Академику Марру выделили кабинет площадью не меньше 2000 м². Там автомобиль мог ходить. Стол письменный поставили на возвышении. Настоящий тронный зал. Пришел к нему однажды Б. маленького роста, стоит как перед престолом. Марр растрогался, пошел провожать его, в проеме между двумя дверьми — вторую начальство поставило, чтобы не подслушивали, — Марр остановил Б. и сказал тихо: „Меня считают марксистом, а я ничего Маркса не читал, — он засмеялся, — и не собираюсь“».

ГЕНЕТИКИ

В годы работы над «Зубром» автор погрузился в сообщество биологов, своеобразное, не похожее на сообщества физиков, химиков, историков и прочих научных корпораций. Там существуют свои порядки, все так или иначе знакомы, одни лично, другие по работам, конгрессам, симпозиумам, да мало ли. Сообщество биологов же в 60-е — 70-е годы было расколото на два лагеря: лысенковцы и антилысенковцы, те, кто преуспели в годы лысенковщины и кто пострадал и был изгнан, смещен, выслан, арестован, а то и погиб. Были и нейтралы, которые как-то сумели укрыться. Большую же часть биологов трагедия лысенковщины резко размежевала. Генетики, ботаники, зоологи, академики, профессора, агрономы, специалисты по сурепице, картофелю, червякам... Коля Воронцов,

эволюционист, который питал тайную страсть к летучим мышам, все эти специалисты по разным земным козявкам и мастодонтам, они-то и восхищали меня своей образованностью, своей начитанностью, а главное, общением с живой природой. Это не то что физики, жившие в непредставимом мире. А биологи, генетики, эти люди, общались с существами, не менее интересными, чем они сами. Среди биологов было несколько героев недавних битв с Лысенко, были фронтовики, особенно смелые авторы, а среди них, фронтовиков, уж совсем легендарная личность — Иосиф Абрамович Рапопорт. Он — дважды герой, сперва на фронте, а потом после войны в сражениях с Лысенко. При этом он еще отличался как генетик, сделал классические работы по мутагенезу и прочим вещам, в которых я, честно говоря, не разбирался.

На фронте Рапопорт был ранен в голову и потерял левый глаз, лицо его пересекала повязка, закрывая рану. Повязка придавала ему боевой вид, напоминая Нельсона, Моше Даяна или пиратов из книг Стивенсона. При знакомстве он немедленно начал расспрашивать автора о знаменитой тогда встрече писателей с Хрущевым, о разговоре автора с Молотовым, но автор перебил его, потому что о Рапопорте и Молотове ходила куда более значительная легенда.

Еще во времена Сталина, после выступления Рапопорта на сессии ВАСХНИЛ, его исключили из партии. В райкоме его уговаривали отречься от генетики, сослались на то, что сам Молотов поддерживает новую биологию Лысенко. Рапопорт тогда сказал: «Почему вы думаете, что Молотов знает генетику лучше, чем я?» Фраза эта, простейшая для специалиста в масштабах Рапопорта, как оказалось потом, передавалась из уст в уста восторженно, как вызов всем вождям и начальникам. Шел 1948 год. Был убит артист Михоэлс, началась кампания антисемитизма, разоблачали безродных космополитов, прорабатывали Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна. Идеологический зажим происходил повсюду. И эта невинная реплика Рапопорта прозвучала в то время чуть ли не как акт сопротивления всему партийному стилю руководства. Вожди уверенно указывали музыкантам, композиторам, музыкальным гениям России, какая музыка нужна, какая хороша, они поправляли Эйзенштейна, Козинцева, Шостаковича, бесцеремонно наставляли ученых-генетиков и наказывали несоглас-

ных. Сталин уверенно высказывался в самых разных областях науки, будь то история России, языкознание, экономика, не только устно, писал статьи. И его сподвижники не стеснялись, и соответственно вели себя и секретари обкомов, они тоже считали себя специалистами по всем вопросам. Практически их самоуверенность выглядела так: раз я всем и всеми руковожу, значит, я обо всем могу, нет, не могу, а должен, нет, не должен, а обязан иметь суждение. Уверенность переходила в то, что «значит, я способен».

Подобного не позволяли себе даже царствующие особы России. Среди изречений Екатерины Великой были два, которыми она часто пользовалась. Первое: «В обществе всегда находится человек, который умнее меня». Второе: «Меньшинство, обычно, более право, чем большинство». Ни то, ни другое коммунистическим вождям не было свойственно, ни один из них не обладал чувством самоиронии. Реплика Рапопорта тем более нравилась автору, что и на фронте этот человек вел себя так же безоглядно.

Двадцать седьмого июня 1941 года Рапопорт, как и автор, ушел добровольцем в армию, но если автор оставался рядовым, то Рапопорт вскоре стал командиром стрелкового батальона. Пулевое ранение в ноябре 1941-го привело к поражению руки. После госпиталя он вернулся в строй, опять — батальон, затем — начальник штаба полка. И так сражение за сражением его путь лежал через Украину, Молдавию, Венгрию, Дунай, Будапешт, бои за Вену, он уже майор, он начальник оперативного отдела штаба дивизии. В декабре 1944 года, получив тяжелое ранение, он отказался уйти с поля боя. Два ордена Красного Знамени, орден Суворова, Отечественной войны. Он был представлен в конце войны к званию Героя Советского Союза. Не дали. При его еврейском происхождении и при такой очевидной фамилии его награды выглядят тем более значимыми. Можно к перечню наград добавить американский орден и венгерский орден Красной Звезды.

Такая военная биография редкость. Столько в ней удач, великолепных операций, отчаянной отваги. Еще большая редкость, что, придя с войны, с тем же мужеством он продолжал сражаться, когда начался разгром генетики.

После демобилизации у фронтовиков разительно менялось поведение. На гражданке пропадала солдатская уверенность,

недавние храбрецы терялись, автор замечал это и на однополчанах, и на самом себе. Подняться на трибуну, поспорить с начальством, отстоять товарища, выложить то, что думаешь, было труднее, чем подняться в атаку. Хотя не свистели пули, хотя никто не обстреливал трибуну, а вот поди ж ты... Громили фрицев, «тигров» не боялись, казалось, отныне победителей ничто не остановит, тем более явная несправедливость.

На сессии ВАСХНИЛ 1948 года в абсолютно мракобесной обстановке Рапопорт выступил со страстной защитой генетики.

Когда было объявлено, что доклад Лысенко одобрен Центральным Комитетом партии, следовательно, и самим Сталиным, многие выступили с покаянными речами. Когда Рапопорт попросил слово, подумали, что он тоже хочет покаяться. Он поднялся на трибуну и стал разоблачать сторонников Лысенко с их фальсифицированными данными. Из зала кто-то из угодников закричал: «Откуда этот хулиган Рапопорт?» Рапопорт ответил: «Из седьмой воздушно-десантной дивизии». И фронт, и передний край не покидали его, вернее, он не покидал их. Иосиф Рапопорт долгое время служил для автора примером особого мужества, когда человек ведет себя одинаково что на фронте, что после войны. Его нравственная устойчивость по отношению к злу (это выражение его жены) поддерживала тех, кто противостоял лысенковщине. Такие были. Некоторые из них (Кирпичников, Полянский, Тахтаджан, Гершензон, да и сам Рапопорт) спустя сорок лет, в 1990 году, получили звание Героя Социалистического Труда. Для автора Рапопорт стал дважды героем — и военным, и научным. На самом деле их было больше, многих позже автор узнал лично, это Малиновский, Волькенштейн, Александров, Воронцов, Блюдменфельд.

Рапопорт сообщил автору одну интересную деталь: в 1929 году в Ленинграде состоялся Первый Всесоюзный съезд по генетике и селекции. Приехало много иностранцев. Возглавлял съезд Николай Иванович Вавилов. Перед открытием к нему явился представитель от Сталина и сказал, что Сталин просил, чтобы съезд направил ему приветствие. Вавилов отказался, дело в том, что на съезде присутствовало много иностранцев, для которых приветствие генетиков главе государства выглядело глупостью. Сталин, как известно, отличался зло-

памятностью. Возможно, он припомнил Вавилову его отказ, решая его участь.

Интеллигенция издавна мечтала «истину царям с улыбкой говорить», то есть вполне мирно, корректно, в расчете на ответную признательность, на то, что истина подействует, и уж никак не имея в виду, что за это будут ссылать или усекать голову. Державин, например, ■ результате своих административных стараний получил от Екатерины Великой должность кабинет-секретаря и со всем пылом принялся преподносить царице свои соображения о том, что есть правда и справедливость. Очень скоро Екатерина II постаралась избавиться от своего советчика, удалив его в Сенат. Радищева тоже удалила с его откровениями, но подальше. Попытки не прекращались, никак не удавалось внушить этим господам, что правители лучше них знают, в чем состоит правда и справедливость.

Великому наставнику всех советских народов понадобилось истребить несколько миллионов умников, чтобы вывести у остальных эту дурную привычку. Ни говорить, ни писать больше не осмеливались, перешли на шепот, пока совсем не замолчали, только аплодировали все громче, кричали «ура», если что и произносили, то скорее в лагерях, чем на воле. О том, чтобы самому товарищу Сталину высказать что-либо поперек, хотя бы наискосок, лишь в страшном сне могло присниться. Так товарищ Сталин остался без истины и должен был сам ее добывать. От Дмитрия Дмитриевича Шостаковича автор как-то узнал другое, рассказ об удивительном поступке замечательной пианистки Марии Юдиной. Однажды Сталин слушал по радио концерт Моцарта № 23 в исполнении пианистки Юдиной. Концерт и исполнение понравились. Радиокomitee немедленно изготовил для него звукозапись. Получив ее, Сталин приказал послать Юдиной 20 тысяч рублей. Через несколько дней он получил от нее ответ: «Благодарю Вас за помощь. Я буду день и ночь молиться за Вас и просить Бога, чтобы он простил Вам Ваши тяжкие грехи пред народом и страной. Бог милостив, он простит. Деньги я пожертвую на ремонт церкви, в которую я хожу». Шостакович назвал это письмо самоубийственным. И ■ самом деле, был немедленно подготовлен приказ об аресте Юдиной, но что-то удержало Сталина подписать его.

В другой раз автору поведали не менее удивительную историю, связанную с академиком Леоном Абгаровичем Орбели,

известным физиологом. Произошло это примерно тоже в 1948 году, во время сессии ВАСХНИЛ. Кроме Рапопорта там еще выступил профессор Немчинов, не соглашаясь с идеей Лысенко. Все же ощущалось сопротивление. По-видимому, тогда Сталин позвонил Орбели, просил его поддержать Лысенко и стал рассказывать о значении его работ. Орбели слушал-слушал, потом с кавказской прямоотой сказал: «Дорогой мой, поздно учить меня». После этого Орбели был снят с должности начальника Военной медицинской академии. В 1950 году по прямому указанию Сталина была проведена Сессия Академии наук, направленная на защиту павловского учения, прежде всего, от «монопольного положения академика Орбели в деле руководства физиологическими учреждениями». Осуждали Орбели (любимого ученика Павлова) за извращение павловского наследства, делалось все сноровисто, по образцу лысенковской кампании, над академиками Орбели и Бараташвили вволю поглумились.

Сам Иван Петрович Павлов писал правительству в 1934 году после убийства Кирова, когда начались репрессии: «Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовольствием приводят это в исполнение, как и тем, насильно приучаемым участвовать в этом, едва ли можно остаться существами чувствующими и думающими человеком».

Диагноз великого физиолога подтвердила жизнь ближайших сподвижников Сталина: они все теряли человеческое.

Павлов был убежден, что социальный опыт в России обречен на непременную неудачу, и ничего в результате «кроме политической и культурной гибели моей родины не даст». Все это он писал открыто Молотову и другим. «Аресты непрерывные и бессмысленные без всякого основания порождают упадок энергии и интереса к жизни» — это он писал в связи с арестом академиков Прянишникова и Владимирова.

Незадолго до смерти Павлов писал Петру Капице, которому не разрешили вернуться в Англию, насильно оставили в России: «Знаете, Петр Леонидович, ведь я только один здесь говорю что думаю, а вот я умру, Вы должны это делать, ведь это так нужно для нашей родины».

Капица его завещание добросовестно выполнял, писал и писал Сталину.

Ученые «дерзили» не просто личностям, они позволяли себе не принимать основы, идеологию, саму философию марксизма-ленинизма, даже материализм. Не потому что они были такими отчаянными храбрецами, а потому, что они были служителями истины, были рыцарями правды, которой не могли, просто физически не могли не служить.

Марксизм утверждал, что перед беспредельной мощью человеческого разума нет непознаваемого, а тот же Рапопорт показывал, что факты опровергают это: «Мы никогда не получим информацию о галактиках, удаляющихся от нас со скоростью света, мы не можем посягнуть на собственное самосознание, на его природу». То же самое автор слышал от биофизика Блюменфельда, от Тимофеева-Ресовского. Так же спокойно Рапопорт отвергал определение материи, которое дал Ленин и которое в институте мы заучивали наизусть.

Он подмигивал своим единственным глазом: напрасно марксисты так уверены, что только практика подтверждает истинные знания, а как же взаимоотношения пространства и времени по теории относительности, и еще всякие теории насчет темной материи. Ему нравилось выступать еретиком, за это уже не сжигали, не поджаривали. Александр Александрович Любищев, знаменитый биолог, открыто проповедовал идеализм, Тимофеев-Ресовский считал Лысенко фальсификатором. Таких было немного, но они были.

ПАМЯТНИК МИХАИЛА АНИКУШИНА

При въезде в город на Средней Рогатке, или в устье Московского проспекта, стоит известная композиция памяти ленинградской блокады. Ее автор Михаил Константинович Аникушин, Миша Аникушин, великолепный скульптор, автор двух памятников; для меня — лучших памятников советской эпохи: памятника Пушкину на площади Искусств и памятника Чехову, ■ Москве у МХАТа.

Он не то чтобы любил, он обожал этих писателей, над обоими фигурами работал годами, мастерская его была переполнена вариантами, Чехов ■ такой позе, в другой. Питерский памятник Пушкину мне представляется наиболее совершенным из всех памятников, установленных Пушкину в России. Я присутствовал при его открытии, Миша

попросил меня выступить. Я поднялся на дощатую трибуну, произнес что-то, о Пушкине каждому россиянину есть что сказать. Сдернули покрывало, и то, что я увидел, было так хорошо, что я застыл, меня поразила свобода, вдохновенная свобода, это было воплощение свободы, невозможной в нашей стране. Сейчас, наверное, это уже так не воспринимается, но тогда...

Проект монумента Блокаде был тоже хорош. Даже в том эскизе, который мне показал Михаил Константинович. На нем фигуры дистрофиков, измученных голодом, лишениями горожан, бомбежками, обстрелами, все беды войны обрушились на них. За 900 дней они превратились в тени, прозрачные, невесомые. Чем они еще живы?

Куда они идут? Они идут к мальчику, золотой мальчик, воплощение Победы, светит им впереди. Это их вера.

Автор нашел прекрасную метафору, символ блокадной эпопеи, несмотря ни на что, мы верили в Победу.

Дальнейшую историю я знаю со слов Аникушина и архитектора памятника Сергея Сперанского. Начальство в лице секретарей обкома (а как же, они — главные, во всем руководящая роль партии) стало знакомиться с проектом. Горожане есть, а где же бойцы Ленинградского фронта, как же без них, они должны быть, но если солдаты, тогда и матросы Балтийского флота. Если они, то и партизан, хотя бы одного. А летчики? Обязательные фигуры всякий раз добавляются, набралась уже толпа, делегация. Представители всех слоев населения, всех видов оружия. Обязательно, это же не просто блокадники, это монумент всем защитникам Ленинграда.

Протесты авторов ни к чему не приводили, им приводили в пример монумент Сталинграда, где Вучетич создал многофигурную композицию. Чем мы хуже? Сооружение Вучетича одобрено руководством страны. Это что-то означает.

А мальчик, его как понимать? Нашим ориентиром была партия, она вела нас к победе. У нас есть символ на Пискаревском кладбище — мать Родина, при чем тут мальчик.

И пошло-поехало. Мальчика категорически изъяли.

Осталась сборная делегация защитников города, среди них голодные и нормальные, всякие, все же с печатью блокадной жизни, они идут из города навстречу приезжим. Что это должно значить, стало совершенно непонятно.

Душу из памятника вынули. Чего хотят эти люди? Стоит только взглянуть, и памятник вызывает недоумение.

Губительно вмешательство партийных невежд в искусство. За все время советской жизни они никогда ничего не улучшили, только портили, уродовали замыслы художников, режиссеров, писателей.

Вот и этот монумент искалечили. Мой французский гость, художник, не зная предыстории памятника, удивлялся этой толпе истощенных людей, словно уходящих из города — первое, что встречают приезжие в Санкт-Петербург. «Пугающая встреча», — сказал он.

Михаил Аникушин был великим скульптором, Слава Бухаев, талантливый питерский архитектор, рассказывая печальную историю памятника защитникам города, вдруг вспомнил, как Романов, заметив Аникушина на каком-то сборище, сказал: «И ты, лысый, здесь». И как Миша смутился и позже сказал Бухаеву: «Мне бы надо ему ответить: „Я все же старше вас, товарищ Романов“». Не нашелся.

Папы римские, и те куда почтительней обращались со своими художниками, понимали, что есть они и что есть божий дар.

Мастерская Аникушина была заставлена фигурками Чехова, он сделал чуть ли не две сотни вариантов и все не мог остановиться. Это была требовательность к себе большого мастера. Среди вариантов, на мой непросвещенный взгляд, были шедевры, а Миша все искал и искал нечто соразмерное его любви к Чехову.

СОВЕСТЬ

В советские времена низкий нравственный уровень можно было оправдывать страхами, идеологией, репрессиями. В нынешнем человеке мы, очевидно, имеем дело с принципиально другим отношением к стыду и совести. Появились новые требования к ним, новые, куда более заниженные уровни стыда и совести, и они считаются нормальными.

Вот поголовное бесстыдство чиновников, для которых любые законы определяются степенью взяткостойкости.

Вот олигархи, которые захватили народные достояния лесов, недр, земель, жилья и получили миллиарды — за что? Они ничего не изобрели, не открыли ни в науке, ни в

экономике, ни в производстве, ничего не дали обществу, тем не менее стали владельцами огромных состояний, в основном по праву захватчиков, «оккупантов».

Вот депутаты всех уровней добиваются своих мандатов с помощью пустых обещаний, лжи и обмана.

В стране повсеместно воцарились культ денег и воровство.

Телевидение на всех каналах заботится не столько о просвещении, не о воспитании, сколько о рекламе, рейтингах ради своих доходов.

В последние годы своей жизни Дмитрий Сергеевич Лихачев упорно возвращался к проблеме совести. Он с печалью видел, как она перестает быть мерилom нравственности, как Россия становится страной без стыда и совести.

После замечательного русского философа Владимира Соловьева Лихачев, пожалуй, единственный, кто так настойчиво занимался категорией совести.

Соловьев считал, что совесть есть развитие стыда. Должен быть стыд, нет стыда — тогда совесть молчит.

Стыд был первым человеческим чувством, которое отличило человека от животных. Можно считать, что человек — животное «стыдящееся». Господь обнаружил первородный грех Адама и Евы по тому, как они устыдились своей наготы. И изгнал их из рая.

Человек постепенно начинал понимать, что «должно по отношению к людям и к богам», и тогда инстинкт стыда стал превращаться в голос совести, то есть Адам и Ева устыдились совершенного ими, и этот стыд, который заставил их прикрыть себя фиговыми листьями, и был первым голосом совести.

Лихачев сумел развить это положение, дополняя его ролью памяти. Он показывал, как память формирует совесть. Без памяти нет совести, память сохраняет наши грехи, память семейная, культурная, народная питает совесть, требует от нее. Она побуждает совестливость отношения к старшим, к друзьям, родным. Вспоминает, правильно ли мы жили, хорошо ли обращались со своими родными. Позднее наше раскаяние — это работа памяти, которая тревожит совесть. Память, как историческая категория, — когда, побывав в Гамбурге на кладбище русских солдат, жертв Первой мировой войны, я вдруг сообразил, что у нас в России не видел и не знаю ни одного кладбища, где сохранялся бы прах русских солдат, погибших в ту Первую мировую войну.

А что такое действия вандалов на наших кладбищах, или то, что они творят в Летнем саду. Это что? Это свидетельства жизни без памяти.

Лихачев обращал наше внимание на некоторые особенности совести.

«Совесть противостоит давлению извне, она защищает человека от внешних воздействий!» И в самом деле, к человеку порой может достучаться только совесть, внутренний его голос, он куда действенней, чем бесконечные призывы, пропаганды учителей, воспитателей, даже родителей.

«Поступок, совершенный целиком по совести, — это свободный поступок».

Я спрашиваю себя: а зачем человеку придали (навязали) эту самую совесть, ведь никто не мешает отмахнуться от нее, какой от нее прок, если она не приносит никаких выгод, если не дает человеку преимуществ ни для карьеры, ни материальных? Благодаря чему она существует, совесть, которая грызет и мучает, от которой порой не отвяжешься, не отступишься. Откуда она взялась? На самом деле в течение жизни мы убеждаемся, что она исходит из глубины души и не бывает ложной. Она не ошибается. Поступок по совести не обесценивается, не приводит к разочарованию.

Когда я говорю *поступок по совести*, мне приходят на память некоторые удивительные примеры, впечатлившие меня надолго.

28 июля 1958 года умер Михаил Михайлович Зощенко. На «Литераторских мостках» партийное начальство хоронить его не разрешило, видимо, посчитали, что недостойн. Им всегда виднее. И рядом не разрешили. Наконец указали (!) похоронить его в Сестрорецке, где он жил на даче.

Гражданскую панихиду проводили в Доме писателя. Поручили вести ее Александру Прокофьеву, первому секретарю Союза писателей. Обязали вести кратко, не допуская никакой политики, строго придерживаясь регламента, не позволять никаких выпадов, нагнали много милиции и работников Большого дома. Все желающие в Дом попасть не могли, люди заполнили лестницу, ведущую к залу, где стоял гроб, большая

толпа осталась на улице. Гроб поставили в одной из гостиных. Радиофицировать не разрешили. Слово дали Виссариону Саянову, Михаилу Слонимскому, его другу времен «Серапионовых братьев».

Церемония заканчивалась, когда вдруг, растолкав всех, прорвался к гробу Леонид Борисов. Это был уже пожилой писатель, автор известной книги об Александре Грине «Волшебник из Гель-Гью», человек, который никогда не выступал ни на каких собраниях, можно считать, вполне благонамеренный. Наверное, поэтому Александр Прокофьев не стал останавливать его, тем более что панихида проходила благополучно, никто ни слова не говорил о травле Зошенко, о постановлении ЦК, словно никакой трагедии не было в его жизни, была благополучная жизнь автора популярных рассказов.

«Миша, дорогой, — закричал Борисов, — прости нас, дураков, мы тебя не защитили, отдали тебя убийцам, виноваты мы, виноваты!»

Надрывный тонкий голос его поднялся, пронзил всех, покатился вниз, люди передавали друг другу его слова, на улице толпа всколыхнулась.

Александр Прокофьев не посмел нарушить похоронный ритуал перед лежащим покойником. Рыдая, Леонид Борисов отошел.

Я возвращался домой с Алексеем Ивановичем Пантелеевым, он говорил: «Слава Богу, хоть кого-то допекло, нашелся человек, спас нашу честь, а мы-то, мы-то...»

Что это было? Борисов не собирался выступать, но что-то прорвалось, и он уже не мог справиться с собой, это было чувство, не рассуждающее, подсознательное, неспособное выбирать. Это была совесть, совесть взбунтовалась!

Быть бессовестным сегодня для многих: «быть как все», «иначе не прожить», «ничего не поделаешь, таково наше общество».

Можно, конечно, считать, что наше общество унаследовало советскую мораль, когда никто не каялся, участвуя в репрессиях, когда поощряли доносчиков, стукачей.

Но при чем тут совесть? Она относится к личности, она принадлежит душе, единственной, неповторимой, той, что нас судит.

У Чехова есть рассказ «Студент». Маленький, на три странички. Сам Чехов считал его лучшим из всего написанного.

В страстную пятницу студент Духовной академии, голодный, озябший, идет домой, размышляя о том, что кругом всегда была такая же бедность, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. У костра на огороде сидят две бабы. Студент садится к ним отогреться и рассказывает им историю того, как трижды апостол Петр отрекся от Христа, не устоял, и заплакал. Слушая студента, растроганные бабы тоже заплакали. То, что происходило в душе Петра, их тронуло, вдруг оказался близок тот стыд, те муки совести, какие испытывал апостол. Студент пошел дальше, и вдруг радость затрепетала в его душе. Он думал о том, как прошлое «связано с настоящим непрерывною цепью событий: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой».

Совесть — одно из самых таинственных человеческих чувств.

Казалось бы, совесть ■ своих требованиях угрожает своему хозяину. Недаром в Грузии говорят: «Мой враг — моя совесть». Это чувство, у которого нет выбора, оно не бывает ни умным, ни глупым, эти категории не для него. Зачем же оно дается человеку?

Есть люди, которые сумели отделаться от совести, избавиться от нее, отсутствие ее несколько не мешает им жить, они чувствуют себя даже комфортно без нее, ничего не грызет их.

Лихачев считал совесть «таинственным явлением».

Действительно, рациональное объяснение ему подыскать трудно. Чувство это иррационально, в этом его сила и ■ этом беспомощность перед холодными соображениями эгоизма. Я никогда не мог объяснить, зачем оно дано человеку, необходимо ли оно, но человек без совести — это ужасно.

Для меня в этом смысле одно из самых сильных стихотворений Пушкина «Воспоминание», написанное ■ 1828 году. Кончается оно так:

«...Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю».

Нет ничего труднее, чем отказаться от самооправданий. Требования совести, ее суд, ее приговор происходят втайне. Ничто не мешает подсудимому, который сам себя судит, уклониться от приговора. Пушкин отвергает любое снисхождение, не дает себе пощады, даже слезы раскаяния не помогают. Мы не узнаем, за что он казнил себя, но признание это поражает своим мужеством.

На уроках литературы изучают Пушкина, но не учат тому, что совесть для него, для Лермонтова, для Толстого, для Достоевского была реальностью, что у человека есть душа, тоже весьма реальное понятие, надо заботиться о ее здоровье, стараться понять, что происходит с ней.

Работая над «Блокадной книгой», мы с Адамовичем были потрясены блокадным дневником школьника Юры Рябинкина. В нем предстала история мучения совести мальчика в страшных условиях голода. Каждый день он сталкивался с невыносимой проблемой — как донести домой матери и сестре кусок хлеба, полученный в булочной, как удержаться, чтобы не съесть хотя бы довесок. Все чаще голод побеждал, Юра мучился, и клял себя, зарекаясь, чтобы назавтра не повторилось то же самое. Голод его грыз, и совесть грызла. Шла смертельная непримиримая борьба — кто из них сильнее. Голод растет, совесть изнемогает. И так день за днем. Голод понятно, но на чем же держалась совесть, откуда она берет силы, что заставляет ее твердить вновь и вновь: нельзя, остановись!

Единственное, что приходит в голову: она есть божественное начало, которое дано человеку. Она как бы представитель Бога, его судия, его надзор, то, что дается человеку свыше, его дар, что может взрасти, а может и погибнуть.

Она не ошибается.

Для нее нет проблемы выбора.

Она не взвешивает, не рассчитывает, не заботится о выгоде.

Может, только согласие с совестью дает удовлетворение в итоге этой жизни.

Ведь чего-то мы боимся, когда поступаем плохо, кого-то обижаем, не по себе становится, если обманем, сохрем. Словно кто-то узнает. Совесть сидит в нас, словно соглядатай, судит — плохо, брат, поступил.

Мартин Лютер, самый решительный теолог, заявлял, что совесть — глас Божий в сознании человека. Глас этот звучит одинаково для всех, и католиков, и православных. Может, и вправду совесть досталась нам от первородного греха, от Адама?

Совестью обладает только человек, ее нельзя требовать от народа, государства.

В доме престарелых Степан Лаврентьевич, мой старый знакомец по «Ленэнерго», откровенничал. Мы с ним выпили совсем немного, по немощи и возрасту ему хватило, чтобы закуражиться.

— Ты думаешь, стариковская жизнь — пожрать, поспать у телевизора, отосраться... Старость зачем нам дана, зачем? Вот я, к примеру, установил, что злодеи, они были долгожители. Если их не приканчивали. Посмотри, наши вожди последнего выпуска: Ворошилов или, допустим, Молотов, Каганович — это же патриархат, мать его дери. Все старперы, под себя ходили, все кряхтели, упирались, ждали, не повернется ли на прежнее. Я так думаю, что Господь наказывает долгой жизнью. Наказывает! Чтобы человек вспомнить мог свои безобразия.

И дальше пошел тяжелый рассказ Лаврентьича про свой грех перед покойной женой, как она лежала полтора года после инсульта, а он гулял, пил, блудил со всякой швалью, имена упоминал, говорил спокойно, но пальцем помахивал, перечисляя свои грехи, только вот слезы скатывались медленно, невпопад.

— Как поправить, скажи мне, как? Я все думаю, ведь не поправить, что толку молить и каяться. Я готов теперь сидеть при ней день и ночь, да где она? Нет ее. Что даст мое покаяние? Ничего не поправить. Говорят, покаявшийся грешник самое дорогое. Для Господа, может, это годится. Может, он и простит. Да мне от этого не легче. Мне от себя прощения не найти. Так и подохну... А все от того, что задержался. Нет, старость — это есть самый подлинный ад. Я ведь и родителей вспомнил, как я забросил их, только на похороны приезжал. И то, чтобы ба-рахло с братьями делить... Меня надо в клетке возить: вот он, подлец образцовый!

Если забыть, что было со страной, что творили с людьми — значит, утратить совесть. Без памяти совесть мертва, она живет памятью, надоедливой, неотступной, безвыходной.

Совесьть существует: это реальность сознания, это принадлежность души и у верующих, и у неверующих. Совесьть была во все времена.

С вопросом о совести я подступался к самым разным людям — психологам, философам, историкам, писателям...

Их ответы меня не устраивали. Удивлялись тому, что после всех потрясений, когда перед народом открылась ложь прежнего режима, ужасы ГУЛАГа, преступления властей, никто не усовестился. Ни те, кто отправляли на казнь заведомо невиновных, ни доносчики, ни лагерные надзиратели. Их ведь было много, ох как много, кто «исполнял». Старались забыть. И новые власти всячески способствовали скорейшему забвению.

Подобные рассуждения, однако, не проясняли проблем совести. Для меня самыми интересными оказались разговоры с адвокатами, перед людьми этой профессии часто открываются муки совести. Или наоборот — снимается маска с бессовестной души. Меня заинтересовала твердая убежденность одного блестящего адвоката, умницы, человека наблюдательного. Он верил, что совесьть — чувство врожденное. Либо оно есть, либо его нет. Существует как бы ген совести. В одной и той же семье один ребенок порядочный, совестливый, стыдится своих проступков, другому хоть бы что: и соврет, и украдет, и обманет. Соглашаться с ним не хотелось. Если врожденное, то обделенный не виноват, что с него взять. И ■ то же время случаи, приведенные им, были неопровержимы.

«Почему так жестоко пьют у нас?» — спрашивал он меня. Он считал, из-за совести. Заглушить ее, избавиться от проклятых воспоминаний. Грехов накопилось множество. То, что творилось в стране, и то зло, что творили, даром не проходит, оно сказывается и вот таким образом.

Все же мне не хочется считать бессовестность врожденным пороком. Патология, наверное, бывает, но чаще я видел, как цинизм разрушал человеческие души. А еще у самого хорошего человека бывают причины, когда его вынуждают согнуться, промолчать — его дело, его семья, да мало ли что. «Несчастлива страна, — говорил Брехт, — которая должна иметь героев».

Апостол Петр, о котором думал студент в рассказе Чехова, не был героем, но совесьть мучила его, он казнил себя, он

плакал, и эти слезы спустя тысячи лет заставляют плакать и ощущать свою душу.



В апреле всегда есть несколько дней, когда по Финскому заливу можно ходить без рубашки, залив еще подо льдом и тянется до горизонта, лыжни тянутся во все стороны, сахарятся, подтаивают, лучше всего идти по целине. Мы ходили на лыжах, загорая, далеко, доходили до рыбаков, они сидят целый день на деревянных ящиках, ловят корюшку. Когда идешь туда, спина в тени, мерзнет, а груди жарко, постоишь — лыжи липнут, снег все время чуть подтаивает, но нет ничего счастливей этих нескольких солнечных зимне-летних дней.

Когда чествовали знаменитого физика лорда Кельвина, он ответил признанием, что всю его работу за пятьдесят пять лет можно было бы определить одним словом «неудачи», то есть именно они не давали ему покоя.

В далекой-далекой от нас деревне молилась учительница: «Господь! Ты, учивший нас, прости, что я учу, что ношу звание учителя, которое носил ты сам на земле, дай мне единственную любовь — любовь к моей школе, пусть даже чары красоты не смогут похитить мою единственную привязанность.

Дай мне стать матерью больше, чем сами матери, чтобы любить и защищать, как они, то, что не плоть от плоти моей, дай мне превратить одну из моих девочек в мой совершенный стих и оставить в ее душе мою самую проникновенную мелодию в то время, когда мои губы уже не будут петь... Озари мою народную школу тем же сиянием, которое расцвело над хором твоих босых детей».

Эту молитву приносила учительница маленькой деревенской школы в Чили, на берегу Тихого океана, много позже она получила как поэт Нобелевскую премию, поэтому и стала известна ее молитва. Многие другие учителя или учительницы безмолвно молятся теми же словами, они хотят, чтоб их слова проникли в души детей, а это становится все более и более непросто. Конечно, редко к учителю приходит такое уважение, признание, какое пришло к этой учительнице,

которую мы знаем под именем Габриэлы Мистраль. Профессия учителя, наверное, более трудная и сложная, чем профессия врача, врачу помогают лекарства, помогают законы медицины, общие законы для всех организмов, несмотря на их индивидуальность. Для учителя этих законов почти нет, он должен вслепую нащупывать, определять свой путь к душе класса и к душе каждого ученика. Класс, он тоже имеет свою личную неповторимость, свой характер, свою физиономию. Но самое трудное — добраться до школьника, до этого маленького человека, и тем более подростка. Мы все признаем, что профессия учителя трудна и ответственна, но до сих пор учитель в нашей стране наименее почитаемая, может быть, самая невыгодная работа.

«Партийная собственность не наворована, она складывалась десятилетиями за счет взносов», — убеждали нас.

Почему не наворована, именно наворована. К примеру: партийное издательство «Лениздат» всегда бессовестно обкрадывало писателей. Огромные доходы от продажи книг (а гонорар-то крохотный, а бумага — по льготной цене, а работягам в типографии — копейки) шли в партийную кассу. За счет этого (не упоминая другие источники) жили и райкомы, и горкомы, катались на машинах, имели пайки, особые санатории, клиники, пошивочные ателье, все у них было особое. Общим с нами были только вода из водопровода да электричество. А что имел от своих взносов рядовой коммунист? Ничего. Он платил эти подати до конца своих дней, его постоянно проверяли: не утаил ли он какого-то приработка. Нас, писателей, в райкоме контролировал специальный инструктор, он запрашивал все журналы, газеты СССР, театры, киностудии, издательства — посылал им списки писателей, выявлял, кто обманывает партию. Выявит, и начинается проработка в назидание всем остальным.

НА ВЫСТАВКЕ (ДЕКАБРЬ 1956 ГОДА)

В Эрмитаже выставка Пикассо. И мечтать не могли. Залы полны молодежи. Душно, шумно, как на премьере ■ фойе. Наверняка Эрмитаж еще не видел такого разгоряченного зрителя. Выставка уже пятый день, толпа спорщиков не убывает.

Студенты, офицеры, доценты, врачи — публика самая пестрая.

— Пикассо — гений!

— Пикассо — псих!

— Нет, вы скажите, вы можете мне объяснить, что тут нарисовано?

— Искусство нельзя объяснить.

— Но понимать-то надо.

— Каждый вкладывает свое, как в музыке.

— Во всяком случае это интересно.

— Это заставляет думать.

— Это распад искусства.

— Правду писали, что Запад гниет.

— К Пикассо надо привыкнуть, надо подняться от нашего соцреализма.

— Приведите сюда колхозника, разве он что-нибудь поймет.

Спорить конкретно не умеют, кричат, переходят на оскорбления.

— Глупости вы говорите, а еще интеллигент.

— Все ваши Шишкины и Айвазовские — это старье, для пивных.

— Искусство должно быть народным, не для вас, ученых.

— Это художники будущего. Шишкина — в кладовку.

И так до вечера. Но слушать весело, приятно. Вместо книги отзывов ящик, куда опускают записки. Кто-то прикалывает к стене.

«Чувствую себя, как на корабле, качает и бежать некуда».

Под этой запиской ответ:

«Беги на выставку А. Герасимова».

«Разговорились! Я бы вас за такие разговорчики... И. Сталин».

Спустя два дня вызвали нас в горком — «О воспитательной работе с молодежью».

Говорил секретарь парткома Электротехнического института. Возмущался, что на выставку ленинградских художников работы поступают без отбора. Возмущался выставкой Пикассо, студенты читают Библию, роман «Не хлебом единым».

И это человек, который ежедневно среди молодежи... Неудивительно, что партия рухнула. Ничего не понимала, не

слышала, не видела. Если не славят, значит, не те люди. А почему не славят? Почему? Что происходит?

Выступление Хрущева на XX съезде было для меня первым благородным поступком советского руководителя за всю историю СССР. Другого я не знаю. Кто из них совершил что-то мужественное, милосердное, кого-то спас, защитил? Кто? Было ли что подобное?

Большая часть студенческого времени уходила на изучение философии, вернее, ее истории, где один философ опровергал другого, каждый был убедителен, мудр, мыслил неожиданно. Затем математика — тонкие математические приемы. Химические превращения формул. Было множество предметов, которые могли пригодиться, но никогда тому не выпадало случая. Однажды спросил начальника КБ, приходилось ли ему пользоваться «косинусом»? Пожевав губами, начальник, ему было за 50 лет, нарисовал треугольник, почеркал его, вспоминая. «Пожалуй, ни разу», — признался он.

Считалось, что все это нужно для общего развития, но с большим успехом можно было бы разгадывать ребусы, решать шахматные задачи, головоломки.

Маркс был прав — коммунизм действительно оказался призраком. Слава Богу, что он перестал ходить по Европе.

Нет такой цели, которая бы оправдывала любые средства. Во имя морали он стоял на этом, зная, что обычно средства становятся целью.

Всю жизнь мы строили вавилонскую башню. И вот она рухнула, а жизнь-то ушла.

В соседней роте в плен попал немец-парикмахер. Заставили стричь всех, наш старшина выторговал его к нам на сутки.



Вновь и вновь не дает мне покоя история, которую я уже после книги «Зубр» узнал от подруг Елены Александровны.

Узнал, что в 1942 году не кто-то, а профессор Халерфорден, гистолог, приехал к Тимофеевым в Бух из Далема и вел переговоры насчет их сына Фомы. Сын сидел в концлагере. Приезжий предлагал Николаю Владимировичу заняться исследованиями о цыганах, расовыми исследованиями, то есть провести некоторые опыты над ними. Если Николай Владимирович согласится, это может облегчить участь Фомы. Николай Владимирович сутки обдумывал предложение, он не нашел в себе силы сразу отказать, он советовался с Еленой Александровной. Сутки они не спали, ни с кем не виделись, сидели друг перед другом, думали. Но через сутки Николай Владимирович все же отказал. Много лет спустя Елена Александровна рассказала об этом Кузнецовой, рассказала, как они сидели за столом и говорили: что же скажет Фома, если его освободят, и он узнает, какой ценой? Как они будут потом жить с Фомой, как будет Фома жить потом? Фома погиб. Всю жизнь Елена Александровна и он мучили себя за эту гибель, за свое решение, считая себя виноватыми. Их мучило, что они оставили себя как бы чистенькими, но какая же это чистота, если из-за них погиб сын. Это те безвыходные ситуации, которых напрасно избегает литература, а жизнь то и дело упирается в них.

На голых, холодных скалах точных наук никакой нравственности не вырастить. Там можно возводить такие же каменные замки и крепости завоевателей космоса или атомного ядра. Душе это ничего не даст, не прибавится счастья, доброты, не убавится зла. Прибавляются страхи войны и тоска от новых таинственных сил. Культура отчасти измеряется уровнем доброты, а величие государства — уровнем счастья его народа. И то и другое не связано с наукой.

Авторитет ученого складывается не только из его достижений, открытий. Есть и такая вещь, как демократия. Поучительна история, которая произошла у биолога Владимира Яковлевича Александрова.

Объявилась в его лаборатории девица, несогласная с шефом, стала делать по-своему, доказывать, что при таких-то температурах высшие и низшие растения ведут себя одинаково. Ее опыты оспаривали, решили, что она подсиживает шефа. Предлагали шефу ее изгнать и восстановить дружескую обстановку

в лаборатории. Владимир Яковлевич решил иначе, он собрал семинар по обсуждению ее данных. Три дня судили-рядили и убедились, что она права. Она и шеф вместе написали статью, где Владимир Яковлевич признавал свои ошибки.

На ближайшей школе ему один из сотрудников заявил: «В запрошлом году вы нам докладывали совсем другое!»

— Вы мне польстили, — ответил ему Александров. — За два года мы много сделали и могли полностью изменить свои взгляды. Наука, если она подлинная, стареет, и в период подъема — быстро. Не стареет только лженаука.

Известна фраза Николая Ивановича Вавилова: «На костер взойдем, гореть будем, но от своих взглядов не отступимся». И взошел бы, и можно считать, что он взошел, потому что, будучи в тюрьме, под следствием, где его пытали, не писал покажных писем.

Но люди, знавшие Трофима Лысенко, говорили мне, что и он взошел бы на костер, защищая свою науку, свои абсурдные идеи. В утверждении их он был неистов.

ДЕРЕВО

Приехав в Кневицы, я не нашел ни нашего дома, ни домов соседей. Война все снесла, мир все отстроил заново. Было одно дерево, по расположению оно, казалось мне, вроде бы то, что стояло перед нашим домом. Да и относительно железной дороги вроде бы оно, если считать, что пути железнодорожные не переносили. Но уж больно оно разлапистое, раскоряченное. Может, конечно, внутри этой старой липы есть то молодое деревцо, что стояло под нашими окнами, так разве узнаешь. Так и Кневицы. Они внутри меня хранятся, круги детства, как годовые кольца. У дерева оно всегда внутри, его прошлое, оно составляет ствол, новое нарастает вокруг, а того, молодого, никак не увидеть. И мне теперь тоже не увидеть этих милых Кневиц, где прошло детство, не увидеть полустанка, дощатой платформы, чайной...

То была другая страна, у нее были свои герои, свои враги, свои победы и поражения. Той страны больше не будет, история ее не написана, но она окончена. На ее землях появилась

совсем новая страна, с новыми законами, новыми богами, новой географией, адресами, изменили свои названия города, а в городах — улицы. Население стало другим, остатки прежнего народа можно еще найти среди бомжей, на их лицах — печать робости, приниженности, они чужие в этой новой стране. Пенсионеры стоят в очередях перед дверьми собесов, пенсионных фондов, в аптеках за бесплатными лекарствами. Что они позволяют себе — безбоязненно поносят губернатора, министров и президента. Никто теперь на это не обращает внимания.

После смерти художника Кончева выяснилось, что он втайне иллюстрировал Библию, — дивные рисунки, ничего общего с его плакатами. И еще сделал несколько икон.

Мы сами чуть ли не семьдесят лет устанавливали культ терроризма. Героизировали наших русских террористов. Улицы в центре Питера называли в их честь — Каляева, Желябова, Халтурина, Веры Засулич, Софьи Перовской. В школах изучали их «подвиги», как они убивали губернаторов, великих князей, царей. Писали о них книги, я сам договаривался с издательством «Молодая гвардия» написать книгу о Кибальчиче. Еще бы — изобретатель, сделал проект реактивного двигателя для полетов! И динамитную мастерскую для убийства Александра II. Его именем назвали кратер на Луне. (Хорошо, что хотя бы на обратной стороне Луны.) Как он мне нравился! Над тем, какой смысл имеют их покушения, убийства, я не задумывался.

ХРУЩЕВ

Он любил часто собирать писателей и произносить речи. Отбросит заготовки, и начинается словоизвержение. Чего только не наговорит, ведь не остановишь — полный хаос. Но при этом себя не выдает, себя охраняет, ни в чем ни разу не повинился, а уж как, казалось бы, раздухарится, в какие только дебри не залезает, а вот звериный инстинкт опасности держал его крепко.

Из всех его выступлений составить что-то цельное невозможно, мне казалось, что и записать-то не мог, ан нет, нашел в стареньких блокнотах что-то торопливое, бессвязное, думаю,



что ничего другого, годного для печати, не найти, нигде эти его выступления не публиковались.

Попробую из того, что он вываливал на нас, извлечь какие-то смыслы. Чаще всего он возвращался к теме культа, к личности Сталина.

«События, связанные со смертью Сталина, были потрясением. Мы по-детски плакали у гроба Сталина. Что ж, по-вашему, мы были тогда неискренни? А потом вдруг стали плевать на Сталина? Наверное, больше всех пострадали писатели. Затем художники, музыканты. Пострадали те, кто писал, кто был ближе всего к Сталину, к ЦК партии.

Этих людей теперь называют лакировщиками, а они хотели показать успехи партии. Выгоднее всего оказалось тем, кто шипел.

Что мы, руководители, должны открыть огонь по своим друзьям?

Лакировщики — это наши люди! Я не осуждаю тех, кто воспевал Сталина. Мы тоже говорили речи, воспевая Сталина. Кто же сейчас нам ближе всех? Лакировщики! У них нет других путей».

(Психологически он был прав. На кого ему опереться? Если на нас, так ведь завтра мы спросим: а что вы делали в 1937 году? А почему вы молчали?)

«Грибачев прав, сплачивать надо на принципиальной основе.

Берия был источник гибели таких людей, как Вознесенский, Кузнецов. Враги надеются, что ЦК осудил Сталина и события пойдут по другому пути, что интеллигенция не потерпит партийного руководства».

«Мы Сталина осуждали за то, что он стрелял по своим».

«То, что написано с хорошим сердцем о Сталине, не вычеркивается. Я Сталина осуждаю и уважаю, а что же, мы напрасно трудились, не считаясь с силами?

Я хорошо знал Чубаря, Постышева, их гибель — вина Берии».

(Не будучи стенографом, я успевал записывать лишь отдельные фразы Хрущева.)

«Я знал Ежова, это был замечательный пролетарий, а сделали из него преступника».

Тут Шагинян что-то выкрикнула, она часто прерывала Хрущева. И Хрущев обратился к Микояну: «Уйми свою Шагинян!»

«К Сталинским премиям надо относиться с гордостью».

«Он чудил старческим чудачеством».

«У Дудинцева есть сильные места, правдивые о бюрократях. Я критикую его, чтобы устранить недостатки. Дудинцев стал героем врагов Советского Союза».

«Мы не должны давать в обиду Грибачева и Бабаевского».

«„Я никому не верю, я сам себе не верю, я пропащий человек“, — говорил Сталин».

«Больше 100 человек погибли в давке на похоронах Сталина (?)».

«Борьба с зиновьевцами, троцкистами, бухаринцами — правильна. Что, у нас не было врагов?»

«Умер Берут — развалилось польское руководство».

«Троечку писателей посадить — и все вышло бы».

«Борьба должна быть беспощадной. Своими средствами. Хорошо, если бы вы сами вмешались, не бросайте это на плечи ЦК».

«Что значит отказаться от партруководства? Меня партия нигде не жмет».

«Впервые правительство не обсуждало, как подбросить масло к 1 Мая».

Это и есть идеология. Если б мы дали сегодня рабочему столько мяса и молока, сколько имеют в США, то идейные вопросы решались бы легче. Дайте к марксистско-ленинской теории побольше мяса, овощей, масла, то за эту теорию и дурак проголосует».

«Буржуазные корреспонденты хотят унижить советское искусство. (Велел принести скульптуры Эрнста Неизвестного.)

Неужели с этим мы пойдем к коммунизму? Какой дурак пойдет под этим знаменем. Что это за связь с народом?»

«Сталин нарушил свое обещание партии. Партия это осуждает и отдает должное заслугам Сталина». «Он был глубоко больным человеком. Таких дел, как с Якиром, было бы больше, если бы все соглашались со Сталиным. Московское дело готовили (Попов, секретарь Московского ГК)».

«Микоян, — вдруг спросил меня Сталин, — почему он здесь живет?»

«Приглашает приехать. Он скучал. Я остался. Наутро он руки не подал. „Вас кто просил?“

Уехать — врагом буду. Погулял. Возвращаюсь: „Ну как, Микита? Может, рыбу ловить поедем?“ Сумасшедший на троне. „Мне надо в отставку“. Все видели, что это провокация. Спрашивает: „Как пролез в Политбюро Ворошилов?“»

«„Давай Попова уберем из Москвы, чтобы не погиб“ — и такое было».

«Зная болезненную мнительность, разговоры подбрасывали».

«Сталин хотел расправиться с интеллигенцией Украины. Каганович вызвал А. Малышко — видно было, петля затягивалась».

«Берия рвался к власти. Это была угроза».

«Давайте будем снисходительны, не отсекай молодых, а привлекать».

«Дорожите доверием масс, не ищите дешевой популярности, не подлаживайтесь. Одни вас хвалят, другие ругают, выбирайте, что для вас лучше подходит».

«Песни братьев Покрасс хорошие, песни об армии Буденного — тоже... Мое восприятие жизни должно быть нормой для всех. Каждый народ имеет свои традиции...»

Пропускаю набор подобных истин. Упоминал он «заметки Некрасова, фильм Хуциева» — неодобрительно. Думается, все это с подачи Ильичева.

Вытащил на трибуну Андрея Вознесенского, стал кричать на него:

«Получайте паспорт и уезжайте! Я не могу спокойно слушать подхалимов наших врагов!»

Вдруг он ткнул пальцем в зал:

— Кто там в очках уткнулся? — и потребовал на трибуну. Это был молодой художник Голицын.

Обрушился на него.

Сперва я думал, что его раздражала красная рубашка Голицына, но потом понял, что это была наводка Ильичева, и на других тоже он наводил.

В зале царил шабаш, бесновались, вопили, распаляли Хрущева сталинисты типа Ванды Василевской, ее супруга Корнейчука, писателя Кочетова, художника Налбадяна, поэта Василия Смирнова, поэта Мирзо Турсун-Заде. Рвались на трибуну доказать свою преданность ЦК, подкинуть хворосту. Как правило, то были прежде всего писатели, художники, ущемленные своей посредственностью.

Хрущев и Ильичев вызвали на трибуну Андрея Вознесенского, Аксенова, Голицына, те как-то пытались оправдаться, Хрущев не слушал их, грубо прерывал.

Вознесенский попробовал читать стихи о Ленине, показывая свою советскость. Хрущев закричал:

— Вам поможет только скромность, думаете, что вы гении, хотите указать путь человечеству, сразу руку вперед... Вы бегаете Ленина, не понимая его.

На какой-то фразе он опять взорвался:

— Вы все время чувствуете, что вы в коротких панталонах, а вы уже в штанах. Паспорт в зубы и уезжайте!

Зал с радостью аплодировал. Уезжайте — это было как раз то, о чем мечтала вся свора. О, если бы все талантливое, мыслящее уехало, остались бы они и очутились бы в первых рядах!

Голицын: «Отец у меня реабилитирован».

Аксенов — стал говорить о том, что «мы хотим служить родине».

— Какой родине? — закричал Хрущев. — То же говорил Пастернак и Шульгин. Вы чей хлеб едите?

Он, Хрущев, наверно, искренне был уверен, что государство кормит писателей, что писатели, художники существуют за счет народа. На самом же деле шла совершенно бессовестная эксплуатация тех же писателей. Книги Василия Аксенова «Коллеги», «Апельсины из Марокко», его рассказы издавались сотысячными тиражами, одна за другой, а издательства (государственные!) платили гроши, на всех читаемых писателей государство зарабатывало огромные деньги, и сам Хрущев, и все его «соратники» существовали, в частности, за счет писателей, поэтов, так что хлеб ели свой художники, зарабатывали его своим трудом и содержали еще партийных и прочих хлебников.

Кочетов: «Молодые хотят захватить эту трибуну, они стесняются произносить слова „социалистический реализм“».

Василий Смирнов: «Они прорабатывали Кочетова. Мы там в меньшинстве».

И все это с надрывом: мол, «спасите нас, ваших верных солдат».

Хрущев: «Хотите восстановить молодежь против старшего поколения? Не выйдет! Раздуваете, не случайно в Ленинграде поставили „Горе от ума“. Да с таким эпитафием!»

Он имел в виду постановку Г. Товстоногова с эпитафием от Пушкина: «Черт меня дернул родиться в России с душой и талантом».

Всякий раз, когда Хрущев собирал нас, писателей, он возвращался к Сталину. Личность Сталина мучила его, не давала покоя. Не верил, что освободился от многолетней тирании

вождя, от кошмарных страхов, но стоило начать перечеркивать Сталина, как оказывалось, что он порочит и себя, тень падала на его собственную персону, страдало его самоуважение. Кем же он был при Сталине? Шутом? Подпевалой?

Он барахтался в этих силках, не в силах оттуда выбраться.

«Почему при жизни Сталина не были вскрыты нарушения, и можно ли было это сделать тогда? ...Да, руководящие кадры знали об арестах, но они верили Сталину и не допускали мысли о том, что аресты могут быть незаконны».

Лукавит, а то и просто врет, он-то отлично знал о невинности Постышева, Косиора и др.

В другой раз:

«Мы против того, чтобы все чернить, связанное с деятельностью Сталина, — вспомните индустриализацию, коллективизацию».

«Мы стосковались по ленинскому руководству».

«Борьбу с антикоммунизмом должны вести русские, борьбу с сионизмом должны вести евреи».

«Настоящих великодержавных шовинистов и националистов надо исключать из партии».

«Евтушенко осуждаем за то, что сионисты облепили его. Лесть — самый опасный яд. Вы поддались на лесть, Евтушенко, мы вас журим, не ругаем. Дмитрий Шостакович написал, конечно, хорошую музыку (13-я симфония), но можно было бы найти другую тему. С 1917 года у нас евреи в равном положении со всеми».

Врал привычно, как при Сталине, так положено им всем было говорить.

Был объявлен перерыв. Мы вышли на лестницу покурить. Евтушенко, Аксенов, Твардовский, Голицын, Роберт Рождественский. Молчим, подавленные погромом, хамством, злобой. И тут вдруг Александр Трифонович Твардовский без тени улыбки скучающе спрашивает:

— Ну, ребята, что новенького?

С какой-то маниакальной страстью на каждой встрече Хрущев вспоминал темный кремлевский фольклор, что таился с двадцатых годов, рассказы Свердлова о том, как жили они

в сибирской ссылке, как Сталин вместо того, чтобы мыть посуду, давал ее вылизывать собакам, как уваливал от всех работ. Хрущев не мог забыть, как однажды Сталин стал вглядываться в него и вдруг сказал: «А ты — английский шпион!» Конечно, такие минуты ужаса не проходят даром. Ноги подкашиваются. Двадцать лет общения, целая жизнь в раболепстве, унижениях породили жажду мести, хотелось расквитаться. Кому рассказать? А вот писателям, какие бы они ни были, они лучше поймут, запомнят.

Получалась у него чудовищная смесь брани, угроз и в то же время заносчивых оправданий, порой исповедальных. Все это перемежалось привычкой грубо одергивать, перебивать выступающих своими поправками, сентенциями, иногда его вставки превращались в целое выступление. Как ни странно, при всем хамстве, примитивности слушать его было интересно. В нем была горячность человека, получившего наконец возможность выговориться свободно, он отбрасывал приготовленные ему тексты и шпарил, как бог на душу положит.

Ильичев говорит о поисках верных партийных средств изображения, Хрущев прерывает его:

— Не они ищут, а их уже нашли и потащили за собой чуждые нам идеологии. По-вашему, наступила пора безнаказанного своеволия?

И пошел, пошел...

— Если бы их (то есть нас) было бы большинство, в бараний рог они бы нас согнули.

И вдруг каким-то образом он выскочил на антисемитизм, на погромы, он видел их, как шахтеры были против погромов, как он работал помощником мастера литейщика, а мастер был еврей.

«Надо оценивать поступки людей не с национальной, а с классовой точки зрения».

«В Бабьем Яре погибли и русские. Кого больше? Если мы будем этим заниматься, то породим рознь».

Он никак не хотел признать, что нацисты умышленно уничтожали евреев, он как бы исключал расовую политику.

Утверждал безапелляционно: «Нет сейчас и не было (!) антисемитизма. Не вызывайте к жизни эту замороженную бактерию».

И тут же попрекнул Шостаковича за «13-ю симфонию» на тему Бабьего Яра.

«Полезно это или нет, может быть, это даст пищу антисемитизму?»

Как они (все наши вожди), уже после «дела врачей», казалось бы, очевидного преступного замысла, вместо того чтобы в полный голос назвать действия Сталина антисемитскими, а развязанную кампанию позорной, увиливали и так и этак от проблемы антисемитизма ■ России.

«Нельзя допустить, чтобы борьба с культом ослабила нашу борьбу за марксистско-ленинскую линию, не резать сук, на котором сидим».

Что за сук он имел в виду, неясно. Впрочем, деятели вроде Грибачева, Серебровской немедленно растолковали по-своему: хватит, довольно ваших «оттепелей», довольно заискивать перед молодыми.

В другой раз во время выступления Евтушенко произошел любопытный казус. Евтушенко стал защищать Эрнста Неизвестного: он фронтовик, хорошо воевал, он талантливый скульптор, он всей душой советский человек и т. д.

Хрущев прерывает его:

— Горбатого могила исправит!

Евтушенко взорвался:

— Сколько можно исправлять могилами! Хватит!

Меня это восхитило: одернуть генерального секретаря компартии, да еще прилюдно, в зале заседаний, в обстановке проработки — это было поступком!

Тут же выступил поэт Александр Прокофьев, наш ленинградец, возмутился тем, что позволяет себе Евтушенко, как можно таким тоном разговаривать с генеральным секретарем, да кто он такой, да что он себе позволяет...

Хрущев встрепнулся, удивленно спросил, а что, собственно, случилось, идет нормальное обсуждение, каждый высказывается.

Это был ловкий, можно сказать, мудрый ход: поскольку он сразу на слова Евтушенко не сумел возразить, лучше всего было дать понять, что все говорят свободно. Да и чем он мог отпарировать точную реплику Евтушенко. Хрущев был

остроумен, находчив, был хороший полемист, и тут, надо признать, он сумел выйти из положения.

Обозначился довольно четкий раздел молодых и немолодых. Аксенов, Вознесенский, Евтушенко, Голицын, Неизвестный — все они забирали себе читателей, зрителей, славу, им помогала, воодушевляла борьба с культом личности, XX съезд, то есть то, что начал Хрущев, и получалось, что он же громил их.

Напугали кремлевскую публику венгерские события. Сталинисты тотчас связали их с молодыми писателями, поэтами, творческой интеллигенцией — вот откуда идет крамола. Затрубили горнисты, забили барабаны и пошла расправа со своими соперниками, противниками, со всем новым, от чего так надежно защищал их прежний режим сталинской идеологии.

Такой художник, как Владимир Серов, мог заявить Хрущеву, что абстракционизм — это идеологически враждебное направление, оно угрожает советскому строю, что картины Фалька были выставлены в Манеже не случайно, ох, не случайно: специально показать — вот, мол, где столбовая дорога нашего искусства.

Еще две цитатные записи сохранились:

«Возможны ошибки в будущем, ну и что же? Не управлять — это будет джаз».

«Живи и давай жить другим — это я не признаю. Вы бы нас не пригласили на это заседание, а мы вас пригласили».

Про джаз он часто повторял: «Джаз колики у меня вызывал».

И раздавался услужливый смех.

«А вот Глинка — слезы радости!» — и в ответ усиленно кивали. Была категория кивальщиков, кивали напоказ, преданно, чтобы генсек увидел.

«Джаз негры изобрели. А я родился в русской деревне. Почему мы должны брать на вооружение джаз?»

Историк Сергей Мироненко, ведая государственным архивом России, ни на одной из правительственных бумаг не видел собственноручной резолюции Хрущева, ни одного письма им написанного, ни конспекта, ни-че-го. Только подписи. Все остальное диктовал своим помощникам. У Мироненко сложилось мнение, что Хрущев был безграмотен. Забавно, но безграмотность,

возможно, придавала ему решимость, наглость. В природном уме, юморе ему не откажешь. Ленина не изучал, Сталина тоже. Несколько заученных цитат, остальное смекалка. В русской истории его можно сравнить с Меншиковым, тоже, видимо, малограмотным. Меншиков был умница, смельчак, и Никита Хрущев тоже ведь отчаянный, сместить Берию в те времена, поставить его к стенке, тут либо грудь ■ крестах, либо голова ■ кустах.

Опытный интриган Лаврентий Берия, который пятнадцать лет удерживался на вершинах в репрессивных органах, не мог представить, что этот простачок-мужичок сумеет обольстить Маленкова, напугать остальных бериевскими компроматами и без суда, без следствия, примитивным способом с помощью трех генералов схватить, связать, запихать в машину, сунуть в подвал его, всесильного чекиста.



Быстро-быстро мы вышли впереди многих стран по количеству миллиардеров. Это, по мнению журналистов, должно было обрадовать наш народ. В списке богатеев мира не видно ни финнов, ни шведов, ни исландцев, многие народы не представлены, судя по всему, они не горюют по этому поводу.

Слава богу, вожди наши, а также депутаты, министры, губернаторы, мэры живут вполне прилично, не нуждаются ни в еде, ни в жилье, ни в транспорте, есть у них дачи, кроме загородных есть еще на юге, кое у кого на море, например на Средиземном, во Флориде. Зарплата у них достойная. Правда, сами они так не считают, поскольку она всего ■ 10–20 раз превосходит нашу. При этом они не считают, что получают ее от нас, что мы их содержим. Наоборот, это они считают, что нас содержат, они нам платят. Их даже ругают, когда нам платят не вовремя. Сама мысль, что мы, то есть народ, платим им из своего кармана, оплачиваем им, к примеру, поездки с женами, детьми на Красное море, или что мы доплачиваем денежки за их дешевые буфеты, не приходит им в голову. А когда им намекают, то вместо благодарности они морщатся от нашей бестактности. Может быть, они правы, потому что если сравнить, что получаем мы и что даже небольшой руководитель местного значения — в 10 раз больше, то ясно — это он нас содержит.

Конечно, им приходится заботиться о нашем здоровье, правда, сами они лежат в отдельных палатах, а мы — в общих или ■ коридорах. Хорошо, что они вообще не отказались от нас, на самом деле чувствуется, что мы, то есть народ, им не нужен. У них есть труба, есть газ, есть лес — достаточно для благоденствия, а с этим народом хлопот не оберешься.

Часть вторая





Встретил профессора Чудновского из Политехнического института. Его ограбили. Украли 24 картины из его коллекции. Я видел эту коллекцию. Вся жизнь ушла на это собирательство, он собирал русскую живопись XX века. Милиция не смогла найти воров. Пошел к министру Щелокову. Тот выделил бригаду. Они быстро нашли грабителя ■ Баку. Изъяли у него 11 картин, а арестовать не сумели, не вышло, заставили отпустить. И куда только Чудновский не обращался — ничего, никаких результатов. Снова к Щелокову не попасть, а другие почему-то не хотят, отмалчиваются. При чем тут картины? А при том, что он хочет государству отдать, но никого это не интересует.

Рассказал он мне про Кастаки. Крупнейший московский коллекционер. Тоже обокрали. Украли Малевича, Кандинского, украл бывший зять, работник органов. Кастаки туда пришел, ему обещали выяснить. Через несколько дней сказали, что зять женился на англичанке и уехал в Англию. И все. Кастаки тоже собрался и уехал. Разрешили ему вывезти 20 % коллекции, остальное вынужден был отдать в Третьяковку, попросил сделать зал Кастаки, обещали, но пока не собираются.

Чудновский сказал мне: «Бросил я собирать, отбили охоту. Зачем? Весь интерес пропал».

Лженаука не так плоха, как кажется. Во-первых, она обходится дешевле, чем обычная наука, не требует больших затрат, установок, аппаратуры; во-вторых, она не стареет. Лженаука может существовать столетиями, поскольку она почти неопровержима. В конце концов, ничего страшного, она производит мечты, иллюзии, будущее. Я встречался с узким

специалистом по лженауке, его специальностью были привидения. Но вообще лженаука необозрима: уфология, инопланетяне, спиритизм...

США

Мы с Виктором Розовым плывем по Миссисипи. Сидим на диване в капитанской рубке. Ночь. Огни. Локатор. На желтом круглом экране — молочный контур реки. Наш корабль: мотор 9000 л. с., салоны, ванны, четыре палубы, кондиционеры. Он толкает вереницу барж, жестко скрепленных, они везут сахар, хромовую руду, железо (1000 вагонов). Сели мы в Новом Орлеане и поднимаемся вверх по реке. Плывем под тонкими мостами, похожими на гончих псов, вытянутые, поджарые, они повисли ■ прыжке через реку. Мигают огни круто взлетающих самолетов, высоко гудят газовые факелы. Река отделяет нас от шумной, суетной энергии суши. Река пустынна. Нет пассажирских пароходов. При всем желании мистера Маргулиса, опекающего нас русского американца, мы не могли устроиться на рейсовый пароход.

Капитан плавает здесь 36 лет. Крепыш, седой ежик, южный акцент. Он разговаривает по радио с женой: везет, мол, трех русских, пьет с ними водку: 50° + лед + содовая.

Делится своими политическими взглядами: «Мы, Америка и СССР, сойдемся против Китая...» Меня занимает свобода его высказываний, он шпарит без оглядки и про свое правительство, и про наше, ■ про ФБР.

Идет навстречу нам «Атлас», зачехленное корыто, цеппе-лин. Впереди военный катер, позади тоже. «Секретят, — сообщает капитан, — перегоняют новую ракету».

Капитан рассказывает про своих школьных товарищей — немцев. Можно ли их винить, хотя они воевали против нас. Что они могли сделать. Мы не должны вывешивать — «Немцам вход воспрещен!».

Русский американец встревает:

— Немцы и на Пискаревском кладбище, и в Освенциме весело фотографируются, чувствуют себя на экскурсии.

Розов:

— Все забывается, нет уроков истории, никто ничего не помнит и не желает помнить.

Маргулис:

— Аденауэр, не торгуясь, заплатил Израилю 4 миллиарда марок за причиненное еврейскому народу. Он подписал этот договор, не имея полномочий, а потом добился ратификации.

НАУКА

Если новые факты подтверждают мою теорию — это очень приятно, если противоречат — это крайне интересно.

Измеряй все измеряемое и делай неизмеримое измеряемым.

Если наука не доступна математизации, то скорее всего это не наука.

Серьезные ученые, с которыми я встречался, относились к религии по-разному. А. А. Любищев считал себя виталистом. П. Г. Светлов, крупный эмбриолог, полагал жизнь божественным даром. Н. В. Тимофеев-Ресовский попросту, без затей верил в Бога, молился, исповедывался. Впрочем, так же, как и П. Г. Светлов, В. Я. Александров признавал наличие Высшего Разума, ему теории Дарвина не хватало для уразумения Природы. А. Д. Сахаров не был материалистом, хотя и не был верующим. Д. С. Лихачев всегда был верующим, Б. В. Раушенбах был глубоким знатоком иконы и верил в Бога, в Троицу, в Священное Писание. Верующим был и Питирим Сорокин.

Эти люди приходили к религиозности собственным путем, размышлением, через свою науку, вера далась им нелегко.

Жара. Жужжат мухи в лесу, где-то рокошет трактор. Березы не шелохнутся. Сперва, как войдешь в рощу с поля, — прохладно, потом и тут своя жара настагает

Роща белоствольная, светлая. Кто-то окорил березку. Испод у нее гладко-бордовый, с шелковым блеском, генеральский. Ходят сюда за грибами, хоть и далеко. А я встретил девочку, она вдоль дороги набрала подберезовиков. Посреди клеверного поля на бугре эта маленькая роща, как остров.

Красота полей и холмов, розовый луг не волнуют, не томят, как в молодости. Знаю, что прекрасно, знаю, что му-чительно прекрасно, но знаю больше воспоминанием, мо-лодым, до слез, любованием. И за то спасибо, слава богу, что сохранилось страдание от этой невыразимой красоты, и теперь могу помнить молодые томления свои, хотя бы разу-мом помнить.

Так все, что было в сердце, переходит ■ ум, а ум не вол-нуется, он знает лишь, что это волнует. К старости ум и душа мучаются от неприятностей и страданий близких людей, вот это не утратяно, даже становится сильнее.

Начальник цеха:

— Баранов разве горит на работе? Нисколько не горит. Ни-чего на него не действует, не горит, и все. Всех, кто не горит, надо вывести на чистую воду.

Доклад заведующего фермой:

«Сейчас я вам сообщу о своей продуктивности. В скотном дворе на пятьдесят коров двенадцать доярок. Каждую доярку обслуживает бык».

ЛЫСЕНКО

Наука — источник несогласия, протестов, оппозиции, и это происходит несмотря ни на что, ни на какие репрессии. История лысенковщины — наглядный пример. Несмотря на террор, ссылки, аресты, изгнания с работы, сопротивление ученых не утихало.

Говорили открыто.

— Лысенко — агроном не для колхозов, а для чиновников.

— Без партийной поддержки Лысенко погибнет. Его науку можно развивать, когда исключают из партии, сажают.

Генетика все время опровергала лысенковщину, и ученые (молодые и старые), аспиранты, профессора не могли ничего с ней поделаться. В иностранных журналах появлялись новые и новые доказательства истинности менделизма-вейсманизма.

То же самое творилось с кибернетикой.

Настоящая наука неумолима и к своим защитникам, и к противникам.

ТРОЯ

Гораций писал: «Жили герои ■ до Агамемнона многие, но все, неоплаканные, сокрыты долгою ночью, ибо не нашлось для них вещего певца».

И в самом деле, на своем малом, мелком примере я убеждался — написал об А. А. Любищеве «Эта странная жизнь», когда никто о нем не писал, и началась публичная его жизнь, открыли его себе многие. Примерно то же случилось и с Н. В. Тимофеевым-Ресовским. «Зубр» помог оповестить об этом великом ученом. Конечно, и без меня они бы пробились на свет божий. Но позже, и в каком виде, не знаю.

Троянская война была одной из многих в греческой истории. Ее возвысили, сделали бессмертной поэтические сказания Гомера, он вывел из тьмы забвения этот миф.

Без своего Гомера ушла в тьму Первая мировая война. Может, потому, что лишена она была ясного смысла, но ушла. И финская, и афганская. Не нашлось на них ни своего Гомера, ни Льва Толстого.

Мой знакомый физик часто рассказывал мне о Сергее Ивановиче Вавилове, одной из самых трагических фигур сталинского времени. Его брата, великого биолога Н. И. Вавилова, уничтожили по личному указанию И. Сталина при лысенковщине. После этого Сергея Вавилова Сталин делает президентом АН СССР. Власть большая по тем временам. Сергей Иванович совершил открытия в оптике, в люминисценции, открыл «эффект Черенкова», «отдавая» ему Нобелевскую премию. Главная же заслуга его ■ те годы — он сумел убедить власть в значении науки, в необходимости развивать ее. Такие ученые, как А. Иоффе, С. Вавилов, И. Курчатов, может, немного успели сделать, но у них была другая историческая роль — они были «коллективообразующие личности».

На одном из заседаний Академии наук С. И. Вавилов должен был вручать какую-то медаль Трофиму Лысенко. Церемония происходила прилюдно, на сцене. Получив медаль из рук Сергея Ивановича, Лысенко обнял его и трижды расцеловал. Стало тихо, и услышали, как кто-то произнес: «Иуда».

В Союзе писателей работал парикмахером Маргулис, личность легендарная, о нем ходило много анекдотов, к примеру:

Он спросил у В. Катаева, правда ли, что тот был на аудиенции у римского папы. Катаев подтвердил. «И вы целовали ему руку?» — «Целовал». — «И что он вам сказал?» — «Он спросил: „Катаев, у кого вы стриглись?“»

«Когда началась война, меня спросили — что главное на этой войне?» Я сказал: «Вижить!»

«Я брил всех крупнейших писателей Советского Союза.

— А Ольгу Форш?

— Нет, ее нет».

«Одна латышская писательница попросила достать несколько волосков Фадеева. Я ей достал».

У каждой бедной, неудачной жизни были возможности, неведомые ей, — счастья, удачи. Медсестра Оля не пошла на вызов, уговорила подругу заменить ее. Та пошла, больной был мужик средних лет, одинокий, симпатичный. Состоялось знакомство. Стала ходить, делать ему уколы... Понравилась ему. И вскоре роман. Переехала, поженились. Короче — через два года он стал депутатом.

«А я так и осталась с носом. Она, подруга, серая мышка, ничего в ней такого, а вот поди ж ты, выпало ей счастье. За что? Я прошлапила, упустила».

Они остались подругами. Оля навещала подругу, жгуче завидовала ее квартире, мебели, поездкам за границу, считала это, как бы отнятое у нее.

Есть мир идеального и мир реального. Я жил и действовал в реальном мире. В нем располагались наука, техника, работа. Идеальное, духовное — туда я не заглядывал. Там были вера, религия, оккультные науки, свои ученые, нет, это не моего ума дело. Считалось, что там шарлатаны, столоверчения или же разные религии, церкви, что это все для старушек.

Но вот заглянул, оказалось, там огромный мир, литература, тысячелетняя история. Душа — нам не обойтись без нее; раз есть душа, значит, есть ее свойства, ее жизнь...

Иной мир — это не ад, не рай, это иное существование. Остается от человека идея человека, может быть, то возвышенное,

что могло быть в нем. Нереализованная любовь, то сострадание Господнее, которое остается для каждого.

«Люди делают свою Историю, не зная истории, которую они делают». На всякий случай я поставил эту фразу в кавычки, наверняка ее уже изрекали без меня, слишком она очевидна.

Теперь, досмотрев пьесу «СССР» до конца, видно, какой это был ужас и какая красивая надежда. Компартия — хорошо или плохо? Бессмысленные вопросы. Историю надо принимать, как она есть.

В 73-ю годовщину Октябрьской революции на Дворцовой площади в Питере несли лозунг: «7 ноября — цена национальной трагедии!».

А за три года до этого, когда отмечали 70 лет Октября, на транспарантах было написано «Слава великому Октябрю!».

А еще раньше над колоннами демонстрантов плыло уверенное: «Дело Октября будет жить вечно!»

Люди в 2007 году с удивлением разглядывают себя на аллее Истории. Они уже только зрители, не могут вмешаться, что-то они хотели бы изменить, подсказать, но их не слушают.

Диссиденты считали советскую власть прочной, они ее ненавидели, но не представляли, что она может рухнуть сама, без революции, без их прямого участия.

ВИНО

В английском пабе надпись:

«И здесь вы можете умереть, но не оттого, что не хватило вина».

Пивная у чехов:

«Сохрани воду уткам».

«Если между мужчиной и женщиной ничего нет, надо между ними поставить бутылку вина».

«Если правда в вине, то зачем воздерживаться».

«Лишь бы встретиться, а там — лишь бы домой добраться».

«Последний стакан лучше пить, когда уже ничего не жалко».

Нашел старое письмо читательницы. Елена Константиновна уже ушла из жизни, поэтому решаюсь опубликовать.

«Всем вам (писателям) уже пора пригладить и причесать свою вставшую с опозданием дыбом шерсть и заняться настоящим анализом — почему Сталин мог сделать то, что он сделал. Ведь уже и без вас люди понимают, что сделать он все это смог только потому, что такие же, как он, гады (в борьбе за личную власть), но менее коварные, чем он, помогли ему. А он их после этого истребил. Один гад пожрал других гадов. И, пожалуйста, не рассказывайте нам про Федора Раскольников и „первую женщину революции“, которые сразу же после революции переселились в великокняжеский дворец и стали разъезжать в царском авто (вот когда все это началось). Раскольников говорил, что Сталин калечил их души. А было ли что калечить? Все эти „вожди“ с первых дней революции присосались к власти, к сладкой жизни, поселились в „Белом коридоре“ Кремля, в „Доме на набережной“, разъезжали в салон-вагонах. Спросите-ка, например, у Шатрова, в чьем вагоне любил приезжать в Ленинград и почему имел эту возможность его отец — Филипп Семенович Маршак? Правда, говорят, его начальник Бухарин сильно рыдал, когда увидел на Украине опухших от голода детей. Но, наверное, отрыдавшись, он с аппетитом поужинал. А в это время (не в 1937 году!) голодали и умирали миллионы. На Украине в голод 1923–1933 годов умерло от голода не менее 3,5 миллиона, на Северном Кавказе — 1 миллион, всего около 7 миллионов. Точно установить нельзя, потому что запретили регистрировать смерть от голода. Мы никогда не узнаем настоящей цифры. Чудовищные меры были приняты к голодающим. Крестьяне бежали из города, их вылавливали и силой выдворяли обратно. Шла охота на умирающих. На железных дорогах задержали 65 тысяч, ловили на Украине, в ЦЧО, на Урале. Устрашали расстрелами. Об этом „мы“ не пишем, это не интересно. Сейчас (постепенно и хитренько) из этих переродившихся „вождей“ типа Зиновьева, Каменева и иже с ними хотят сделать безвинно пострадавших овечек, которые „с ужасом и отвращением“ перешагивали через кровь товарищей по партии. Зачем же они перешагивали? А затем, что, когда не борешься за идею, а борешься только за власть и жирный кусок, хочется жить любой ценою. И эту цену они платили. Это отлично понял Сталин и всех их ухлопал поодиночке.

Нужно объяснить, наконец, народу, что чудовищный размах террора во время и после 1937–1938 годов был в первую

очередь обеспечен Сталину в ходе показательных процессов — подлых спектаклей, разыгранных переродившимися „вождями“. Да, они не были ни шпионами, ни диверсантами, ни резидентами вражеских разведок. Они просто предали свой народ и партию, отдали их на заклятие. Пытаясь спасти собственную шкуру, они подыграли тирану и тем полностью развязали ему руки. После этих процессов уже можно было делать все что угодно. Народ поверил. А во время массового террора погибли миллионы действительных жертв — жертв Сталина и этих людей. Были среди репрессированной верхушки стойкие люди, например — маршал Блюхер. Так его и расстреляли без всяких спектаклей через 18 дней после ареста.

Вот о чем нужно много думать и честно говорить без позказного надрыва и фальшивых поз.

Рожкова Елена Константиновна.

Бывает добрый поступок — доброе движение души, а бывает состояние, качество, в котором живет человек, допустим Наташа Долинина, моя Марина, Степан Сидорович, Володя Фролов, я знаю много людей, у которых доброта — неотъемлемое качество, как запах у цветка или жар у огня. Доброта их не требует благодарности, она доставляет удовлетворение самому творящему.

1985 год.

Позвал меня к себе Владимир Николаевич Орлов. Шкафы у него книжные, что высились до потолка, а потолки до четырех метров в высоту, шкафы эти переполнены стихотворными сборниками 1910–1920-х годов, уникальной поэтической библиотеки. Теперь шкафы опустели, книги вывозят в музей Блока, он им подарил, и картины свои, и всю коллекцию подарил туда же. О чем он мне говорил? Говорил, что жизнь его кончена, здоровье быстро уходит, не видит, ослеп, работать не может, память сдала, сердце сдает, думает, что этого года ему не прожить, и не жалеет, скорей бы умереть. Но вот что он мне хотел сказать со всей откровенностью: как же так, его, заслуженного писателя, который столько сделал для литературы, поднял из небытия Александра Блока, сделал «Библиотеку поэта», как же его не наградили вместе со всеми писателями? Какого-то Шесталова, Холопова, какого-то Ставского, а о нем

забыли. Почему ему не дали орден Дружбы Народов, ведь всем его дали, почему же Ленинград его не отстоял? И еще, как издать его книгу «Гамаюн», переиздать, он понимает, что сразу это невозможно, но хотя бы включить ее в план на 1986 год. Никакого противоречия в словах своих он не чувствовал и не замечал.

ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ

Однажды в Париже я был с Семеном Кирсановым. Поэт ныне подзабытый, а зря, у него был мощный талант словесной эксцентрики. Он выделял чудеса с русским языком, вот уж действительно у него язык блистал, поражал находками. Но рассказ мой не о том, а о том, как однажды он меня повел к своему давнему приятелю Сержу Полякову: «Как, вы не знаете, кто такой Поляков? Это знаменитый художник! Ну, Данила, вы меня удручаете».

Где-то в центре Парижа огромная квартира, может, целый этаж. Хозяин, хозяйка, какие-то люди, застолье, наши, русские, казачий хор, тоже знаменитый на весь мир, гастроль по всем столицам, и тоже — впервые слышу. Стыжусь, оправдываюсь своим невежеством, разумеется, личным, страна ни при чем.

Сам Серж веселый, бурный, переполнен гостеприимством, любит Кирсанова и меня за то, что я с ним, за то, что из Питера. Он из цыган, он то ли брат, то ли племянник Ляли Черной, про нее-то я слышал, звезда столичной «цыганщины». А про казачий хор мне позже рассказал «Зубр», это действительно прославленный на весь мир был хор Сергея Жарова. Составлен из эмигрантов-казаков.

Носился среди гостей малыш, внук Полякова, сын его русский француз, невестка из Индонезии, жена Полякова то ли англичанка, то ли француженка, какой язык в результате получится у внука — неизвестно.

Пировали весело, с песнями, шутками. Пили водку вперемишку с французскими винами. Потом Серж повел меня показывать свои картины. Абстрактные. А я тогда в этом никак. Что-то было в его картинах, но когда он предложил какую-то в подарок, я отказался — нет, нет, что вы, да я ничего в этом не смыслю.

Когда вернулись ■ гостиницу, Кирсанов набросился на меня:

— Дурень ты отпетый, картина Полякова! Это же сокровище, целое состояние.

Много позже я убедился, что он был прав и в том, что это красиво, и в том, что Поляков действительно значительный художник. Я листал монографию о нем, что-то вспомнилось. Знакомая досада об упущенном, еще одно упущенное, счастливая случайность, мелькнула и исчезла синяя птица...



«Взглянул я на него, он на меня, уставились ■ зрачки друг другу и продолжаем при этом свой разговор, но тут между глазами другой разговор появился — он твердо смотрит, и я твердо смотрю, получилось кто кого. И еще что, не только кто пересмотрит, а кто вообще прав, схватились глазами, никто не замечает, как мы схватились, а мы смотрим, говорим и смотрим, не отпускаем друг друга. И вдруг я опустил глаза, мог бы еще, а отвел. Отвел и понял, что проиграл. Почему отвел, не знаю, сразу же поднял, искоса так взглянул, но уже поздно, не сейчас, проиграл, навсегда проиграл. Он тоже понял, что я проиграл, а он выиграл. Ах, раз так, то отказал ему, отказал в его просьбе и за это к вечеру приказал выгнать его с работы, гнать его беспощадно».

Он вспомнил о Нине, и она тотчас появилась перед ним с кудряшками своими, ■ черном свитерке с нахально торчащими грудями, он велел ей раздеться, она разделась, но ему стало скучно, и он отослал ее. Она удалилась в подzemелье памяти, туда, к другим женщинам, там их было много, которых он когда-то любил, иногда он вызывал ту или другую, остальное время они томились в ожидании своего появления. Когда Нина удалилась, он велел ■ памяти появиться одной рыбалке на Волхове, летней с катерами, ухой, как они варили ее на острове, где-то у него была еще другая рыбалка на Вуоксе, целый набор рыбалок имелся в его распоряжении с малознакомыми людьми, чьи черты расплывались, с Марией, о которой не хотелось вспоминать, но она почему-то вертелась и все пыталась появиться перед глазами, больше всего было пойманных

сигов, они возникали четко, в красках, вместе с рекой, порогами и берегами.

Телевидение непрерывно знакомит всех со всем. Все получают представление об археологии, о Черчилле, о торговле с Китаем, о ценах на полеты и, конечно, о причинах всех бед. Зрители начинают думать, что они знают и могут обо всем судить. Возникло телеобразование, телеобразованные люди, телеинформированные. На самом деле это елеобразованные и дезинформированные. Они уверены в своем праве рассуждать, обсуждать, выносить заключения о вещах, которые они «видели своими глазами», «были свидетелями». Например, пикет несогласных у Смольного о повышении кварплаты или против строительства башни Газпрома. Совсем немного людей, так снял оператор — десять, пятнадцать человек, на самом деле их было около тысячи.

Вероника, налитая так, что плоть повсюду заявляет, все в обтяжку, все бесстыдно выступает: зад, колени, бедра, ошалелые глаза, и самой стыдно.

Из всей нашей литературы я бы выделил четыре произведения, наиболее значимых, — «Станционный смотритель», «Шинель», «Тамань», «Студент». В них сосредоточена и сила и глубина русской литературы. Они выделяются неразгаданностью, любовью к человеку, красотой, чудом языка и тайной многозначности.

Один из интереснейших советских кинорежиссеров Иосиф Хейфиц загорелся идеей поставить фильм о ленинградской блокаде по материалам «Блокадной книги». В основе должен был быть дневник Юры Рябинкина, школьника, мы с Адамовичем почти полностью привели его в книге.

Было это в самом начале 1990-х годов, Алеся Адамовича уже не было на свете, и сценарий пришлось дописывать нам с Иосифом Хейфицем. Я говорю «пришлось», потому что Адамович взялся бы за сценарий куда охотнее меня, у него и получилось бы лучше.

Как бы там ни было, мы с Иосифом Ефимовичем начали работу. Заявку на фильм московское начальство приняло. Мы

знали, что питерский обком настроен против «Блокадной книги», но полагали, что все же Москва тоже что-то значит.

Сценарий складывался, появились интересные придумки. Например, мы придумали «расклейщицу плакатов». У нее только ведро и кисть. Она идет по заснеженному, замерзшему городу, обмотанная алым шарфом, душа Петербурга, ее не берут ни снаряды, ни бомбы. Худая от голода, «лицо ее — лик». Она олицетворяет призыв, пафос, стойкость.

«Весь эмоциональный рисунок актера перевернут, алогичен, безумен, — писал Хейфиц, — и это *норма* для борющейся души. Умер близкий человек — нет стресса, а только забота, как похоронить».

Дальше такая запись:

«Вчера ленинградский руководитель Романов окончательно распорядился судьбой „Дневника“. „В книге Гранина и Адамовича, — изрек он, — нет широкой панорамы блокады, а взяты отдельные частные случаи. Цель страданий не ясна, а само страдание... зачем его показывать“.

Боже мой! Какие Митрофанушки, отрицающие все выходящее из ряда банальностей и общих мест... Одно успокоение: история, время накажут их, да жалко, я уже этого не увижу, не обрадуюсь этому».

И. Хейфиц, замечательный режиссер, до этого не дожил, впрочем, и я тоже не сумел реализовать наш замысел. А мог бы быть наверняка хороший фильм, достойный памятник блокаде, я сужу по тому, с какой горячностью Хейфиц готовился к этой картине.

«Цель страданий не ясна...» — какая может быть у страдания цель? Погибает близкий человек, ребенок, может ли быть цель у рыдающий матери? Абсурд, характерный для партийного робота, лишенного души, совести и просто понимания того, что творилось в блокаду. Это ленинградский руководитель. Взамен была поставлена эпопея по роману А. Чаковского «Блокада».

Достижения советской культуры кажутся не так значительны, как они казались для своего времени. Сегодня судить о них сложно. Надо понимать, что значил, допустим, Тендряков, или Твардовский, или Товстоногов ■ то время, когда они творили. Ныне же остается только текст или воспоминание.

Нынешний текст Евтушенко «Бабий Яр» не может так поразить читателя, как это было в семидесятые годы. Однако трагедию Софокла «Царь Эдип» — вот ее можно смотреть сегодня, сопереживая сильно, чуть ли не до слез. И стихи Пастернака, такие, как «В больнице». Значит, есть в произведениях временная составляющая, а есть вечная, а какая из них важнее и нужнее, вопрос бессмысленный

«Бабий Яр» был откровением, заряжал мужеством. «Гренада» Светлова читается с исторической грустью, вот какие мы были наивные — вот, допустим, строка «Отряд не заметил потери бойца...» — вот так и было, не замечали потерь; «...чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать» — своим не сумели отдать и постепенно из-за этого крестьян повывели. «Гренада» Светлова, «Соль» Бабеля — они документы истории, ибо история — это не факты и даты, а настроения, чувствования, заблуждения. Мечтали землю отдать в Гренаде, мечтал Нагульнов шолоховский, мечтал о всемирной революции. К примеру, рассказ Бабеля «Соль» читается сегодня совершенно по-другому именно потому, что он замечательно многозначен. Напомню, в рассказе ■ вагон поезда, где едут матросы, просится баба с ребенком на руках, ее из жалости сажают. Она едет с ними, а потом выясняется, что на руках у нее не ребенок, а мешок соли, который она везет для спекуляции. Ее выкидывают из вагона и пристреливают. Тогда, в те годы это читалось как справедливое возмездие пролетарских законов времен гражданской войны, сегодня это воспринимается как жестокость тех лет. Рассказ круто переменял свою суть, настолько, что наверняка автор не подозревал, как это может читаться спустя полвека.

Религия древних греков жила всеми человеческими страстями. Их боги ссорились. Влюблялись, устраивали друг другу всякие скандалы, они были и хитры, и наивны. Полнота их бытия радовала схожестью с нами. Их бытие было понятно. Главное, что отличало их, это бессмертие, сроки жизни богов — вот чему завидовал человек. Их превосходство признавал и ему поклонялся. Каждый бог имел свой раздел власти, и просьба к нему была конкретная.

В христианской религии нет места ни смеху, ни проказам сильных и счастливых натур, в ней все серьезно. На первом

месте страдания, поиск справедливости, наказание, желание утешить человека. Она смягчала жестокость нравов, страдания заставляли задуматься над теми чувствами другого человека, которому ты причиняешь зло. Поступки человека стал оценивать он сам. У него появились нормы добра и зла, единый Бог соединил моральные оценки в нравственную систему. Все правильно, но не ubyло ли радости от пребывания на земле, ценности существования на этом свете.

Я слушал ■ школе, как ученица рассказывала, как Петр любил брить бороды бояр, рассказывала так, что Петр воспринимался как парикмахер, любил бороды брить и занимался этим, оставив все свои царские дела.

«— Вызывают меня на комиссию, боюсь, затрахают там меня вопросами.

— Ты сам затрахаешь их своими ответами».

Вызвали мою дочь Марину на комиссию в райком по поводу ее поездки в Польшу. Стали задавать ей вопросы. Спрашивают, как устроен польский сейм. Она пожала плечами:

— Не знаю.

— Но как же вы едете в Польшу и не знаете. А если вас спросят?

— Почему поляки станут спрашивать меня про свой сейм? — удивилась она.

На этот вопрос комиссия ответить не смогла.

Он не замечал у себя ни морщин, ни седых волос, ничего из примет своего возраста. То есть он знал про это, видел, когда смотрелся в зеркало, но в душе ничего этого не ощущал, так что он никак не был связан с тем зеркальным человеком, да к тому же тот и исчезал, стоило отойти от зеркала.

БЛУДНЫЙ СЫН

Для меня любимая картина в Эрмитаже — «Возвращение блудного сына» Рембрандта. Я вижу на полотне всю эту притчу библейскую: блудный сын возвращается побежденным, на нем изношенное нищенское, грязное рубище бродяги, грубые

стоптанные башмаки на босую ногу, мы видим его пятку, стоптанную от долгого хождения. Ничего не добился, голоден, бос. Вспомнил про родной дом и решился, пришел с покаянием. Все просто до этой минуты. Вернулся, но куда? Он возвращался к тому, что оставил, для него дом, то есть прошлое, пребывало в неподвижности. Но нашел он совсем не то, что оставил, слепого дряхлого отца, перед ним само прошедшее время, утраченное, растраченное, время горести, ожидания, невозместимое, как невозместима слепота отца, выплакавшего свои глаза. Между прочим, в библейской притче отец не слепой, он увидел приближающегося сына, он узнал его. Рембрандт делает его слепым вопреки Библии. Слепой отец узнает сына, узнает на ощупь, касаниями. Перед сыном — зримая вина. Здесь начинается главное. Эта притча — одна из самых трудных библейских историй: «Раскаявшийся грешник дороже праведника». Отцу он сейчас важнее другого сына, который остался с ним, соблюдая все законы семейной морали, верно помогая отцу все эти годы. Так нет, бродяга, беспутный сын в этот миг дороже того, праведного. Ему закалывают тельца, к нему обращена вся любовь отца.

Однажды я спросил Александра Меня, как понимать вот это библейское правило: «Раскаявшийся грешник дороже праведника»? Он мне сказал примерно так: это объяснить невозможно, это надо прожить или прочувствовать, это не для понимания, это правило для души, если душа способна понять это правило, то тогда слова ни к чему, а одними словами не объяснишь. Тот, кто осознал свой грех, тот проделал путь непростой, многотрудный, как этот блудный сын, душа его претерпела муки, так было с апостолом Петром, трижды предававшим своего Учителя. Все так, а вот понять до конца еще не могу.

В «Блудном сыне» отец — сама любовь и радость прощения. Счастье вернулось в его душу. Слепое его лицо — одно из лучших изображений счастья, во всей его полноте. Мы не видим лица сына, может быть, он плачет, мы видим лишь слепого отца, его руки, он ощущает ими, даже не прикасаясь к сыну. Согнутая спина сына, он стоит на коленях перед отцом, перед нами его натруженная пятка, долг был путь возврата домой.

Для Рембрандта библейская притча — непростая возможность дойти до божественной души человека.

Он вышел утром на улицу и увидел на снегу надпись «ДИМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Было морозно, солнечно, на ветвях сверкали замерзшие слезки, немыслимой чистоты березы подпирали голубое небо. «Какой счастливый этот Дима», — думал он и вспомнил, как в школе Лена Солощенко, так ее звали, без конца писала ему записки, признаваясь в любви, а он, смеясь, показывал их друзьям. Она была не очень красивая, длинное такое, узкое лицо, потом, после войны, он ее встретил, и она ему понравилась, но у нее было уже двое детей, и она с гордостью показала ему своего мужа.

После «Зубра» среди множества писем я получил и такое от читателя Ю. Н. Соколова, кандидата технических наук, там среди прочего было следующее: «Одна из версий судьбы Николая Ивановича Вавилова рассказана была мне в 1956 году товарищем моего покойного отца Аркадием Евгеньевичем Орловым. Быть может, она заинтересует Вас, а может, кого-нибудь из Ваших коллег. Орлов, настоящий русский интеллигент, сын генерала русской армии, член партии с 1915 года, инженер, до ареста в 1938 году — начальник главка НКОБ (не знаю, что это такое). В 1938-м и в 1943-м был репрессирован. После второго ареста он отбывал заключение в лагере под Интой. Реабилитирован в 1956-м, умер в 1972-м под Москвой.

И вот что рассказал ему однажды сосед по лагерной койке. Зимой 1942 года сосед был в пересыльной тюрьме в Архангельске. В один из дней в камеру втолкнули двух заключенных, одетых в хорошие телогрейки, ватные брюки, валенки. Один из них представился так: „Действительный член Академии наук, почетный член Академии Нидерландов, Соединенного Королевства и пр., пр. — Вавилов Николай Иванович“. После этого они поведали о себе следующую историю. Они оба отбывали срок в одном из лагерей в районе Медвежьих Гор в Карелии. В один из дней 1942 года начальство лагеря получило приказ срочно уничтожить лагерь и эвакуироваться. Это было вызвано тем, что немецко-финские войска где-то прорвали фронт. В это время Вавилов и его спутник были больны тифом и находились в инфекционном бараке-изоляторе. Выполняя распоряжение, начальство лагеря уничтожило заключенных,

примерно пять тысяч человек, но в панике забыло о двух тифозных и драпануло со всей охраной, не уничтожив лагеря. К счастью, наши войска ликвидировали прорыв, и немецко-финские войска до лагеря не дошли. И вот Вавилов и его товарищ остались вдвоем в лагере. Пища, одежда, топливо были у них в изобилии. Они выжили, выздоровели. Поправившись и накопив силы, они решили двинуться к своим, на родину, на восток. В первом же населенном пункте они явились в отделение милиции, сказали, кто они, и изложили свою историю. Их тут же отправили в Архангельск, где их и определили в пересыльную тюрьму. Через двое суток Вавилова и его спутника ночью вызвали из камеры, и они больше не вернулись. Судя по времени вызова, Вавилов и его спутник в ту ночь были расстреляны. Больше никаких сведений об этой истории у меня нет, вполне возможно, что она относится к тем слухам и легендам, которые бытовали в связи с гибелью Николая Ивановича Вавилова».

Апокриф... Может, их умышленно запускали?

На маленького осла всякий сядет.

— Что пригорюнился?

— Да вот все думаю.

— Эх, брат, не за свое дело берешься.

— Что ты все один играешь, что, у тебя нет друзей?

— Есть один, только я его ужасно не люблю.

— Бедность не порок.

— Но и не добродетель.

По Стокгольму летали бабочки. Вот идеал городской жизни.

На его лице было все, что полагалось, что было отпущено природой: глаза, нос, щеки, но ничего своего, приобретенного. Круглое, как циферблат, только ничего не показывало.

«Лично я теряла девственность не раз и всегда от этого получала удовольствие, а вот мужики, не понимаю, чего они так ее ценят».

Что мы пели:

«Веди ж, Буденный, нас смелее в бой!»

«И с нами Ворошилов, первый красный офицер,
Сумеем кровь пролить за СССР».

(Это прежде всего.)

«...И танки наши быстры,
И наши люди мужества полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой родины сыны».

«Смело мы в бой пойдем
За власть Советов
И, как один, умрем (!)
В борьбе за это».

«Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильнее!»

ПАМЯТЬ

Один из американских друзей Владимира Набокова поведал мне про любопытную черту домашнего быта писателя. Может быть, она известна литературоведам, но для меня это было откровением. Набоков старался не иметь вещей, большей частью он жил в гостиницах, пансионатах; вещи, считал он, привязывают к себе человека, отбирают у него память, а он оберегал свою память, особенно память детства, не хотел ни на что ее тратить, захламлять. Безбытность хотел сохранить, она оберегала подробности его российской жизни, то, чего нельзя было возобновить, ибо река времен унесла и петербургский дом, и Рождествено, да и берлинскую жизнь тоже.

С домашними вещами мы вступаем в личные отношения, уже покупая их, когда выбираем, когда принимаем ■ подарок, когда они достаются в наследство. И позднее все время что-то происходит — жалею, когда они ломаются, ремонтируем их, сердимся на них, хвалимся.

Вещи быстро обрастают воспоминаниями: у меня за этим столом собиралась семья; в этом кресле сидел дед; эту вазу подарил такой-то и тогда-то; был Новый год, и мы собирались у елки, и т. д. Набокова окружала чужая гостиничная мебель, и книги он брал ■ библиотеках и отдавал, не накапливая их и не имея личной библиотеки. Вся его память оставалась на родине, в России, и он хранил ее как главное свое сокровище.

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ Б.

Академик-физик, камин. Коньяк армянский. Узкие брючки, черная рубашка, самоуверенность, безапелляционность, судит обо всем быстро и категорично. Тип физика, раздражающего беспощадностью анализа, скепсисом, обоснованным и тем не менее убивающим фантазии, философию и веру. Бóльшей частью он прав, ему нужны только факты, точность эксперимента, он признает лишь то, что объяснимо, он презирует гуманитариев, знает литературу, искусство, правда, поверхностно, школьно, но вполне достаточно для того, чтобы быть на уровне. У него нет собственной философии, широты, иронии, его не мучают никакие противоречия, поиски решения моральных проблем. Он полностью оснащен для карьеры физика, и ее он создает непрерывно, став заведующим лаборатории, директором института, академиком и т. д. Таким я его увидел вместе с его блестящим талантом физика.

Известный физик Румер мне объяснял: «Жизнь молодого физика начинается с борьбы за существование, и эта борьба заставляет его торопиться, работать нацеленно, ни на что не откликаться. Если он хочет чего-то добиться, надо успеть. Успеть надо сделать двадцать-тридцать хороших работ, получить докторскую, стать профессором, никаких стихов, никакой философии, беллетристики, но можно изредка позволить себе музыку и театр.

Американцы работают так же, у них все подсчитано. Если работа стоит меньше десяти-двадцати тысяч долларов, то нет смысла знакомиться с литературой по данному вопросу».

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ПИСЬМА

«Уважаемый Даниил Александрович, написать так, как было, это дискриминировать наш строй. Неизвестно, как отнесутся к вам... Когда я встречаю бывшего крестьянина, моего возраста, он понимает меня с полуслова, а другое поколение это уже воспринимает по-другому... Вначале ■ нашей местности было несколько кулацких хозяйств. На учете в сельсовете было известно, сколько у них десятин земли, сколько лошадей, коров — это для начисления налога. Вот за это раскулачивали и должны были дать отчет, но остаются неучтенными свиньи, овцы, козы, куры, гуси и другая птица. А в амбарах — зерно для употребления, для посева, для продажи. В кладовых — крупа, мука, шпиг в больших кадках; а на чердаках — колбасы, копченые окорока; в шкафах — одежда, белье, простыни, одеяла, обувь; в буфетах — утварь; в доме — всякая мебель; в сарае — телеги, сани, упряжь, сельхозорудия. Я не перечислил и четверти оставленного имущества. Да это же Клондайк! А пожалуй, и нет. Там надо было поработать, а тут все двери настежь, двери кладовых, амбаров, шкафов, комодов. Бледнеет фантазия о скатерти-самобранке, головокружение. Зачем работать? Как все это переместить, освоить? Когда не стало кулаков, их надо было искусственно создавать. В деревне полоски рядом, почти одинаковые. Как такого хозяина назвать кулаком, если земли не много? Эврика, назовем „подкулачником“. Попробовали. Сошло. Прошло несколько лет — полдеревни как корова языком слизала. Что обозначает этот термин „подкулачник“? До сих пор не понятно, но это давало повод раскулачивать. А на другом полюсе не удивились такому потоку. Людей с ярлыком „кулак“, „подкулачник“, „вредитель“, „враг народа“ можно в Колыму и на Соловки, туда — на бесплатный труд.

Тоже тема. Семья. Хозяйство. Старший сын женился, отделился, построил избушку. Семью раскулачивали, а этот уцелел. Жил скудно и незavidно, но очередь дошла и до него. Повод — родители высланы. Вывезли в райцентр, а там работники КГБ устроили взбучку „Кулак, кулак одноногий, на костылях, зачем привезли инвалида? Там здоровые нужны. Отправляйте обратно“. И пока кулак на костылях добирался до дому двадцать километров, там произошли два события.

Первое: раскулачивали — прилежно поработали, в избе не осталось даже ухватов. Второе: они между собою устроили открытую потасовку, каждый считался наиболее активным, претендовал на львиную долю.

Третья тема. Разведчик, Герой Советского Союза. В детстве родителей раскулачили, выслали в Сибирь, голодали, опухли, отец умер от голода, на очереди мать, подросток в отчаянии, надо спасать, но как? Пошел воровать продукты, особенно печеный хлеб, находил по запаху. Страшно, стыдно, а там мать, а голод гнал в ночную стужу. Пойман хозяином с буханкой хлеба. Понял, конец, хозяин прибьет или убьет. А хозяин привел его в комнату, всмотрелся в мальчишку и не наказал: тоже ведь существо».

«Я высказал свою точку зрения, которую я слышал».

«Результаты этих опытов совпали до слез».

«Нам надо вращаться не только в своем собственном соку».

«Ревизия — она тоже из людей состоит».

«Ни на кого это не производит никакого сомнения».

В августе 1976 года я часто гулял по Комарово и Зеленогорску с Львом Эммануиловичем Гуревичем. Человек слепой, он тем не менее стал одним из крупных специалистов по современной астрофизике. Он мне много рассказывал об этой интересной науке. Говорил о том, что все специалисты-астрофизики все более склоняются к тому, что время конечно, а пространство бесконечно, что кроме нашей Вселенной имеются еще и другие Вселенные, что имеется асимметричность нашей Вселенной, ничем не объяснимая, что необратимость событий тоже ничем не объяснима, что закон сохранения энергии и прочие законы имеют место, возможно, только для нас, что, наконец, существует горизонт событий, то есть расстояние, которое лимитируется скоростью света и временем существования нашей Вселенной. Это расстояние ограничивает получение информации и радиус познания, так

что имеются Вселенные, которые мы принципиально не в состоянии познать.

Гносеология отошла к физике, осталась для философии онтология. Чтобы сказать что-то о мире, сегодня надо знать в совершенстве физику.

Существование человека — возможно, это случайность. Образование нашей Вселенной из раскаленного газа, возможно, произошло тоже благодаря случайности. Образование планет в этой Вселенной — еще бóльшая случайность, а без планет жизнь невозможна. Биологи же считают, что сочетание ДНК и РНК, приведшие к появлению белка, вероятно, тоже случайность. То есть собрание всех этих случайностей, их игра привели к почти невероятному. Жизнь, следовательно, невероятность, вряд ли она еще где есть. Время существования жизни также ограничено.

Черные дыры — это, возможно, горловины иных миров, живущих в иных измерениях. Наш трехмерный мир — это ведь тоже не обязательное ограничение, могут существовать миры иных измерений. Так что через черные дыры мы, может быть, соприкасаемся с иными мирами. Но и только. Познать их мы не можем.

Слушая Гуревича, я вспоминал о Стивене Хокинге с его немощным телом, но могучим духом. Как странно и то, что оба они заняты проблемами астрофизики. Особенное впечатление на меня в этом смысле произвел Гуревич, слепой человек, который видит дальше нас всех, и перед его умственным взором, очевидно, в той темноте, в которой он пребывает, разворачивается жизнь не одной Вселенной, а многих.

А слушая Алешу Ансельма, Мирона Амусью и некоторых других физиков, я видел перед собой другую, совсем иную, умышленную, кем-то задуманную Вселенную.

ДУЭЛЬНЫЙ КОДЕКС

Во время семинара одна дама докучала Л. Н. глупыми вопросами, не вытерпев, он ответил ей остроумно и едко. Она озлилась и в перерыве, в буфете, при всех сказала о нем: «жидовская морда». Тогда Васильковский подошел к ней и спросил: «Скажите, пожалуйста, кого я должен ударить по физиономии?»

Она вытаращила глаза.

— Видите ли, — пояснил он, — бить женщин правила дуэли не позволяют. Когда женщина оскорбляет, пощечину надо нанести мужчине, который отвечает за нее, — мужу, отцу, брату. Кто за вас отвечает?

— Вам какое дело! — закричала она.

— Товарищи, может, кто сам признается? — воззвал Васильковский.

Услыхав это, муж дамы убежал, хотя Владимир Сергеевич Васильковский был маленький, хрупкий человек.

Все молчали. Тогда Васильковский сказал:

— Согласно дуэльному кодексу, автор Дурасов, если никто не признается, то считается, что женщина, за которую никто не хочет нести ответственность, не принадлежит к порядочному обществу.

Сказал он ей прямо в лицо.

СОЛИСТ

Криворотый маленький человечек скандалил в очереди, брал три кило творога, хотя все договорились брать по килограмму, потому как не хватало. Обозвал женщин и фронтовика-инвалида, оскорбил продавщицу. Я попытался пристыдить его, он отмахнулся.

Вечером я увидел его в Капелле. В хоре. Он солировал. В черном костюме. Пел вдохновенно Рахманинова. Ему подносили цветы. Я пошел за кулисы, хотел убедиться, тот ли это. Поздравил его. Дал ему цветы. Он узнал меня и обругал, выбросил мои цветы и опять стал мерзким.

— Мама, мы успеем вырасти? — спросили девочки-близнецы, имея в виду войну.

Человек, который откладывал себе всю жизнь деньги на похороны, жил бедно, а за гробом шел оркестр, на поминках ели икру, балык, пили дорогое вино.

Как хороши бывают названия инструментов: киянка, буравчик, вороток, пробойник.

НЕУДАЧА

Кандидат наук, биолог, познакомился с бензозаправщицей. И так успешно ухаживал за ней, что однажды она устроила ему смотрины в день своего рождения. Решила представить его друзьям, ввести в свой круг. В ресторане «Тройка» собралась элита — трое «лопатников» (это могильщики), затем банщик, напротив него сидела зеленщица, была еще девица, заместитель директора Мальцевского рынка, и диспетчер таксопарка.

Обслуживали их как никого. «Что бы вы хотели?» — спросила диспетчер. Кандидат бухнул: «Земляники». И что бы вы думали? Принесли, правда, через 20 минут. От него потребовали анекдотов. Он рассказывал, но без успеха, не смеялись. «Постные», — сказал банщик.

Назавтра его заправщица позвонила. «Не понравился ты им, — сообщила она, — неестественный человек».

Все у нас носят мундир сверху или внизу, под рубашкой.

Ей двадцать два года.

Она часами вертится у зеркала. Что ей там надо? Ничего, просто любит себя. Глаза затуманились, мерцают. Весело ей, напевает, выгибается и так, и этак. Начнет мыть посуду, останавливается, подойдет к зеркалу. Все, что попадает — примеряет: косынка, плащ. Допытывается: как? Идет? Как фигура? Любые замечания о своей внешности — волнуют. Обычно не слушает разговоров, но если та-то красивая, у такой-то шубка новая — оживает. Ревнует ко всем — актрисам, певицам.

В технике немало случаев одновременного изобретения — Морзе — Шиллинг, Попов — Маркони и др. Однако невозможно, чтобы два художника, поэта создали одновременно одно и то же. Даже и разновременно этого не может быть.

Вряд ли я успею дописать эту книгу, но есть олимпийское правило: важна не победа, а участие... Так что важен не конец, а работа. «Если не догоню, то хоть согреюсь».

На юбилее биолога Ю. И. Полянского упомянули про лозунг для историков: «Не будем ворошить прошлое».

В ответном слове Ю. И. Полянский сказал: «Обычно отвечают, что всем хорошим я обязан своему народу, партии, правительству, я же всем хорошим обязан своим родителям, отцу и матери».

Иногда у нее прорывалось... Замечательная эта женщина была свидетелем некоторых событий в Кремле, многие открывенничали с ней, видимо, их привлекало ее бесстрашие.

1993 год. Перед обстрелом Белого дома Коржаков сказал, что приглашены иностранные снайперы, они должны подстрелить двух-трех, словом, нескольких демократов, чтобы развязать Ельцину руки, тогда он сможет начать штурм Парламента. Так и сделали. Тогда погиб один питерский оператор телевидения.

Ельцин запил, впал в прострацию, когда решался вопрос об импичменте. Пил, не просыхая. На Ивановской площади в Кремле стоял наготове вертолет для него и его семьи. А в аэропорту — президентский самолет, чтобы улететь за границу, возможно, к Гельмуту Колю.

Ворвался к нему Полторанин, пытался образумить, тот пьяно мычал, тогда он схватил Ельцина за пиджак, стал трясти в мотом, мотом: «Бежать решил, спасти свою шкуру, бросить страну, испугался, мудак!». Наина Иосифовна пыталась остановить его — разве так можно, это же президент. Полторанин и ее мотом. Коржаков отмалчивался, может, был доволен, что Ельцина приводят в чувство.

Импичмент не прошел, шесть голосов не хватило. Прошел бы, и был бы у нас президент Хасбулатов.

Насчет коммунистического... Был такой у нас генсек (это после Горбачева) Полозков — генсек компартии России. Белла Куркова, которая возглавила телевизионную передачу «Пятое колесо», засняла его на съезде российских депутатов — рука, на ней татуировка «Ваня». Чтобы не потерялся, что ли? Мужик был дремучий.

С этой Курковой тогда было не сладить, «Пятое колесо» стало популярной передачей, отчаянно смелой. На съезде кубанский депутат, стоя у окна во Дворце съездов, дружелюбно сказал Курковой:

— Вешать вас будем, Белла Алексеевна. Выбирайте фонарь, как вас повесить, за шею или за ноги?

«Меня одолевали антагонисты противоречия».

На фабрике было тепло. Тепло было сытное, оно пропахло печеньем, тестом, ромом, горелым сахаром, ликером, но главное, оно быстро согревало.

В 1944-м гауляйтер Кох запретил эвакуировать население из района Восточной Пруссии, находящейся под угрозой русского наступления: «трусость и саботаж».

То же самое, что было в Ленинграде в 1941 году, за три года до Коха, тоже городские власти осуждали эвакуацию — паникеры!

5 мая 1945 года на северо-западе Германии немцы капитулировали перед англичанами. Могли бы и перед нашими, и не было бы столько жертв гражданских немцев, и наших солдат тоже.

ДИАНА

Англичане возлюбили Диану, она стала народной принцессой. В кинокартине «Королева» показано, как народ, английский, монархический, отшатнулся от законной королевы в сторону Дианы, произошел угрожающий кризис любви. Горы цветов у Дворца ■ память Дианы, открытки, письма от осуждающих королеву.

Любили ли мы так в России кого-нибудь из правителей? Способны ли мы на такую любовь?

На моей памяти были огромные очереди к Таврическому дворцу, когда хоронили Кирова, Собчака, Лихачева — это в Питере. А в Москве — к Сахарову. И знаменитая давка к гробу Сталина. У гроба Кирова — плакали. Это было. Его любили. С другими было нечто иное: ощущение государственной потере. Диана — личное горе почти каждого англичанина.

ПАДЧЕРИЦА

Мы ехали с Николаем Губенко (тогда он был министром культуры СССР) на концерт памяти Моцарта. По дороге он сетует: на юбилее Грановитой палаты не было ни Горбачева —

отказался, не в настроении, ни Ельцина — уехал на охоту. Не было их и на концертах под управлением великого Абадо. Оркестр и дирижера прислали нам в подарок немцы, чтобы чем-то порадовать бедных русских. Подарок, конечно, хорош. Губенко рассказывает и одновременно пытается из машины дозвониться до канцелярии Горбачева, потом еще до кого-то, потом до своих замов, которые ждут его распоряжений. Вот так решаются какие-то судьбы культурной жизни. Роскошные машины, спецсвязь, власть, и в то же время понимаешь, что никому дела нет до культуры. Сколько их перебывало на его месте — хороших и разных, ни у кого не получалось не потому, что неспособные, а потому, что до нее никому нет дела, ни до Абадо, ни до Грановитой палаты.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«...Вот вы, Даниил Александрович, взялись за „Ленинградское дело“, а его можно рассматривать по-разному. С Вашей стороны, это невинные жертвы сталинских репрессий, а с другой — из-за их разгильдяйства, глупости и медлительности погибло огромное количество людей».

Дальше он упоминает безобразную организацию оборонных работ, эвакуацию детей — когда люди попадали в лапы фашистам, «только за это все руководство города следовало уничтожить».

«...Вы посмотрите настоящее: один миллион сидит в тюрьмах, из них 150 тысяч — за убийство. Убили академика Глебова в подъезде дома, чтобы отнять его нищенскую пенсию. Страна обезлюдела. 10 тысяч детей ежегодно продают за границу... А Вы „Ленинградское дело“».

И дальше он приводит собственные стихи:

От меднолобых генералов
Сошла с ума Россия-мать.
Они вопят об обороне —
На остальное наплевать.
Россия, а тебе не страшно
От меднолобых удалцов,
Всегда готовых в бой направить
Своих дистрофиков-юнцов?

Веласкес сделал портрет папы Иннокентия, тому не понравился. «Слишком похож», — сказал он. Действительно, неприятен.

Когда наша лаборантка родила двойню, прибор наконец заработал нормально. Что это было, никто не понял и никогда не узнает. Иногда он показывает какие-то дополнительные сигналы, и лучше его не поправлять.

Мы так долго уговаривали пролетариев всех стран соединиться, потом просили теснее сплотиться вокруг ЦК, потом говорили, что народ и партия едины. Все шло как нельзя лучше, и вдруг все разошлись кто куда.

Меня учили, что реки существуют для электростанций, и если на них не построить плотины, то энергия их пропадет впустую. Мы стали считать, что природа бесхозяйственна, когда она нас не обслуживает. Мы уже не преклоняемся ни перед ее мудростью, ни перед мощью, ни перед гармонией.

Мы смотрим в свои карты, планируем комбинации, забыв, что у природы полно джокеров.

Он фотографировал закаты, собрал замечательную их коллекцию.

Природа смотрится ■ человека, как деревья в озеро. Подует ветер, но все равно изображение под рябью ждет своей минуты.

Моего друга Леку С. можно было отвлечь ■ любую минуту от работы. Погулять? В кино? Пожалуйста. Помочь? Ради бога. Процесс поиска, что постоянно идет у него в голове, нисколько не касается того, что он делает. Все это снаружи, внутри он продолжает работать, обдумывать свои полупроводники, ничто не мешает ему. Завидное устройство ума.

Иногда его увлекают странные задачи — как распространяется звук в киселе.

Вечером после заседания, где ему попало, он сел на трамвай и поехал до кольца, до Сосновки, там прошел по старому парку мимо стадиона к обрыву, куда он ходил гулять с покойной женой. Здесь кончался город, начинались поля. Было видно далеко. Ветер нес запахи молодой травы, теплой земли. Когда-то здесь он сказал, что любит ее и сделал ей предложение. С тех пор они много ездили, уезжали в Сибирь, ■ Германию, приезжали, меняли квартиры, все сменилось в его жизни, а здесь осталось так, как было, и обрыв, и сосны, и бетонные надолбы — забытое наследие блокады. В небе происходил закат. Песчаный обрыв был освещен в упор, и стал ярко-желтым, закат озолотил и сосны, и проселок с канавами, и эти старые выщербленные надолбы. В небе догорали остатки солнца. Облака то рдели, то покрывались сиреневым золотом, неказистый этот пейзаж засиял, нарядился, краски бежали, переливались, и с каждой минутой сияние нарастало. Оно должно было вот-вот сникнуть, он это знал, его не удержишь, знал, что и в памяти такую красоту не удержать, и это мешало ему наслаждаться. Но все же он купался в золоте, ощущал его.

«Чем дальше в лес, тем третий лишний».

А вот другая на ту же тему:

«Чем дальше ■ лес, тем толще партизан».

Лизал-лизал начальственную жопу, а потом взял и укусил ее.

Если б он не работал, то так и считался бы хорошим работником, такое умение.

Эрмитаж несоразмерен нашей любви к искусству.

Прогресс есть воспитание человеческого рода.

(Лессинг)

Прогресс — развитие производительных сил.

(Ленин)

Прогресс — это увеличение срока человеческой жизни.

(Любищев)

Последнее определение мне симпатичнее других.

СТИВЕН ХОКИНГ

Я виделся с ним в Кембридже. Это, может быть, там самый известный ученый, он полностью парализован. Мы познакомились на улице. Он ехал на коляске. Управляет он ею через компьютер пальцами одной руки, единственное, чем он может двигать. Он не может не только двигаться, но и говорить. Через компьютер он читает лекции. Главное в нем — действующий мозг, мозг на коляске. Его жизнь — свидетельство того, что может человек и что может преодолеть человеческая воля. Он крупнейший специалист по астрофизике. Если бы его не постигло несчастье, может, он так бы и жил физическим шалопаем. Зачем ему было достигать? Есть масса удовольствий, ездил бы, путешествовал, читал лекции, трахал студенток. Впрочем, почти все это он делает. И более того. Создал теорию, обставил на своей коляске многих крупных физиков.

Все же безграничны возможности человека. Мы понятия не имеем, на что способны наш организм, наш ум, наша воля.

На подлокотнике его кресла компьютер, где есть синтезатор речи. Можно вести диалог, читать лекции. Черные дыры, космология — его специальность, он стал в астрофизике корифеем. Сегодня, в 2007 году, ему 65 лет. Окончил Оксфорд. «Хокинг свои „подвиги“ совершил после того, как его разбил паралич», — писал В. в своем очерке о Стивене.

Ему в какой-то момент удалось по-своему объяснить теорию относительности и квантовую механику. Доказал, что черные дыры могут излучать и энергию, и массу.

Как большой ученый, он после всех своих открытий может признать, что не знает, «почему возникла наша Вселенная».

Я сопровождал его в прогулке по Кембриджу. Коляска на аккумуляторах резво катилась, прохожие раскланивались с профессором. Он чувствовал себя одним из них, из прохожих, из обитателей Университетского городка. А я все не мог успокоиться. Возможности человека не давали мне покоя. Мы не имеем понятия, каковы пределы нашего мозга, нашей воли, наших сил.

Я столкнулся с этим, еще изучая поведение наших блокадников. Такой пример: от голода умирает мать двоих детей. Она, как могла, выхаживала их, но больше нет сил. Организм истощен до предела. Она понимает, что умирает, во время

блокады ощущение смерти у людей стало безошибочным, приближение ее слышали, знали заранее — умру вечером, ночью, и смерть приходила без опозданий.

Но вот что произошло — дети оба, малыши, стали тормозить ее, мама, не умирай, просили, плакали, и она продержалась еще два дня, а тут пришел военный от мужа, принес сахару и пшена. Так она выжила.

СТИРАЯ ПЫЛЬ

В 1970 году попался мне старый, двадцатых годов альманах «КОВШ». Полистал, наткнулся на повесть Василия Андреева «Волки». Имя ничего мне не говорило, проглядывал повесть без интереса, как вдруг что-то зацепило, блеснуло. Вернулся к началу, прочел ее залпом. Обрадовался замечательной крепкой прозе, в ней и жизнь тех лет, и язык, и мысль авторская, ничего не устарело. Еще живы были писатели, кто помнил начало советской литературы, литературный Петроград — Михаил Леонидович Слонимский, Геннадий Гор, Юрий Герман, Юлий Рест и другие «хранители огня», они знали Василия Андреева.

О нем ходило тогда немало легенд. Полузабытые, потраченные временем, они рисовали человека самобытного, чудачковатого. Он появлялся в их рассказах пьяным, с издевкой над литературным этикетом, со страхами перед талантом. О нем ходила занятная история. Будучи сослан в Туруханский край за участие в революционном движении, он прожил там четыре года — с 1910 по 1913 год, обвиняли его в убийстве жандарма. Там он познакомился с известным большевиком Иннокентием Дубровинским. О нем впоследствии написал книгу и еще воспоминания о ссылке, но все это, кажется, не сохранилось. Самое же любопытное, что познакомился он в этой ссылке со Сталиным и одолжил ему свою шубу то ли перед отправкой Сталина по этапу, то ли когда Сталин решил бежать, но, в общем, произвел такой широкий жест и подарил со своего плеча шубу будущему вождю всех народов.

В двадцатые годы он не бедствовал, его пьеса «Фокстрот» с успехом была поставлена в двадцать четвертом году, пьеса была об уголовном мире. Леонид Радищев вспоминал: «Его не включали ни в одну из обойм, он не состоял в группировках,

не ходил на заседания, не состоял в редколлегиях, не сообщал, „над чем я сейчас работаю“». Разумеется, его ругали за интерес к «никчемным людишкам», не нужным для революции. Требовали перейти от уголовно-люмпенских тем к широкому социальному охвату. Однако постепенно Андреев спивался, перед войной его перестали издавать.

Будучи совсем без средств, он решил напомнить товарищу Сталину про свой «заячий тулупчик» и, представьте себе, попросил помощи, разумеется, материальной, так и написал. И как мне рассказывали, даже получил ответ. Но тут сведения расходятся. Одни говорят, что ответ был строгий и холодный, через обком партии, другие, что ответа собственноручного не было, а его пригласили органы и посоветовали со своей бестактностью умолкнуть. Во всяком случае, не было того, чтобы товарищ Сталин обрадовался появлению старого приятеля, не пригласил к себе, не отправил его в «Торгсин» выбирать любую шубу. А было следующее. В 1941 году, через несколько месяцев после начала войны, Василий Андреев исчез. Вышел из дома и исчез. Больше о нем ничего не известно. Был какой-то слух, что его вывезли на самолете, но слух совершенно ненадежный.

В биографии его много невнятного, никто им не занимался, а когда займутся, то вряд ли сумеют что-то восстановить.

Сочинения Василия Андреева относятся к литературе не запрещенной, не связанной с репрессиями, это скорее литература упущенная. Большой слой литературы 1920–1930-х годов не переиздавался, не выходил после рокового тридцать седьмого года. Естественное течение литературного процесса было прервано. Одним из таких утаенных писателей оказался Василий Андреев. При жизни его было издано примерно десять книг повестей и рассказов. Они не равноценны, но в лучших из них есть жизнь городских низов, воровской мир, кабаки, пивные, питерские окраины тех лет. Видно, что писатель превосходно знал эту среду, сочный ее язык, ее обычаи, мораль. С некоторым усилием мне удалось издать книгу Василия Андреева в издательстве «Художественная литература».

В зеркалах прошлого то и дело мелькнет облик сегодняшнего дня. Повесть В. Андреева «Волки» и лучшие рассказы, в том числе и детские, для меня стали счастливым открытием.

Несправедливо забытых писателей, если пошарить по су-секам советской литературы, немало. На моей памяти «утонули» в Лете Дмитрий Остров, Кирилл Косцинский...

В 1923 году Есенин писал Кусикову: «Дрянъ Америка, вроде Баку, Сандро — тоска, тоска. Уехал бы в Африку, тошно быть пасынком, подхалимы-писатели. От революции осталось — тьфу. Какой революции я принадлежал? Ни к Февральской, ни к Октябрьской».

ПОСТУПКИ ЛЮБВИ

С большинством знакомых людей я не помню, как познакомился, при каких обстоятельствах. А вот с Лидией Николаевной помню. Обстоятельства были особые.

Я впервые приехал в Париж. Это было в 1956 году. Тогда принято было писать: «мы приехали», «мы посетили». Наш традиционный коллективизм. Всегда вместе, организованно — и за грибами, и в Париж. То был один из самых первых рейсов — круиз! — вокруг Европы. В том числе Марсель и поездом в Париж на три дня. В Париже, конечно, Лувр. Паустовский предложил мне и Леониду Николаевичу Рахманову ограничиться минимумом. Вместо того чтобы стараться obejать тысячи картин и скульптур, осмотреть в Лувре три вещи: Венеру, Нику и Джоконду. К тому времени лично меня уже поташнивало от музеев Греции, Италии, от мраморных шедевров, уникальных фресок, гобеленов, росписей, от множества величайших, гениальных, всемирно известных. Предложение Константина Георгиевича мы приняли охотно. Постояли перед Никой Самофракийской, перед Венерой, Джокондой. Перед каждой довольно долго. Это было трудно. Это было как бы погружение. Нелегкое, непривычное — погружение в красоту или в совершенство, не знаю, как назвать то, чему нет конца. Поначалу становится скучно, потом приходят всякие мысли, затем чувства, среди них почему-то грусть перед тем, чего до конца постичь невозможно; тем, что в моей жизни такого совершенства, такой красоты не встречалось. Или я прошел мимо, не заметив...

Перед Джокондой я уже не томился, а довольно быстро расчувствовался. Стоял, не замечая времени. Очнулся я, за-

метив, что Константин Георгиевич плачет. Мы переглянулись с Рахмановым. Деликатнейший Леонид Николаевич показал мне глазами: не надо обращать внимания. Заметив, как на Паустовского глазект, я все же тронул Паустовского за рукав. Мы вышли из Лувра, ни на что больше не взглянув. Устали. Сели на скамейку и долго молчали.

Тут к нам подошла Лидия Николаевна Делекторская. На самом деле не к нам, а к Паустовскому. Она видела его слезы и не вытерпела. Кажется, сама прослезилась. Она знала о приезде Паустовского в Париж. Она была давней его поклонницей. Романтика Паустовского всегда привлекала и будет привлекать читателей.

Лидия Николаевна села с нами, представилась. Была она с сестрой. Ее сестра Елена, фотограф и художница, сфотографировала нас. Они пригласили нас к себе. Жили обе в одном доме: Лидия выше этажом, Елена под ней. Мы провели несколько прекрасных часов. Прекрасных, потому что из вопросов-ответов узнали жизнь Лидии Николаевны. Главным в ее жизни, по крайней мере для меня, была дружба с Анри Матиссом. Много лет, вплоть до его смерти, она была его секретарем, подругой, его любовью. Дочери русских «белоэмигрантов», они с сестрой сумели стать русскими француженками. На стенах висели фотографии — Петербург, Харбин, Париж. Лидия Николаевна на них не менялась, была все так же хороша, как в юные годы. В 1940 году она уже работала у Анри Матисса. Все в ее облике привлекало ясностью. Она была именно хороша, почему-то не могу назвать ее красавицей, но Матисс рисовал ее с восхищением. В галерее его любовниц ей досталось место и помощницы, и, может быть, его последней привязанности.

О приезде теплохода с советскими туристами в Марсель, о посещении Парижа писали в газетах, тогда, в 1956 году, для Франции это было в диковину. В числе знатных пассажиров на первом месте упоминали Паустовского. У французов был свой табель о рангах. Лидия Николаевна дождалась нас у Лувра, и вместе с сестрой они шли за нами. Слезы Паустовского у Джоконды все решили. После этого она подошла к нам.

Квартирка ее, двухкомнатная, маленькая, была увешана картинами и рисунками Матисса. В то время даже для меня,

жильца коммуналок, эта квартирka показалась весьма и весьма скромной. И никак не вязалась с праздничной живописью Матисса, с этим ликованием красок.

Гений Матисса для меня бесспорен, очевиден, хотя это не мой художник. Однако там, в квартирке Лидии Николаевны, эти работы блистали, никакая другая роскошь рядом с ними была не нужна, просто не смотрелась бы.

После смерти Матисса ей достались эти и некоторые другие работы художника, его графика, его аппликации. Большую часть она подарила Музею имени Пушкина в Москве и Эрмитажу. Все вместе они составили целое состояние. Уже тогда Матисс ценился весьма высоко.

Вечером Паустовский сказал мне, что ее дар, картины, у нас вряд ли выставятся. Пока или еще. В те годы даже импрессионисты были заточены в наших запасниках. Матисса ожидала та же участь. Лидия Николаевна знала об этом.

Паустовский был блестящим рассказчиком, я имею в виду не только написанное им, но и его устные рассказы. Я мог слушать его часами, и он мог рассказывать часами. Из крохотной детали он выращивал «магический кристалл». Из рассказа Лидии Николаевны он создал прелестную повесть о любви великого художника и великой женщины, но, к сожалению, так и не написал ее. А я не посмел записать — не моя. Вся история, вернее, истории, связанные с Лидией Николаевной, принадлежали ему, а я был второстепенный персонаж, случайный свидетель.

Потом мы с Лидией Николаевной поехали на кладбище Св. Женеvьевы. Позднее, бывая в Париже, я еще раз посетил с ней это кладбище, она там заранее купила место себе. Оба посещения для меня слились, расчленить их трудно. Здесь лежало много ее друзей, тех, о ком она знала и могла нам представить.

Был сентябрь, теплынь, цвели цветы, по песчаным дорожкам прогуливались пожилые пары, старики из русского пансионата, что был рядом.

Паустовский считал, что Лидия сперва полюбила Матисса как человека, потом как художника. У великих французских художников необъяснимая тяга к русским женщинам — Леже, Пикассо, Дали, Матисс. Для Матисса она была и секретарем, и натурой. Снова и снова он возвращался к ее образу, пытал-

ся узнать, добраться до тайны, ибо любящая женщина — это всегда тайна.

Для Паустовского история любви Лидии — это история любви и к Матиссу, и к России. Изгнанная из нее, отверженная, она тем не менее отдала ей то, что могло обеспечить ей безбедную жизнь, более того — со всеми радостями комфорта. Не говоря уж о памяти — она же расстается с дорогими ей творениями, теми, что создавались у нее на глазах, теперь они будут спрятаны...

Она могла бы... Мы выстроили несколько счастливых вариантов ее судьбы.

Мы хотели избавить ее от неблагодарности, оскорбительного пренебрежения наших партийных чинуш, для которых Матисс был чем-то враждебным.

Мы были правы — ей пришлось с этим столкнуться. Никто в те годы не рассыпался перед ней в благодарности, начальников не трогал ее бескорыстный драгоценный дар, он доставлял только лишние хлопоты: не принять нельзя, а принять и не выставить — вызвать разговоры.

Уроки прошлого, участь родителей, эмиграция ничему не научили ее.

Мы были правы, мы лучше нее знали нашу советскую действительность.

Но она была права иной, высшей правотой, она верила в непобедимую силу гения Анри Матисса, она знала про временность советского бескультурья, советской дикости, а может, и про временность советского режима.

С того парижского знакомства мы стали переписываться. Лидия приезжала в Ленинград. Встречи с ней были праздником. Она любила Питер. Она умела смотреть и видеть его.

Она помогла издать собрание сочинений К. Паустовского во Франции, сама перевела некоторые его вещи. Ее любовь была деятельной, у нее появилось много друзей в России. Она привлекала к себе душевностью и какой-то особой деликатной сердечностью. В ней соединялись русская интеллигентность и французская изысканность.

В нашу последнюю встречу в Москве она болела, но все равно удивила меня прочностью своей красоты. Она не старела. Каждый раз дарила мне новые монографии о Матиссе, его рисунки. У меня висит литография — ее портрет,

рисованный Матиссом, — легкая безупречная линия создает черты лица задумчиво счастливого, в нем нет, кажется, ничего особенного, за исключением одного: не хочется отрывать от него взгляда.

Я не был на ее могиле, не знаю, какой памятник там стоит. Память о ней хранится в Эрмитаже и в Музее имени Пушкина. Это самый прочный и самый посещаемый памятник. Так мудро и красиво распорядилась ее душа, заполненная любовью.

ПЕРЕХОД В НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕНИЕ

Появилось молоко в картонных коробках, сметана «По рецептам царской Руси», магазины заполнены винами всех стран. Убирают из города трамваи, снимают полувековые слои асфальта перед тем, как положить новые, а то улицы постепенно погружались в асфальтовую толщу, всегда накатывали новый слой асфальта на старый, дома становились как бы меньше ростом. Миллионы машин заполнили город до отказа, всюду пробки. Валяются банки из-под пива, газетные киоски переполнены глянцевыми журналами, нашими и иностранными.

Вывески по-английски, в лифте — английские ругательства. Встречные на ходу прижимают к уху мобильники и говорят, говорят. В театрах, на концертах всюду звонят мобильники. После долгого молчания страна разговорилась. По мобильникам и переписываются (посылают «эсэмэски»), и фотографируют что ни попадя. Окраины города застраиваются огромными супермаркетами. Дворы закрылись, ворота на кодовых замках. Повсюду остерегаются — кого? Воров, бандитов, «черножопых» — это повсеместное название «лиц кавказской национальности». Великое множество ресторанов, кафе, баров, они вполне респектабельные, есть шикарные, роскошные, открываются все новые и новые, по вечерам в них полно. Город пьет, жрет, пирует.

Мы не задавались вопросом, почему у нас было так много шпионов, во всех городах, на всех крупных заводах, в министерствах, вредителей еще больше, десятки, сотни тысяч, и появлялись все новые. Как только капиталисты не разорятся содержать всю эту армию шпионов?

Откуда они берутся? Переходят границу? Сколько внутри КПСС врагов народа, и появляются все новые и новые. Проникают в Кремль. Может, они там возникают? Был нормальный человек, попал наверх и переродился, стал врагом народа?

Ты — идейный беспризорник.

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА

Шел спектакль Малого театра «Святая святых» Иона Друцэ.

Пожаловал со своей свитой Г. В. Романов, первый секретарь Ленинградского обкома, был такой. В театрах бывал редко, однако спектакль привезли из столицы, там он пользовался большим успехом. К тому же приезжие народные артисты персонально пригласили.

Идет действие. Актер в роли Льва Толстого в каком-то месте, по пьесе расстроенный, огорченный, произносит: «Русские — дураки!».

И тут на весь зал раздается хмельной начальственный окрик Романова: «Нет, русские — не дураки!» Шумно встает, выходит из ложи, за ним все его мюриды.

Одернул Льва Николаевича, не хуже Владимира Ильича, который тоже Льва Толстого ставил на место в своих статьях.

Как член Верховного Совета Романов награждал орденами. Однажды на церемонию пригласили меня. Вручение происходило в Малом зале Смольного. Первым был вызван я. Рукопожатие. Романов нацепил орден. Я произнес «Спасибо» и ничего более. «Что, не доволен? — сказал Романов. — Мало дали?» «А я и не просил», — ответил я, вернулся на место. Следующему вручали художнику А. А. Мыльникову. Тот тоже «Спасибо», но уже горячо, и прочувствованно преподнес монографию о своем творчестве. Романов повертел ее, нахмурился, «Это на каком языке?» «На английском», — гордо пояснил Мыльников. Романов с размаха швырнул ее на пол.

На обратном пути я не преминул подколоть Мыльникова: «На английском! Думал, его потрясет? А он тебе преподавал патриотизм».



ПОХОРОНЫ

20 ноября 1975 г.

Вот и похоронили Ольгу, Ольгу Федоровну Берггольц. Умерла она в четверг вечером. Некролог напечатали во вторник, в день похорон. В субботу не успели! В воскресенье не дают ничего траурного, чтобы не портить счастливого настроения горожан. Пусть выходной день они проводят без всяких печалей. В понедельник газета «Ленинградская правда» выходная. Во вторник не дали, что, мол, особенного, куда спешить. Народ ничего не знал, на похороны многие не пришли именно потому, что не знали. Газету-то читают, придя с работы. Могли ведь дать хотя бы траурную рамку, то есть просто объявление: где, когда и где похороны, дать можно было еще в субботу. Нет, не пожелали. Скопления народа не хотели. Романовский обком наконец-то мог отыгаться за все неприятности, какие доставляла ему Ольга. Нагнали милиции: и к Дому писателей, и на Волково кладбище. Добились своего — народу пришло немного. А как речей боялись, боялись, чтобы не проговорились — что эта великая дочь русского народа была «врагом народа», была арестована, сидела, у нее вытоптали ребенка, ее исключили из партии, поносили... На самом деле она

была врагом этого позорного режима. Никто, конечно, и слова об этом не сказал. Не проговорились. Только Федя Абрамов намекнул на трагедию ее жизни, и то начальство заволновалось. Я в своем слове ничего не сказал. Хотел попроситься, сказать, за что любил ее, а с этими шакалами счеты у гроба сводить — мелко перед горем ее ухода, заплакал, задохнулся, слишком много нас связывало. Потом, когда шел с кладбища, нет, даже на следующий день заподозрил себя — может, все же убоялся? Неужели даже над ее гробом лжем, робею.

Зато начальство было довольное. Похоронили на Волковом, ■ ряду классиков, присоединили, упрятали в нечто академическое. Так спокойнее. И, вроде бы, почетно. Рядом Блок, Ваганова и пр. Чего еще надо? А надо было похоронить на Пискаревском, ведь просила — с блокадниками. Но где кому лежать, решает сам Романов. Спорить с ним никто не посмел. А он решает все во имя своих интересов, а интерес у него главный был — наверх, в Москву, чтобы ничего этому не помешало!

Надо было оповестить о ее смерти и по радио, и по телевидению, устроить траурный митинг, траурное шествие. Но у нас считают, что воспитывать можно только радостью. Что горе — это чувство вредное, мешающее, не свойственное советским людям. О своей кончине начальники не думают, мысли о своей смерти у них не появляются. Они бессмертны. Может, они и правы. Их приход и уход ничего не меняет, они плавно замещают друг друга, они вполне взаимозаменяемы, как детали ■ машине.

Машина эта и Ольгу старалась перемолоть, пропустить через свое сито, через свои фильтры, дробилки, катки. Даже некролог, написанный Володей Бахтиным, написанный со слезами, любящим сердцем — искромсали, не оставили ни одной его фразы. И то же сделали с некрологом Миши Дудина в «Литгазете».

Накануне я был у Ольги дома. Ее сестра, Муся, рвалась к ней ночью, домработница Антонина Николаевна не пустила ее. Какая-то грязная возня, скандал разразились вокруг ее наследства. Еле удалось погасить. А Леваневский, старый стукач, уже требовал передать ее архив в НКВД (!).

На поминках выступала писательница Елена Серебровская, тоже сексотка, бездарь, которую Ольга терпеть не могла. На могиле выступал поэт Хаустов. Зачем? Чужой ей человек.

Обозначить себя хотел? Вся нечисть облепила ее кончину, как жирные трупные мухи.

Мне все это напомнило похороны Зощенко, Ахматовой, Пастернака. Как у нас трусливо хоронили писателей! Чисто русская традиция. Начиная с Пушкина. И далее Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Есенин, Маяковский, Фадеев... Не знаю, как хоронили Булгакова, Платонова. Но представляю, как хоронили Цветаеву.

На поминках Елена Серебровская оговорила, что не была другом Ольги Федоровны, но должна сказать, как популярно имя Ольги Берггольц за границей, и т. д. Не была другом. Да, Ольга ненавидела эту доносицу, презирала ее. Она бы никогда не села с ней рядом, увидела бы ее за столом — выгнала бы, изматерила. Если бы она знала, что эта падла будет выступать на ее поминках, жрать балык, пить водку, принесенные на заработанные Ольгой деньги.

И на похороны Ю. П. Германа Серебровская пришла и стояла в почетном карауле у гроба человека, которого травила, на которого писала доносы, которого убивала.

Что это такое? Кошунство — безнравственное извращение человеческой души, где не осталось ничего запретного, нет ничего стыдного, нечего уже совеститься. Не то, что все дозволено, а все сладко, самое мерзкое сладко, человечину жрать — радость.

АКАДЕМИК А. Л. МИНЦ

Камера на 20 человек, сидели 90. Китаец, прачка, сотрудник И. А. Орбели, голландский коммерсант по лесу. Сделали Минцу 120 часов непрерывного допроса, конвейер. Устроили Александру Львовичу Минцу очную ставку с Гуциным — шпион, завербован в Португалии. Тот вошел, несчастный, в глазах мука.

«Да, я знаю Гущина как несгибаемого коммуниста, — сказал Минц, — он кровь проливал на Гражданской войне, ничего не боялся, все, что он делал, подчинялось одному — должно было идти на пользу стране».

И тут Гуцин заплакал.

Минца вызвал Берия.

«— Вы строили радиостанцию „Коминтерн“?

— Я.

— А „ВЦСПС“?

— Я.

— А коротковолновую?

— Я.

— Какой же вы вредитель. Ах, Ежов, Ежов... Задание вам: создать радиостанции партизанские, даю 3 месяца.

— Нет, 6 месяцев!

Тут на меня накинулся его подхалим Лапшин.

Я говорю:

— Неужели вы думаете, что мне хочется лишних три месяца сидеть и работать под вашим руководством?

Берия засмеялся:

— Да, это убедительный аргумент.

У Лапшина вареные белые глаза. Чем больше я работал, тем больше они получали орденов и тем крепче за меня держались, не выпускали».



Его не переубедить, он твердо знал, как все было:

«От Сталина скрывали, как насильно загоняли в колхозы, что творилось в деревнях. Когда он узнал, сразу написал статью „Головокружение от успехов“ и навел порядок. Ежов тоже обманывал Сталина, проводил незаконные репрессии. Как Сталин узнал, так снял Ежова, наказал его. Подчиненные просто держали его в неведении. Дезинформировали».



— Смысл жизни выяснится там... Господь знает, зачем ты жил.

— Если он знает, а я нет, то для меня она бессмысленна. И зачем мне, закончив жизнь, что-то потом узнать? Это точно подтверждает бессмысленность.

— Спор наш бесполезен, спор между верой и безверием ни к чему привести не может. Вера — основа всех религий, вера недоказуема. Вера, вот что интересно, она всегда не во зло, а в добро.

— А вот скажи мне, можно ли в своей молитве возноситься не только к Господу, но и к своей совести, просить ее уберечь

тебя от плохих поступков, молиться о ее силе. Бессовестность всегда похожа на безбожие.

— Не знаю, можно ли молиться своей совестью.

КОМАРОВО

Комарово — совершенно уникальное место. В одном поселке сошлись и Шостакович, и Соловьев-Седой, и Черкасов, и Евгений Лебедев, и Товстоногов, и Козинцев, и Лихачев, и Евгений Шварц, и Ахматова, и Жирмунский, и Бродский... Писатели, поэты, музыканты, артисты, художники, прославившие нашу культуру. Они жили здесь, приезжали сюда... Были ученые — Иоффе, Алферов, Линник, Фадеев, Горынин, Смирнов... Здесь не просто дачное место, Комарово связано с их биографией, с их творчеством, со всей их жизнью. И вдохновение, и утешение... Это место, где люди любили встречаться, дружили, общались, спорили...

Комарово — единственный своего рода заповедник, где собралось все лучшее, что было в Ленинграде, в его науке и культуре. Общение летнее. Зимой, в городе, общение совсем другое, забитое делами, расписаниями.

Работалось здесь хорошо. Для меня пейзаж Комарово — напоминание детства, которое прошло в новгородских, псковских лесах, в борах. Там были смолокурни, деготь, лесозаготовки. В Комарово те же сосны, пески. Из Комарово мы с женой по всему Карельскому перешейку носились. Где-нибудь в Сиверской больше и полей, и лугов. Там ляжешь в поле, смотришь на небо... В Комарово неба мало, хотя больше, чем в городе. Зато есть залив.

К нам много приезжало французских, китайских, американских писателей. Для них, конечно, Финский залив обладал особой прелестью. Какая-то в нем есть домашность, он ручной, кроме того, он имеет историю. Выходишь где-то на берег Тихого океана, там истории мало. А Финский залив историчен: Кронштадтское восстание, матросня, переход Ленина из Петербурга в Финляндию и обратно, бегство наших людей от революции, Вторая мировая...

Хорошо сидеть у залива... Хорошо ходить по лесу... Но если говорить о работе — это вещи необязательные. Для того чтобы работать, нет надобности попасть в какое-то любимое место.

Это представление о работе не мое. Чтобы начать работать, для этого нужно просто намотить тишину и одиночество. Есть писатели, которые работают на ходу. А есть писатели, которым нужно одиночество, возможность сосредоточиться, не отвлекаться. У каждого свой процесс погружения.

Городская жизнь отделяет от природы. И это огорчительно. Лишиться природы как мира, в котором человек всего-навсего небольшой соучастник, — потеря. Даже если это как у Пруста, который вообще мало выходил из комнаты. Когда он пишет, для него даже шум за окном — воспоминание о запахах... Все восходит к природе, к общему миру, в котором живет человек. Иначе остается чисто мысленное прохождение жизни. Жизнь как продукт мысли, блекнувших воспоминаний...

Вот бабочка... Что такое бабочка? Два совершенно волшебных крыла, а посередине невыразительный червяк. Крылья бабочки — чудо по своему рисунку, по краскам, по гармонии. То, что между ними, никакой красоты не представляет. Такая гусеничка волосатая... Но сочетание — это тем более чудо. И тайна.

Когда живешь в городе — живешь, как червяк. И этих двух крыльев — не ощущаешь.

Впервые я приехал сюда в начале 1950-х годов.

Дом творчества писателей располагался в старом деревянном доме, который при финнах был пансионатом. Красивый трехэтажный дом. Им заправляла одна немка, она жила здесь еще при финнах. Александра Карловна, хорошая была хозяйка.

Мне, как молодому писателю, давали комнату на самой верхотуре — на третьем этаже, в башенке.

Дом творчества был своеобразен, он сохранял особенности пансионата. Деревянная столовая была во дворе, там, где и теперь. Посередине общий стол — большой, овальный, за которым все собирались на завтрак, обед и ужин. Завтракали и обедали наспех, потому что все-таки торопил рабочий день, а вот за ужином начинался треп. Старались прийти в одно время, слушали краснобаев — там сиживало немало остроумных, интересных людей.

В начале шестидесятых годов выделили несколько участков земли для ленинградских писателей: Александру Грину,

Анатолию Чивилихину, Борису Мейлаху, Александру Черненко. В число прочих попал и я, поскольку был в то время автором романов «Искатели», «Иду на грозу».

Жена предложила потратить гонорар на дачу в Комарово. Построить дом — решение непростое, прежде всего психологически. Но, слава Богу, она настояла, сама взялась за дело и соорудила из финского стандартного домика дачу с мансардой.

В Комарово жили тогда Володя Константинов и Боря Рацер, известные драматурги-комедиографы. Прибегал ко мне Володя: «Данила, дают арбузы» или «Дают виноград»; приходил Евгений Лебедев и говорил: «Данила, пойдем промышлять», и мы шли промышлять в магазин. Женя был незаменим для добычи дефицитных продуктов. Мы заходили напрямик в дирекцию, ничего не просили, достоинство мешало, Женя не унижался до просьб (они его просили, чтоб он принял), Женя начинал рассказ, рассказы у него были бесконечны, торговля нарушалась, все продавцы старались прийти послушать. Великий артист, он к тому же был великий рассказчик. После того как мы посидим там минут сорок или час, нас спрашивают:

— Что бы вы хотели?

— А что у вас есть?

— Есть сгущенка.

— Ну, давайте сгущенку.

Или

— У нас есть бананы.

— Ну, давайте бананы.

Мы брали машину, везли ящиками очередной дефицит.

Очереди выстаивались за арбузами, за дынями, за виноградом, за любыми фруктами. Очередь требовала выстаивания, очереди вообще составляли немалую часть советской жизни. В очереди происходил живой обмен информацией, обсуждалась жизнь страны. В Германии для этого имелись пивные, а у нас — очереди. Вышло постановление об инвалидах и ветеранах войны — инвалиды и ветераны войны имели право идти без очереди. За каких-то полгода после этого постановления они потеряли всякое сочувствие населения, их, не стесняясь, ругали, а они, не стесняясь, злоупотребляли, даже приторговывали

вали своим правом. Впервые здесь, в Комарово, столкнулся я с тем, как безобразно подставляла наша власть своих солдат.

Анна Андреевна Ахматова жила совсем недалеко от нашей дачи. Там было несколько так называемых литфондовских дач, или, как она их окрестила, «будки». В одной из таких будок она жила, по соседству с ней жил ее друг поэт Александр Гитович. Как-то приехали ко мне в гости мои чешские друзья: Владислав Мнячко, словак, партизан, хороший писатель, человек интересный, и чехи-писатели Иржи Гаек и Иван Скала. Сидим выпиваем, говорим о том о сем, случайно заходит речь об Анне Ахматовой, я говорю, что она живет тут рядом, ну, они загорелись: «Хотим ее видеть», я сколько их ни отговаривал, — «Во что бы то ни стало хотим видеть». Для них имя Ахматовой связано не только с Серебряным веком, но и вообще с мировой поэзией, чттили они ее, уговорили пойти навестить. Телефонов не было. Я уступил, поскольку мы все четверо были уже за пределами учтивости. Я знал Анну Андреевну, общался с ней, не часто, но все-таки. Застали мы ее, конечно, неожиданно, не в лучшую для нее минуту, она гостей не ждала, была в заношенном халате, с неубранными волосами. Они увидели старую женщину, в этой жалкой дощатой даче, драная мебель, драное кресло... Но ничего этого они не заметили, а при виде ее упали на колени, произошло это у них произвольно, все трое упали и поползли к ней на коленях к ее руке. То, что они так сделали, для меня это было понятно, это было преклонение их, писателей, перед великим поэтом, но то, как она это приняла, восхитило. Она приняла их коленопреклоненность словно так надо, благосклонно, как императрица.

Неподалеку от меня жил Виктор Максимович Жирмунский. Один из самых замечательных российских германистов. Возвращаясь из университета, он порой заворачивал ко мне и говорил: «Данила, а не раздавить ли нам „малыша“?» Жена не разрешала ему пить. Мы садились с ним на крылечко, я приносил огурцы, а он доставал из своего портфеля «малыша». «Малыш», как известно, вмещает 250 граммов, ему полагалось 150 граммов, а мне 100, ибо он академик, а я рядовой писатель. Он был эрудит, умница, и было удовольствие слушать его рассказы. Он был слишком порядочный человек, поэтому ему доставалось от всякого рода проходимцев, которых много

было и то время среди литературоведов, особенно в тогдашнем Пушкинском доме.

Жил в Комарово глава нашего Союза писателей поэт Александр Прокофьев. Мы с ним и дружили, и враждовали. Он меня выдвинул секретарем Союза и в то же время мог наорать на меня, разъярялся, если его я начинал оспаривать. Я ему говорю: «Что вы орете на меня, что я вам, мальчишка?» Хлопал дверью, уходил из секретариата, он через день-два возвращал меня. Диктаторство, произвол, не хочется рассказывать, что он вытворял, но писатели терпели, потому что в душе своей он был благородный человек, и ему за нас попадало крепко. Он любил Ахматову и старался помогать ей, защищал. С другой стороны, такого писателя, как Мирошниченко, который доносами погубил немало людей, Прокофьев открыто не терпел (между прочим, он тоже здесь жил, в Комарово), отвратителен ему был доноситель-provokator Евгений Федоров и прочая кодла. Прокофьев прекрасно понимал, что есть настоящая поэзия, настоящая литература, это для талантливого человека всегда создает тяжелые конфликты с бездарью, а Прокофьев был очень талантлив.

Он прошел через революцию, Гражданскую войну, пережил романтику революции, ее ужасы, ее восторг — все вместе, но сложность Прокофьева была в том, что в крови у него была законопослушность, хотя это не обязательно плохое качество. «Богу богово, кесарю кесарево», дано это правительство или этот закон — и я должен его выполнять.

Даже такой еретичный человек, как Тимофеев-Ресовский, мой «Зубр», когда играли «Интернационал», вставал первым, то же самое и Прокофьев. Он чтит Сталина, после Сталина так же чтит Хрущева.

Когда на очередной встрече с Хрущевым поэт Смирнов при мне сказал Хрущеву: «Вы знаете, Никита Сергеевич, мы были сейчас в Италии, многие принимали Прокофьева Александра Андреевича за вас». Хрущев посмотрел на Прокофьева, как на свой шарж, на карикатуру: Прокофьев был такого же роста, как Хрущев, с такой же грубой физиономией, толстый, мордатый, нос приплюснут, ну никак не скажешь, что поэт и большой поэт. Посмотрел Хрущев на эту карикатуру, нахмурился и отошел, ничего не сказав. Прокофьев чуть не избил этого Смирнова. Прокофьев не хотел быть похожим на Хрущева,

но и то же время был уязвлен обидой Хрущева. Несмотря на свою внешнюю мужиковатость, он был тонким, начитанным и умным человеком. Однажды меня вызвали в Большой дом, там было какое-то глупое совещание писателей, которых уговаривали писать о чекистах. В перерыве отвели на выставку, которая называлась «История ЧК». Там висел портрет Прокофьева «Почетный чекист». Он никогда не упоминал об этом периоде своей жизни, и том молодом юношеском завихрении было много всякого.

До Прокофьева у нас был первым секретарем Кочетов. Это совсем иная статья. Сталинист, догматик. Убежденный хулигатель интеллигенции. Может, зависть способствовала, может, то, что его не допускали в свой круг лучшие писатели города. Кочетов был прославленный, но малоинтересный писатель весьма среднего уровня. Им управляли прежде всего зависть и амбиции. «Писать надо по-простому, — учил он меня, — для народа, для людей, вот как я пишу. Вот я пишу про рабочий класс „Журбины“ роман, и все понятно, все ясно. Я помогаю и партии, и правительству, а то, что эта интеллигенция все мудрит, изощряется, кому это нужно, этот Серебряный век, все эти Крученных-Перекрученных, на хрена они нужны?»

Прокофьеву было нелегко воспринимать молодых, дерзких, он пытался запретить их выступления, не терпел песенников вроде Окуджавы, но не возражал, чтобы их печатали в «Дне поэзии», понимал, что это чужое ему, но талантливое. У молодого Прокофьева были невероятные озарения, вот он пишет о закате:

«Розовые кони встали в стойла,
Это продолжалось полчаса».

Николай Тихонов мне говорил о Прокофьеве с восторгом. И Твардовский любил его поэзию. Тихонов тоже пример талантливого человека, которого обкорнали его общественные должности. Он часто приезжал сюда, в Комарово, на несколько дней. Здесь в Доме творчества он не жил, а живал, он нигде не мог жить, кроме своего ленинградского дома. Тихонов был божественной прелести рассказчик. Благодаря своему общественному положению (возглавлял Правление Советского фонда мира) он путешествовал по всем странам и, когда

приезжал в Ленинград, собирал у себя друзей, ему нужна была аудитория, пять, восемь, девять человек сидело за столом, и он сам наслаждался своими рассказами.

В Комарово селились люди, которые были уже как-то знакомы или тут знакомились. Сперва это кастовое было знакомство, потом оно стало расширяться, ходили друг к другу в гости, играли в карты, устраивали вечера, шашлыки, выпивали.

Я дружил с Геннадием Гором, я его любил, а когда здесь поселился Товстоногов, а затем Лебедев, Жирмунский, это стало богатством общения. Приходил в гости Георгий Козинцев с Валентиной Георгиевной, они ходили на прогулку, которая как раз кончалась нашим домом. Хейфец приходил. Москвичи, когда приезжали, приходили ко мне: Саша Яшин, Белла Ахмадулина с Борей Мессерером, Ираклий Андроников, Кайсын Кулиев...

Приходили-приезжали, конечно, не только ко мне, к Анне Андреевне шел целый поток посетителей, так что круг знакомств был большой. У нас не было клубов, салонов, как за рубежом, и комаровские компании в какой-то мере дополняли этот дефицит общения, спасали от духовного голода.

Замечательный художник Натан Альтман жил в Доме творчества архитекторов в Зеленогорске, но они с Ириной Щеголевой, его женой, любили Комарово. Ирина Валентиновна Щеголева-Альтман была веселая, эксцентричная красавица, она была, как переходящий приз, были такие жены, которые переходили от одной знаменитости к другой. Заполняя анкету, она в графе «профессия» могла написать просто — «красавица». Она жила с Альтманом, которого любила и ценила, что не мешало вести ей веселую жизнь. Она любила ошарашивать людей, например, когда приходили молодые художники к Альтману, она открывала дверь голой и представала перед ошавшим художником во всей своей первобытной красе. После смерти Альтмана она часто приезжала на его могилу и по дороге заходила к нам, любила выпить, они с Риммой, моей женой, весело общались подолгу. Дружила она с замечательной группой художников-карикуристов, в число этих художников входили Малаховский, Гальба, Архангельский, были там поэт Эмиль Кроткий и драматург Николай Эрдман.

Летом в Комарово обменивались самиздатом, передавали друг другу на день, на два, на ночь. Сюда приезжали интересные авангардные молодые художники, им надо было на что-то жить, приезжали продавать свои картины — Зверев, Арефьев, Кулаков, Эндер, Михнов. Помогал им Геннадий Гор, рекламировал их полотна.

Были еще люди, которые как-то выпадают из обычной комаровской обоймы, а жалко, совершенно прелестные люди, например мой сосед композитор Клюзнер, хороший композитор, один из близких Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу людей. Он построил ■ Комарово дом по своему проекту, сам построил. Там был музыкальный зал. К сожалению, жил он довольно замкнуто, кроме меня и Геннадия Гора не знаю людей, которые с ним общались, смуглый, худощавый, со скрипучим голосом, он умел разговориться только у себя дома. В свободное время он любил создавать архитектурные проекты. Он мне показывал неплохой, во всяком случае для меня очень интересный архитектурный проект Дворца музыки.

Из Репино приезжал композитор Веня Баснер. На углу Сосновой и Лесной снимал дачу Сережа Юрский и Тенякова.

Неподалеку от нас купил дачу Георгий Александрович Товстоногов. Романов никак не разрешал ему построить дачу.

У Романова был бзик — борьба с мелкобуржуазным приобретательством, дачу он считал идеологической принадлежностью мелкобуржуазности. Собственные дачи — это уступка мелкобуржуазной идеологии.

Дачу Товстоногов купил по соседству с Жирмунским. Он приходил к нам, мы часами обсуждали театральные новости, заодно и то, что творилось в стране. Пили чай. Он очень любил анекдоты, начинал разговор обычно: «Ну, какие есть новые анекдоты?» В последнее время приходил уже со складным стульчиком, болели у него ноги. Говорили о том, как плохо, глупа, бесчеловечна власть со своей реакционной партией, как они малограмотны и враждебны культуре. Товстоногов иногда приводил удивительные цитаты. Вот слова одного такого руководителя, который устраивал ему выговор: «Мы вас сделали депутатом Верховного Совета, а вы нас не поддерживаете». «Мы вас сделали», «Вы должны быть нам благодарны», — не

скрывал этот деятель, что никаких выборов на самом деле нет, кого хотят, того и делают депутатом.

В Комарово круг знакомств включал не только литературно-театральную публику, но и научную, ибо Комарово имело как бы свой филиал — Академгородок. Академгородок построили по указанию Сталина после успеха работ над атомной бомбой. Это был его подарок советским ученым.

Академгородок дал мне возможность общаться с моими любимцами, которых я знал, о которых писал. Среда ученых куда более живая, многообразная, делом связанная, не то что писательская или художническая. Художники, писатели — они одиночки, работают в одиночестве, так же как и композитор. А ученый всегда в коллективе, его коллектив связан с другими коллективами, с зарубежными, а все вместе — с промышленниками, с производством, все знают друг друга. Среди них более отчетлив тот гамбургский счет, кто и что стоит на самом деле; тот гамбургский счет, который ■ литературе скрытен. Ученые хороши тем, что реальность их работы всегда более или менее налицо. Писатель может утешаться тем, что если его сейчас не ценят, то оценят потомки, у ученых так бывает редко. Ученый живет вперед, он занимается тем, чего еще нет, что будет (или не будет). Ученый связан с международным сообществом, его наука едина; русская физика или русская биология — это абсурд; ученые живут во всем мире сразу, для них неважно, где решается задача — в Новой Гвинее или в Канаде. Важно то, что получается независимо ни от национальности, ни от границ. Достоевский, конечно, всемирный писатель, а вот Писемский или Боборыкин — это все-таки *русские писатели*. Достоевский, конечно, тоже *русский писатель*, но и всемирный, именно как *русский писатель*. То же самое художники. Художник — *русский художник* все-таки. А ученый, он всегда всемирен, он никогда не бывает *русским*, потому что даже маленькая его успешная работа должна быть интересна всему миру, она часть общей науки.

В Комарово я бывал у Абрама Федоровича Иоффе. Его называли «папа Иоффе», он, ■ сущности, был отец нашей советской физики, он ее создавал, и все наши великие физики XX века — это так или иначе питомцы Иоффе.

У Абрама Федоровича Иоффе жила на участке лисица с лисятами, он за ней с интересом наблюдал и рассказывал мне об их жизни. Был он красавец, благообразный, с хорошим чувством юмора. Рассказывал, как организовал ■ начале двадцатых годов свой Физико-технический институт, какое было время, рассказывал о своем друге Рождественском, как Рождественский пришел к Ленину или к Луначарскому, уже не помню, просить денег на организацию Оптического института. Ему пошли навстречу и дали пятнадцать килограммов денег в мешке, и он с этим мешком за плечами шел от Смольного до Васильевского острова, тащил на себе.

Любил я Владимира Ивановича Смирнова. В институте учился по его учебнику математики, поэтому у меня к Владимиру Ивановичу было особое почтение. Академик Смирнов считал, что попал в академики по математическим наукам по недоразумению, на самом деле он должен был стать музыкантом, он обожал музыку. Он жил в детстве возле Зимнего дворца, родители его имели какое-то отношение к Императорскому оркестру, и все его детство прошло среди музыкантов, но, «к несчастью», у него проявились незаурядные способности к математике, родители его направили в университет, и он стал заниматься математикой, и так успешно, что стал академиком. Но его душа была предана музыке. Он аккуратно посещал филармонию, слушал пластинки. Мы с ним часто рассуждали о музыке, о том, почему математики так тянутся к музыке, причем старинной музыке, кажется, правилом является их предпочтение Баху, Перголези, Вивальди, Моцарту. Владимир Иванович был человеком чрезвычайно высокой учтивости. Если мы договаривались, что я приду к нему в таком-то часу, он встречал меня на дороге. Никогда не было случая, чтобы он ждал в доме, всегда встречал на улице: или у калитки, или возле дома, хотя он был намного старше меня.

Как-то я сидел у Владимира Ивановича, когда пожаловал в гости к нему Канторович, тоже математик, лауреат Нобелевской премии. Это был его друг. Канторович жил в гостях у Линников (тоже математиков), они соседствовали. Я, конечно, сразу обратился к Канторовичу: «Вы могли бы рассказать, за что вы получили Нобелевскую премию, потому что никто кругом меня понять это не может?» Он стал объяснять, я почти все понял. Я давно заметил, что великие ученые часто отличаются

тем, что говорят с непосвященным так, что он может понять их. И блеск Канторовича, и блеск Смирнова состоял в том, что сложные проблемы, самые сложные умели объяснить на пальцах: становилось понятно, приятно и весело от того, что, оказывается, все так просто.

Это общее свойство больших ученых — лишать свою науку недосыгаемости.

Льва Канторовича у нас недославили, мало оценили. Во-первых, его работы, связанные с экономикой, с рациональными математическими подходами к хозяйству, не подходили к советской системе, они больше подходили к европейской, капиталистической; во-вторых, он — еврей, это тоже играло роль.

Я уверен, что Владимир Иванович, если бы поступил в консерваторию, стал бы выдающимся музыкантом. Попав в университет, его талант помог ему ■ математике, хотя талант — вещь не универсальная, математики не случайно любят музыку, но не случайно и другое: не случайно, что Пушкин отличный рисовальщик, что Лермонтов писал хорошие картины маслом, известны рисунки Достоевского, известны хорошие стихи Шагала. Удачных сочетаний много. Мой друг Евгений Лебедев, великий актер театра Товстоногова, все свободное время вырезал из дерева или лепил. Он подарил мне один из превосходных барельефов Товстоногова, своего шурина.

По утрам мы с Лебедевым любили пешком отправляться на Щучье озеро купаться. Примерно в полвосьмого утра два с лишним километра до озера были украшены рассказами Евгения Лебедева, каждый рассказ был спектаклем на ходу.

Щучье озеро — это комаровская реликвия. Озеро небольшое, красивое, оно словно вырубленное в лесу, зеленые стены плотно обступили его по всем берегам, с одного края — холмы, это горное Комарово. «Щучка» неглубока, но у нее свой нор. Где-то в июне — ■ начале июля вода в озере становится как бы мыльной, после купания тело покрывается скользкой, чуть желтоватой слизью, это цветут водоросли, потом «мыльность» проходит. Есть по берегам маленькие травяные пляжи, у них песчаное дно, тоже маленькое — прибрежная полоса. Десятилетиями берег здесь окультуривают — ставят скамейки, контейнеры для мусора; скамейки тут же ломают на костры, берег, конечно, замусоривают, редко кто бросает мусор в контейне-

ры. В иные годы горожане сотнями заполняют все берега своими телами и машинами, казалось, что озеро погибнет, вода превратится в грязный жирный бульон, но жизнеспособность этого озера пока что побеждает, наутро в понедельник после двухдневного насилия оно встречало нас свежее, чистое, с обязательными утиными выводами.

У Щучьего озера сошлись три российских особенности: безнадежность всех усилий администрации района (она ставит скамейки, контейнеры для мусора, иногда даже столы, но напрасно, все сжигают на кострах); второе — наше экологическое хамство; и еще — отсутствие сервиса. Надо бы продавать дровишки для костров, воду для чая, обеспечить простейшую службу, вплоть до туалета.

Комарово было одним из последних заповедников критической мысли. Критический разум, живая совесть, боль, все это, однако, на глазах быстро перерождалось вместе с поселком. Поселок был тому наглядной моделью. На месте скромных коттеджей, стандартных финских домиков стали строиться трехэтажные каменные монстры, виллы чудовищной архитектуры, где окна — узкие бойницы, вместо прозрачных заборчиков из штaketника появились глухие кирпичные стены высотой с кремлевские, снабженные видеокамерами. Владельцы не обязательно новые русские, часто это бываюти бывшие комаровские интеллигенты, которые переметнулись в коммерцию, разбогатели и покончили со своим прошлым, они герои новой идеологии обогащения. Идеология сводится к фразе: «Бедным быть стыдно». Такой лозунг в 2005 году появился на улицах Петербурга.

Кончается прелесть прежней комаровской открытой гостеприимной жизни. Никто у нас не предупреждал о своем приходе, когда каждый приход в гости становился импровизацией. Новые порядки приводят к существованию замкнутому, настороженному, под стать этой новой архитектуре с ее глухими заборами. Может быть, это неизбежно, правда, в Комарово стараниями энтузиастов Ирины Снеговой и Елены Цветковой, комаровских аборигенов, появился музей, им удалось собрать фотографии, мемориальные вещи, картины, открытки, но главное, они записали воспоминания старожилов.

Одна из достопримечательностей Комарово — замечательная комаровская библиотека. Что бы ни происходило, возле библиотеки всегда толпились детвора или взрослые дачники. Здесь устраивались литературные вечера, здесь была художественная школа для детей.

Это все были летние радости.



Не может быть монеты с одной стороной, так же как и не может быть монеты, где одна сторона имеет цену одну, а другая — другую.

Живем мы невнимательно. Пропускаем мимо вещи сны. Не пытаемся их понять. Не вдумываемся в знаки, сигналы, предчувствия.

Язычники принимали природу как мать, не смели поучать ее, поправлять. Они чтили ее мудрость, следовали ее требованиям.

Мы относимся к ней скорее как к ребенку. В ней нет запретных плодов. Ребенка надо поправлять, заставлять делать то, что нам нужно, он неразумен.

Для язычников чудо — свойство природы, а чудеса, волшебство — неотъемлемая часть жизни неведомых нам сил.

Ведьмы, лешие, русалки, колдуны — они ведали тайнами: вдруг ни с того ни с сего налетела буря, сосед сходил с ума, огни блуждали по болоту.

В мире хозяйничали боги, их действия были непонятны. Наука последнее тысячелетие все энергичнее расправлялась с ними. «Заросли» чудес вырубались, ширилось пространство логики, практицизма. Божественное в человеке сокращалось. Жизнь все меньше воспринимается чувствами, виртуальная реальность заменяет непосредственные эмоции, искусство живет без слез, восторгов, потрясений...



Вот история в духе М. М. Зощенко.

Модельные туфли он делал. На дому. Кустарь, значит. Соответственно облагался налогом. Раз в квартал, как у них там положено, приходил к нему фининспектор. Но вся штука за-

ключалась в том, что «фин» этот был не «фин», а «финка», то есть женщина. Тут-то весь сюжет и заключается. Потому что была она из себя видная женщина, хоть и не молодая. Высокая такая блондинка. Крашеная. И тем не менее блондинка. Крашенные, они особую породу составляют. От краски характер меняется, появляется некоторая игра. Как у нее с этим кустарем образовалось все, неизвестно, жена его не сообщала, а факт она сообщила в его законченности. Как придет эта самая, то жена, значит, покупает пол-литра или вынимает припасенный специально для этого случая и оставляет их вдвоем, мужа своего, кустаря, и фининспектора, и сама удаляется. В результате, конечно, как она подсчитала, налог выписывают вдвое меньше.

И так они и жили. Раз в квартал или там в полгода происходило это самое посещение.

— Ничего особенного я в этом не вижу, — говорила жена. — Со своей стороны я компенсирована, поскольку шестьсот рублей тоже деньги, а от мужа мне не убудет. В остальное время я никаких ему вольностей не разрешаю и берегу его бдительно. Он же мне благодарен, и брак наш от этого крепче. Эта же крашеная поллюбовница, конечно, нарушает по всем статьям законы, но это ее личное уголовное дело. За двести рублей, — рассуждала она, — можно любую женщину обольстить.

Так что, как видим, она как бы считала, что эти шестьсот рублей дает им поллюбовница вроде из своего кармана. Про государство, таким образом, никто из троих не думал.

В один прекрасный для кустаря и фининспектора день они соединились окончательно, кустарь ушел из дома, прихватив свой сапожный инструмент, а вскоре подал на развод. На суде вся история выяснилась с удручающей обоюдностью. Оставленная жена обвинила фининспектора в недоборе налога, а мужа своего в том, что он вступил в связь не по любви, а ради корысти, и оба они нанесли государству ущерб. Судья на это удивилась, почему она раньше о государстве не переживала.

А вот еще одно необычное устройство семейной жизни, какое образовалось у моего знакомого. Однажды сообщил он мне, что родился у него сын. Жenu его я знал хорошо и удивился. Но, конечно, сын был не ее, а другой женщины, с которой мой знакомый жил. То есть был у них роман, вроде тех, какие бывали и раньше с другими, и не потому что он гуляка, а так...

Просто так, как у многих бывает. А тут сын. Конечно, сразу подозрения: мол, сын для того, чтобы перетащить к себе, развести с женой и так далее. Оказывается, ничего подобного. Оказывается, она, эта особа, просто захотела иметь ребенка и ни на что не претендует. У него семья — жена и дочь. Жена — славная женщина, а дочь уже взрослая и стервозная девка. К отцу относится прескверно, давно уже чужая им обоим. Надо сказать, он страдал от этого... Сорок ему с лишним лет и вот на стороне — сын, новорожденное дитя, ручки, ножки, глазки, все можно начать сначала, по-умному, сына нянчить, ласкать. Нет, уходить от жены он не собирался, мысли у него такой не возникало. Они любили друг друга, и сообщать ей об этом событии, расстраивать ее тоже не хотел. Что делать? Я говорю ему: «Не вздумай ходить к той мамаше и привыкать, и приучать ее, потому как увязнешь ты в этом деле, и будет тебе тяжело, и чем дальше, тем тяжелее». Обсудили мы с ним, он как бы согласился, однако вскоре сообщает, что ходит. Ходит, гуляет малыша и вообще тянет его. К мамаше он равнодушен, но сын есть сын.

— Но как же так, или ты будешь жить на две стороны? — спрашиваю. — Ведь это ужасно.

— Ничего ужасного, — говорит он, — наоборот, я почувствовал отцовские радости, которых был лишен от своей дочери, и жизнь моя как-то наполнилась. Что же касается жены, то она пока не знает, а если и узнает, то я не вижу причин для трагедии.

ВОЗМЕЗДИЕ

Муж бросил жену с дочерью, ушел к возлюбленной. Дочь до двадцати лет воспитывали в духе возмездия. Она пропиталась этим духом, мечтала, как когда-то встретится с отцом, он будет несчастен, покинут, брошенный, пьяненький, больной, поймет, как ошибся, станет просить прощения у нее. Возмездие неотвратимо, грех наказуем. Она будет безжалостна — ты даже не поздравлял меня в дни рождения!

И вот они встретились на юге, случайно, он в белом костюме под руку с женой, красивой корейкой с золотым браслетом. Веселые, счастливые. Дочь поражена. Как же так? Он и не думает каяться. Приветлив, приглашает в ресторан. Где же

мораль? Нет возмездия, никакого, ни раскаяния, ни чувства вины. Что же это значит?

Самое важное и необходимое в жизни человека — определить свои способности. Повезло — определил, нашел себя, а то и так бывает, что само нашлось, вылезло, потому как призвание неудержимо. И что?.. Какой бурной государственной деятельностью всю жизнь занимался Державин: и в Сенате, и при дворе, и на губернаторстве, сколько обид принял, сил убил... А был он великий поэт и должен был писать, писать, писать!

Большинство людей живут, не узнав свои способности, не сумев выявить свое дарование, у каждого оно к чему-то есть. Но вот мой друг Илья Имянитов, замечательный специалист по атмосферному электричеству, автор многих работ, вдруг под старость стал писать еще и рассказы. Слабенькие, подражательные, расстраивался, потому что понимал, что не то, но упорно продолжал. Зачем? Что это было? Подобные извороты случались у многих моих друзей. Начинали заниматься музыкой, сценой, живописью, мешали своему истинному призванию. Видно, чего-то им не хватило. Хотели попробовать и другого?

Мне симпатичны идеи Карла Поппера о том, что историей движет технический прогресс, или точнее: «Ход человеческой истории в значительной степени зависит от роста человеческого знания».

Знания, открытия непредсказуемы, поэтому непредсказуем ход истории.

Непредсказуемой была эпоха информатики. Она создала коммуникативность мира, глобализацию.

Историю движет не так идеология, не так религия, а скорее развитие науки и техники. Остановить это развитие невозможно, оно сопровождает человечество с момента появления мышления.

Какова тут роль культуры? Гуманитарных наук? Без них был бы человек творцом? Можем ли мы жить без идеи, без богов, без музыки?

Усмирение наук — необходимость? Как все же повлиял, допустим, интернет на ход новейшей истории? Или освоение космоса? Мобильники? Телевидение? И т. п. Мир стал

коммуникативен, он живет в режиме on line... И что все это может определять в человеке?

В Глиптотеке Мюнхена автопортрет Рембрандта — маленький, не похожий на копии в монографиях. Там он яснее, больше, величавей. Но зато в подлиннике остается что-то еще не переходящее ■ копии.

В Баден-Бадене памятник евреям — жертвам фашизма. Надпись: «В городе не нашлось ни одного человека, который протянул бы руку помощи».

В Цюрихе пять витражей Шагала в костеле. Заказал их аноним, до сих пор неизвестно, кто.

Роман Васильевич, приехав из Европы, рассказывал сослуживцам:

— А что их храмы, ничего особенного, наши не хуже, у нас есть построенные еще в III веке до нашей эры. Да, мы продавали иконы, картины, во-первых, в обмен на трактора, во-вторых, все достанется нам обратно после мировой революции. Да, конечно, продовольствия у них больше. Я убедился: правильная у нас политика, страхом надо держать, страх заменяет сосиски.

НАУКА

Вопросы — «Почему?», «Зачем?» — ■ науке неинтересны. Мне, например, казалось весьма важным понять, почему, мальки, маленькие рыбешки, стая их, поворачиваются одновременно, никаких вожаков не видно. Есть ли какая-то система сигнализации, связи? Как она действует? Но оказалось, что ихтиологов это пока не занимает. Им интересно то, что можно решить, то, где путь наметился, где есть за что ухватиться. Этим отличается искусство от науки. В науке ценен не вопрос, а ответ, его возможность... В искусстве важен не ответ, а вопрос, да такой, чтобы загнать ■ тупик, чем безвыходнее вопрос, тем он ценнее.

Эйнштейн писал: «В одном поколении так мало людей, которые обладали бы одновременно ясным пониманием при-

роды вещей, глубоким чувством истинных человеческих потребностей и способностью к активным действиям».

Просто удивительно, какая недоброжелательность окружала Эйнштейна многие годы в нашей стране. Самые разные люди, большинство из них понятия не имели, что есть теория относительности, они были только наслышаны о том, что это один из тех законов, который определяет устройство мира и нашу жизнь. Но их возмущало, что этот немец, как считали одни, еврей, как считали другие, устанавливает свои законы, по которым мы, оказывается, должны жить и не можем их нарушить, вот что непереносимо. Сотни людей, самодеятельно образованные в пределах средней школы, старались опровергнуть его законы, уверенно доказывали его просчеты. Я лично встречал немало таких старателей, они приносили мне тетради со своими доказательствами, были иногда среди них и люди образованные, например некий Герловин, который годами ходил ко мне, ну ладно бы только ко мне, он обивал пороги и Академии наук, и академических институтов, доказывая заблуждение Эйнштейна. Их всех раздражала неочевидность его законов. Тяготение — это наглядно, электричество, радио, арифмометр — все очевидно, у этого же «теория относительности». Зачем, где она?..

Ланжевен писал о нем: «Истинное моральное величие его личности было причиной, вызывавшей яркую ненависть многих интеллигентов, скорее всего, ограниченных». Наверное, действительно миром правит зависть, особенно к гению, к истинному гению, и все невежды и дураки ополчаются против него.

Телефильм назывался «Цель творчества — самоотдача». Как вы думаете, о чем? О реконструкции трубопрокатного завода в Перми, вот куда угодил Пастернак, вот на что его приспособили, сразу и не скажешь, что тут плохого, а почему-то неприятно. Пастернака еще не признавали, а строчками его и формулами пользовались, не оговаривая, что это цитата. Законно ли это? А может быть, это признание какого-то тайного поклонника, какого-то благодетеля, таким образом он проби-вал дорогу своему любимому поэту.

Георгий Александрович Товстоногов сказал на совещании, обращаясь к начальству: «У вас не вызывают возражения только оды и монументальная пропаганда».

Могилу Пастернака тесно окружили могилы переделкинских жителей, трудно пробраться к ней, а было так одиноко и хорошо в первый год, когда он лежал на пригорке у сосен, и видна была его дача. Примерно так же произошло и с могилой Ахматовой, правда, тут, в Комарово, ее окружали свои, не чужие — Александр Гитович, жена его Сильва, художник Альтман, чуть поодаль — Жирмунский, Лихачев, а там, и Переделкино, разве что Корней Иванович.

Рапопорт попросил слово на сессии Академии наук, прошел он туда без билета, по дороге к трибуне его из президиума предупредил приятель: «Имей в виду, есть решение, все согласовано», тем не менее Рапопорт произнес яростную речь в защиту генетики, ему аплодировали, потом окружили его корреспонденты и стали уговаривать изменить стенограмму, особенно конец сделать примиряющим. Он отказался. На следующий день в «Правде» все же напечатали с таким соглашательским концом. Он позвонил Пospelову, редактору «Правды», потребовал исправить ошибку, тот ответил: «„Правда“ никогда не ошибается».

ПРИЗНАНИЕ

Было это в мае 1984 года.

«Клуб кинопутешествий». Снимали нас всю дорогу в Старую Руссу. Там был такой эпизод. Мы — Лихачев, Сенкевич и я — приехали в село Взвод, к рыбакам. На берегу озера Ильмень вечером развели костер, варили уху, рыбаки травили байки. Один из них, умница, неторопливый, в старой солдатской гимнастерке, рассказывал про озеро. Оператор все время просил его смотреть в камеру, но тот больше смотрел на Лихачева.

— Есть у нас рыбаки, которые перевыполняют план. Вылавливают много больше заданного. Есть такие. Только разве можно в нашем деле перевыполнять? Рыбу можно запросто всю сразу выловить, ничего не оставить...

Смотрим передачу, остались только первые две фразы, остальное цензура вырезала.

Если бы собрать и запустить все, вырезанное цензурой, интересный получился бы фильм.

Замечательное было путешествие. Из Новгорода мы шли на специальном пароходике через Ильмень. Сенкевич тогда был всесоюзной телезвездой. В те годы, между прочим, природа «звезд» была другая — не песни, не шоу, не куплеты. К примеру, вспоминаются три звезды: Каплер — он вел передачи о кино, Сенкевич — «Клуб кинопутешествий», и Дроздов — «В мире животных».

Когда мы приехали в Новгород, то пошли гулять по набережной. Идем втроем. Никто нас не замечает, никому в голову не придет, что могут здесь оказаться Лихачев и Сенкевич. Поэтому чувство прелестной свободы. Солнышко. Тепло. Вдруг бежит навстречу школьник, размахивая своим портфельчиком, видно, со школы, в том схожем с нашим беспечно-счастливым состоянием, чего-то напевает. Второй класс, не больше, это возраст, когда человеку не бывает скучно, собственного общества ему достаточно. Миновав нас, он умолк, вернулся назад, забежал посмотреть, глаза его округлились, прямо-таки выпучились, уставились. На кого? Конечно, на Сенкевича! Призрак? Бред? Инопланетянин! Он застыл в ужасе, открыл рот и закричал истошным голосом: «Аа-а! Мама! Мама!» — первое, что кричат все дети мира.

Сенкевич сказал, что никогда еще не получал такого горячего признания своей славы.

ОБЛОМКИ

Пропали отцовские фотографии, семейный альбом, пропал сундук с отцовскими материалами лесных обмеров, экспедиций, все сожгла соседка в блокаду. Сундук оставила, сожгла и старинные книги, и мои школьные тетради, которые отец собирал, мои рисунки, стихи, все то, что хранил для меня и внуков. Как будто пропало мое детство.

ВИНА

Подруга ушла, и обнаружилась пропажа кольца. Дорогое. Они играли на рояле в четыре руки, хозяйка сняла кольцо, и потом его не стало. Все переискали — нет. Подумать можно было только на подругу. Ее отлучили от дома, сторонились, конечно, ничего не сказав. Прошло три года. Однажды

вызвали настройщика, и где-то внутри рояля он обнаружил кольцо.

Повиниться, сказать ей — значит, смертельно ее обидеть. Как на нее могли подумать.

Не говорить — тоже стыдно, ведь виноваты.

В ИСПАНИИ

В Толедо Миша Луконин не захотел с нами идти смотреть старинные соборы. Надоело ему. «Осточертели ваши каменюги».

Он остался ждать нас в местной пивной.

Вернулись мы с Сережей Залыгиным через час. Заходим в пивную, видим — Миша восседает за столом, кругом него народ. Сидят, стоят, хохочут, чокаются с ним кружками.

Мы спросили его:

— Что ты им рассказывал?

— Да всякие байки, анекдоты.

— По-испански?

— Да я ни одного слова, я по-русски.

— А как же они понимали?

— А шут их знает. Смеялись.

Провожали они его, обнимая, словно закадычного друга.

«Мне с детских лет
Был близок Дон Кихот,
Чудесный рыцарь солнечной Ламанчи.
Неумных подвигов пример его зовет
Сражаться с мельницами
Так же, как и раньше».

Есть одно важное педагогическое правило, о котором учителя редко думают: когда учитель выставляет отметку ученику, ученик при этом тоже выставляет отметку учителю — отметку справедливости.

Нина Евгеньевна, ■ возрасте 75 лет, молодилась, красилась, выглядела, однако, смешно. Однажды приехала на похороны своей давней подруги. На кладбище заблудилась, попала на похороны генерала. Не успев разобраться, положила

венки с надписью «От твоей верной подруги». Вдова установилась на нее и все остальные. Спрашивать, тем более скандалить ■ торжественной обстановке никто не посмел. Сама она почувствовала что-то не то, но постеснялась взять венок обратно.

Наука поднимается со ступеньки на ступеньку, каждая следующая отменяет прошедшие. Она все больше знает, прошлое для нее наивность, заблуждения, ошибки. Естественно сомнение, восторг движения вперед и выше. Поэтому к искусству относятся свысока. Искусство ведь ничего не отменяет, живет прошлым, оно чтит гениев прошлого, они все так же хороши. Годы их не обесценивают.

Все так, все это известно, однако тут является один замечательный физик, академик, с моим другом, тоже замечательным физиком, но еще не академиком, всего лишь доктором, слушают мои рассуждения и одинаково молчат, и одинаково поводят головами, горизонтально, то есть несогласны, потом оба вздыхают, ибо считают, что законы Ньютона как были, так и остались неизменными, а многое из того, что появилось позже, ничего особенного не произвело, не объяснило, не устарело, как держал Ньютон на себе механику, так и держит, словом осаждали меня.

До чего симпатичны эти «осаже».

ФИЛАТЕЛИСТЫ

Их разговоры:

— Ищу 1929 год, английские, со всеми фунтами, чтобы хорошие края.

— Каталог Скотта есть у вас?

— Скотт недооценивает английские марки.

Один из них, шпион, оказался, таким страстным любителем, что забросил свои шпионские дела.

ИЗ ЖИЗНИ ЗАЛИВА

Ноябрь. Первый снег. Морозно. Залив еще не замерз. Вдоль воды неширокая полоса песка, незаснеженного, чистого, плотного песка, он тянется бордюром, повтором изгиба

водного обреза. Верно, песок здесь тяжелый от воды, и снег на нем не держится. Я иду по этому песку, за кромкой облака, позади меня тень, впереди солнце. Облако движется неспешно, и я шаги свои соразмеряю с ним. Пустынно. Тихо. Залив не похож на летний, мелкий, теплый, тот несерьезный залив, который примелькался и который считаем всегда за лужу. И на зимний, заснеженный, замерзший, покрытый льдом, тоже, конечно, непохож, потому что зимой тоже знаешь, помнишь его мелководье. Сейчас он спокойный, похожий на северное море, какое-нибудь Охотское, Белое. Камни заледенели. Вода блестит тяжело, хмуро, еле шевелится. Солнце блестит на воде тускло. Весь залив стал выпуклым, тугим. Вчерашний шторм повывкидывал на берег склянки, деревянные ящики, покрышки, много обуви — летние тапочки, резиновые сапоги, какие-то подошвы, сандалеты. Валяются цветные иностранные коробки, из Финляндии их, что ли, принесло, а может, с пароходов. Консервные банки, доски, уже обточенные волной, куски кирпича, веревки, ложка, полиэтиленовая накидка, чего только нет тут. До меня ходили здесь птицы. Чайки, наверное, или кулики. Лапные следы их обрываются внезапно, а то убегают в море. И там же, по-птичьи, появляется вдруг женский след каблукчиков. След свежий. Откуда она здесь, как попала, как прошла на каблукках по снежной целине? Я иду по ее следам, видно, как она остановилась, потопталась у зеленого вала из водорослей. Почему-то он именно здесь выброшен на берег. Ни раньше, ни потом их нет, этих водорослей. Я тоже стою и раздумываю над причудами моря. Потом мы идем дальше, я и она, ее след, через ручеек, мимо заваленной песком лодки, та вся в сосульках, нарядная от льда, похожая на раскрашенную гондолу; мимо заколоченного киоска, мимо каменной гряды, следы на песке очень четкие, ножка у нее маленькая, если оглянуться назад, то покажется, что мы гуляли вместе, может, держались за руки, о чем-то болтали... По этим следам можно было подумать, что я молодой. На заливе, на берегу этом был я молодым... Почти каждый год, летом, зимою, я бывал тут. И всегда я чувствовал себя тут молодым. Наши компании, лодки, костры, пляж, всего уже не упомнишь. Вот недавно Толя Чепуров рассказал мне, как мы сидели с Кочетовым в ресторане, а я начисто забыл и с удивлением слушал его рассказ. Вспомнил сейчас благодаря заливу. Он хранит, наверное, и другие случаи моей жизни.

Экология — милосердие к природе.

В снежных тулупах стоят памятники.

Югославия была страной дружбы народов, как и у нас. Анекдот по этому поводу:

В студенческом общежитии надо вернуть лампочку. Черногорец становится на македонца, который стоит на сербе.

— Ну что же ты? — кричат ему снизу.

— А чего вы не вертитесь.

ЭЛЬ ГРЕКО

Судя по воспоминаниям русских художников, которые ездили в Испанию, они увлекались там кем угодно, влюблялись в других художников, но почему-то не в Эль Греко, хотя он был выставлен в музее Прадо, картин его было много в Испании, а тем не менее они не обращали на него внимания, не упоминали его. Заметили Эль Греко в 1960–1970-х годах нашего века. Почему ни Коровин, ни Остроумова-Лебедева, ни другие, бывавшие в Испании, ни разу не сообщали про Эль Греко, ни разу нигде не упомянули. Странно. Смотрели его картины и не видели его. А между тем, если ответить на этот вопрос, то можно получить важнейший ключ к пониманию и времени, и нравов, и вкусов. И прошлого, и нынешнего веков. Почему одна эпоха «видит» этого художника, другая же начинает «видеть» другого? Вдруг прежде пустынные залы, где висел Эль Греко в музее Прадо, становятся оживленными, а там, где висит Веласкес, там малоллюдно.

«Люди, я люблю вас, не будьте бдительны», — говорили в семидесятые годы.

— Как живешь?

— Не знаю, — очень серьезно ответил он.

Во времена Наполеона была фраза «Лживый, как рапорт».

Беспрепятственная любовь долго не держится.

ШОСТАКОВИЧ

После проработки 1948 года Дмитрия Дмитриевича вызвал Молотов и предложил поехать в Соединенные Штаты в составе делегации: Фадеев, Несмеянов и Дмитрий Дмитриевич. Дмитрий Дмитриевич замялся, сослался на здоровье. Молотов был вежлив, но настаивал. Потом Шостаковичу позвонил Сталин и спросил, почему не исполняют его вещей, почему не издадут, безобразие. И сказал, что надо ехать. На следующий день приносит фельдъегерь постановление секретариата об издании и исполнении произведений Дмитрия Дмитриевича. Шостакович поехал ■ Соединенные Штаты. Устроили ему демонстрацию у отеля с плакатами «Да здравствует Шостакович!». Из этого отеля наши срочно увезли его в другой, за сто километров от Нью-Йорка. Поездка прошла триумфально, но после поездки ничего не изменилось: как не исполняли, так и не исполняли, несмотря на бумагу с решением, и не издавали.

Был Дмитрий Дмитриевич скромнен и аристократичен. Подарил он Гликману, своему другу, часы, привез из Америки и не сказал, какие они дорогие, не сказал даже, что золотые. А эти часы были ручной работы. Через много лет, когда Гликман принес их часовщику, тот ахнул, увидев их.

Человек простой и полезный, как пуговица.

Григорий Борисович Марьямов, оргсекретарь Союза кинематографистов СССР, рассказывал мне ■ 1981 году, что он присутствовал при аресте Бабеля, было это на даче Бабеля под Москвой. Дача маленькая, они приехали туда вдвоем с режиссером Марком Донским, Бабель писал в это время сценарий для фильма по Горькому «В людях». Дача была окружена, их заставили пройти в боковую комнату. «Сидите здесь», — сказали; долго шел обыск, ■ простыни сваливали книги и рукописи. Потом, это они видели в окно, вывели Бабеля, посадили в машину, им же сказали: «Сидите здесь еще тридцать минут, потом можете уезжать».

Еще он рассказал, как на пересыльной тюрьме Остап Вишня встретил Бабеля, и они вдвоем провели ночь. Бабеля везли ■ Москву, требовали от него признание, он не соглашался.

Жить, считал он, оставалось немного, и не стоило марать своего имени. Попутно он рассказал милую историю с рецептом кофе. Гронский, известный в те времена издатель, предложил Бабелю поехать в Париж, но денег было лишь до Вены. «Приедешь в Вену, — уговаривал Гронский, — оттуда дай телеграмму, я с ней пойду к начальству и выпрошу денег для Парижа». Однако на первую телеграмму Гронский не ответил, деньги таяли, Бабель съехал с шикарного венского отеля в скромный, затем снял комнатку у хозяйки кофейни. Денег все не присылали, он на последние отбил отчаянную телеграмму. Хозяин кофейни полюбил Бабеля и содержал его ■ долг. Наконец деньги пришли, Бабель пришел прощаться, хозяин сказал: «Исак, я хочу Вам сделать подарок, я научу Вас варить кофе по своему рецепту, только дайте слово, что никому никогда его не откроете». В Москве Бабель, принимая гостей, варил кофе по венскому рецепту, надевал передник, всех выгонял из кухни, закрывал ее на крючок и вскоре выходил оттуда, неся на подносе чашки кофе.

Какой вопрос мы чаще всего задаем знакомым? «Что нового?» Мы сами не знаем, что мы хотим услышать. Скорее всего, ерунду — кого назначили, кого сняли, кто развелся... Во всяком случае, лишь бы что-то происходило с другими. Говоря откровенно, радостные новости привлекают нас куда меньше, чем вести о наводнении, пожаре. Помню, как расспрашивали меня в Москве, что за наводнение у нас было, что затопило, и замечал разочарование, когда говорил, что вода поднялась совсем немного.

— Вы рождены Мессалиной, а живете, как Мадонна, — сказал ей доктор. — Это вредно.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ПИСЬМА

«Верноподданность, если б вы знали, что это такое. Монархия, особенно абсолютная, — гнусность. Верноподданничество требует отказа от своей личности, своих мыслей, я слушаюсь без колебаний и раздумий — это добродетель. Своих идеалов нет, в себя не веришь. Трусость — это не позор, а принцип поведения. Умен ты или глуп — не видно, потому что ты покорен. В конце концов, подчинен и уверен, что это законно».

Достоевский был послан ординарцем к великому князю Михаилу Павловичу, брату Николая I. Как-то, думая о своем, он забыл отрапортоваться по форме. «Посылают же таких дураков», — сказал великий князь. Года через три, то есть в 1844 году, после производства в подпоручики и зачисления на службу в Инженерный департамент, чертеж его попал на глаза императору... Николай посмотрел и якобы надписал на чертеже: «Какой идиот это чертил!». Царские слова по обычаю покрыли лаком, чтобы сохранить для будущих поколений. Однако, когда Достоевский стал знаменитым, — изъяли.

В России в прежние времена речи не становились статьями. Речь была речью. Это в той России, в нынешней он читает свою речь, а она — заготовленная статья. Добро не должно пропадать. Все надо публиковать. Слушаем доклад, а уже в журнале набирают его как статью. А вот В. Ключевский произносит речь памяти И. Болтина на столетнем юбилее историка и нигде не печатает ее. Речи памяти А. Пушкина, памяти Ф. Буслая — замечательные, исполненные глубоких мыслей, — не публиковались. Ключевскому и в голову не приходило, он же готовил их, во-первых, по законам устного жанра, во-вторых, он обращался к слушателям, объявляя, что говорит для них, и соблюдал обещание.

Насчет участия Горбачева в путче (ГКЧП) можно сказать лишь одно: когда грешит топор, грешит и топорщик.

На съезде народных депутатов, когда Горбачев предложил вице-президентом Янаева, съезд дружно проголосовал против. Янаев сам себя разоблачил, рассказывая о себе. Никогда еще я не слышал, чтобы человек показал себя аудитории настолько глупым. Его спросили о здоровье, он захохотал, подмигнул съезду, сказал «жена не жалуется», и все в таком пошло-хамском духе.

В перерыве меня делегировали к Горбачеву. Мы никак не могли понять, почему он так упорствует, требует вновь переголосовать кандидатуру Янаева?

Мы присели с ним в стороне на диванчик, я напрямую сказал ему, что Янаев жлоб, глуп, ни в коем случае его нельзя делать вице-президентом.

Напутствуя меня, Лихачев и Адамович советовали не стесняться в выражениях, с меня, писателя, какой может быть спрос.

Горбачев спросил, есть ли у меня факты? Фактов не было, было совершенно определенное чувство, чувство единое, сотен депутатов. Михаил Сергеевич отвергающе помотал головой, мягкая приветливая уверенность не покидала его. На чем основывалась она, я до сих пор не могу понять. События ГКЧП подтвердили ничтожность Янаева. Вообще события показали, насколько Горбачев не чувствовал людей, которых он подбирал себе, большая часть их предавала его. В этом отношении он не сравним с Ельциным. У того были не знания, а чутье, и он редко ошибался.

Знать человека? Что это означает — знать его заверения, его анкету, компромат на него? Есть другое знание — аура-знание. Откуда оно берется? Понятия не имею. Вы приходите в незнакомую компанию, и к кому-то тянется душа, кто-то симпатичен, кто-то нет. У каждого свой выбор. Но этот ваш инстинкт дан природой. Чтобы пользоваться. Никакие знания не заменяют это таинственное ощущение поля — «свой», «чужой».

Храпченко, глава отделения Академии наук, называлось оно, кажется, «филологическое», предложил вместо умершего М. Шолохова избрать в Академию руководителя Союза писателей Г. Маркова, был такой начальник-писатель, любимец Брежнева и, соответственно, увенчанный наградами. Лихачев заявил, что будет выступать против. Академия, особенно на выборах, была строптивой, и тогда Храпченко объявил, что голосовать будут на совместном заседании с философами. Те проголосуют, как прикажут.

Петру Великому приписывают такое высказывание: «Привычка менять все время наряды, платья в конце концов превращает придворных ■ вешалки, висящие ■ платяном шкафу».

НАШИ ЖУРНАЛИСТЫ

Разговор по радио с ветеранами, блокадниками:

— Вы же были молоденькой девушкой. Какое впечатление на вас произвели бомбежки?

— Конечно, пугалась.

- Потом привыкли?
- Потом легче стало.
- А когда голод наступил, к голоду привыкнуть трудно?
- Да как к голоду привыкать, кушать хочется.
- А тут еще бомбежка. Что хуже? О голоде забудешь?
- Да, забывали.
- А после отбоя опять голод возвращается?
- Возвращается, конечно, куда он денется.

В таком духе разговор идет долго.

Приходит ко мне журналистка.

— Даниил Александрович, расскажите, что вы думаете о проблемах нашего города.

— Что вы имеете в виду?

— Все, что считаете нужным.

— Но у вас есть, наверное, вопросы конкретные.

— Вы рассказывайте все подряд, я потом вставлю конкретные вопросы, и получится интервью.



Видимый нами мир прекрасен. В нем встает солнце и заходит, тогда появляется луна, звезды украшают ночное небо. Мир всегда был и всегда будет, сотворенный кем-то. Все оправданно и нужно, и не может быть иначе, как в этой красоте. Зачем мне знать, что Земля круглая, да еще приплюснутая, что солнце не восходит, что в самом деле все не так устроено, как я вижу, что этот чистый воздух полон радиоволн, несущих какую-то информацию и всякую чушь.

Целостность реального мира отбирают у меня, лишают радости чувствования, убеждают, что все, что вы видите, на самом деле не совсем то, не так просто.

США

Камнями, которыми мы забрасывали гениев, они строят новые дороги.

Лас-Вегас: Грех, который провел всю жизнь за рулеткой, считал, что первое удовольствие в мире — выигрывать, второе — проигрывать.

Галерея в Лос-Анджелесе, выставка современной живописи:

Кушетка истлела, на ней — останки человека.

Корни дерева охватили гроб.

«Вторжения ■ США не может быть, потому что нет места для стоянок».

У нас продажа Аляски — глупость, которую совершила Россия. В США покупка Аляски — глупость, которую совершила Америка; купили ее лишь в благодарность за помощь русского флота в Гражданскую войну. Сьюрд, госсекретарь, дал обязательство, его все ругали, долго еще Аляску называли «глупостью Сьюрда».

ВАНГА

Жена одного деятеля прикидывала, с кем ей надо встретиться, кого пригласить, кому что сказать для того, чтобы муж получил орден. С этими вопросами она пробилась к Ванге, знаменитой болгарской ясновидящей. Примечательно, что та даже не дослушала ее и выгнала, сразу поняла, о чем речь, это был позор на всю Болгарию. Ее боялись, хотели узнать, но боялись, что она узнает то, что они не говорят и скрывают. Феномен Ванги ученые боялись исследовать. Одному из них, скептику, который допрашивал ее, она вдруг сказала: «У тебя рак, ты через несколько месяцев умрешь». Так и было.

Искали мальчика, пропал. Она сказала, что утонул, и сказала, где. Там и нашли труп. А другой семье сказала, что мальчик вернется. И действительно вернулся. Отец хотел ее богато отблагодарить, она отказалась. Единственные подарки, которые она принимала, были куклы. У нее не было детства, она ослепла в 11 лет, ослепла от удара молнии. Узнала сама про свой дар. И другие дети, ее друзья, узнали, потому что она говорила: «Иди домой, тебя мама ищет», «Козел ваш забрел ■ чужой огород». Никогда не принимала развратников. Вдруг говорила: «А ты, убийца, задавил на дороге тогда-то человека». Вдруг говорила: «Тебе достал лекарство Камен Калчев. Как его здоровье? Он ведь болел». Каждый раз сомневались, не случайность ли ее знания, не подсказал ли ей кто. Но вот одна болгарка поделилась со

мной, что Ванга сказала ей, что она родилась, обвитая пуповиной. Никто кроме матери этого не знал.

Нам рассказали, что когда люди узнали про ее способности, весть о странном даре обошла Болгарию, а потом вышла за пределы страны. Способности ее непрерывно подтверждались и выглядели чудесами.

Леонид Леонов, писатель наш, который посетил ее до нас, рассказывал, как во время разговора с ним она вдруг спросила: «А почему ты не посещаешь могилу своей сестры?» Леонов удивился, никакой сестры у него не было, но Ванга настаивала, и, уже уехав, он вдруг вспомнил, что в самом раннем детстве действительно была сестренка, которая умерла маленькой, он начисто забыл про нее.

Сам я побывал у Ванги будучи в Болгарии. Поехал я к ней вместе с заместителем главного редактора «Литературной газеты» Изюмовым. Его тогда волновал вопрос, куда пропал сотрудник газеты Олег Битов, уехал за границу и пропал. Шуму стояло по этому поводу... У нас ведь как, без вести пропавший — это всегда подозрительно, не о несчастье думают в первую очередь, а о том, что или к врагам перешел, или похитили, или что-то в этом роде. Так вот, он надумал по сему поводу обратиться к Ванге. А мы жили тогда в Доме журналистов. Я сказал: «Юрий Петрович, я хочу с вами поехать». И мы отправились. Жила она в какой-то дальней деревне, где и говорили-то на немыслимом болгарском диалекте, так что надо было брать с собой переводчика. Изюмов все это организовал, поскольку визиту он придавал государственный характер. Добрались к вечеру. Принимали нас без очереди. Не знаю размеров очереди, но записывались к ней загодя, и вообще, насколько я понял, доступ к ней был через какое-то казенное ведомство, которое то ли регулировало, то ли фильтровало.

Итак, нас провели в дом Ванги, посадили в плохо освещенной комнате, меня в дальнем углу. Ванга вошла, уселась за стол. Это была уже старая женщина, слепая, двигалась она уверенно, но все-таки осторожно, была при ней спутница. Обе одеты по-крестьянски, в той незаметной одежде, про которую никогда не вспомнишь, какая она. Изюмов сидел за этим столом сбоку нее и сразу же начал ее выспрашивать про своего пропавшего сотрудника. Она отвечала не очень охотно, пере-

водчик переводил, сказала, что этот Битов найдется, что он живой. Вернется, не беспокойтесь. Изюмов, очевидно, хотел подробностей, не захватила ли его какая-то организация, какая могла быть это организация, но ничего он от Ванги не мог добиться. Все его чисто следовательские вопросы она отклоняла: «Жив. Вернется. Когда? Да вскоре». Чего-то он еще спрашивал, чего-то она еще отвечала без особого интереса и вдруг повернулась в мою сторону и спрашивает: «А ты чего там пишешь?» А я действительно тихонько записывал, поскольку некоторую волшебность происходящего скорее не ощущал, а понимал головой. Меня удивляло, что Ванга отвечала ему как-то буднично, не было никакого колдовства, не прислушивалась, не производила пасов руками, а впечатление было такое, как будто она этого Битова ну встретила недавно в деревне, как будто он сказал ей: «Да-да, скоро вернусь...», то есть была у нее уверенность человека, для которого все это настолько очевидно, что не представляет интереса.

Откуда она могла узнать, что я там пишу? Я тихонечко, абсолютно бесшумно водил карандашом по бумаге. Я ответил, что я, мол, писатель и мне интересно то, что происходит. «Откуда ты?» — спросила она.

Я сказал: «Из Ленинграда».

«Из Ленинграда? — Она задумалась и сказала примерно так: — Это город, который еще будет много значить».

Мне показалось, что она вообще впервые слышит название Ленинград, не ручаюсь.

Как это понять — «много значить»? Она сказала: «Но больше, чем сейчас», что-то в этом роде. Признаюсь, вспомнил я об этом только в последние годы, когда у нас самонадеянно стали называть Ленинград культурной столицей и когда его значение действительно поднялось. Не знаю, относилось ли это к нынешнему состоянию города или к тому, что еще произойдет? Тогда я на это высказывание как-то не очень обратил внимание, а вот другое, что меня поразило, следующий ее вопрос. Она сказала: «А кто такая у тебя Анна?» Поскольку «у тебя», то мысли мои направились совершенно в другую сторону, я сказал: «У меня нет никакой Анны». «Нет есть», — сказала она. Я говорю: «Как так?» «Да вот она тут». Опять же, я не совсем точно цитирую. И тут я вдруг сообразил, я говорю: «Это моя мать. Она умерла уже, ее нет». «А-а», — сказала она.

И тогда я ее спросил, потому что мне было странно, что она говорит «вот тут она», я ее спросил: «Как вы отличаете живых от мертвых, живой человек или не живой?» Она сказала: «Это очень просто. Живой человек, он ходит по земле, а мертвый над землей». Еще она мне что-то сказала, вроде как упрекнула, что я редко бываю на кладбище у матери. Между прочим, и в разговорах с другими тема эта повторялась. Но самое невероятное, конечно, было ощущение, то, что она как бы почувствовала или увидела мою мать, и это ощущение больно отдалось во мне. Почему мать явилась к Ванге? Это меня поразило более всего. Из тысяч имен она выбрала «Анна», самое близкое мне имя.

Вот, собственно, и все. Битов действительно вскоре объявился. О Ванге я услышал там, в Болгарии, еще множество чудес. Но для меня этого свидания было достаточно. Достаточно для чего? Для того, чтобы никаких сомнений у меня не осталось, и более того, чтобы никаких объяснений не требовалось.

Я ничего пояснить не могу, никакой мысли о совпадениях, случайностях, а тем более о шарлатанстве у меня не было и быть не может. Это то невероятное, которое, конечно, нуждается в осмыслении, в исследованиях, в изучениях, но, увы, оно с ходу отвергается нашим рационализмом, ученые всерьез не хотели заниматься этим явлением, наши ученые — тем более. Отчасти я их понимаю, им не за что зацепиться, нет подходов научных, грубо говоря, они не хотят связываться с этим чудом. Мы не хотим чудес, боимся их. Изо всех сил держимся за разум, беспомощный перед будущим. Революция информатики, сексуальная революция, вдруг рухнула одна шестая мира, железобетонная конструкция коммунистического режима, вдруг поднимается мощь коммунистического Китая. Разум на ощупь бредет во тьме, откуда появляется непредвиденное, то чудовища, то откровения. Научные попытки футурологии, социологии бессильны.

Возвращается древнее, чувственное, идущее не от познания. Это то, чего достигали кудесники, шаманы, поэты, пророки, такие, как слепая Ванга.

Я убежден, что она обладала особым даром.

Вера в Вангу — это вера в человека: «Все в человеке».

Ее спросил болгарский писатель: что ели гладиаторы, как себя вели люди Спартака? Ванга рассказала, что она ви-

дит: как они сидят, что едят. Она словно включает телевидение, которое показывает; прошлое или будущее, для нее без разницы. Этот болгарский писатель получил от нее полное представление того, что он не мог вычитать ни в одной из книг.

ЧЕХИ

1998 август, 30 лет со дня разгрома в Чехословакии «социализма с человеческим лицом», правительства Дубчека.

У чехов все происходит по-чешски, у них всегда есть что-то от Швейка.

В 1968 году, когда происходили чешские события, были вывешены плакаты с надписью «На веки вечные с Советским Союзом», и тут же появились надписи на плакатах: «И ни часом больше».

В кино показывали, как встречаются Брежнев и Гусак, целуются трижды, из зала голос: «И в жопу».

Когда Дубчека вызволили из тюрьмы, его привезли на митинг на площадь, там собралось почти 500 тысяч народу. Было утро. Его вывели на трибуну, он не знал что сказать, с чего начать, он начал так: «Еще вчера я ужинал в тюрьме...», и вдруг площадь закричала: «А что было на ужин?» Это возможно только у чехов. Мудрость Йозефа Швейка — гениально подмеченная мудрость чешского человека. А что такое мудрость? Применительно к чехам, или по Швейку, это свой взгляд на вещи. Самый простой, неожиданно простой.

Чех Дроздовский рассказал: «После прихода танков в Прагу я сказал себе, что по-русски больше говорить не буду. Меня отовсюду выгнали. Устроился мойщиком окон. Шли годы. Однажды мою окна, подходит группа русских туристов, спрашивают, где тут универмаг. Я отвечаю, что по-русски говорить не хочу.

— Почему?

— Это после 1968 года.

Они удивились:

— А что было в 1968 году?

И я понял глупость своего зарока».

Много лет меня занимает проблема памяти, самой ранней памяти, той запретной памяти, которую природа не позволяет человеку сохранять. Я, можно сказать, коллекционирую, у самых разных людей выспрашиваю, что они помнят, с чего у них началось сознание. Один из таких ранних рассказов я получил от Лены Р.

Однажды девочкой она шла по деревне с мамой. Вдруг увидела козу. Испугалась. Схватила мать за руку и потащила за собой обойти козу издалека. «Что с тобой?» — спрашивала мать. Лена ничего не могла объяснить. Была она девочкой отчаянной, не боялась никогда ни быка, ни коров. Мать стала вспоминать и вспомнила, что когда была беременна Леной, шла по улице, и на нее напала коза, обеими руками мать защищала себе живот, с трудом отогнала козу, но напугалась. И вот, выходит, что через столько лет это отыгралось.

Не знаю, можно ли назвать это памятью, а как по-другому это определить, тоже не знаю.

Михаил Михайлович Зощенко в книге «Перед восходом солнца» задался целью вспомнить самое раннее, что было у него в детстве. Это не воспоминание, поскольку воспоминание предполагает известное и забытое, это нечто другое, это прапамять, желание забраться туда, когда памяти у тебя не было, то есть не было личности, отдельной от матери, не появилось своего «я». И что вы думаете, после многих усилий Михаилу Михайловичу кое-что удалось, и он написал об этом в своей повести и хотел продолжать свое путешествие в прапамять. Может быть, он написал бы еще одно исследование об этом. К несчастью, его грубо прервала критика, партийный окрик, кажется, в центральном органе «Правда», было это во время войны, «Правда» была возмущена тем, чем занимается писатель в такое время. А Михаилу Михайловичу было наплевать, он занимался тем, что пришло, что хотелось, неуправляем он был.

Часть третья





ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМИИ

Академик Евгений Борисович Александров рассказывал мне о своем дяде, президенте Академии наук СССР с 1975 по 1986 год Анатолии Петровиче Александрове. Трижды Герой Социалистического Труда, лауреат многих премий, талантливый физик и далеко не простая личность. Анатолий Петрович интересовал меня своим отношением к А. Сахарову.

Было одно обстоятельство в жизни Александрова, которое определяло, по-видимому, кое-что в его поведении. В 16 лет, по сути подростком, он служил у Врангеля. С тех пор страх, что об этом узнают, сопровождал его. Характер у него был крепкий, страх не мог согнуть его, но и отделаться от него было трудно. Случай типичный в советской жизни, что-то такое этакое имелось у многих. Почти любой из моих друзей что-то скрывал или имел какую-то бяку. Отец раскулачен, дед был домовладелец, у жены брат был троцкист, у этого (под большим секретом) тетка — родственница Махно.

Из рассказов Евгения Борисовича Александрова.

«Сахаров его раздражал. Из-за него, полагал он, будут репрессии, не думает о людях. Нобелевский лауреат академик Басов тоже возмущался: „Ходит ваш Сахаров в белых одеждах, а мы из-за него в дерьме, фактически это мы спасаем интеллигенцию, науку, Академию!“»

«Сахаров не поддавался внешнему влиянию, герметичность его натуры была исключительно высока. В США проводили испытания независимости человека. Через 3, 5, 10 человек любой испытуемый уступал абсурдным уверениям подговоренных. Сахарову понадобились бы сотни подговоренных».

«Анатолий Петрович был против высылки Сахарова в Горький, но считал, что это не самый плохой вариант, могли подстроить автомобильную катастрофу или запереть в психбольницу. Как-то дома он сказал: „Я не верю человеку, который бросил своих детей от первой жены и сейчас голодает из-за того, что не выпускают за границу невестку сына его новой жены“. И однако Анатолий Петрович пошел к Брежневу в связи с голодовкой Сахарова, когда ситуация была близка к критической. Брежнев дал согласие, и Сахаров прекратил голодовку». Евгений Борисович рассказывает, что «наиболее интенсивная общественная деятельность Сахарова пришлась на годы президентства Александра в Академии наук». Александру приходилось отвечать на вопросы журналистов, иностранцев, улаживать скандалы и удерживать власти от репрессивных действий. Из-за этого в нем нарастало постоянное раздражение против Сахарова, он не скрывал своего недовольства действиями Сахарова, считал их общественно опасными, боясь, что «они могут спровоцировать новую волну репрессий, направленных на Академию наук и интеллигенцию в целом». «Хорошо зная партийный олимп (в отличие от Сахарова), он ясно видел наивность попыток Сахарова внушить руководству идеи ■ необходимости перемен».

«Я думаю, что среди членов Академии не менее половины были настроены против Сахарова, особенно среди старшего поколения. Его действия пугали академиков перспективой репрессивного наведения порядка в Академии. Кроме того, позиция Сахарова выставляла многих академиков в неприглядном виде, когда их вынудили публично отмежеваться от Сахарова, чья правота мало у кого из них вызывала сомнения».

Тем не менее Академия не сдала Сахарова как своего члена, не исключила его из Академии, несмотря на все усилия властей. В наибольшей мере давление власти испытывал на себе, наверное, Анатолий Петрович. «Защитил его именно Анатолий Петрович, какие бы легенды по этому поводу ни ходили», — говорил мне Евгений Александров. Хотя Анатолий Петрович почти никогда не обсуждал дома конфиденциальные темы, я оказался первым слушателем его рассказа о дипломатическом триумфе на собеседовании в Политбюро ЦК. Анатолий Петрович не называл имен.

«Меня спрашивают:

— Есть ли в уставе Академии процедура лишения звания академика?

Я отвечаю:

— Есть. С формулировкой „За действия, порочащие звание и т. д.“

Меня спрашивают:

— Так за чем дело стало?

Я отвечаю:

— Видите ли, по уставу Академии все персональные вопросы решаются тайным голосованием на общем собрании, и я не уверен, что две трети академиков проголосуют за исключение Сахарова. Может получиться громкий политический скандал.

Меня спрашивают:

— А нельзя ли организовать открытое голосование? В этом случае академики не пойдут против линии партии открыто.

Я отвечаю:

— Для этого надо изменить устав Академии.

Мне говорят:

— В чем же дело?

Я отвечаю:

— Видите ли, по уставу Академии любые изменения устава утверждаются тайным голосованием на общем собрании, и я не могу гарантировать, что две трети академиков проголосуют за такое изменение.

— И тут они от меня отстали, — закончил Анатолий Петрович, очень довольный собой».

Воспоминания Евгения Борисовича Александрова были напечатаны в книге «А. П. Александров» (М.: Наука, 2002 г.).



Каких людей изготавливала советская жизнь? Я сам — хороший пример.

Все принималось как должное — история не допускала разных толкований. Было три революции. Цари все плохие, Гегель, Фейербах, Ницше — все они, сколько их было, имели серьезные ошибки, не заблуждались только Маркс, Ленин, Сталин. Это у нас в России изобрели паровоз, радио, аэроплан,

телевидение, электрическую лампочку, правда, насчет автомобиля никак не получалось. Все остальное — в России. Закон сохранения вещества, рефлексy, «таблицу Менделеева» — у нас, мы первые — Ломоносов, Попов, Павлов, братья Черепановы, Розинг, Василий Петров, Яблочков, Можайский.

Господи, сколько фамилий мы заучивали — все первооткрыватели, которые чуть-чуть, но обогнали Запад. Во всяком случае творчески — мы самые. Мы никогда не отдавали должное американцам, которые так быстро создали великую страну, прочную демократию, великую науку, литературу, кино. Они помогли нам выиграть Вторую мировую войну, они спасали голодающих Поволжья в 1920-е годы. Об этом не вспоминаем. В наших энциклопедиях и учебниках нет ничего о голоде на Украине, о расстреле в Новочеркасске, Ленский расстрел 1912 года есть, а про советский расстрел рабочих в Новочеркасске ни слова.

Все это впихивали ■ меня из месяца в месяц, годами — радио, семинары, агитаторы, газеты, книги, и ничего другого, никаких разночтений.

ШОСТАКОВИЧ

Шло очередное заседание в отделе пропаганды ЦК КПСС, это было даже не заседание, а совещание. Председателем был Леонид Федорович Ильичев, секретарь по пропаганде, фигура, страшноватая по тем временам и любопытная. Это он науськивал Хрущева на художников, на писателей, поэтов, на всех тех, кто, по его разумению, не хотел укладываться в идеологию соцреализма, впрочем, при его цинизме, Ильичеву, конечно, было наплевать на соцреализм, ему важно было показать свою бдительность, рвение. Совещание проходило уже после разгромных обличений, которые он устраивал для Хрущева на выставках художников в Манеже. Совещание шло более или менее мирно, мы начали погружаться в сонливую скуку, свойственную такого рода заседаниям, когда речь шла о том, что надо произведений больше хороших, разных, особенно пьес, особенно песен, особенно романов, все особенно. И вот объявляет Ильичев: «Следующим выступает Дмитрий Дмитриевич Шостакович, председатель Союза композиторов России». Поднимается на трибуну Дмитрий Дмитриевич, по-

началу он отдал дань обычной жвачке: да, действительно, надо повысить, усилить, но тут же рассказал: «Недавно вызвали меня в ЦК и говорят, надо опять поехать в Соединенные Штаты на какой-то конгресс. Я отказываюсь, объясняю инструктору ЦК, что, мол, лучше послать кого-то другого, у нас немало хороших композиторов, а я не могу ехать, я сейчас работаю, у меня в разгаре сочинение, которым я занят. Вы знаете, что он мне ответил? Дмитрий Дмитриевич, вы уже много насочиняли, мол, хватит вам, вы имеете полное право теперь отправляться в командировку, тем более что она необходима политически». Зал загудел. Шостакович, наверное, мог бы добавить, что, когда такое говорят любому творческому человеку, это непереносимо, но он как великий художник понимал, что лучше не досказать, чтобы люди сами себе досказали и додумали, что собой представляет партийное руководство.

Явление Шостаковича знаменательно тем, что появился и вырос в нашей советской жизни гений, абсолютный гений. Гениальных художников советская жизнь не умела создавать, не рожала, а если они и появлялись, то все делала для того, чтоб их либо обстричь, либо уничтожить. Шостакович, однако, сумел просуществовать всю свою жизнь в советской действительности. Как писал Иосиф Райскин: «Мы — музыканты, просвещенные слушатели — ощущали себя „внутри“ великой музыки. Шостакович был частью нашей жизни, его симфонии я бы назвал *симфониями общей судьбы*». И это поддерживало его. Это точное определение. Ощущение общности судьбы свойственно было нашей советской жизни, произведениям, которые приоткрывали общую правду, общую боль, общий гнев на несправедливости режима. С радостью мы открывали правду в живописных полотнах Петрова-Водкина, Фалька, Васильева и других художников, нарушающих догмы соцреализма. Это были Лентулов и Филонов, это были стихи Ахматовой, Мандельштама, Цветаевой и книги Булгакова, Платонова, Зощенко. Эти произведения мы воспринимали общностью чувств. Читатели, зрители ощущали общность своей судьбы, общность мысли, взглядов. Это было особое состояние единства, свойственное той советской жизни, где каждое свободное слово преследовалось цензурой и прорывалось сквозь неслыханные ныне препятствия. Музыка в этом смысле была труднодоступна для цензуры. Бессловесная,

невизуальная, она обладала как бы недоказуемостью, ее труднее было уличить, поэтому ее побаивались. Симфоническая музыка требует культуры. Партийные функционеры не очень-то понимали, чем опасен Шостакович, но те, кто понимали, тех он искренне возмущал. Известна история с Апостоловым, работником ЦК, который готовил статьи, постановления о музыке. Он ненавидел Шостаковича, был его главным гонителем, он организовывал все проработки. И вот в 1968 году исполняют ■ Москве 14-го симфонию Шостаковича. Перед началом Дмитрий Дмитриевич выходит на сцену, просит публику не аплодировать между частями. Исполнили первую часть. Тихо. Вдруг из первых рядов поднимается маленький скрюченный человечек и выходит из зала. Это был Апостолов. Все обратили на это внимание. Исполнение продолжалось. Когда симфония окончилась — аплодисменты. Двери распахнулись, публика направилась к выходу, и все увидели: на полу, на площадке перед дверьми, лежит мертвый Апостолов. Я помню, как восприняли эту смерть. «Возмездие», — твердили все. Вот оно, возмездие, которое так редко бывает вовремя.

У тебя, дружок, есть связи по горизонтали, а надо обзаводиться по вертикали.

ЗАЧЕМ ОНИ НАМ

Все чаще я чувствую ненужность гражданина в своей стране. Гражданские чувства, гражданские требования, гражданское поведение — зачем? Начальство это только раздражает. То марш несогласных, то выступления против строительства башни Газпрома ■ Санкт-Петербурге, то жалобы на отсутствие бесплатных лекарств, на плохие дороги, на низкие пенсии, на телевидение...

— Они всем недовольны. Что мы для них ни делаем, все им мало. Каждый день показываем, что правительство заседает, обсуждает нужды страны. Думу показываем, кое-кого снимаем с работы, стали аресты делать, нет, недостаточно.

— А нужен ли вам вообще так называемый народ?

— Хороший вопрос.

— В самом деле, чего вы с ним возитесь. У вас есть трубы.

— Две трубы! Газовая и нефтяная. Есть еще лес.

— Хватит?

— Вполне.

— Ну так что же, какая вам польза от народа?

— Это верно, пользы никакой, но все же неудобно как-то.

И что скажут за границей.

— Да плевать. Им важно, чтобы две трубы исправно качали. Думаете, им ваш народ нужен? Им и свой осточертел.

— Надо подумать. Что-то в этом есть.

Судьба человека — это невыполненное обещание, это упущенные возможности, это счастье, которое всегда почему-то позади.

Эта кочерга у нас из Зимнего дворца, дедушка принес.

Забытый запах дров, запах сеновала, запах тола, запах чернил.

Строили писательский дом у канала Грибоедова. Однажды стройка остановилась — кончились гвозди. Нигде их не было, нигде не могли достать. Литфонд откомандировал члена правления Стенича добиться гвоздей в отделе снабжения горисполкома. Приходит туда Стенич, сидит начальник, старый еврей. «Гвоздей нет и неизвестно, когда будут», — повторяет он всем. Стенич дождался своей очереди, наклонился к нему и на ухо сказал: «А когда вы нашего Христа распяли, у вас гвозди были?»

И что вы думаете? Получил.

О Стениче ходило много легенд. Он был остроумен и, конечно, погиб где-то в 1937 году.

А вот ужасные словосочетания и слова:

Более лучше.

Где-то я согласен с вами.

Видели о том, решили о том.

Подскажите время.

Как бы бесконечно.

На себя одеть.

Дубленка лучше всех.

На пополам.

Я извиняюсь.
Фотка.
Проплатить.
Я уже как бы пообедал.
На сегодняшний день.
Я сказал кратко и лаконично.
Позвольте поднять тост!
Волнительно.

БРОНЗОВАЯ ЖИЗНЬ

Моя должность в муниципалитете — смотритель. Неясная должность. Чего смотритель, не обозначено. Фактически по памятникам. У нас в городе их тридцать штук, это которые мне подчиняются. Ну есть еще на территории институтов, во дворах заводских. В те я не вмешиваюсь. Мое дело — городские памятники. Например, если кто кого повредит. Допустим, у Ленина кепку отломали. Сапоги ему красным намазали. С Лениным много хлопот. Я, значит, исправляю, то есть заказываю кепку. Или сапоги ему чищу. А то надпись привожу в порядок.

Но, честно говоря, больше всего сил уходит снимать памятники, потом ставить их обратно. Снимаем ночью, втихую. Ставим торжественно, с музыкой и цветами. С речами. И то, и другое хлопотно. Даже не понимаешь, что труднее. Взять, к примеру, памятник Томашу Массарику, президенту нашему. Поставили сразу после смерти его, зимою в 1938 году, я тогда в солдатах служил, только должен был демобилизоваться, и нас назначили в караул почетный, при открытии памятника. Я стоял с ружьем, в парадном мундире, смотрел, как сдернули покрывало, все заплодировали, потом мы салютовали из наших ружей. Памятник как памятник. Мог ли я подумать сколько мне придется с ним намучаться.

Демобилизовался я, и определили меня на эту должность. Ну, думаю, отдохну, какая тут может быть работа. Памятник существо неподвижное, ставится навечно. Только я это подумал, и началось. Пришли немцы. Первым делом они взялись за памятники, как будто другой работы у них не было, как будто ради этого захватывали нашу Чехословакию. Снять памятник Массарику! Сняли. За что — не знаю. Мне Массарика жалко стало, я его на склад отправил и завалил всякой рухлядью.

Через два года комендатура потребовала его на переплавку. Я говорю — сдал уже. Квитанцию им предъявил. Для немца главное бумажку иметь.

Война только кончилась, немцев прогнали, что вы думаете, с чего началась новая власть? Ставить памятник Массарику. Хотели заказывать, я говорю: «У меня есть на складе. Готовый». Достали, почистили, поставили торжественно, цветы, оркестр. Мне дело это знакомое, все как положено сделал: опять покрывало, опять сдернули, опять аплодисменты и речи. В 1948 году коммунисты пришли с Готвальдом. Прежде всего чем занялись? Снятием памятника Массарику. Но секретно. Ночью краном сняли. Хотели и постамент снять. Я говорю: «Подождите, зачем? Кого-нибудь другого сюда поставим». Массарика я опять на склад, опять закидал.

На постамент думали, примеряли, а у меня валялся Кубелика бюст, я им предложил — поставили. Это был такой музыкант, на скрипке играл. Стоит Кубелик, ну, думаю, этот хоть раз и навсегда, так нет, в 1968 году, Дубчек хороший мужик, но первое, что сделала его команда, — приказала восстановить Массарика. Ладно, это мы умеем. Опять соорудили трибуну. Кубелика ночью перенесли на другое место, там, где Запотоцкому хотели ставить, вместо него Кубелика тихо и незаметно водрузили, а Массарика — на прежнее место. Оркестр, цветы, речи. Однако я говорю ребятам, чтобы они не цементировали штыри, значит, намертво. Потому что потом мне приходится их пилить, это, я вам скажу, адская работа. А тут у меня как предчувствие было. Но они говорят: ты что, не веришь ■ наш строй, в наши обновления. И зацементировали, да еще как.

Не прошло и полгода, как Дубчека сняли, и следом за ним команда: Массарика тоже снять. Дубчека — это легко было: нагнали танков, его в самолет, в Москву и конец. А вы попробуйте пилить штыри. Ночью наконец выдернули, чуть голову не оторвали бедному президенту. Я его на прежнее место. Постамент говорю не занимайте, поставил туда вазу с цветами. Слушать не хотят. Ты на что надеешься, ты тайный сторонник Дубчека! Чуть меня в политику не замешали. И вот я уже на пенсии. Вызвали меня ставить надо Массарика обратно. Где Массарик? Я на склад, вытащили его, бедолагу, и назад. А там Готвальд стоит. Готвальда сняли, хотели в лом железный, я говорю: пусть полегит на складе. Водрузили обратно Массарика.

С.-Петербург
27.10.04

«Уважаемый Даниил Александрович!

Спасибо за выступление в „С.-Петербургских ведомостях“. Ваш голос прорвался сквозь оголтелый одобрителный визг, под который уничтожают наше поколение. Я не блокадница, не участница, не „жильница“, я просто ветеран труда, уроженка Петербурга, отдавшая этому городу 44 года работы, все силы, знания, здоровье. Не буду отнимать Ваше время подробностями моей биографии. Коротко: родители-врачи, война, мобилизованы, дети эвакуированы с детским домом, найдены матерью в Свердловской области, после войны — полуголодное детство, коммуналка. При этом: школа с медалью, абонементы в Эрмитаж на нищенские родительские зарплаты участковых врачей, галерка в театре, хоры в филармонии, серьезный вуз. Затем: инженер высшей категории, 38 лет в приборостроении, трудовая книжка — полная благодарностей. Сейчас: старость, нездоровье и... монетизация, так сказать, заключительный аккорд. Целое поколение „кинули“, как сейчас выражается не только шпана, но и представители власти. 9 поездок по городу в месяц и угроза расстаться с телефоном, плату за который бесконечно повышают. Общение сводится на нет, нам предназначено гетто — изобретение фашизма применяется демократической властью весьма успешно, только у них гетто служило для других народов, а у нас — для своего.

10 рублей выделяется ветерану труда в месяц для оплаты пригородных поездок — только до крематория, в одну сторону. Одна поездка на участок 6 соток, выделенных на болоте и превращенных собственными усилиями в мини-огород, обходится в 110 руб. Выход один: расставаться, хотя многим этот участок помогает выживать. На этой неделе возвращаюсь на автобусе из пригорода, большая часть пассажиров — мои ровесники, с тележками, сумками, рюкзаками, тянут на себе... Разговор на одну тему — монетизация, обман, безнадежность. Самое страшное: „столько пережили, страдали, спасали город. Наверное, зря“. Как нужно обидеть, оскорбить, унижить терпеливое, добросовестное, доброе поколение, чтобы оно пришло к

такому выводу. Наплевали нам в морщины, а потом подтерли десятью рублями.

Месяц назад моя подруга уехала в Германию, хочет дожить прилично, по ее словам. Сказала: „Хуже, чем здесь, не будет никогда“. Спасаться от благодетелей демократической власти она ринулась в страну, которую с боями прошел ее отец-генерал.

Может быть, и Зубру не стоило возвращаться?

Суровых Кира Яковлевна,
1937 г. р., петербурженка».

Такое вот письмо я получил. Оно мало чем выделялось среди читательской почты. Разве что грамотностью. Тон был сдержанный, как и у прочих. Письмо, в заключение, как итог, после безуспешных ходатайств, когда погасли последние надежды.

Отвечать на такие письма я не умею. Утешать нечем, все доводы — фальшивы. При такой старости жизнь кажется проигранной. И в самом деле, если она, инженер, за всю свою трудовую высококвалифицированную работу осталась необеспеченной настолько, что считает копейки за проезд в автобусе и электричке...

Так и не ответил. Прошло два года. Пенсии повысили. Письмо это плюс еще несколько похожих не давали покоя. Написал — ответа нет, попробовал узнать, где адресат, где она, Кира Яковлевна Суровых? Неизвестно. Может, уехала в Германию, вслед за подругой...

Финал жизни для человека определяет прожитое. Это почти как последний акт пьесы. У старости мало что остается для счастья, но все же надо избавить ее от унижения, должна присутствовать в ней хоть какая-то доля благодарности от своей страны, от окружающих.

ГОЛУБОЙ

Семья Саши Петракова сняла дачу у одного кролиководы. Не так-то просто стало найти дачу на лето под Петербургом. У дачников был фокстерьер, поэтому им долго пришлось

договариваться, хозяин боялся за своих кроликов, особенно за одного — породистого, голубоватого, дорогого и редкого.

Однажды хозяин уехал в город, к Петраковым пришли гости. Веранда, чай, водочка, полный кайф. Вдруг вбегает Фокс и тащит в зубах мертвого кролика, растерзанного, измазанного в земле, и победно кладет перед публикой. Тот самый, голубой. Все ■ ужасе. Орут на пса, обзывают его, лупят, неужели он не понимает, что хозяин вернется и сгонит их с дачи. Что делать? Решают попытаться — берут этот труп, чистят, моют его с шампунем, сушат феном, приводят в порядок, кладут в вольер. Будто сам издох. Поди докажи. Вечером приезжает хозяин. Все замерло. Вдруг крик, шум, хозяин является, держит кролика за задние лапы, глаза вытаращены. Рассказывает, что кролик позавчера очоурился, пришлось закопать беднягу, теперь он нашел его ■ вольере, чистенького, того самого!

ПРО ЗУБРА

Спустя двадцать лет в своем беспорядочном архиве я обнаружил запись, сделанную моей покойной женой. В сущности это предыстория написания повести «Зубр». В свое время (1987–1989 гг.) книга вызвала живой интерес читателей и острую полемику, а то и разносную критику в печати.

Запись моей жены показалась мне любопытной в смысле характерных для того времени обстоятельств литературной работы, а кроме того, она рассказывает драгоценные подробности о самом Тимофееве-Ресовском и обстоятельствах его удивительной жизни.

«Задумав писать о Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском, Даниил Александрович очутился перед тяжелой задачей сбора материалов о нем, и, главное, зная его судьбу, изложить ее так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, а главное, не была бы нарушена правда истории.

Мы были знакомы и, я даже смею сказать, дружили с Еленой Александровной и Николаем Владимировичем с середины 60-х годов, когда он впервые, свободный, приехал в Ленинградский университет с чтением лекций. Однажды он выступал в Доме писателей, я не была на этом выступлении, а была дома, и вдруг приходит часов в 11 вечера Д. А. с толпой людей (это было зимой): шубы, шапки, шум. Стол... и наконец тиши-

на. „Я имени его не знала“, слышу громовой, рокочущий голос, перекрывший всех, и рассказ необыкновенной силы и странности. Видеть перед собой этих людей из судьбы, которую, кажется, и перенести нельзя. А уж быть таким жизнерадостным, властным, сильным, в это и поверить нельзя... На предложение о салате Н. В. отвечал: «Этот силос я не ем», а чай, черный и холодный, заваривал сам.

Мы полюбили их. Мы были сравнительно молодые, а такие уникалы попадались впервые. Они были естественные люди — без наигранности и фальши.

С тех пор они часто приезжали в Ленинград и каждый раз бывали у нас, а мы бывали у Анны Бенедиктовны Гоцевой, где всегда жили Елена Александровна и Николай Владимирович. Там всегда были широкие приемы биологов, и было очень интересно наблюдать, как Н. В. немедленно становился центром и по рассказам, и по проблемам. Нашей дочке, которая тогда была студенткой 1-го курса биофака ЛГУ, он говорил: «Это все ерунда, ваша биофизика и биохимия. Надо быть общим зоологом, или мокрым...» Все хохотали, т. к. в те годы физики биофизика только начиналась. Волкенштейн был еще в Ленинграде и хвастливо распространялся о своих работах. Только потом, через 20 лет, было ясно, как был прав Николай Владимирович, когда природа со всех сторон стала гибнуть.

Был однажды в Ленинграде симпозиум биологов. Приехало много ученых из других городов и даже стран — из ГДР Ганс Штрубе, из Швеции Густафсон, многие из Новосибирска, Беляев, у нас было большое сборище — из писателей были Данин с Софьей Дмитриевной. В это время модный спор «физики и лирики» занимал все площадки.

Один раз Тимофеевы приехали, и Н. В. заболел воспалением легких. Пришлось лечь в больницу. Мы все по очереди ходили ему читать, т. к. Елена Александровна очень уставала. А ведь Николай Владимирович ничего не видел и читать сам не мог со времени лагеря, и все его научные работы и статьи и литературу читала Елена Александровна.

В конце 1968 года мы — я, Д. А. и дочь Марина — поехали в Обнинск встречать Новый 1969 год. Там мы отмечали 50-летие Д. А. Мы поместились в гостинице, кстати, недалеко от тимофеевской Солнечной улицы.

Вечером к ним пришла масса народу, все его ученики — Владимир Ильич Иванов, Жорес Медведев, Коля Глов, Женя Рейсер, Кашкин и много других, кого я уже не помню. Все с женами и пирогами. Было очень весело, Н. В. возбужден, заводил пластинки с хоровым пением и каждый раз рассказывал все новые истории.

Наутро мы снова пришли к ним. Елена Александровна показывала мне Кимберовские медали, золотую и бронзовую. Потом разные фотографии, где они еще молодые, и фото более поздних времен. Она была удивительной красавицей, тонкой, хрупкой, хотя и довольно высокой.

Елена Александровна рассказывала мне о своих молодых годах и о встречах с Н. В. и всей их последующей жизни. Тяжелым ударом была, конечно, гибель их сына Фомы. Елена Александровна долго не могла в это поверить. Как они жили на объекте, как прикрепленный к ним солдат всюду ходил с ними и должен был ездить в Свердловск на занятия в университет с их сыном Андреем. А когда Андрей ходил на вечер, он тоже шел с ним, и даже когда сын провожал девушку, тоже плелся сзади. Он был очень славный и понимал, что они никуда не денутся, но выполнял свою службу. Один раз, когда они все трое и этот солдат поехали в универмаг и там бродили и потерялись, то Николай Владимирович бежал по универмагу и разыскивал его.

Жили они в Обнинске скромно. Маленькая квартира и никаких лишних вещей.

В 1970 году наша дочка вышла замуж и в виде свадебного путешествия поехала в командировку в Обнинск и в Москву. В Обнинске гостиница была занята спортсменами, и им некогда было идти, и они жили в квартире Тимофеевых, которые в это время куда-то уехали, а научный сотрудник Кашкин дал ключ.

Когда они приезжали в Ленинград, мы зазывали к нам наших друзей, чтобы познакомить их с Н. В. и Еленой Александровной.

Елена Александровна любила театр и концерты, а Н. В. был счастлив, если мог не пойти. Все годы они вдвоем ездили на пароходе по рекам России, и по Сибири, и по Волге, и по Северу. Всегда заезжали в Ленинград, и опять мы встре-

чались, и Н. В. с болью говорил о реках, затянутых ряской, и о мертвой рыбе.

Д. А. несколько раз записывал Н. В. на пленку, его рассказы, начиная с ранних лет. Но все же Д. А. тогда полностью не понимал, с каким редким человеком свела его судьба. Только последние годы он стал записывать подряд все, что Н. В. говорил.

Когда мы приехали из Обнинска, то с Д. А. случилась беда — он сломал ногу и лежал в больнице в Сестрорецке. Я каждый день ездила к нему, и он диктовал мне все, что запомнил из той недели в Обнинске, что мы были у них.

В 1974 году мы получили печальную телеграмму о кончине Елены Александровны. Это было на Пасху. 1-й день Пасхи у них обедали все друзья. Когда все разошлись и посуда была вымыта, Елена Владимировна сказала: „Колюша, что-то я плохо себя чувствую“. Он сказал „Наверно, объелась“. Но через некоторое время он тоже почувствовал серьезность положения и вызвал „скорую“, но было поздно.

Я не думала, что Николай Владимирович проживет без Елены Александровны еще 10 лет.

Через некоторое время Н. В. стал работать в Москве у Газенко, ездил в Москву редко, и когда некоторые сотрудники заявляли, что почему он не ходит на службу, то Газенко отвечал: „Я вас пятерых уволю за него одного“.

Из Обнинска уезжать не хотел — здесь могила и родные детству земли, „калуцкие“, как он говорил. В летний отпуск он по-прежнему ездил на пароходе с Владимиром Ильичом и заезжал в Ленинград. Мы тогда опять, как и прежде, приходили к Анне Бенедиктовне, и он, немного подрыхлевший, но все такой же могучий, рассказывал, что видел в поездке, и все больше звучала его боль об испорченной воде. Н. В. рассказывал, как он болел и лежал в больнице в Обнинске. Палата была отдельная, лечебную физкультуру он считал „ерундистикой“, но потом уступил врачихе, которая ему была симпатична, и начал понемножку поправляться и ходить, и крайне сам был этому удивлен.

В 1983 году Николай Владимирович умер. Не знаю, почему мы не поехали на похороны. Теперь жалею. А Д. А. вообще боится и избегает похорон. Сейчас, наверное, тоже жалеет, я не спрашивала.

Через некоторое время узнал что С. Шноль (биолог) записывал Николая Владимировича на пленки, так что кроме пленок Д. А. имелось еще более 30 пленок с рассказами Н. В.

Д. А. поехал в Москву и сидел неделю в Пущино у Шноля, прослушивая и переписывая пленки.

После этого он засел за работу. Сложность личности и биографии Тимофеева-Ресовского не давала уверенности, что может получиться доступное для нашей печати произведение. Но время не ждало. Пока были живы люди из окружения Николая Владимировича и на Урале, и в Москве, и даже в Берлине. Надо было торопиться. Д. А. уже был весь в этом. В доме все время гремел голос Н. В. (это было так странно, я в кухне вздрагивала и бежала в кабинет). Довольно тяжелый был этап сбора материалов от бывших друзей и коллег Н. В. Д. А. часто бывал в Москве, виделся с семьей Реформатских (подруга Елены Александровны и ее дети также горячо болели за эту работу Д. А.). Так же сопереживали Николай Николаевич Воронцов и его жена Ляля (дочь Ляпунова, известного математика и друга Н. В.). Это все биологи, бывавшие у Н. В. в Миассе и дружившие с ним и Еленой Александровной Владимир Ильич Иванов с женой Таней, жившие с ними в Обнинске, были им близки, как родные дети.

Кроме того, помогали многие ученые, соприкасавшиеся с Н. В. по науке. С ними Д. А. виделся и записывал их на пленки. Валерий Иванов (ныне доктор биологических наук, а в то время студент) бывал много раз летом у Николая Владимировича в Миассе на Урале. Он приезжал к нам в Комарово на дачу специально, и Д. А. также записал его воспоминания о Н. В.

Анна Бенедиктовна Гецова, добрый гений их ленинградского пребывания, много помогла Д. А. и знакомила его со многими биологами, знавшими Николая Владимировича.

Этот период как бы освещался хорошо еще и личным нашим знакомством.

Но были в рассказах Николая Владимировича и Елены Александровны еще и люди, с которыми они жили в Германии и которые были очень важны для освещения той самой тяжелой поры их жизни -- работы в Кайзер-Вильгельм

институте. Это были Игорь Борисович Паншин — биолог, проживающий в Норильске, человек, которому Н. В. помог спастись в Берлине ■ самые тяжелые годы гитлеризма. Его письма — это душераздирающий роман, который я не буду повторять (они есть).

Кроме того, муж и жена Варшавские, биологи, угнанные из Ростова-на-Дону, также были спасены Н. В. Я свидетель того, как резко и горячо Д. А. разговаривал и с тем, и с другим, доказывая необходимость и просто их святую обязанность написать об этом ради памяти о Н. В. Я не знаю, откуда брались слова у Д. А., когда тысячекилометровые расстояния от Норильска не мешали ему требовать их писем или приезда. «Это дело чести каждого, кто хоть как-то был причастен к этой великой жизни».

Варшавский, переживший плен, угон к немцам и спасенье, не хотел вспоминать всего этого, весь в страхе, устроившийся после войны в Саратове, боялся всего, где-то тайно боявшийся Гранина, который, может быть, выставит Тимофеева плохим, все же дрогнул и тоже написал свои воспоминания. Одни обещали, не сдерживали слова, и снова звонки, снова обещания. Единственный, кто сразу ответил и прислал много милейших писем, был художник Олег Цингер из Парижа. Он тогда был молод и помнил все хорошо, и был с Н. В. до окончания войны, затем уехал на Запад.

Потом был мучительный период самого писания вещи, нехватка материала.

Я писала по-немецки в Центральный Архив ГДР с запросом о сыне Н. В. Фоме (Дмитрии), они ответили, но переадресовали ■ Вену, а Вена — в Париж. В архив Маутхаузена.

Трудности, которые ■ общем-то не удалось преодолеть, это жизнь Н. В. в лагере. Он сидел вместе с Солженицыным. И после войны встречались. В лагере была непосильная работа и общество священников, которое окружало Н. В., и воров, они любили его слушать. Но самое страшное для его могучего тела был голод, от голода он заболел пилагрой и уже „доходил“, когда его разыскали по приказу Завенягина и Курчатова. Везли сначала на санях (дело было зимой), потом в спальном вагоне. Охраняли охранники, купе отдельное. Кормили. Он думал, что умер. Привезли в Москву, это он не помнит, смешно рассказывал про медицинский персонал привилегированной

больницы, как они боялись, чтобы он не умер. Начальник даже спал рядом ■ комнате.

Когда стал ходить понемногу, то повезли ■ магазин и одели по первому классу. И только тогда отвезли на Урал, на объект. Куда и приехали к нему его немцы.

Среди сотрудников Н. В. был Николай Викторович Лучник. В конце концов в декабре 1985 года во время съезда писателей РСФСР Д. А. звонил Лучнику домой, и он согласился приехать к нам в гостиницу. Многие говорили, что он был с Н. В. в плохих отношениях. Хотя Николай Владимирович считал его способным человеком. Приехав, он прежде всего попросил Д. А., чтобы его имя не называлось в книге. Д. А. это ему обещал. Была сделана запись на пленку.

Когда Д. А. закончил повесть и отдал ее в журнал „Новый мир“, ее читала редколлегия, и было назначено печатанье в номерах № 1 и № 2 за 1987 год.

Звонили и поздравляли прочитавшие рукопись доктор Блюменфельд, член-кор. Волкенштейн, Анна Бенедиктовна.

Но однажды позвонила редактор Лера Озерова и сказала, что пришли двое молодых ■ редакцию и заявили, что в повести Гранина „Зубр“ оболгали и унизили известного ученого Лучника. В этот же день звонили Залыгину (главному редактору «Нового мира») из горкома партии города Обнинска и говорили о том же. Мало того, все перешло за рамки Лучника, они перешли на личность Н. В. Эта женщина из Обнинска звонила в ЦК. Зачем это было делать? Человек уже в словарях и энциклопедиях. Эти двое были сыновья Лучника — один Андрей, биолог, даже доктор наук. Они требовали, чтобы им дали читать повесть Гранина. Их направили к автору.

Вечером раздался звонок из Москвы, это был Лучник № 2, который утверждал, что он знает, что Д. А. вывел его отца — известного ученого — в плохом свете. На завтра Лучник-сын приехал в Ленинград и встретился с Д. А. в Союзе писателей. Стало ясно, что этот Лучник боится за свою карьеру, так как он выездной и боится себе повредить. А затем в „Новый мир“ к Залыгину явились Лучник № 2 и профессор Георгиев, заместитель директора Института микробиологии, Залыгин звонил

Д. А. и рассказал, что этот профессор принес бумагу на бланке института с ходатайством о чистоте того Лучника.

Залыгин сказал, что разберется, но читать рукопись не даст.

Д. А. позвонил Воронцову, и тот, крайне удивляясь, сказал, что Георгиев тесть Андрея Лучника. Тут уж полный отпад. Георгиев, известный в биологической среде ученый, идет со своим зятем будто бы от имени института к главному редактору журнала, доказывая, что Гранин оклеветал известного ученого. Неужели он думал, что никто не узнает про их родственные отношения. Кроме того, звонки в ЦК, и из ЦК звонили Залыгину. Он ответил, что они разбираются. В ЦК сказали — смотрите сами!

Будучи в Ленинграде, Андрей Лучник был у профессора Николая Васильевича Глотова, бывшего своего учителя по Московскому университету и просил его позвонить Гранину. Коля Глов, которого мы знали еще в Обнинске как ученика Тимофеева-Ресовского, теперь профессор генетики Ленинградского университета, позвонил нам и говорил, что Андрей Лучник способный биолог и он знал отца. Д. А. пригласил Глотова к нам. Он пришел ■ субботу. Оказывается, Лучник не сказал Глову, что был с Георгиевым в редколлегии.

Коля рассказал, что ■ давние времена работы на объекте Н. В. тоже приволокнлся за девушкой, за которой ухаживал Николай Викторович Лучник. И будто бы у них была вражда из-за этого. Николай Владимирович, конечно, по словам Коли, никогда бы не оставил Елену Александровну, быстро остыл к этой девице, и Лучник женился на ней, но никогда этого не забывал. А Николай Владимирович в этом смысле был забывчив и не злопамятен. Он с такой же легкостью раздавал идеи, вместе писал, диктовал и... ухаживал. Н. Воронцов, был обеспокоен за выход второго номера журнала, так как когда выйдет 1-й номер, который явно определит своего героя, все живые лысенковцы, такие, как Глущенко, поднимут голову и начнут выть: „Кого вы подымаете — фашиста“ и т. д.

Интересно рассказал, что на днях были выборы ■ Академии медицинских наук и баллотировался Николай Викторович Лучник. Выступил академик Збарский и сказал все слова

„за“ и среди всех похвал особо подчеркнул, что Лучник был учеником знаменитого нашего ученого Тимофеева-Ресовского. Но все же он не прошел. Получил 5 голосов „за“ из 60.

1987 год. 5/1 — звонил Н. Н. Воронцов с радостной вестью, что получил № 1 „Нового мира“.

5/1 — звонил Владимир Ильич Иванов и сказал, что приходила Сакурова (которая живет в Обнинске) и рассказала, что Лучник там поднимает шум, что с ним не здороваются Волкенштейн. Что все это из-за Гранина.

9/1 — пришла домой из магазина — новости. Звонили из „Нового мира“, что цензура запретила печатанье второго номера, т. е. продолжения. Оказывается, дело в том, что в комитете по атомной энергетике есть запрещение на печатанье в прессе о том, что немцы работали у нас на спецобъектах. И хотя эти немцы потом уехали на Запад и все об этом знают, все равно в печати они все вычеркивают. Опять волнение. Требуют вычеркнуть большие важные куски.

9/1 — 16.30 — разговор с цензором Солодиным — уверяет, что все изъятия сделали в лучшем виде.

„Есть воспоминания Рилия и Циммера, напечатаны в Западной Германии, ведь я это читал“ (из разговора по телефону с Залыгиным). Все понимают, что это чепуха, и никто не может изменить инструкцию».



Природа в своей мастерской творит красоту. Достижения ее зримы, начиная от бабочек с их узорами безукоризненного вкуса. Назначение этих хрупких порхающих картинок не поддается объяснению. Что означают росписи их крыльев, зачем они? Но уместен ли вообще такой вопрос. Оперение птиц, хвост павлина, раскраска жирафа, зебры, рыб — серебристые, золотые, пурпурные, страшные морды, смешные и милые, плывущие среди коралловых поселений с их фантастической архитектурой. А как роскошны бронзовые, аспидные, изумрудные панцири жуков, весь этот ползущий, плывущий, летающий мир, созданный Природой. Она прежде всего художник. Еще не было человека, то есть зрителя, а Она уже живописала неведомые нам картины, творила формы, ваяла фигуры растений, диковинных существ, создавала музыку, запахи — удов-

летворяла потребность своего творчества. Через миллионы лет она передала изготовленную, отшлифованную потребность творить красоту человеку. Появились рисунки на стенах пещер, люди расписывали свое тело. Это отделяло человека от обезьяны.

Теории Дарвина и его последователей сделали мир объяснимым, но прямолинейным, упорядоченным. Слишком похожим на человеческое общество, лишенным тайны, красоты, похоже, что Дарвин не очень в ней нуждался для своих построений.

Гений Дарвина обеспечил развитие биологии на 70–80 лет, дальше он все невнятнее отвечал на новые вопросы. И о том, какое место в эволюции занимает красота, зачем она. Можно подумать, что выживает красивое, гармоничное, но разве красота помогает в борьбе за существование? Грация лебедей или фламинго — какая с них прибыль?

Но эти вопросы не для художника, может, они вообще не решаемы, как не решается загадка жизни.

Есть явно «выставочные» произведения — цветы, колибри, попугаи, стрекозы и т. п. Природа, однако, распространяет свой творческий дар и на семена. Они все хороши собою — желудь, пропеллер клена, сережки тополя. Вглядитесь в скромное семечко подсолнуха, черно-белую его оболочку, грецкий орех, каков он внутри с его двумя полушариями.

На выставке немецкой художницы Сюзанны Бауман я видел «Собрание семян». 60 штук составили впечатляющую картину выдумок Природы. Рядом висела картина «Гербарий гуляющего»: засушенные воспоминания о летних прогулках — травы, цветы. Дальше — галерея «Пестики цветов». Среди разных пестиков есть еще внутренности стебля — круги жизни, узоры расходящихся линий. Картины, они, оказывается, пронизывают насквозь все создания богини Флоры. Лист каждого дерева — это отдельное произведение. Фантазия природы неистощима, ее изобретательности нет конца. Очертания насекомых, их силуэты поражают воображение больше, чем сюрреализм Дали, Кирико, Танги. Чего стоят раскраски и формы раковин, как они раскрашены внутри, словно для наслаждения их обитателей.

Когда бабочке случается походить на лист, она передает все детали его строения, расщедрясь, воспроизводит дырочки,

проеденные жучком, которого знать не знает. Такая степень защитных уловок вызвана уже не «борьбой за существование», а скорее усмешкой над учеными дарвинистами.

Владимир Набоков подошел к энтомологии как поэт и бросил вызов ученым дарвинистам с их обязательной целесобразностью, борьбой за существование и т. п.

История красоты начинается задолго до человека. Может быть, это начинается с появления Вселенной, нашего неба с его созвездиями, движением светил. Вначале было не Слово, а Красота, рожденная фантазией Творца.

В одном из словацких музеев я любовался бусами, найденными ■ слоях палеолита. Женщины ходили в шкурах и уже носили бусы. Людям, самым древним, каменного века, нужна была красота. Резьба по слоновой кости выставлена там же с табличкой «XXII век до н. э.». Брошки «XII век до н. э.».

Свиридов как-то сказал о музыке Гаврилина, что ему непонятно, откуда она берется. Эта область музыки Свиридову была неведома. То же самое еще в большей мере можно сказать о Шостаковиче. Никто из композиторов не представлял, откуда она, где могут быть ее источники. Это такая же неведомая область жизни, как жизнь привидений или небесных черных дыр. То же самое в фауне: откуда бабочки берут свои узоры, кто сочиняет эти прекрасные рисунки?

Можно сочинить мелодию, хороших песенников много, но сочинить симфонию, то есть музыкальный роман, повесть, это нечто совсем иное, да и романы разные. Симфонии Шостаковича — это великие трагедии шекспировской силы, да еще всегда личностные. Откровенность его, обнаженность чувств и признаний пугает. Написать автобиографию столь беспощадно-бесстрашную никто на бумаге не смог. Жан-Жак Руссо становился в позу, когда писал свою исповедь. Толстой по мере удаления от детства к юности о многом начинал умалчивать.

Язык музыки понятен, но не дает себя уличить. Это «я»? Или «он»? Или «мы»? У таких, как Шостакович, музыка производится совсем из другого материала, чем у прочих, это как лунный камень или звездный свет. Примерно то же наблюдал я и у физиков. Володя Грибов, Лев Ландау, Петр Капица — все это были люди, неведомо откуда бравшие свои догадки, они опережали собственное мышление. Рассказыва-

ешь такому про свое исследование, а он, не дослушав, говорит что у тебя должно получиться. Раз угадает, два угадает, а потом начинаешь ему верить и понимаешь, что у него особый дар, он действует без доказательных выводов. Иногда это похоже на гадание.

Он не спорит, ответ ему виден, он уже различает его до того, как кончен расчет, откуда ему становится известно, что должно получиться, непонятно. Сперва ему не верят, потом считают его догадку случайностью, потом начинают убеждаться, что имеют дело с гением.

— С чего вы это взяли?

— А мне так кажется.

— Но при таких температурах не может получиться.

— Не может, — соглашается он, — но вот увидите, что получится.

— А за счет чего?

— А черт его знает, — говорит он, — именно тут должна быть точка поворота.

И он вовсе не заботится, что это выглядит абсурдно, никакие абсурды его не смущают.

Точно не помню, кажется, в Берлине мне прочитали стихотворение, где была такая строфа:

Земля умирает,
Вода умирает,
Воздух умирает,
Лес умирает,
Звери умирают.
Ура! Мы живем!

...У него дочь в партии зеленых. Она вешает скворечники. И мастерит их. Ненавидит автомобили, ездит на велосипеде. Считает животных и умнее, и благороднее людей.

Мы плыли с ними по Волге, шлюзовались, пристани маленьких городов. Боже, какое грустное зрелище, Волга — умирающая река. Пустынная. Местами цветет ядовитой зеленью. Кое-где торчат затопленные верхушки колоколен. Изредка где-то на берегу полыхнет костерок. Гидростанции обессилили

великую реку. Бревна, как трупы, плывут мимо лесов. Баржи, пароходы — редкость.

Мой друг Карло Каладзе, грузинский поэт, признался мне:

— Идет машина, а я весь напрягаюсь, боюсь, что она идет на сына, лестница — она построена так, чтобы он упал. Как защитить его? Каждая женщина хочет соблазнить, увести его. Он уже взрослый, а мне все равно хочется заслонить его.

Он сам высмеивал свои страхи и ничего не мог поделать с собой. Мы разговаривали в ресторане гостиницы. Я приехал в Тбилиси укрыться от проработок за повесть «Наш комбат». В Ленинграде меня то и дело вызывали то на партбюро, то в обком, вспоминать не хочется. Позвонил мне из Тбилиси поэт Иосиф Нонешвили, пригласил в гости.

Окна моего номера выходили на проспект Руставели. Под окном росла старая акация. Рано утром в одно и то же время дерево начинало петь, и я просыпался. Все ветви были унизаны бурыми комочками, похожими на осенние листья. Это были воробы. Дерево закрывало все окно. В безветренном воздухе хор птичьих голосов то сплетался из переливчатых трелей в единую песню, то распадался на отдельные партии, слышны были солисты. Певцы раскачивались на ветках. Утренний этот концерт я выслушивал от начала до конца. Исполнив приветствие, птицы разом улетали, дерево оголялось, умолкало.

С этого приветствия начинался день. Зима была не свойственна этому городу. Кусты самшита стояли зеленые. Снег выглядел неудачной декорацией.словно неряшливые куски ваты валялись где-то в скверах.

Чернеющие горы — на них снег был уместен, он украшал горы рельефными складками.

На базар тянулись ишачки, шли женщины в больших клетчатых платках.

Время здесь было другое, поглощенное вдумчивым интересом к окружающей жизни, чем-то его течение напоминало мне время в Старой Руссе, Боровичах, старых русских городках.

Меня окружили неутомимой заботливостью. И Нонешвили, и Каладзе, и Бесо Жтенти — белобрысый грузин, литератор. Каждый день к кому-то в гости. Было ощущение незаслу-

женного внимания, кто я, ■ конце концов, один из питерских прозаиков, только одна книга в то время переведена на грузинский. За что мне такое гостеприимство? Иосиф напомнил мне Лермонтова:

Быть может, за хребтом Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей.

Напомнил и Пушкина, и Пастернака, и Заболоцкого — сколько их находило в Грузии отраду и укрытие.

Если я отказывался, хозяева искренне огорчались. Я учился отличать аджарское хачапури от обычного, разбираться в местных винах. Смена блюд, цоцхали — сизые рыбки, их надо есть отдельно, не смешивая с лобио. Учился употреблять всевозможные соусы, травы, огромные редиски, все это впере­мешку с тостами тамады.

Люди здесь были красивы, обычаи их — тоже. Мы заходили в духан. Там сидела молодежь. Были свободные столики, но все молодые люди вскакивали, уступая нам места. Таков был ритуал уважения к старшим. Как-то, собираясь в гости, я хотел купить хозяйке букет. Иосиф шепнул: «Не надо». — «Почему?» — «Цветы хозяев ко многому обяжут».

Каждый знал здесь своих любимых поэтов, артистов, художников. Меня пригласили в мастерскую Ладо Гудиашвили. Там были ни на кого не похожие работы. Сам художник рассказал мне о своей жизни за рубежом и о дороге домой.

Тосты за родителей, за удачную дорогу, за детей, за тамаду, постепенно я вникал в искусство вести застолье, нелегкое, мудрое, веселое.

Иногда мне казалось, что здесь соблюдают условные законы гостеприимства, подчиняются обычаям, а не велению души, но всякий раз убеждался, как я был неправ. Никто не заставлял их выкладываться. Им не хватало русских слов, они переходили на родной язык, забывали обо мне. Я вслушивался ■ разговор, что-то понимал: например, они обсуждали, какое вино гостю лучше подходит. Или книгу стихов Паоло Яшвили.

Иногда они пели. На разные голоса, у них сразу складывался хор. Это было красиво.

Я слушал, и меня охватывала тоска: смогу ли я как-то отплатить им, такой же красотой застолья, таким же гостеприимством, с этой древней культурой радушия.

По пути из Тбилиси, в самолете, мой сосед, москвич, крепко поддатый, плечистый здоровяк с рыжими усиками внушал мне, что в основе действий каждого человека лежит корысть. Она разная, явная, скрытая, но обязательно есть, если углядишь, тогда все просто будет: ты — мне, я — тебе, и не просчитаешься, жизнь становится простой, даже легкой. Учти (он вдруг перешел на ты), в чистой воде рыба не водится.

Под конец выяснилось, что он специалист по садам и паркам, профессия, казалось бы, удаленная от корысти. Он вез для Петергофа луковицы каких-то грузинских цветов, подаренных мингрелами.



Доктор Сушкевич вправлял диски позвоночника. Сотни больных из его маленького городка. И из области приезжают, живут там неделями, дожидаясь своей очереди. Прием производил ночью, потому что днем он работал в больнице. В Минздраве все были против него. Специалисты утверждали: ночью он принимает нарочно, для тайны, деньги берет большие (иначе зачем бы старался?), приносит временное облегчение, а значит, вред, ибо вместо лечения больной тратит время на это знахарство. На самом деле он лечил бесплатно. Его замучили комиссии проверкой. Тридцать комиссий за год! В конце концов он прекратил прием. Устал. Довели до инфаркта. Многих привозили к нему на коляске, а они пошли и ходят. К одному такому колясочнику, юристу, он обратился за помощью. Тот отказался его защитить, побоялся. Люди настаивали, скандалили. Сын шепотом ссылался на заместителя министра здравоохранения. В конце концов один из больных явился в Министерство здравоохранения и избил этого зама. Было разбирательство, зама сняли. Но Сушкевич к практике не вернулся.

Лидия Гинзбург как-то заметила, что каждое страдание сопровождается непредставимостью его конца. Потому что если представить себе конец страдания — значит избавиться от

страдания. О счастье мы, напротив того, знаем, что оно пройдет: в каждой радости затаился страх конца.

Эккерман ходил за Гете и записывал каждое его высказывание. Получилась толстая книга. Гете об этом знал и помогал ему, думая вслух. К тому же Эккерман его понуждал своими расспросами, приходилось отвечать, находить свою точку зрения. Эккерман не только записывал, он извлекал мысли из него. Гете говорил и говорил. Ходит за тобой не охранник, а секретарь с записной книжкой, приходится что-то произносить. Думаю, что если бы было побольше Эккерманов, то больше было бы и Гете. Конечно, Гете велик, Гете — гений, но, допустим, нашелся бы у нас такой самоотверженный человек и стал бы ходить за Виктором Борисовичем Шкловским, или за Эрдманом, или за Ильфом, за Бахтиным, да мало ли. Много можно было бы записать. Причем это не упущенные высказывания, это мысли, которые появились бы на свет на интерес, на ожидание.



Литературовед Борис Михайлович Эйхенбаум умер во время вечера памяти Мариенгофа в Доме писателя в Ленинграде. Сошел с трибуны, сел в первый ряд, тихо склонился набок. Сразу и не заметили, что случилось. Был инфаркт. Замечательно он жил, замечательно и умер.

Как ни странно, зачастую именно гиганты научной мысли, которые сумели одолеть установившиеся взгляды, убежденно отказывались от власти авторитетов, вели науку к новым высотам, сами спустя годы становились научными консерваторами, упорно не принимали еретических взглядов своих преемников. Галилео Галилей отвергал созданную Кеплером теорию эллиптических планетных орбит, называл ее фантазией. Томас Юнг оспаривал теорию, которую разработал Френель. Эрнст Мах возражал против теории относительности. Резерфорд считал, что ядерная энергия практически не применима. Эдисон не признавал значение переменного тока. Линдберг смотрел на ракетную технику как на безнадежное дело.

Знать, что недоступное нам на самом деле существует; то, что нам кажется невероятным, возможно; что мои личные способности могут быть не способны воспринимать новое, — это необходимое и очень трудное качество в науке.

Мы люди свободные, что нам скажут — то мы и захотим.

РЕЗОЛЮЦИИ

Начальник пожарной службы института подал докладную Игорю Васильевичу Курчатову, что при обходе помещений замечено, как в одной лаборатории младший научный сотрудник занимался любовью с такой-то младшей научной сотрудницей. Курчатов написал резолюцию: «Занятие любовью м. н. с. с м. н. с. пожарной опасности для лаборатории не представляет».

К Петру I обратилась одна молодая женщина с жалобой на мужчин, которые не хотят жениться на ней, поскольку она не девица. И так она была убедительна в своем негодовании, что он велел выдать ей бумагу, где объявлял ее девицей, и скрепил своей подписью.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ

Для Д. С. Лихачева Петр был человек нервный, мистический, рвущийся.

Лихачев считал, что в России не было ренессанса, сразу началось барокко. Оно пришло с Украины. Как архитектурный стиль. Вместе с ним — церковные руководители. При Петре они все были с Украины. Барокко означало интернационализм.

Аввакум был за национализм, за узкорусскую церковь, за русский язык, в этом смысле он был шовинист — против расширения русской церкви, которая в то время включала в себя украинскую и белорусскую церковь.

Алексей Михайлович вовсе не был тишайшим, он разгромил разинщину. При нем появилась немецкая слобода и начался курс на просвещение.

Петр не есть счастливый случай, я убежден: появление его можно считать логичным, петровское как бы появилось до

Петра. Но что ■ нем удивительно, таинственно — это его способность переходить из одного состояния ■ другое. Это переходы от человека к монарху и обратно. Замечательно то, как подчиненные улавливали и приспособлялись к этим переходам. Он и за границей продолжал так себя вести: то плотник, то царь, то матрос.

Петр I был великим мечтателем. Каким-то образом в мальчишеской его голове зародилась мечта о плавании на корабле. Она росла по мере того, как он поплыл по озеру на шлюпке, с парусом против ветра! А когда увидел море, попал в бурю, то мечта его населялась кораблями, большими и мелкими. Они образовали флот, он хотел, чтобы мечта эта охватила страну, эту сухопутную Россию. Оснастить ее парусами и отправить в море. Воображение генерировало в Петре яростную энергию. Замыслы без промедления воплощались на верфях. Он видел Россию морской державой. Это была его собственная, неведомая еще никому страна, обставленная только ему известными подробностями, ежедневно пополняемая, исправляемая: порты, верфи, каналы. Мечта была грандиозной, но еще грандиозней то, что стало, когда он принялся ее осуществлять, во всем размахе российских морей, от Севера до Балтики, от Балтики до Каспия.

ИЗ ЖИЗНИ ПОВЕШЕННЫХ

Жена не дала мужу на водку. Категорически — раз и навсегда. Он скандалил, скандалил, умолял, он пил в долг, теперь его черед «поставить», для него это вопрос чести, иначе остается только покончить собой, он повесится!

— Да ради бога! — сказала жена и ушла из дома, заявив, что не хочет мешать ему.

Он взял веревку, соорудил петлю, не затяжную, встал в ванной на табурет, ждет, дверь на лестницу оставил открытой, чтобы жена значит, всполошилась, когда вернется. «Висит». В это время приходит давным-давно вызванный водопроводчик. Входит в ванную, видит покойника, шарахнулся, выбежал. Постоял на лестнице, подумал, вернулся, стал снимать с покойника часы.

Тот дал ему ногой в челюсть. Водопроводчик побежал и грохнулся в передней с инфарктом. Когда вскорости вернулась жена, она нашла лежащего водопроводчика, который

безудержно стонал, поэтому «висевший» в ванной муж не произвел на нее нужного эффекта, тем более что он был совершенно живым.

РЕЧЬ НА СВОЕМ ЮБИЛЕЕ

Когда я сидел на чужих юбилеях, я ждал, что скажут сами юбиляры, это было самое интересное, потому что я надеялся узнать: как надо жить правильно, как живут красиво, действительно, ибо все, кому отмечают юбилеи, конечно, достойны восхищения, то есть достойны или не достойны, я не знаю, но говорят о них обязательно с восхищением.

Однако юбиляры своих секретов почему-то не открывают.

И вот, так ничего не узнав, я добрался наконец до своего юбилея. Кто-то сидит в зале и опять ждет, что я что-то им открою.

Попробую открыть. Я, например, понял, что заслуживаю похвал прежде всего потому, что дожил до нынешних лет, это удастся не каждому, и, естественно, те, кому удастся, считают себя достойными похвал и достойными того, чтобы учить других, как надо дожить, тем более что, не дойдя до этого юбилея, невозможно будет справить следующий.

Пожарных хвалят за потушенные пожары, писателей — за написанные книги. Конечно, каждый труд уважаем и почетен, однако насчет писательского у меня есть некоторые сомнения: поскольку писать — это удовольствие, а если человек получает удовольствие, то надо платить за это удовольствие, а тут ему деньги платят за то, что он получает удовольствие, так в чем же тут его заслуга?

Почему лично я стал писателем? Потому что с детства мечтал поздно ложиться спать, а еще больше мечтал о том, чтобы поздно вставать.

Иногда писать неохота, но потом вспоминаешь, что, оказывается, это удовольствие, и садишься. Чем больше пишешь, тем меньше понимаешь, как это делается и тем меньше получаешь удовольствия.

Моя заслуга состоит в том, что я избавил всех от торжественного заседания, прежде чем сесть за банкетный стол, пришлось бы слушать адреса, телеграммы и художественное чтение. Юбилей — дело отнюдь не серьезное и не повод для

размышления о жизни, раньше надо было размышлять, юбилей нужен для того, чтобы вас всех собрать: и не тех, кто зачем-то нужен, а только тех, кто необходим...

Н. признался мне, что давно уже не хочет с ней спать. Неинтересно. Он наперед знает каждое ее слово, как она вскрикнет, потянется, вплоть до той минуты, когда она притянет его голову к себе и быстро уснет. «Все мои действия — притворство, и удовольствие мое только притворство. Может, и у нее тоже. Мы в этом никогда не признаемся друг другу. Если она спросит — может, мне не хочется, так ведь я буду разубеждать из всех сил. Никакого желания у меня нет, она его добивается известным способом, и я тоже добиваюсь, пробуждая фантазию, воспоминания, тут и жалость, и вина, чего только нет. Стыдно. И грустно. Все израсходовано».

ИГРА В ПРЯТКИ

Среди питерских писателей одним из моих любимцев был и Геннадий Гор. Каждое лето в Комарово мы с ним гуляли по вечерам, обменивались книгами. Гор был книгочел. При встрече первой его фразой было не «Как поживаете?», а «Что читаете?». Сам он предпочитал философскую литературу. Читал Гуссереля, Ницше, Шеллинга, Канта, обдумывал, наслаждался изгибами человеческой мысли. Любил поэзию, историю искусств. Обо всем прочитанном горячо рассказывал, отбирая самое вкусное, осмеливался критично подходить к мировым авторитетам, вступал с ними, так сказать, в дискуссию.

С виду он был типичный книжник — толстые очки, за ними добрые выпученные глаза, большая лысая голова, держался стеснительно. Я не помню, чтобы он повышал голос. От него исходила мягкая деликатность. Невысокий, сутулый, с робкой полуулыбкой, он охотно уступал в спорах, но это не означало согласия. Доброта не позволяла добиваться ему победы, его дело было высказать свое мнение, а там уж — воля ваша, другой человек не сразу усвоит, надо дать ему время. Скромность у него соседствовала со страхом. Страх было много, прежде всего — «госстрах»: хронический, неизлечимый страх советской интеллигенции перед властью, непредсказуемой, лишенной всяких нравственных правил.



С возрастом страх прибывал и прибывал, не давая распрямиться. Кроме всеобщих страхов Гора преследовал и свой, личный, сокровенный страх. Сперва я полагал, что это последствие побоища космополитов. А может, когда-то ему досталось за формализм его ранних книг. Но вроде Гора никто не поносил. Его фамилия не упоминалась ни в каких постановлениях. Войну он прошел благополучно. Уцелел. Правда, про свою войну он не рассказывал и не писал про нее, но ведь далеко не все стали военными писателями.

Когда война кончилась, все полагали, что наступит умиротворение. Долгожданное всеобщее счастье. Казалось бы, советский народ отстоял Родину, а с нею и советскую власть, спас жизнь горячо любимому Сталину и всем его верным соратникам. Ни один из вождей не погиб на войне. Народ, включая интеллигенцию, партия были едины в годы войны и, стало быть, заслужили доверие от своих правителей. К чему отныне искать врагов. Так виделось Гору и его друзьям.

Не тут-то было. Сразу же стали прочищать мозги. Преодолевать «низкопоклонство перед Западом». Появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинофильме «Большая жизнь», и пошло-поехало. Появился новый враг советского строя — космополиты. Когда с них срывали маску, там большей частью оказывались евреи, а обличать евреев — это дело безошибочное, никогда не помешает. Но и эти страсти его счастливо обошли.

Общение с Геннадием Гором было удовольствием. Ходили мы с ним в комаровский Дом творчества писателей, навещали литературоведа Н. Я. Берковского, его Гор чтит как мудреца, эрудита. Заходили к Леониду Рахманову, Владимиру Адмони. Летнее Комарово было праздником общения.

Еще одной слабостью Гора была живопись. Первая его книга вышла в 1933 году, так и называлась — «Живопись», маленькая, бедно изданная книжечка. Там было несколько рассказов о художниках. Станные рассказы. Чем-то они были похожи на выдумки обэриутов. У обэриутов более отчетливо звучали ирония, смех, их абсурд был резче, в нем всегда мелькал как подмигивание знак соумышленника, насмешка над пошлостью жизни, общепринятой глупостью.

Геннадий Гор, домосед, каким-то образом умудрялся знакомиться со многими молодыми ленинградскими художниками, выискивал наиболее талантливых, покупал их работы из своих скудных гонораров. Безошибочный его вкус привлекал авангардистов, к нему на дачу постоянно приезжали, привозили свои картины Зверев, Михнов, Арефьев, Кулаков, Эндер... Он внушал молодым уверенность в будущем успехе. Приглашал своих друзей писателей полюбоваться их работами.

Особой любовью пользовались у него художники народов Севера. Он открыл и преподнес широкой публике мир

замечательного художника — ненца Валентина Панкова, написал о нем книгу.

Романы, повести Г. Гора о науке, о Дальнем Востоке успехом не пользовались. Куда удачнее было его обращение к научной фантастике. Там хороши были его поэтичность, сказочность его выдумки. Но все время меня не покидало ощущение иных, скрытых возможностей автора. Что-то было в нем непроявленное, недосказанное. Посредственностью он не был. Когда-то от него ждали взлета, но взлета не получалось, Гор превращался в одного из тех, кого числят региональным, местным литератором. Выходили у него книга за книгой, были свои читатели, появлялись рецензии, можно было считать себя не хуже других, таких писателей сотни, наверное, большинство. Но все же я продолжал ждать от него необыкновенного. Все разрешилось трагически. Геннадия Самойловича отвезли в психоневрологическую больницу, где он и скончался ■ 1981 году.

А через некоторое время подобное же заболевание настигло и его жену Наталью Акимовну, что поразило меня, потому как была она абсолютно земная женщина, физически могучая, рослая, поглощенная дачей, огородом, детьми, не вникала в произведения супруга, живопись ее также не занимала, ее дело было кормить голодных художников, ухаживать за мужем. В гостях, в застолье она молча слушала высокоумные рассуждения и восхищалась своим супругом. Невозможно было понять, как сошлись эти двое, как прожили десятки лет в любви и согласии, что находили друг ■ друге. С виду — противоположности и внешне, и внутренне, а вот поди ж ты, даже психическое расстройство Гора передалось этой, казалось, такой трезвой, практической женщине. Следовательно, есть что-то в любви помимо общих интересов, сердечной привязанности, появляется, что ли, физическая общность организмов.

Неожиданности начались после смерти Гора. Одна за другой стали выясняться удивительные истории о его, казалось бы, обыкновенной книжной жизни писателя, среднего, не очень известного, быстро забываемого. Многие рассказал Юра Гор, сын писателя, а затем его внук.

Прежде всего я узнал, что Гор воевал с первых дней войны в составе известного ленинградского взвода писателей. Почему-то никогда Гор не упоминал об этом. Да и о дальнейшем участии в войне не рассказывал. Для того времени странно. Солдат

чтили, они любили травить фронтовые байки. В справочнике «Ленинградские писатели-фронтовики» Гор не упомянут. Все там есть, а его нет. А между прочим, он был капитан, командовал пулеметным взводом. Воевал он отважно. Вместе с Глебом Алехиным взяли они языка, были в окружении. Про это я знал. Долго выбирались, еле живые добрались до Ленинграда. Его пристрастно допрашивали особысты: где ваши пулеметы? Обратили внимание — почему у всех автоматы, а Гор вышел с японским карабином. Он объяснил, что раздобыл, карабин ему привычнее с молодых охотничьих лет, на Алтае он считался отличным стрелком. Особысты проверили его в стрельбе по цели и отпустили. В армию вернуть не могли — до того он был изможден. Эвакуировали в Пермь, куда он прибыл в середине 1942 года дистрофиком.

Не был ни ранен, ни контужен, тем не менее война глубоко травмировала его. Чем? Он вдруг осознал себя убийцей. В августе 1941 года, когда ополченцы держали оборону, он залег в кустарниках, подстерегал немцев и стрелял. Клал с одного выстрела. Сколько он перестрелял немцев за эти дни, он никогда не вспоминал, хотя в то время героизм мерилось именно числом убитых солдат противника.

Всю зиму 1941 года, весну 1942-го на Ленфронте шло «движение снайперов». Появлялись герои, на счету у которых было 50–100 «фрицев». Феодосий Смолячков уничтожил 125 немцев. Искусных снайперов награждали орденами, Золотыми Звездами Героя. Никто не принимал стрельбу на войне за убийство, человек на той стороне был всего лишь мишенью.

В Баргузине дед брал маленького Гора на охоту. Они стреляли соболей, Гор стал хорошим охотником. Немудрено, что в армии на полковых стрельбищах он занимал первые места. В картонные фигуры безошибочно всаживал в сердце пулю за пулей. На расстоянии пятисот метров.

В армию он попал потому, что его исключили из университета. Исключен с последнего курса в 1930 году за формализм:

Сон соболю приснился не соболий,
И тополю не топал тополь.
И плакала волна ■ Тоболе
О Ермаке, что не увидит боле...

Стихи у него получались не такие, как положено, рассказы малопонятные, их абсурдность раздражала, они нарушали все литературные традиции, там было нечто, напоминавшее обэриутов.

В армии он выглядел Швейком. Детские глаза навывкате, усиленные толстыми линзами очков, круглая физиономия чудака-добряка, взгляд, плывущий прочь от казарменных порядков. Он не годился ни для какой должности, его неряшливый штатский вид нарушал строй, однако он был первоклассным стрелком, занимал призовые места, так что его терпели. На этого непоправимо штатского типа обратил внимание командарм Тухачевский, когда на него налетел Гор с кастрюлей шей, несомых ротному. Рядовой облил гимнастерку командарма. Струхнув, рядовой озадачил командарма цитатой из Шопенгауэра, пролепетав: «У многих людей зрение всецело заменяет мышление, а у меня наоборот». Мало того, со страху он блеснул еще французским: «Все революции происходят от желудка», слова, приписываемые Наполеону. Бывший поручик Тухачевский знал французский, чем ответно щегольнул. Вместо разноса командарм отряхнулся, взял этого чудака под руку, и они прошлись по двору. Разговор на равных замызганного очкарика в обмотках и легендарного командарма в сиянии орденов и больших золотых звезд произвел впечатление на свиту.

Личность Тухачевского была овеяна романтикой Гражданской войны, позже добавился еще ореол великомученика, расстрелянного «врага народа», талантливого полководца; потом, уже много позже, образ этот стал покрываться пятнами жестоких обличений. Выяснилось то, что на самом деле в единоборстве Пилсудского и командира Западного фронта Тухачевского польский маршал сумел отстоять Варшаву, а красноармейские части потерпели поражение и бежали. Красный командарм был слишком самонадеян, тщеславен, несмотря на трагическую судьбу, его называют то авантюристом, то жертвой. Кроваво, безжалостно он расправлялся с восставшими крестьянами Тамбовщины. Много грехов тянется за ним. Но когда Гор встретил его на полковом плацу, молодой командарм был для него богоподобным, напоминал Наполеона.

Ничего не поделаешь, сперва они все вызывали у нас восхищение, сочувствие — военные, оппозиционеры и прочие герои хоть и слабого, но все же Соппротивления. Когда стали пуб-

ликовать их покаянные письма вождю, их униженные мольбы о пощаде, кумиры стали рушиться один за другим, пожалуй, ни один не уцелел.

Еще до того, как Гора исключили из университета, он редактировал университетскую газету. Охотник, поэт, снайпер, да к тому же общественник.

Ректором университета был Лазуркин. Однажды его и весь совет университета пригласил к себе руководитель Петросовета Зиновьев. В числе прочих Лазуркин взял с собою Г. Гору. Что там обсуждали, в дальнейшем никого не интересовало, после убийства Кирова важно стало участие в той встрече с «врагом народа», «замаскированным троцкистом», «шпионом», завербованным иностранной разведкой, организатором убийства Кирова.

Забирали одного за другим тех, кто был на той встрече, Геннадия Гора упустили, поскольку он был уже исключен из университета. Вроде, повезло, но с той поры началось мучительное ожидание ареста, рано или поздно до него доберутся...

После казни Зиновьева поспело «Дело военных» во главе с маршалом Тухачевским. К тому времени солдата Гора произвели в командиры не без участия маршала. В армии разразилась невиданная чистка. Тысячи, десятки тысяч командиров всех рангов арестовывали, судили, отправляли в лагеря, расстреливали. И опять Г. Гора проглядели. Кошмар ожидания усиливался. Рано или поздно его должны были обнаружить. Органы его упустили, но страх не упустил, вцепился и не покидал. Прошрое, недавно удачливое, превратилось в смертельную угрозу. Между тем писатель в нем не давал покоя. Появилась многообещающая, ни на что не похожая проза обэриутов: Хармс, Олейников, Введенский, Заболоцкий. Появился Леонид Добычин. То, что они делали, было близко Гору, его рассказам, стихам. Обэриуты, в сущности, занимались игрой, их забавляли словесно-смысловые возможности обнажения, абсурды мещанской жизни тридцатых годов. Они издевались над нелепостями общепринятых устоев, которые тут же соскальзывали в буффонаду.

На вечере в Доме писателя в 1936 году обсуждали книжную новинку — повесть Леонида Добычина «Город Эн». Необычная проза вызвала критику, и грубую. После обсуждения

Добычин пропал. Ушел и пропал. Как, где, что случилось — так и не выяснили. То было время исчезновений. Люди исчезали без следа.

Обэриутов сперва «выслали» на страницы детского журнала «Еж». Потом они были разгромлены, репрессированы, высланы на самом деле.

В 1937 году Даниил Хармс написал стихи, как бы вслед исчезновению Леонида Добычина. На мотив детской песенки:

Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед
И все вперед глядел.
Не спал, не пил,
Не пил, не спал,
Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре
Вошел он ■ темный лес.
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.

И если как-нибудь его
Случится встретить вам,
Тогда скорей,
Тогда скорей,
Скорей скажите нам.

Но оттуда, из темного леса, не возвращались.

Перегруженная машина уничтожений то и дело давала сбой. Как обычно, гнались прежде всего за количеством. Гора опять проворонили.

Для иностранцев империя, может, и выглядела Империей Зла, для ее обитателей она стала Империей Страха.

Воображая картины предстоящих допросов, Гор все отрицал — свои симпатии к Тухачевскому, отвергал обэриутов, Добычина, Вагинова, всех, кого любил, отрекался от своих вкусов, надежд, мечтаний. Будущее было заполнено мерзостью предательства.

Хармса арестовали в 1941 году за то, что он осуществлял «вредительскую деятельность» в журнале «Сверчок» для дошкольников.

Эйфория классовой борьбы перешла в массовый идиотизм. Трудно представить, чем бы это кончилось, если бы не грянула война.

В феврале 1942 года Хармс умер в тюремной больнице. Геннадия Гора блокада привела к дистрофии. Его отправили в госпиталь и эвакуировали из Ленинграда.

Фронтная жизнь не прошла даром, она принесла Гору отчаянность. Когда терять нечего, на переднем крае живешь случайностью; дальше фронта не пошлют... больше пули не дадут. Он стал прорываться к себе молодому, к своим безумным стихам.

И в нас текла река, внутри нас,
но голос утренний угас,
И детство высохло как куст.
И стало пусто как в соломе...
Мы жизнь свою сухую сломим,
Чтобы прозрачнее стекла
Внутри нас мысль рекой текла.

В рассказе «Вмешательство живописи» один из героев говорит: «Я — за импровизацию слов против напряжения всякой мысли. Я — за неожиданность искусства против логики науки».

Стихи Гора не привлекают ни музыкой, ни формой, но есть в них упорная попытка уловить поток сознания, передать блуждание мысли. Я прочитывал в них последнюю отчаянную попытку вернуться к тому молодому, автору книг «Факультеты чудаков», «Живопись».

Может быть, что-то и получилось бы, но после Победы партия принялась наводить порядок в мозгах победителей. Не кончилось еще гулянье-похмелье, как в 1946 году (!) ударили

по Зощенко, Ахматовой, может, наиболее популярным писателям, да так ударили, чтобы выбить из голов всякие вольности. Сталин провел многочасовое заседание Оргбюро ЦК, лично вправляя мозги ленинградским писателям. И пошло-поехало. Борьба с низкопоклонством перед Западом (насмотрелись в Прибалтике, в Германии!). Борьба с космополитами — новое пугало — разоблачить, изгнать! Не надейтесь на ослабление порядка, на вольнодумство. Одно постановление следовало за другим: «антинародный формализм» ■ музыке — это о Шостаковиче, Прокофьеве, Хачатуряне.

Давным-давно его должны были арестовать, сослать, а то и расстрелять, как зиновьевца или как «ставленника Тухачевского», почему-то не получалось. Фортуна спасала его, опять давала отсрочку. Никому не давала, кругом его друзья, однокашники были уничтожены. Заболоцкого посадили, Гнедич, Гуковский, Медведев, Леонид Соловьев, Лебедев — ссылали, сажали, разоблачали. Всех не вспомнить. Почему судьба обходила Геннадия Гора, может, надеялась, что он преодолет свои страхи?

Он боялся даже заглядывать в свои молодые стихи, где открывалось нагромождение порой чудовищных картин:

С веревкой на шее человек ■ огороде,
Он ндги согнул и висит,
И вошь ползет по его бороде.
И жалость ■ раскрытых настезь глазах
В закрытых ладонях зажата.
Жалость к весне, что убита,
К жене, что распята,
И к дочке, что с собой увели.

Он выбирался из всех переделок, уцелел и на войне. Счастливчик. Цепи счастливых случайностей, которые редко приходятся на одного человека.

Не знаю, как глубоко его травмировала война. В рассказах о нем много белых пятен. Если б я знал, как он воевал, я бы кое-что у него выведал, у фронтовиков существовало особое братство доверия. Думаю, что даже Юре, единственному сыну, он не все рассказывал. Умение прятать и прятаться стало привычкой, лучшим средством спасения, каким он располагал.

Прятался от самого себя. Ничего подобного ни у кого из солдат Великой Отечественной я не встречал. Тем более у военных писателей.

Истовая его любовь к авангардной живописи молодых художников сублимировала его собственные устремления. Когда-то и он порывался сам уйти подальше от соцреализма. Теперь он завидовал и радовался бунтующим полотнам молодых. Время от времени он выискивал среди прозы нечто близкое ему, необычное, вызов обыденности, прелесть абсурда. Так его обрадовала повесть Александра Житинского «Лестница».

В 2005 году в «Звезде» появился роман Гора «Корова». Написан он был 75 лет назад. Я читал его ■ рукописи. Роман сумбурный, странный, но впечатление было ясное — еще один своеобразный талант утерян. Если бы не кошмары 1920–1930-х годов, если бы ему не мешали страхи... Один за другим, никакой передышки, они настигали повсюду, куда бы он ни прятался... Однажды он выбрался из Комарово поехать в город, ■ Эрмитаж, на выставку французских импрессионистов. Вернулся оттуда пришибленный, испуганный, он там позволил себе публично восхититься живописью, и на него накнулись, доказывали превосходство русских передвижников, выставку называли мазней, его — космополитом. Я знал эту публику, агрессивную, грубую, в те годы спорили ожесточенно, доказывали, что западное не может быть лучше нашего искусства, потому что мировоззрение у них гнилое.

— Или мы лучше всех, или хуже всех, — недоумевал Гор, — почему мы не хотим быть как все.

Недавно среди старых бумаг попалась мне папка его стихов — «июнь—июль 1942 года». Кажется, кто-то из родных подарил мне на память о нем. Лето 1942 он находился уже в эвакуации. Стихов было много — сотня, может, больше. Почти все воспаленные, если не вчитываться — заумные, некоторые для меня бессмысленные или зашифрованные. Но какие-то отгадки там были, отгадки его припрятанных чувств:

Сезан, с природы не слезая,
Дома и ветви свежевал,
Вот в озере с волны снял кожу,
И дуб тут, умирая, ожил,
Трава зеленая в слезах...

С домов на камни боль текла,
И в окнах не было стекла,
А в рамах вечно ночь застряла.

В стихах почти не было войны. Он не пускал ее. Лишь однажды она прорвалась:

...И вот мы в окопах сидим,
На небо глядим
и видим: летят
То ближе, то дальше
И бомбы кидают.
Любино поле расколото вдрызг
И Луга-реченька поднята к самому небу.
Ах, небо! Ах, Ад! Ах, подушка-жена!

Ах, детство! Ах, Пушкин! Ах, Ляля!
Та Ляля, с которой гулял,
Которой ты все поверял.
Ах, сказки! Ах, море и все!
Все поднято, разодрано к черту,
И нет уже ничего.
Деревья трещат. Дома догорели.
Коровы бредут и бабы хохочут от горя.

Он умер в 1981 году в психиатрической больнице. Уже потеплело, страна распевала песни Высоцкого, Галича; Сахаров выступил против войны в Афганистане, ничего этого Гор не воспринимал, его прятки привели его по ту сторону разума, где он сам себя не мог найти, ни страхи, ни оттепель его уже не доставали. Он уходил бесшумно, на цыпочках, стараясь не будить демонов своей жизни. В Комарово без него что-то исчезло.

Его страхи напоминали мои собственные. В те годы многие из нас отступали, изменяли себе, кто-то сумел вернуться к собственной сущности, кто-то навсегда смирился. Недаром время от времени я вспоминаю угрожающую судьбу этого человека.

Как ни удивительно, понадобились годы, чтобы я понял трагедию его личности, его судьбы, да и того проклятого режима, который все же настиг его.

Слабак, не смог осуществить себя, но не предавал других, только свой собственный талант предал, но не запятнал свою совесть, по тем страшным временам это немало. Ломались, уродовались куда более сильные. Известно, что судить человека надо по законам его времени, но как трудно узнать и почувствовать те законы. Талант, чем он неповторимей, тем он был опасней, слабость была губительна, хотя кто знает, может, она бывает неотделима от таланта.



В Великую Отечественную на разных фронтах погибли двадцать писателей Ленинграда, пятьдесят умерли в блокаду, за годы репрессий расстреляли семьдесят, всего репрессированных писателей в Ленинграде было сто шестьдесят, по стране — около двух тысяч, из них погибли полторы тысячи.

ЖИЗНЬ КРЕПОСТНЫХ

Интересные материалы попались мне в районной газете «Красный Октябрь» за 2007 год (Волоконовский район Белгородской области). Из записок польского управляющего Карла Красовского, подготовленных к печати в январе 1861 года.

Опубликовал их краевед Петренко.

Красовский описывает вотчину по реке Оскол, саму реку, полноводную, густонаселенную разнопородной рыбой — сомы, лещи, язь, линь, плотва, налимы, бирючек. По реке стояли мельницы, было их до 50, водяных, ветряных. В революцию сносили их заодно с церквями, «бессмысленно и беспощадно», словно нечто чуждое, а ведь они на Руси работали со времен IX века.

Мололи зерно, земля давала до 100 пудов с десятины. Десятая доля шла на храмы, три дня крепостные работали на помещика, пресловутая барщина, три дня на себя. 102 семьи имели от 3 до 6 лошадей, свиней 1200, коров, волов 3600. 72 семьи имели пасеки от 10 до 80 ульев. В селе жило 229 семей, в среднем по 10,5 человека в семье. Так что было многолюдное село. Разводили овец, тысячи.

Хаты были липовые: «всегда там сухо, воздух в доме особенно чист и здоров... внутренние стены выглажены, всегда чисты и необыкновенно опрятны».

Хороших работников отпускали на рыбалку, в отход.

Конечно, перекупщики «бессовестно обманывали, наживались, перепродавая хлеб, шерсть, это как водится».

«Лесная стража состоит из 21 лесничего и старшего над ними. Лес был чистый, ухоженный, трухлявые и больные деревья спиливались и увозились... В каждой деревне по атаману, в помощь им восемь десятских и один полицейский».

Массового пьянства и драк даже по праздникам не наблюдалось. На мельнице — особый смотритель. На гумне — гуменный и три ключника. Что меня тронуло — был особый надзор за рекой и прудами, за нерестом, за зверьем и птицами. Интересно знать, в чем он выражался, этот надзор. В дневное время избы практически не замыкались.

Медицину творили знахарки, они лечили травами, снадобьями и «на воде» (не знаю, что это).

Может, и приукрашено, основные же цифры наверняка истинны. Вообще в районных газетах краеведы печатают много любопытного.



«Благоденствия приятны только тогда, когда можешь за них отплатить. Если же они непомерны, то вместо благодарности воздаешь за них ненавистью», так писал Тацит. То же относится и к подаркам, и к помощи, за которую нечем отплатить.

Сенатор Фулбрайт сказал мне в Пакистане:

— Вы спрашиваете, почему нас, американцев, здесь так не любят. Отвечаю. Вы, СССР, сколько им даете? Не знаете, а я знаю. Около ста миллионов долларов, а мы — десять миллиардов. Поэтому они нас ненавидят.

МЕДВЕДЬ

Австрийский миллионер купил лицензию на отстрел медведя. Приехал в Болгарию, встречали его по высшему классу, особняки, машины, свита, а тут выяснилось, что медведя нет. Был и ушел куда-то. Искали-искали, миллионеру невтерпеж, решили взять из цирка, старого, можно сказать, списанного. Привезли, отпустили в лес. Медведь походил, вышел на дорогу, тянет к людям. На дороге лесник оставил свой велосипед.

Австриец сидит ■ засаде, вдруг видит: на него мчится медведь на велосипеде. Дальше рассказывать я не в силах.

Однажды я выслушал такой монолог одного строителя:

«Природу надо уничтожать, она занимает слишком много места. На самом деле она украшение, а не необходимость. Современные технологии вполне могут заменить ее: поля, луга. Можно выращивать нужные овощи ■ структурах, теплицах. Нужных животных содержать в стойлах, вместо лесов выращивать древесину. Для удовольствий иметь парки, их можно сделать из синтетики, чтобы они выдерживали большие потоки людей, натуральные леса их не выдерживают. Рыбу выращивать в водоемах. Сократить штат животных, остальных сохранять в зоопарках. Природа ведь гуляет вхолостую, в сущности она живет для себя. Это недопустимо. Обычный трудовой человек треть времени проводит ■ кровати, треть на работе, большую часть по дороге к работе и обратно, оставшееся время сидит, читает, смотрит телевизор и ест. И только 5–10 % жизни — это пребывание на природе. Ради этого содержать столько лесов, озер, медведей, птиц — непозволительная роскошь. Разворовать природу, конечно, нельзя, а вот убрать ее, как старую мебель, необходимо».

И что вы думаете, он был убежден, что так и будет.

ЛИХАЧЕВ

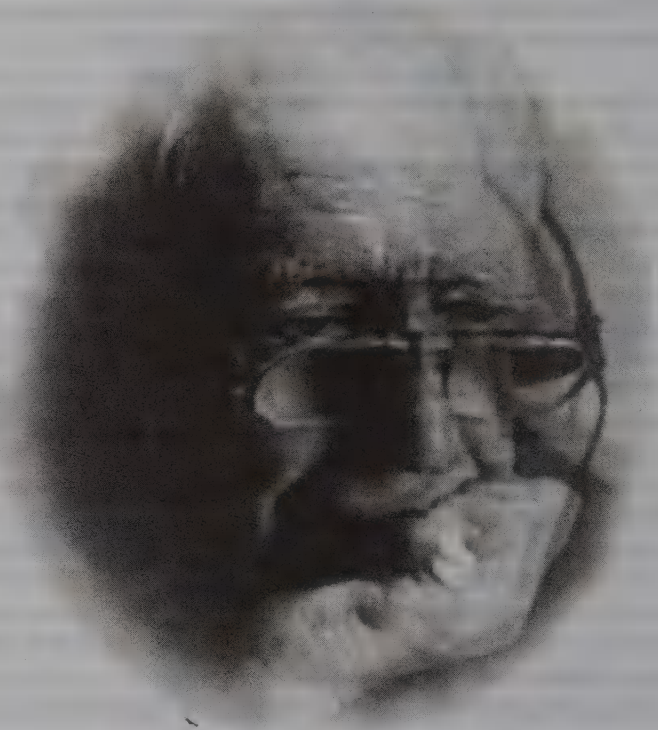
Он рассказал мне, как, сидя в Академии наук на заседании, разговорился с писателем Леоновым о некоем Ковалеве, сотруднике Пушкинского Дома, авторе книги о Леонове. «Он же бездарен, — сказал Лихачев, — зачем вы его поддерживаете?»

На что тот стал его защищать и всерьез сказал: «Он у нас ведущий ученый по леоноведению».

Они слушали доклад о соцреализме. Леонов сказал Лихачеву: «Почему меня не упоминают? Соцреализм — ведь это я».

Рассказывая, Лихачев добавил: «Жаль, что он не сказал „Людовик XIV — это я“, — и тогда всем стало бы ясно.

Недавно я нашел одно любопытное письмо ко мне Д. С. Лихачева. Переписка наша была скудной, мы общались лично, и это имеет свои потери, ибо я ничего из его рассказов



и размышлений не записывал, в письмах же все сохраняется, тем более что писал он без нынешней нашей поспешности, он любил этот эпистолярный жанр, старомодный, уходящий в прошлое. А ведь его, ■ сущности, ничего не заменяет. Ничего не остается от «эсмесок», телеграмм, факсовых сообщений, мы теряем свою прошедшую жизнь, встречи, сердечные потрясения, жизнь духа. Дневников не ведем и писем не пишем, если и пишем, то короткую, бедную информацию. Посмотрите, какая пришла скудость выражений «Уважаемый...» — типично начинается бумага, и «С уважением» — кончается.

«Дорогой Даниил Александрович! Один Ваш вопрос неотступно преследует меня, и я все думаю: как было и что. Вы спросили об обращении „гражданин“ и „товарищ“. Вопрос этот соприкасается с другой важной языковой проблемой, очень сейчас затрудняющей людей. Даже Солоухин писал о

ней, предложив, с моей точки зрения, неудовлетворительное решение. Вопрос этот состоит в том — как обращаться к человеку, если не знаешь его имени? Для обращения к женщинам любого возраста этот вопрос сейчас „решен“. К кассирше, продащице даже 50-летнего возраста обращаются без запинки — „Девушка!“ А как было до революции? Не все могу вспомнить, но, что могу, вспомню.

Извозчик торгуется с моим отцом. Отец, если разговор идет хорошо, говорит ему — *голубчик*. Обращаясь к человеку, явно непочтенному, с его точки зрения, отец говорит ему: *Почтенный*, как пройти и т. д. Если возникает спор с человеком оборванного вида (не уступает дорогу и пр.), отец говорит: „Почтеннейший, посторонись, видишь...“ и пр. Женщине, хорошо одетой, говорит *сударыня*, молочнице, приносящей нам молоко, говорит *голубушка*. *Сударь* никогда не говорится, только в сочетаниях и при размолвке — *сударь вы мой!* Извозчик, носильщик (последних называли „артельщиками“), обращаясь к людям, по-европейски одетым, говорили всегда *барин*. „Барин, накинь гривенничек“. Знакомому барину дворник его дома говорил *ваше благородие*. Звоня на телефонную станцию, все говорили: „*барышня*, соедините меня с номером таким-то“ (возраст *барышни* и ее семейное положение только предполагались — замужняя и пожилая телефонисткой работать не станет). Обращения *ваше превосходительство*, *ваше высокоблагородие*, *ваше священство*, *ваше преосвященство*, *ваше сиятельство* и прочее говорились только в служебной обстановке или тогда, когда чин, к кому обращались, был точно известен. За картами, однако, полковник приятелю-генералу мог сказать: „*Ну, ваше превосходительство, твой ход*“.

Друзья в присутствии посторонних (офицеры при солдатах) могли говорить друг другу „ты“, но никогда не называли сокращенным именем: „*Ты, Иван Иванович, ошибаешься*“, никогда не называли своего друга при подчиненных „Ваня“, „Коля“, „Николай“ и т. д. Манера называть по имени и отчеству друзей, с которыми „на ты“, была даже наедине у военных.

На конвертах — даже детям (сохранилась открытка отца из Одессы мне — шестилетнему) — перед именем и отчеством сверху писалось — *Е. В.*, т. е. *Его высокоблагородию*, и далее — *Дмитрию Сергеевичу Лихачеву*. И это не было шуткой: так полагалось писать на конверте.

Официанты в хороших ресторанах называли друг друга *коллега* (но никогда — в трактирах, даже почтенных, не говорили „коллега“ друг другу половые). Студенты говорили друг другу „коллега“ и так же обращались к студентам преподаватели. После революции до 1926–1928 годов обращение друг к другу студентов „коллега“ и старших профессоров к студентам „коллега“ означало известный консерватизм и неприятие новых порядков.

Теперь о словах „товарищ“ и „гражданин“. До революции слово „товарищ“ не в качестве обращения было в большом ходу — товарищи по школе, по университету; существовали товарищества и были „товарищи министра“, но значение „знамени“ своей прогрессивности специфическое обращение „товарищ“ на улицах, в трамваях, в учреждениях, в воззваниях и указах приобрело после 1917 года. В разных устах оно имело различное эмоциональное наполнение. „Товарищами“ называли матросов-революционеров. В устах „недобитых буржуев“ оно было равносильно „клешники!“. „Гражданин“ означало в целом „купца“ и в обращениях не употреблялось. „Гражданин Минин и князь Пожарский“.

Мой дед по отцу был „потомственный почетный гражданин“ (член городской Ремесленной управы), и могли бы по деду так называться мой отец и я сам, но отец, получив первый чиновничий чин, стал „личным дворянином“, что по наследству не передавалось (в этом смысл слова „личный“ означало „не наследственный“). Но быть „личным дворянином“ было более почтенным, чем быть „потомственным и почетным гражданином“. „Гражданин“ в значении пафосно-революционном, как обозначение „свободного и равноправного члена общества“ у нас не прижилось. Характер официального обращения это слово получило поздно по приказу, отменявшему в официальных случаях обращение к посетителям учреждений, милиционеров к прохожим и т. д. со словом „товарищ“. Когда кондукторы в трамвае перестали говорить „товарищи, пройдите“ или милиционер не обращался — „товарищ, вы нарушили...“, настроение у всех стало чрезвычайно подавленным. Все почувствовали себя преступниками, потенциальными „врагами народа“. Об этом мало кто сейчас вспоминает (никто не пишет об этом в мемуарах; это как-то забылось), но обращение „граж-

данин“ до сих пор несет печать какой-то подозрительности и строгости... Слово „гражданин“ с этим приказанием приобрело особый оттенок, которого раньше в нем не было.

В газетах, в приказах, расклеивавшихся по городу, и т. д., всегда ранее было обращение „Товарищи!“ И. В. С. не восставил бывшего слова „товарищ“ и в первые дни войны обратился „Братья и сестры!“ Вы помните это.

Оставляю копию этого письма себе: мне самому интересно коснуться темы обращений к людям раньше и теперь в разных случаях.

Привет Римме Михайловне. Зин. Ал. кланяется Вам обоим.

Приятная была поездка в Старую Русу (ее теперь пишут через два „с“)».

Д. Лихачев
30.V. 1984

Письмо это не только содержательно, оно пример подхода Дмитрия Сергеевича Лихачева к интересному для него вопросу. Прежде всего он заглядывает в прошлое, как это было раньше. Люди прежних времен, считал он, ничуть не глупее нас. Человек не становится умнее, мудрее. И двести, и четыреста лет назад общество имело разумные традиции, мораль, свои правила и чести, и взаимоотношений. Оказывается, правила эти достойны уважения, они вовсе не примитивны, не отличаются грубостью. Многое из той прошлой жизни сложилось из долгого опыта, оправдано столетиями. «Превосходительство» — было признанием превосходства положения, должности, заслуженного, ибо большей частью доставалось непросто.

Вот Лихачев ■ одной заметке касается такого понятия, как запах, ■ сразу считает нужным сообщить, что три столетия назад запахи цветов, еле уловимые запахи обработанного дерева ценились больше, чем сейчас. Петр Первый велел сажать прежде всего ароматные цветы, по дорожкам ■ садах сажать мяту. Когда ходят по ней (мнут ее), она пахнет.

Действительно, приятных запахов стало меньше, если, конечно, не считать духов, туалетной воды и прочей химии.

То же и со звуками. Раньше они услаждали слух — птицы, коровы, овцы, ныне нас мучают сигнализация, скрипы тормозов, грохот поездов.

ДЕЛА БАЛЕТНЫЕ

На гастроли во Францию готовилась ехать балетная труппа ленинградцев. Долго обговаривали репертуар, кого брать, кого не брать. Накануне отъезда вызывают сопровождающую от обкома, говорят ей:

— Поедете без руководителя, его нельзя.

— Почему?

— Нельзя и все.

Она:

— Это невозможно, там будет скандал.

Не слушают:

— Переживут скандал.

Она обращается к первому секретарю Романову, а тот:

— Не будь адвокатом, скажи, что готовится провокация, а мы хотим избавить его от опасности.

Она ■ крик:

— Да вы ничего не понимаете, вы срываете гастроли, нас там забросают, закроют, что будет в газетах!

Он ей говорит:

— Ничего, не такое выдерживали, покричат и успокоятся.

И вот с этим она должна была ехать к О. В. У того чемоданы собраны, все готово. Она ему:

— Извините, ваш отъезд задерживается.

Он все понял, побледнел. Она успокаивает. Он не слышит.

Она:

— Может, завтра все решится.

Он только махнул рукой. Она видит, в каком он состоянии, говорит:

— Надо вам в больницу лечь, отдохнуть, — боялась, что инфаркт его хватит.

Вечером позвонила:

— Еще может все решиться.

Утром ей звонит Романов:

— Ты что там наобещала?

Она:

— А вы послушайте телефонную запись, ничего не обещала, вам наговорили.

Молча повесил трубку.

О. В. поехал в консульство, сообщил, что не едет. Там на дыбы: «Что? Как? Почему?» Он ничего не объясняет. Они — в Москву. Дело дошло до Политбюро. Разрешили.

В Париже гэбэшники стали провоцировать его, хотели, чтобы он остался, — доказать, во что бы то ни стало доказать свою правоту. Перед пресс-конференцией придумали предлог — вызвать его срочно в Москву. Рассчитывали, что уйдет, останется, так как явно его отзывают и назад не пустят. Намекали, что никогда не выедет. Он поехал в Москву и, к их огорчению, вернулся на гастроли.

Долина, окруженная свежее-зелеными холмами. Алтайский городок маленький, безстроек, без промышленности. Есть два кинотеатра. Висит через улицу лозунг: «Привет лилипутам!» Приехал их ансамбль. Спрашиваю рыбу, рыбаки разводят руками: поймали тайменя 18 килограммов, продали и все пропили, «нет смысла ловить». Есть парк из лиственниц. Красноватые стволы. Между ними бродят кони, блестящие, как смазанные, их привлекают красно-лиловые кусты «марьяных кореньев».

В столовой лилипуты обедают, я слышу их разговор: «Мы ощущаем недостачу в подъеме энтузиазма», ему отвечают: «Потому что вы ищите под фонарем».

— Что это значит?

— А то, что кошелек ищут не там, где потерял, а под фонарем.

НОВОДЕВИЧЬЕ КЛАДБИЩЕ

Надгробие министру связи Псурцеву: стоит на пьедестале мраморный министр и говорит по телефону, трубку к уху прижимает, от трубки тянется вниз мраморный шнур. Министр улыбается. С кем говорит? Откуда он говорит? С того света?

Памятник создателю танка Т-34, конструктору. На надгробии — маленький зеленый танк. Неужели вся его жизнь сводилась к этому танку? Из-за этого его любили? Этим вспоминают?

Почти ни у кого нет эпитафии. Должности, награды, звания.

Создатель строительной плитки — его плиткой облицовано надгробие.

Генералы, маршалы — на их бюстах аккуратно вылеплены все ордена. Военных много. Но они же были еще мужья, отцы. Где скорбь, тоска вечной разлуки, слезы, благодарная память, любовь? Где все это? Неужели только до революции ангел печально склонялся над урной, обнимал крест? Сейчас, в 1979 году, ангелов отменили.

Вряд ли кто поймет, что советскому человеку недопустимо было страдать, чувствовать себя несчастным от потери близкого, уж во всяком случае запечатлеть свое страдание, ужас перед смертью в могильном надгробии.

Одно, надгробие, для вечности, туда мы провожаем родного человека, у вечности, наверное, свои ценности.

Путешествуя по узким кладбищенским тропкам, обнаружил — бывший наш президент Подгорный здесь лежит. И Первухин — член Политбюро, тоже бывший. Об их уходе не сообщалось. Хотя Новодевичье тоже требует привилегий, даже от бывших. Филиал Кремлевской стены.

Микоян лежит без памятника. Может, будет.

Некоторые памятники таинственны — только фамилия, имя, отчество. Засекречен был при жизни, так и ушел с грифом. Вперемешку с ними Щуко, Булгаков, Чехов, Фадеев. Кладбище причудливо тасует своих жильцов. Огареву выпало лежать рядом с заместителем министра финансов. Боюсь, что навсегда.

ВСТРЕЧА НА ДАЧЕ (19 МАЯ 1957 г.)

Собрали нас 19 мая 1957 года. После XX съезда. На бывшей даче Сталина. Венгерские события порядком напугали вождей. Был еще польский кризис. Шепилова отстранили от Министерства иностранных дел. Секретарь ЦК Ильичев внушал Хрущеву, что вся смута в социалистических странах идет от писателей, и у нас тоже. Вот вышла «Литературная Москва», где напечатан рассказ А. Яшина «Рычаги» против партии; в «Новом мире» — роман Дудинцева «Не хлебом единым», рассказ Гранина «Собственное мнение» — идейно вредные; вышли «Тарусские страницы» с вредными статьями Крона; и др. Если эти безобразия не пресечь, то и у нас смута начнется. Надо пресечь. Немедленно. Затянуть гайки после разоблачения культа. А то и в Политбюро раздор: Молотов, Шепилов, Первухин и др.

Началось мирно. Идиллическая картина — дача, летние наряды, аллейки, зелень, пруды и вожжи. Впервые ходят по аллее среди нас: Микоян, Молотов, Булганин, Хрущев — ожившие портреты. Здравуются, пожимают руки. Кто-то, кажется, Борис Полевой, представил меня Молотову. «А-а-а, „Собственное мнение“, — сказал Молотов, — это ваш рассказ?» — «Мой». — «Что же вы, — он укоризненно покачал головой. — Зачем вам, это же против партии. Вот роман „Иду на грозу“ у вас хороший».

То, что Молотов говорит со мною, светит солнце, сад, распускаются листья, что он не на трибуне — все это было удивительно для моего советского сознания, но еще удивительней было то, что он читал этот мой не бог весть какой рассказ и говорит о нем всерьез, словно о событии.

— Но ведь надо же, Вячеслав Михайлович, иметь собственное мнение! — выпалил я первое, что пришло мне в голову.

Молотов помрачнел, резко так согнал с лица приветливость. Наступила неприятная пауза. Борис Полевой преувеличенно весело подозвал к нам Паустовского, который шел мимо, а за ним и Эренбурга. Ему хотелось как-то разрядить напряжение, что-то произошло, связанное, скорее, с моим ответом, чем с моим рассказом. В чем было дело, я не понимал, да и Полевой, опытный журналист, тоже, видно, не понял. Чтобы сменить тему, он заговорил о замечательной работе Эренбурга в прессе в годы войны. Разговор перешел на журналистику, и вдруг Эренбург довольно язвительно спросил как бы всех, какой смысл иметь столько газет, если все они пишут и сообщают одно и то же, причем совершенно одинаково. Достаточно иметь одну газету. Молотов помрачнел, опять получилось не то, не так. Тогда Паустовской со своей милой улыбкой вспомнил, как в молодости он работал ■ одесской газете «Моряк», мальчишки-газетчики кричали, продавая ее: «Газета мрак, мрак!» Так вот, им, сотрудникам, надоели газетные штампы, все эти обязательные наборы фраз, решили, чтобы оживить текст, добавлять одно словечко, например, ■ некролог «с прискорбием сообщаем, что от нас ушел...» вставляли «наконец-то».

Посмеялись, разошлись, но запомнилась, даже поразила меня неадекватная реакция Молотова. Через несколько месяцев разъяснилось. То есть я мог представить, как совпали мои слова с тем, что происходило там, за кулисами, в Политбюро. Как раз тогда на Молотова «катили бочку» за иностранные

дела, за Югославию и какую-то неуступчивость, вот тебе и «собственное мнение», кто знал, может, я как раз наступил на мозоль.

Позвали к столам. Небо было ясное, тепло, красиво, шатер, крахмальные скатерти, бутылки, рюмки, осетрина. Кто знал, что разразится вскоре гроза и в небе, и на земле...

Надо отделять поступок от человека. Поступок может быть плохой, но значит ли это, что человек плохой? Далеко не всегда. Осуждать поступок — да, жалеть о поступке — да, но перечеркивать человека — рискованно.

Самому человеку легче будет казнить себя за этот поступок, если он отделен от того, что совершил. Иначе он станет в позицию самозащиты, станет доказывать, что он не плохой, сами вы все плохие.

Запоминается (и надолго!) не брань, а остроумная оплеуха, так Владимир Яковлевич Александров, когда его попросила Лепешинская сказать мнение о своем докладе, ответил:

— Есть вещи, Ольга Борисовна, которые в присутствии дам не говорят.

Вагнер, по свидетельству Гельмгольца, ценил свои стихи выше, чем свою музыку.

Ньютон считал величайшим произведением своей жизни «Замечания на книгу пророка Даниила».

Эренбург считал себя прежде всего поэтом, а не прозаиком.

Радость видеть Вас умеряет только частота Ваших визитов.

Живопись — жизнь, которую окликнули, она остановилась взглянуть на вас. Будь то портрет или пейзаж, в любом случае картина позволяет взглянуть в подробности. Потому что портрет или пейзаж — они остановлены. Фотография же не останавливает жизнь, а убивает ее. И затем предаст трупу нужное положение. Фотограф подстержет нужный момент и выстрелит в него. Художнику движение не мешает, ему нужны одновременно и смех и слезы, и ветер и покой.

Кто был прав — Анна Ахматова или Михаил Зощенко?

Анна Ахматова, когда ее спросили английские студенты, как она относится к докладу Жданова, сказала дипломатично: это, мол, критика, на которую руководство имеет право, что-то в этом роде.

Михаил Зощенко высказал свое возмущение докладом, сказал, что не может согласиться с тем, что его называют подонком.

Анна Ахматова сохранила возможность работать, некоторое время ее не печатали, но и не трогали, обходили, она пользовалась покоем, отступничество не ставили ей в вину ни с той, и ни с другой стороны.

И окружение, и начальство простили.

Зощенко пострадал смертельно, на него накнулись, рвали его на куски, долго травили. Позже на писательском собрании он не пожелал каяться в своем ответе студентам. Это было самоубийственно, но это был первый бунт, открытый бунт после смерти Сталина. 1954 год. Вот и встает древний неотступный вопрос, который решал для себя еще Галилей, решал и Джордано Бруно — смириться, склониться ради творчества, ради науки либо не уступать, не каяться, сберечь свое достоинство, но тогда лишиться себя возможности творить, печатать.

Хочется сказать, что они оба были правы, оба поступили так, как считали нужным, как понимали для себя меру своей ответственности. Мы им не судьи.

Но так ли это?

Поэт Глеб Пагирев работал в издательстве «Советский писатель». Там решили выпустить сборник стихов Ахматовой. Глеба назначили редактором, но как он мог редактировать Анну Андреевну — не считал возможным. Однако надо было хоть чем-то обозначить себя, он ткнул в какое-то место в рукописи, сказал: «Я тут не понимаю». Анна Андреевна подняла на него глаза. «Что делать, — сказала она, — это не моя вина».

Как-то в Комарово Анна Андреевна, глядя на кипу своих рукописей, сказала: «И кто это читать будет?»

«Сталин нашей юности полет».

ФИНЛЯНДИЯ, 1996 ГОД

Из рассказа господина Койвисто.

«Никогда не видел, чтоб полицейский брал взятку, по-моему, это невозможно.

Социологи установили, что население доверяет: полиции — 95 %; политикам — 30 %.

У нас 60 тысяч озер, два раза в год в них проверяют воду.

При дорожных происшествиях оставить в опасности человека, проехать мимо — карается законом. Даже прохожий не имеет права пройти мимо.

У нас 80 % преступлений раскрываются».

Финские дороги прорублены сквозь гранитные горы. Едешь по гранитному коридору — стены красные, желтые, серые. Сколько труда стоит каждое шоссе, и какое ощущение прочности сделанного.

Дикая природа здесь хорошо прирученная, но дикость остается как признак здоровья.

МЕДАЛИ

В русской истории бывали случаи, когда медаль вручалась отнюдь не в награду, а для острастки.

Петр I, как известно, не чурался доброй чарки, но людей, излишне приверженных к вину, не терпел. С особой строгостью преследовал он тех, кто в нетрезвом виде появлялся на службе или во время ассамблей напивался «до положения риз». К таким пьянчугам по указанию царя применялись суровые меры. Одной из них был церемониал «награждения» провинившегося специальной медалью. Она имела форму восьмиконечной звезды, отливалась из чугуна, была величиной с тарелку и весила полпуда. Надпись, выбитая с обеих сторон, гласила: «За пьянство».

Регалия эта цепью крепилась к металлическому разъемному ошейнику, который запирался надежным замком. Удостоенные сей «награды» целую неделю должны были таскать ее на себе, чтобы прочувствовать «тяжесть похмелья». Как показала практика, случаи повторных «награждений» были крайне редки.

В 1709 году, накануне Полтавской битвы, по велению Петра I была отлита еще одна «позорная» медаль, которая предназначалась украинскому гетману Мазепе, переметнувшемуся в лагерь врагов. По форме она напоминала вышеописанную, весила десять фунтов (более четырех килограммов), но изготовлена была не из чугуна, а из серебра. Петр распорядился выбить на одной ее стороне изображение повесившегося на осине Иуды, под ним — 30 сребреников, а на обратной стороне медали надпись: «Треклят сей погибельный Иуда еже за сребролюбие давится».

К огорчению царя, церемония «награждения» не состоялась: Мазепа умер раньше, чем отчеканенную в Москве медаль привезли в ставку Петра.

Самыми близкими людьми в ЦК КПСС были для меня Игорь Сергеевич Черноуцан и Александр Николаевич Яковлев. Когда Игорь Сергеевич заболел, остался Яковлев, остался не только для меня, а для многих из тех, кого числили творческой интеллигенцией. К нему ходили писатели, ученые, философы, киношники, все, кого беспокоила беспорядочная, бестолковая политика Горбачева.

Приходили мы с Алесем Адамовичем, Василем Быковым, обращались Григорий Бакланов, Евгений Евтушенко, Андрей Тарковский, Виталий Гольдманский.

Яковлев был доступен, умен, надежен, понимал с полуслова, его не приходилось убеждать, он во многом был впереди нас, смелее в своих оценках.

До Франции Я. П. Рябов был послом в Чехословакии. Там он Сахарова ругал: «Сахаров оклеветал, Сахаров посмел обоглать свою родину, Сахаров подпевает нашим врагам...»

Когда в Париже мы приехали с Сахаровым в посольство, на пресс-конференции Рябов говорил «как правильно заметил академик Сахаров», потом он позвал нас в кабинет и сказал: «Андрей Дмитриевич, вам предстоят трудные встречи, на них

вам будут задавать неприятные вопросы, мы, чтобы помочь вам, подготовили для вас ответы, я советую вам пользоваться ими». Сахаров только улыбнулся и сказал: «Да нет уж, я как-нибудь сам».

Ежи Лец правильно заметил, что «только один сумел прожить от Сотворения Мира до Страшного Суда — СТРАХ».

Вверх идешь всегда в окружении друзей, а вниз спускаешься одинок (Лоусон).

Все устроено, выстроено в этой Вселенной для человека, все физические постоянные приспособлены для существования человека, а сам он для чего? Ответа нет и не предвидится.

Прошлые преступления невозместимы, так же как и страдания, изменить ничего невозможно, те кто расстреляны, те не оживут.

«Ленинградская правда», несмотря на мнение Обкома, опубликовала выступление Д. С. Лихачева в защиту лип Царского Села, чтоб их не вырубали. Начальство разозлилось и сняло главного редактора газеты Куртынина. Замечательный был человек. Вот и пойми — стоила ли эта потеря лихачевской статьи?

ВЕНЕЦИЯ

У Венеции есть несколько особенностей, которые отличают ее от любых других туристских центров. Дело не только в каналах. Прежде всего это город, где нет ни одного автомобиля, автобуса. Единственный город на Земле. Вы переходите улицу, не оглядываясь. Вам нельзя сослаться на пробки, так что извольте явиться вовремя. Нет уличного движения — значит нет светофоров, стоянок, гаражей. «Гаражи» для гондол обозначены двумя шестами, всаженными в дно канала. К ним на ночь гондольер привязывает свое судно.

По Венеции ходишь не так, как в других городах, привлекают не витрины, не огромные роскошные выставки супермаркетов, универмагов с новыми товарами, с разряженными

манекенами — все, что обычно останавливает приезжего, вызывает постоянное верчение шеи, не видно застывших парочек у витрин, разглядывающих, приценивающихся, не очень заметны распахнутые двери магазинов, бутиков, ресторанов...

Торговая горячка отодвинута, магазины где-то за пределами внимания, они есть, но они не бросаются в глаза. Есть каналы, дворцы, мосты, за углом всегда неожиданное — площадь, памятник, оркестр, представление. А главное — архитектура, которая меняется — утром одна, на вечерней заре она другая, зеленоватые отблески каналов преобразуют ее, вода каналов играет красками ничуть не хуже моря. По каналам скользят гондолы, на золоченой скамье блаженствуют пассажиры — семья, парочка, я разглядываю их сверху, с набережной, с моста, это не тротуарные пешеходы, я не знаю, как назвать их — каналоходы, гондолыщики, пловуны; мчатся катера — водные такси, грузовые, перевозчики товаров, продуктов. Наши питерские реки, каналы в сравнении с ними — пустынные.

Венеция, хочешь не хочешь, пешеходная страна, здесь приходится шагать, мало того, то и дело поднимаешься и спускаешься с крутых мостков. От непривычки — утомительно. Зато хождение позволяет, заставляет смотреть и видеть город. В Венеции коэффициент постижения красоты выше, чем где бы то ни было. Мало что отвлекает от созерцания. Вот почему многие приезжают в этот город регулярно. Или часто. И хотя еще и еще.

В Лидо, это курорт Венеции, ее лень, ее пляж вдоль Адриатики, улицы названы — Верди, Россини, Пуччини, Монтеверди. Только в Германии можно обеспечить улицы какого-нибудь города именами немецких композиторов. В связи с этим у меня появились мысли, мои собственные, о судьбе этой особы — Италии. Итальянские художники, например, могли бы обеспечить своими именами не курортный городок, а настоящий большой город, все его улицы, площади и переулки. Причем хватило бы художников, весьма и весьма великих, таких, как Джотто, Мазачо, Боттичелли, Леонардо (герой «Кода да Винчи»), Рафаэль и, конечно, Каналетто, Гварди, которые без конца писали венецианские закаты и площади Святого Марка.

Можно ли жить за счет туристов? Можно, доказывает Венеция.

Хорошо ли это? По-моему замечательно, она продает красоту, свою, не чужую, не подсовывает вам эклектику. Ее красота всегда та же, для всех, богатых и бедных.

Венеция работает, она не тунеядка. Она живет за счет прошлого? Да, но сколько сил она тратит, чтобы сохранять его.

У Венеции много поклонников, верных вздыхателей, они едут сюда при первой возможности, в обычной европейской жизни не хватает поэзии. Венеция обладает подлинностью уходящей романтики. Недаром главный ее сувенир — маска, венецианская маска обладает странным, загадочным выражением безулыбчивого бледного лица. В узкой средневековой улочке закутанная в плащ фигура, рука в перчатке, не поймешь, мужская, женская, закрывает свое лицо белой маской.

Венеция не очень-то привлекает порнозаведениями, казино, ночными клубами, мне они не попадались на глаза, для меня чудом была уцелевшая чистота творения итальянской истории.

Италия — родина фашизма, родина мафии, она же родина художественного гения человечества, она — родина великого киноискусства. Мало родить гениальных художников, зодчих, скульпторов, надо было сохранить их работы; в течение пяти, шести веков этим занимался народ. Старанием итальянских людей уцелело наследие Возрождения — храмы, росписи, витражи, картины, памятники, дворцы. Такое возможно, когда именно народ понимает, какой драгоценностью он владеет.

Когда я работал над книгой «Эта странная жизнь» о А. А. Любищеве, я познакомился с некоторыми учениками Александра Александровича. Учениками, друзьями, единомышленниками, не знаю, как назвать, это были серьезные, успешные ученые, среди них был Сергей Викторович Мейен, палеонтолог, автор симпатичного мне «принципа сочувствия». В научных спорах, утверждал он, надо стать на сторону противника, постараться понять его доводы, сочувственное их рассмотрение поможет обоим оппонентам получить какой-то результат от спора. У Мейена была специальная работа, посвященная этому принципу.

Его занимали этические проблемы, мы тогда, в 1980-е годы, горячо обсуждали их, устно и письменно, спустя двадцать с лишним лет я нашел среди бумаг копию одного моего письма к нему,

интересно, как воспринимаются те споры, отчасти это свидетельство наших поисков новых отношений между людьми.

«Дорогой Сергей Викторович!

Письмо Ваше вновь вернуло мысли к теме, давно занимающей меня, о нравственной безграмотности, как Вы выразились, об этической системе, о правилах жизни, о требованиях к человеку. Если Вы говорите о безграмотности, то начинать надо с азбуки. Азбуке обучают детей. И надо обучать с детского возраста вещам непреложным, простым — прописям, старинным прописям, которые заучивали, зазубривали вместе с азбукой. „Брать чужое нельзя!“ — „Почему это?“ — спросили при мне старого библиотекаря. Он пожал плечами: „Потому что чужое, а чужое брать нельзя“. Для него это правило было само собой разумеющееся, аксиома бытия, не требующая доказательств и обоснований, система запретов, такая же, как не врать, не бить маленьких... Все то, что должно стать внутренним законом.

Вас интересуют не эти очевидные прописи, а спорная этика, нравственные положения, которые „даются особенно трудно“. Но думаю, Вы согласитесь, что усвоение (хотя бы обучение) школьное элементарных заповедей намного облегчило бы и Вашу задачу, и вообще решение для человека многих этических задач.

Положения, которые Вы выдвигаете, чрезвычайно интересны, некоторые спорны, но я почувствовал, как все они выросли, разветвились из Вашего „принципа сочувствия“, из раздумий Ваших о том, что же такие за люди были блаженные, святые, из внимания к нетрадиционным проблемам истории религиозной жизни. Как глупо, что в своем атеистическом рвении мы не используем огромные этические богатства, накопленные религиозным воспитанием: методику, психологию, систему обучения. Вы упомянули катехизис. Недавно я смотрел катехизис 1889 года. Это было 67-е издание! Представляете себе, насколько уже сто лет назад это был отработанный школьный учебник. Вообще большинство учебников старой гимназии отшлифовывались от издания к изданию — „История“ Илловайского, „Геометрия, математика“ Киселева, „Физика“ Цингера. Основа сохранялась, родители и дети учились по одному и тому же учебнику, поэтому старшие понимали, участвовали в обучении. Существовала преемственность.

Дети учили те же стихи, что когда-то учили родители. Я еще вернусь к катехизису, а сейчас мне хочется кое-что дополнить к Вашим положениям. Некоторые соображения, которые, кажется мне, даются людям не менее трудно, чем Ваши.

1. Другие люди могут быть другими. Понять и принять такое очевидное положение сегодня, оказывается, так же сложно, как и во времена религиозных войн. Это неприятие других продолжает существовать и на уровне религии (Ирландия с ее средневековыми столкновениями протестантов — католиков), и на расовом уровне, у нас ■ национальных распрях: армяне — грузины, русские — евреи, в среднеазиатских наших конфликтах. А сколько внутри любого коллектива нетерпимого к инакообразным — инакодумающим, инаколюбящим, инакопонимающим, живущим. Само понятие „инакомыслящий“ должно бы считаться похвалой, признаком ценности человека, оно обрело осудительный характер. Признать право другого быть другим требует уважения к личности другого. А это ■ свою очередь требует развитого самоуважения. Между прочим, самоуважение требует критического отношения к себе, смирения и интереса к своей душе, ее движениям и потребностям.

2. Этические проблемы легко приводят к Богу. Слишком легко. Требования добра, доброты, прощения, терпения и т. п. Все они проще всего мотивируются на религиозной основе. Когда она есть, этические положения выстраиваются естественно. „Если же Бога нет, то все дозволено“, — утверждал Достоевский, то есть запреты рушатся, зло, эгоизм нечем остановить. Вроде правильно, страшно, а вот Бога отодвинули на самый край жизни — и что? Оказалось, что запреты остались. Нравственные запреты продолжают чем-то жить, питаться.

Вседозволенности не наступило. Конечно, порчи хватает, но я не о ней, а о том — чем все же продолжает держаться человек? Есть в нем генетическая этика? Есть что-то вложенное в душу независимо от личной веры, этическое начало?

3. О чувстве собственного достоинства. Летел я однажды через океан на самолете компании «KLM». Стюард, представительный мужчина лет сорока пяти, после ужина укладывал нас спать. Вы бы видели, как заботливо он окутывал пледом ноги пассажирам, подкладывал под голову подушечки. Делал он это с достоинством, тем большим, чем более внимательно он ухаживал за каждым. Его достоинство от его стараний толь-

ко выигрывало. Я запомнил его в силу своей благодарности, которую невозможно было оплатить чаевыми. Он, укутывая нам ноги, был выше нас именно потому, что делал добро нам, а не мы ему.

И делал он это с удовольствием, с удовлетворением. Разумеется, все это школа сервиса, не более, но подлинное ■ ней это отсутствие унижительного и для него, и для нас.

4. Для меня одно из наиболее сложных этических требований — это умение прощать. Что м о ж н о прощать, что н а д о прощать и чего н е л ь з я. Ведь есть же вещи непростительные. В этом смысле любовь к ближнему, о которой Вы говорите, как-то должна сочетаться с борьбой. Мало проповедовать, надо, очевидно, бороться за свои идеи и принципы, и борьба эта так или иначе становится борьбой с какими-то людьми, группами.

Поэтому так трудно согласиться с Вами об итогах новомирской борьбы, о том, что интеллигенция приобрела в результате очень немного хорошего и много плохого. Мне думается, „Новый мир“ поддерживал в течение многих лет очищающую работу мысли. Нужно было разгрести авгиевы конюшни зла, предрассудков, вывихов сознания. Мы плохо предоставляем себе сегодня, в каком дерьме мы находились. Я недавно перечел статьи, связанные с проработкой Зощенко. Невозможно понять, как мы могли читать такое. Возьмите письма А. А. Любищева до 1955–1956 гг. Какая уость и робость мысли! Это у него. И как нарастает быстро свобода его духа в последующие годы. Разве это только его заслуга? Нет, это заслуга иной общественной атмосферы. И многое тут сделано было „Новым миром“. До какого-то момента критика освобождает мысль, выявляет правду и истину, что уже нравственная ее заслуга. А вот потом, если движения нет, критика буксует, и личность действительно погружается в грязь всеобщего отрицания, начинается круговой обстрел и торжество уныния.

Падение нравственности, о котором любили говорить во все века, ныне имеет объективные показатели. Нравственность падает быстро, возьмите хотя бы такие показатели, как воровство, взятки, казнокрадство. В этих условиях я не уверен, что так уж потребно разбирать тонкие проблемы этики. Нет ли тут снобизма?

5. Мне казалось, что несколько оздоровить общество могло бы общественное мнение, то, чего у нас нет. У нас не действуют законы осуждения обществом непорядочного поступка, лжи, хамства, предательства. Если нет страха перед Богом, то должен быть страх перед мнением своего общества. То, что всегда было у аристократов, у ремесленников, у купцов — свой цех, своя гильдия, свое офицерское собрание. У ученых этот механизм также действовал четко, вспомните, например, историю, связанную с отставкой Минзбера в Московском университете. Не подать руки подлецу — чего ж тут плохого, такой акт нужен для человека так же, как акт прощения. И то, и другое повышает требовательность к себе. Этика — это процесс повышения требовательности к себе, непростения себя, работы совести.

Лев Толстой был непримирим к дворцовой камарилье, не прощал и не шел на протянутые к нему руки.

Насчет злой литературы (М. Булгаков, М. Шедрин). Я не уверен, что литературу можно оценивать добром: добрая, недобрая... Такие оценки несут в себе идею полезности. Полезно — бесполезно. Примерно тот вид требований, который предъявляли власти всех времен — Цезари, короли, цари и прочие руководители. Наиболее умные из них все равно оценивали, а насколько то или иное произведение с л у ж и т. Делу воспитания патриотизма, мужества, производственной дисциплины, научному прогрессу и т. п. Добро тоже требует с л у ж б ы.

Борьба со злом (Данте, Свифт). Это что — служба добру? А разве Шедрин не боролся со злом?

Не лишает ли художника Ваше требование добра — свободы? Да и не только художника. Когда Вы с лучшими намерениями возглашаете добро верховным принципом, я понимаю, что нужно иметь какой-то универсальный критерий, понимаю, что добро лучше всего подходит для этого, понимаю и тут же возмущаюсь: а почему вы меня судите добром, почему не свободой, не любовью, не уважением к человеку? Не желаю я вашего добра, свободу мне дайте! Согласится ли человек, если накладывать на него единственную мерку добра? Любовь к человеку выражает себя по-разному, не только через добро. А как быть с заповедью, требующей быть *алчущими и жаждущими правды?*

Вопросов тут множество, раздражают на них формулы и требования. Когда требования к человеку идут от Бога, их

принимаясь почти безропотно. Требования же, лишенные Бога, должны, мне кажется, строиться иначе, надо искать для них новую форму.

Пишу я все это с некоторым смущением. Кругом черт знает что делается, живем во лжи, которая никогда еще не достигала такой наглости, вся Россия к вечеру шатается пьяной, несправедливость и глупость тычет нас ■ морду на каждом углу, честному человеку жить все труднее, воруют практически все... Где ни соберутся, только и разговору о мерзостях нашей жизни. И ■ это время заниматься тонкостями этики — неловко. Гурманство. Среди голодухи. Дача горит, детей выносить надо, а тут приходит милая девица — не купите ли малины?

И между нами — умная статья Ю. А. об идеальном герое — то же впечатление произвела.

Порассуждать, конечно, охота, я сам, как видите, соблазнился, и отдаю должное и радуюсь работе Вашей мысли и совети, но признаться ■ своих сомнениях — должен.

Очень хотелось бы пообщаться устно, так что с нетерпением жду Вашего приезда в Ленинград.

Привет Вашей супруге.

Август 84 г. Ваш Даниил Гранин.
Комарово».

КУРЧАТОВ

Роман «Искатели» сперва обругали, затем похвалили, а затем стали переиздавать, раскупать. Автора наперебой приглашали ■ библиотеки, на встречи, на читательские конференции. Будучи в Москве, он получил приглашение ■ какой-то закрытый физический институт, почтовый ящик, безымянное учреждение, тогда, ■ пятидесятых, «ящики» начали энергично размножаться: пропуска, охрана, «вопросов не задавать», ничего не показывают, ни лабораторий, ни продукции, и все там разговаривают напряженно, общаться с ними муки мученические, все равно что с высоковольтным аппаратом.

Автор отказался, однако тут вмешался его давний приятель, Миша Певзнер. После войны Певзнер, молодой питерский физик, оказался в Москве, занимался чем-то таким, о



чем не следовало говорить и шепотом. Получил шикарную квартиру. Автор бывал у него в Москве. Однажды, когда они подвыпили, Певзнер довольно смело по тем временам приоткрыл автору, чем они там занимаются: бомбой (атомной). Миша был человек независимый, у атомщиков уже появился синдром превосходства над остальным затюканным населением страны, и была некоторая вседозволенность. Конечно, то, что он приоткрыл, было, в сущности, уже известно по слухам, которые ходили среди московских ученых.

Он-то и уговорил автора выступить у них в ящике. Приглашение было, наверняка, его рук дело, но и кого-то еще и другого.

Читательская конференция проходила как обычно. То был клуб, а может, и не клуб, а зал заседаний. Пришло множество народу, долго не начинали, кого-то ждали. Потом автора вызвали из компании молодых задиристых физиков и представили какому-то начальнику. Внушительный, приветливый, с большой бородой, признаться, я не обратил на него особого внимания, некогда и ни к чему, наверно, еще перед физиками неглижировал, как выражались по-старинному, показывая, что все это начальство мне до фени. Начальник сел в первом ряду, и действие началось. Автор произнес свое, потом произносили свое читатели, кто за, кто против, ■ заключение автор тех, кто против, вразумлял, учил их законам этики и восприятия своего романа. Отвечал на вопросы. В конце, как водится, выдали букет цветов от дирекции и благодарность, это сделал тот самый мужик, который был начальник, еще он пригласил на чашку чая. Автор отказался. На этих чашках сидишь как бы в роли оракула и должен что-то вещать, и что-то обязательно остроумное, а остальные тоже хотят себя выразить, а за столом не то что на сцене, без микрофона, они начинают спорить, не соглашаться, и автор чувствует, как позолота с него осыпается, а эти зубастые физики могут и вообще загнать в угол. В библиотеках, там публика попроще, более робкая, любители чтения, с ними интересно про книги, они могут что-то рассказать про себя. Здесь же сидят засекреченные, да еще совершенно засекреченные, от них не дождешься, чтобы «про себя» или «из жизни», они любители отвлеченных рассуждений. Итак, автор отказался и уехал, а уж много позже ему Миша сказал, что то был Курчатов, и Курчатов весьма сожалел, что не удалось посидеть вместе. Тогда и автор тоже пожалел, но пожалел как-то вскользь, слишком он был преисполнен своим успехом. Прошло еще несколько лет, и уже не стало Курчатова, не стало и Миши Певзнера, не стало и других его друзей-атомщиков, эта работа быстро прибирала своих специалистов. И вот тогда автор по-настоящему пожалел о своем легкомыслии.

Конечно, вряд ли бы он понял тогда трагичность жизни Курчатова. Только через полвека стали поступать сведения из-за забора той лаборатории № 2. Давно закончился Берия и его подручные, сменились все правительства, а потом не стало и того государства, на которое все они работали, перестали делать атомные бомбы, никого не осталось из ее зачинателей,

конечно, осталась система режимов, допусков, она все так же охраняет прежние уже не нужные секреты, забор тот сгнил, в дыры лезет всякая шпана, а те, кто остались из работников, уехали за границу и там подороже продают сокровенные некогда секреты.

Интересный эпизод с Курчатовым: Миша Певзнер приносит ему полученный график. Курчатов недоволен: вот здесь должен быть пик. Через день опять отвергает. Миша говорит, что не выходит иначе. Тогда Курчатов достает из сейфа график — почему у них получается, а у вас нет? «У них...» — Миша понял, — у американцев. Значит, были у нас данные... Еще он понял, что Курчатов был связан принудой. Надо было копировать, мешали создавать.

Несостоявшийся чай с Курчатовым — одна из многих потерь в жизни автора. Вообще, оглядываясь на свою жизнь, он ее представляет как серию упущенных возможностей. Позже он себя оправдывал тем, что был слишком упоен своими успехами. Думаю, объяснение это недостаточное, если бы ему тогда рассказали, кто такой Курчатов, что уже тогда он значил для атомной физики, автор наверняка остался бы с ним на вечер. К сожалению, его надо было ткнуть носом, показать, рассказать, кто да что, сам он не умел рыться в людях, хотя судьба ему преподносила одного за другим замечательных, исторических личностей, а он скользил мимо легко, бездумно, почти не задерживаясь и нетерпеливо мчался куда-то. Куда? Спустя годы, проскочив, он спохватывался, но было уже поздно. Интересен список таких потерь, хотя бы примерный. Это и сам Миша Певзнер, это и Абрам Федорович Иоффе, отец советской школы физики, у которого автор бывал в гостях, был приглашаем еще и еще, но ему показалось достаточным: мол Абрам Федорович все написал в своих воспоминаниях, на самом же деле никто никогда полностью не пишет в своих воспоминаниях то, что составляет самое сокровенное в жизни.

Или взять Елизавету Полонскую, которая входила в группу Серапионовы братья, была другом Зощенко, хорошо знала обэриутов. Или Борис Эйхенбаум, интереснейший ученый, знаток Толстого, Лермонтова (между прочим, брат его был у Махно). Или Евгений Шварц. Все сводилось к случайным светским разговорам. С Борисом Эйхенбаумом и Евгением Шварцем два года автор жил в одном доме, обменивались

незначущими фразами, а времени пообщаться так и не нашлось. Два лета в Коктебеле ■ Доме творчества автор провел с Василием Алексеевичем Десницким, человеком, близким к Горькому, Ленину, Плеханову, а через Плеханова к некоторым народовольцам. В Коктебеле Десницкий с утра отправлялся на берег моря собирать знаменитые коктебельские камушки, море выкидывало на пляж свои изделия — цветные, отполированные, украшенные причудливыми рисунками «куриные боги» — плоские каменные овалы с аккуратной дырочкой посередине. Иногда автор присоединялся к Десницкому ■ этих поисках. С годами у Десницкого образовалась большая коллекция коктебельских драгоценностей, говорили больше об этих странных произведениях природы, автор восхищался коллекцией Десницкого, аккуратно разложенные на ватках в специальных коробочках камушки привлекали автора куда больше, чем рассказы Десницкого. Иногда, правда, в своих разговорах они доходили до прежних обитателей Коктебеля — Волошина, Цветаевой, Мандельштама, Брюсова, Гумилева, Шагинян, Булгакова, но в сторону от Коктебеля, допустим, на Капри — к Ленину, Горькому, Богданову, к историку-академику Тарле, Луначарскому, Бухарину не добивались...

Десницкий отмалчивался, отвечал больше смешком, отбивался от всех попыток автора, а попытки были слабыми, короткими, излишне самолюбивыми. Но видно было и тогда, что обо всех них он знал не то, что знал автор и его поколение, касалось это и самого Волошина, и его друзей-писателей. Правда, из обрывочных замечаний Десницкого что-то начинало шататься, образы этих людей становились не такими стойко-казенными, на памятниках появлялись трещины. «Бухарин, а вы перечитайте его выступление на Первом съезде писателей», — от Десницкого словно происходило колебание почвы, доносились отзвуки землетрясений. И автор отступался. Что это было, душевная леность, не хотелось пробиваться к замурованному у Десницкого прошлому, а замуровано оно было прочно, как в склепе. Все-таки он, конечно, как теперь можно понять, приоткрылся бы, но настоящего любопытства к нему ни у кого не было. По-видимому, так и ушел из жизни, не приоткрыв этого склепа. Расспросы кончались тем, что Десницкий говорил: «Посмотрите лучше на этот сердолик — какая прелесть!»

Вокруг Десницкого бродило множество легенд — о том, что его дочь, младшая, вышла замуж за принца из Таиланда и пребывает там королевой, сам Десницкий после революции, увидев, что творится в стране, вышел из коммунистической партии, как это ему удалось, неизвестно. В 1920 году Ленин просил его вернуться в партию, но Десницкий уклонился. Когда в Ленинграде отметили его семидесятилетие, Сталин был недоволен: зачем такого человека праздновать, если он вышел из партии, однако предупредил, чтоб не трогали его.

Это только Десницкий, только один из примеров тех людей, с которыми так и разминулся автор.

ЧЕХОВ

Неоспоримая ценность жизни для Чехова — труд. Поэтому Чехов не мог осуждать Ионыча, который честно и успешно трудился врачом. Но даже такой высокий труд не давал высокой идеи жизни, и Ионыч потерял ее краски, радости. Драма отсутствия общей идеи жизни. Чехов не скрывает своего незнания этой идеи. «Не знаю», — признается он, он отказывается от поверхностных ответов. Не знает, и герои его не знают.

Пишет Чехов с той божественной максимальной простотой, где уже нет красоты языка, сравнений, метафор, народных перлов — это чистое стекло, ничто не стоит между читателем и жизнью, авторская стилистика, лексика исчезли. Набоков — это талантливый витраж, Бунин, Паустовский, Шолохов — всюду блистает автор, Чехова — нет, он устраняется, оставив хрустальную чистоту своего умения показать жизнь без вмешательства.

УХОД

В сентябре 1980 года, перед тем как лечь в больницу Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский собрал у себя и старых, и молодых, чтобы подвести черту. Все это понимали. Выглядело, как у древних римлян, — мужественное спокойное прощание. Никто напрямую не говорил о смерти, вечной разлуке и тому подобных сантиментах. Каждый высказал Николаю Владимировичу свое благодарное, недоговоренное. Было шутливо и серьезно. Сам Николай Владимирович держался

стойко и вдумчиво. Сказал, что жизнь его была счастливой благодаря хорошим людям, окружавшим его и Ляльку. Он был в этот день красив и величав. Смерть Елены Александровны (в 1974) сломила эту натуру, наполненную огромной жизненной энергией.

Со времен лагерной жизни он часто возвращался к мысли о непостыдной смерти. И здесь он был велик, и в смерть входил по-своему.



У Виктора Л. дома стоит ширма, отделяя кухню от столовой. Как я обрадовался, увидев ее, сделанную под китайскую, такие были в 30-х годах XX века, они из разряда старых вещей, утраченных, изжитых, так же как венские стулья. Люблю пополнять этот список — лото, чернильница, фантики от конфет, одеколон «Шипр». Они, эти вещи, протирают тусклую оптику воспоминаний, сразу появляются комнаты с ширмами, голоса и женский смех за ними, кто-то там переодевается. А запонки, как это бывает красиво — накрахмаленная манжета и золотистая, прочерченная синей эмалевой чертой запонка. Что-то похожее увидел я в детстве в гостях. Нож слоновой кости для разрезания страниц. Кожаный переплет с золотым обрезом...

Пройдоха, проныра, прохиндей, прохвост.

Наконец он купил квартиру, четырехкомнатную, как мечтали, с балконом. Наконец обменяли свой старенький «Фиат» на приличный «BMW», наконец покрасили дачу, наконец съездили в Италию. Все складывалось удачно, почему же внутри что-то томило, что? Все было, а удовлетворения не было, появилось желание куда-то уйти от всего этого, остаться без всего этого, наедине с собой. Хотелось безмолвия. Сиди на веранде, наслаждайся. И что еще? Он подумал — чего теперь будет добиваться? Неужели из этого состоит жизнь? Надо чем-то другим ее наполнить. А чем?

Ночью ему приснилось, как он украл хлеб в блокаду. На самом деле это было: он украл горбушку граммов 200 и кусок сахара, а приснилось — буханку. За ним погнались, он бежал, упал

и... проснулся. Рядом спала жена, было страшно — а вдруг она узнала. Украл он в школе, когда их собрали перед эвакуацией.

Он забыл, хотел забыть и забыл, и вот спустя тридцать лет приснилось.

После этого что-то с ним стало твориться. Жена не понимает, почему он дал племянникам деньги на квартиру. Раньше он их сторонился. Брат его умер. Считалось, от последствий дистрофии. Если б он поделился с братом... Нет, все сам съел.

Внутри он старел куда медленнее. Там еще порой появлялся подросток, а то ребенок или что-то похожее на лейтенанта, перетянутого ремнями. Он не видел своих морщин, забывал про седину и плешь на макушке. Внутри он бывал молодой, добрый, нежный.

Душа есть большая, есть слабая, сильная, она вполне вещественна, имеет субстанцию. Так же, как совесть. Это не придуманные понятия. В школе надо учить тому, что они существуют. Так же, как любовь, стыд.

Петербург все равно был бы построен рано или поздно. Но если бы не в 1703-м, а на полвека позже, он просто назывался бы уже Екатеринбург.

Переговоры с совестью идут всегда трудно, ее, конечно, можно уговорить, но она не то чтобы соглашается, она просто утихнет, и вдруг однажды, ■ самый неподходящий момент опять начинает вспоминать одно и то же.

С ней вступают ■ сделки: «ладно, обидел, потом исправлю», «возмещу несправедливость когда-нибудь», «если получу должность, возмещу».

Если совести нет, значит, все дозволено. Из Достоевского: «Если Бога нет, значит, все дозволено». Совесть, она как бы малое представительство Бога.

Интересно, как называют нашу Землю на других планетах?

Рассказывает подруге о свидании с человеком, которого она любит. Они выпили, и он стал помогать ее. «Я бы дала

ему, так белье помешало, рубашка у меня была грязная и трико дырявое, раздеваться стыдно».

Жизнь в России — всегда чудо. Плохое чудо или хорошее, но обязательно чудо. Предсказать, что здесь случится пусть даже в следующем году — абсолютно невозможно.

Русский стол — смертельно обилен, эти пироги, эти салаты, винегреты, эта рыба и мясо. И так во всем: мы ни в чем не знаем меры. Я учил свою дочь древнегреческому правилу: во всем должна быть мера. Искусство и культура — это всегда соблюдение меры.

— Сила воли в том, чтобы отказаться от того, что хочется делать, и делать то, что должно.

— А я думаю, что сила воли в том, чтобы всю жизнь делать то, что желаешь. И добиваться этого.

В институте я остановился перед портретом: «Академик Воеводский».

— Это наш корифей, — с гордостью сказала секретарша.

— Я знал его... Мы в школе вместе учились.

— Да что вы говорите! Какой он был?

Я пожал плечами.

— Мы звали его «селедкой»... Владька.

— Как так можно.

— Били его. Он трусил, — самодовольно сказал я.

Она возмущенно отвернулась.

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«В том мире, где проходит мое существование, от хомута до стойла, важно строить свои принципы по принципу „чего изволите“, при этом можно почти не работать и быть вполне благополучным».

(К. из Чернигова)

«Руководящая элита не жертвует личным ради общего дела, она поступает как раз наоборот. Где же пример? Где брат»

образец? Кто делом убедил нас за эти годы: „Вот как надо жить для людей“. Выходит, никто».

Самые счастливые письма те, что рассказывают о результатах.

«Я прихожу в школу к детям с нарисованным мною портретом Сент-Экзюпери, где он улыбается своей детской улыбкой маленького принца». И дальше она рассказывает, как вовлекла ребят с помощью Экзюпери и еще, рассказав про мое выступление по радио, стала с ними убирать мусор в лесу:

«С гордостью докладываю Вам, что собрали и утилизировали мы 4 мешка нечисти. На душе стало легко и светло».

(Сысой Надежда)

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Телевидение изготавливает все больше знаменитостей. Бóльшая часть знаменита лишь тем, что часто попадает на экран. Дают бесчисленные интервью. Артист, который рекламировал лекарства, когда появляется на сцене, его узнают: «А-а! Это тот, кто рекламировал имодиум от поноса».

ПЕРЕД УХОДОМ

«Кончается, кончается! Кончается! — женщина бежала по коридору, хватала докторов, тащила, рыдала. — Кончается! Остановите же, остановите! Сколько народу здесь, сколько халатов, врачи, профессора, помогите, он ведь кончается, он уходит, помогите ему, зачем же вы здесь все!»

Он тоже чувствовал, что умирает. И знал, что врачи тоже узнали об этом. Он слышал, как студент-практикант спросил девушку: «Где этот ученый, он, кажется, умирает?» Девушка что-то зашипела. Потом в палате появился этот студент с тетрадкой, синей ручкой и книжкой, сел на стул возле него, смотрел и что-то записывал, листал, поглядывал то на него, то в учебник.

Дверь в коридор была открыта. Проходили студентки. В белых шапочках, румяные от мороза, красивые, они смеялись: «Лелька не позволит ему». — «Да позволит, позволит». Студент быстро-быстро писал, девушки смеялись, все разные,

все красивые, яркие. Никогда он не видел столько красивых девушек, в его время красивая девушка была редкость. Он часто думал о том, как будет умирать. Пытался представить себе эту минуту, становилось страшно, мысль была невыносима. А теперь вот он умирал и думал о пустяках. Светло-голубая стена с ржавым подтеком, белый потолок, матовый колпак, какая скучная палата, ничего не отвлекает, не за что зацепиться, гладкая стена. Подождать бы еще один день, может, он что-нибудь придумает. У него было много дней, ему дано было много-много дней. Если вспомнить, то из них наберется всего несколько действительно настоящих, насыщенных до отказа, без глупой суеты, пустых разговоров, дни, когда он делал, что хотел, никто не мешал. Он вспомнил из Библии: «...умер, насыщенный днями». Он не был насыщен. Главное, чтобы никто не мешал, все друг другу мешают, их много, которые только этим и занимаются, чтобы мешать. «„Насыщенный днями“ — кажется, из „Книги Иова“?» — спросил он студента. Он никогда не понимал, чем Господь мог успокоить Иова.

Студент закрыл книгу, закрыл тетрадь, наклонился к нему, сказал: «Извините, я этого не знаю».

«Проявил полную беспринципность, отказываясь признать ложность своих взглядов».

(Из газет времен лысенковщины)

«Любопытство — порок женщин, а любознательность — доблесть мужчин».

(Тимофеев-Ресовский)

«Пришла в *фешембельный* магазин купить гостиную с *грильяжем*».

ЛЕТО

Лето стоит отличное, оно именно стоит, жаркое, с ливнями, грозами, стоит солнце, стоят дни, высокие, голубые, стоит мошकारа, запах земли, пыльных дорог, стоит теплая вода Щучьего озера. А ель, я вдруг увидел это, просто палка, на которой нанизаны усы разных размеров от самых маленьких, до больших, и все усы браво закручены вверх.

«Хлеб из земли бери, а не изо рта другого».

Чиновник мне пояснил со вздохом: «Если узнают, что я не беру взятку, меня уволят».

Если бы каждый человек знал, на каком инструменте у него есть способности играть, получился бы великолепный оркестр.

ЮБИЛЕЙ XX СЪЕЗДА ОТМЕЧАЛИ НА ИСТФАКЕ ЛГУ (2006 ГОД)

Спустя полвека с лишним воспоминания о XX съезде у всех обрели сходство, различия стерлись: «огромное событие», «потрясло наше мышление». Университетский зал слушал спокойно, студенты *всю свою жизнь* знали, что Сталин расправлялся жестоко с оппозицией, знали про 1937 год, репрессии. Что нового мы могли им сказать? Да и мне самому тот 1956 год вспоминался *общей памятью*, личное стерлось. Но вот случайно я нашел запись в тетради: «февраль, 1956 год». Никаких дневников я не вел, а тут вдруг подробно записал, значит, пробрало до печенок:

«Ждали съезд с небывалыми надеждами, и впервые надежды сбылись. Общее ощущение светлого подъема. Каждая речь читалась внимательно».

Ничего не буду подправлять, это уже не нынешнее, не мое, совсем чужое, исторический документ.

«Наибольшее впечатление произвела речь А. Микояна. От нее радость чистосердечности и доверительной смелости: „величайшее событие за двадцать лет“ (это про съезд), „через 20 лет мы вернулись к Ленину“, „Сталин ошибался во многих теоретических работах“, „Необходимо пересмотреть всю историю, ее искажали во имя культа личности“, „принижали Ленина, его роль, его дела“».

Главная теоретическая мысль съезда — мы должны, мы имеем все возможности вернуться к Ленину, восстановить его идеалы партийной жизни, его чистоту.

Это так прекрасно, такая в этом стремлении радость. Открыто бывшее под запретом, оболганное, изуродованное понятие коммуниста.

Ох, как не хочется, страшно порвать все сразу, остаться сиротой, слава богу, Ленин уцелел, за него и держаться будем:

«Оказывается, все это время народ хранил в душе чудесную преданность Ленину, мы были близки с ним, и вот он воскрес...».

Не можем мы без культа, одного скинули, тут же другого поставили.

Вероятно, мы где-то перегибаем, но это так естественно.

Вот и все опасения, какие были, нет страхов и сомнений, уверены, что все без возврата изменилось.

«Кому-то не нравятся эти радости. Кторов говорит мне: „Неужели за двадцать с лишним лет не было ничего хорошего? Нельзя так просто выкинуть все, чем мы жили. Ведь мы же сами требовали судить врагов партии, а теперь мы, значит, зря их казнили“».

Март как бы завершил постыдное двадцатилетие. На протяжении моей жизни не было события, чтобы так перевернуло взгляды. Даже война кажется теперь менее значительной по силе переворота сознания.

«Вчера был на докладе академика Панкратовой в связи с XX съездом. На нее обрушился первый удар возмущения. Люди ищут живых виновников событий. У каждого, естественно, руки запачканы, ибо эти руки голосовали, подписывали, аплодировали, поэтому никакого снисхождения! Хочется найти виноватых и побольше. Вина разная: „мы рядовые, что мы могли“. Безжалостно обрушились на старушку — вы же академик, вы же историк! Хотя понимали мужество ее выступления в такое накаленное время. Народ не имеет возможности анализировать, мы к этому не привыкли, нам подавайте ясно, просто, окончательные ответы — кто виноват? Как могло такое случиться? Нужных формул нет. В вопросе о коллективизации Панкратова сказала: раскулачивание было необходимо, были перегибы в отношении середняка. Получилось, что Сталин был прав. Или: „ЦК объединился вокруг Сталина не как личности, а это была поддержка той правильной линии, которую он вел“. Вот и разбери. На ходу Панкратова отыскивала ловкие доводы, выгораживая членов ЦК. Вопросы множились: кем считать Сталина? А как теперь относиться к Троцкому, Зиновьеву?»

Верить ее ответам боязно, не хочется снова оказаться дураком. Участковый механик Анисимов сказал мне: „Помяни мое

слово, все перевернется и станет как было, не могут они без этого».

Дальше, вместо того чтобы рассказывать про то, что происходило в городе с ошарашенными людьми, я принялся писать о том, как создавался культ Сталина. Тогда все мастерили свои теории. Вот и я тоже. Столько лет молчали, теперь надо несколько лет, чтобы выговориться.

— Так ведь молчали на разные темы, а когда разрешили говорить, говорят об одном.

На почте снимают портреты Сталина.

— Мозг народа парализован.

— За десятилетия вся система воспитания была построена на том, что Сталин за нас думает и принимает решения всегда безошибочные, гениальные.

После читки доклада Хрущева швыряют чернильницами в портрет Сталина.

На заводе «Красная заря» вынесли решение: «Вытащить его из Мавзолея, какую свинью Ленину подложили».

Читали письмо в цехе, женщины плакали (что за письмо — не помню).

Кинорежиссера Эрмлера на «Ленфильме» поносят за фильм «Великий гражданин».

Многие философы, историки, авторы книг по истории СССР, России в отчаянии, книги их изымают из библиотек, выбрасывают.

Всплыли старые анекдоты из тех, что рассказывали шепотом.

На собрании механизаторов спросили секретаря обкома Замчевского: «Почему не нашлось среди наших руководителей Брута?»

Женщина одна встала и с места: «Наши мужья, сыны гибли за Родину. Почему никто из руководителей не решился пожертвовать собою, убив Сталина?»

Замчевский ответил: «Допустим, кто-то выступил бы против Сталина, его постигла бы участь Постышева, Косиора, и тогда кто остался бы — Берия? Вы этого хотели?»

Зал загудел, но женщина эта не сробела: «Не про выступление я спрашиваю, а про покушение, почему не пристрелили его?»

Говорят, что на съезде Хрущеву прислали записку: «Почему, зная про все, — молчали?» Он прочел вслух и спросил: «Кто писал?» Съезд молчит, никто не отозвался. «Вот, товарищи, понятно вам — почему?»

На это мне тот же инженер Анисимов из МТС ответил:

— Зря Хрущев равнял себя с рядовым делегатом, с членов Политбюро другой спрос!

У многих досада и недоверие. А начальство повторяет на всех собраниях: зачем ковыряться в прошлом, надо идти вперед!

Кое-кто заявляет: «Я всегда считал Сталина подлецом». Это возмущает, никогда мы не слыхали от него подобного. Неприятно рядом обнаружить умников, когда сам оказался дураком. Мудрецы задним числом, они хотят успокоить свою совесть.

В таких делах не может быть общей вины, вина, как и совесть, бывает только личная. Общее — это вечная мерзлота, что сковала наши мозги, теперь она начала оттаивать.

Профессор-литературовед занимался много лет Тургеневым, показал мне свою новую книгу о языке Тургенева, и там место, где он расхваливает язык Сталина. Никто не заставлял его вставлять этот пассаж, зачем, спрашивается, на старости лет было это лакейство. Стыдно. С Тургеневым сравнивал, бог ты мой! Жена никак не могла его успокоить, «он места себе не находит, извелся».

Появилось письмо Федора Раскольникова Сталину, напечатанное на папиросной бумаге. Какой-то восьмой экземпляр. Пришлось подкладывать белый лист, чтобы прочесть.

Я читал — ужасался и восторгался одновременно. Захватывало дух оттого, что открывалось, это было сильнее того, что вслух произносил Медведев, потому что, хоть и на машинке, но было напечатано, выглядело «печатным словом», как бы официально.

«Сталин лишен гибкости государственного человека. У него психология Зелим-Хана, кавказского разбойника, докравшегося до единоличной власти... Он такой же схематик, как Н. И. Бухарин, с той разницей, что последний был теоретически образованным человеком... весь сталинский ум ушел в хитрость... он коварен, вероломен и мстителен. Слово „дружба“

для него пустой звук. Он резко отшвырнул от себя и послал на расправу такого закадычного друга, как А. Енукидзе».

«Вы заставили идущих с вами с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей».

Раскольников написал свое письмо в 1938 году. Оно быстро дошло до Сталина, до читателей, до меня оно дошло только спустя 17 лет. Позже мне дали стенограмму обсуждения новой истории партии. В ЦК собрались старые большевики.

Они рассказывали, как Сталин на самом деле выступал против Ленина в 1917 году. Про то, как искажал речи Ленина в книге «Письма издадека», его статьи.

В 1917 году Сталин с Каменевым боролись против Ленина. Говорили, какая лживая книга «Краткий курс».

Сталин позже переделывал свои статьи и речи, удалял из них свою работу с Каменевым, с Троцким. Он типичный фальсификатор истории партии.

Книги, газеты были забыты, читали самиздат. Со всех сторон прибывали машинописи. Чего только там не было. Экономические анализы советской промышленности (писал экономист Варга), аккуратно перепечатанные стихи Ольги Берггольц, Наума Коржавина, поэзии запретной было много, собрать ее — хватило бы на несколько сборников. Меня поразило трагическое письмо М. Булгакова. Я считал его благополучным писателем: шутка ли, Сталин раз двенадцать побывал на спектакле МХАТа «Дни Турбиных». А автор писал советскому правительству, что все его произведения запрещены, и он решил прекратить свои писательские мучения, что из 301 рецензии на его работы «враждебно-вульгарных» было 298, героя его пьесы Алексея Турбина называли «сукиным сыном», самого Булгакова — «уборщиком, подбирающим объедки после того, как наблежала дюжина гостей», «в залежалом мусоре шарит», «одержим собачьей страстью», «новобуржуазное отродье брызжет слюной на рабочий класс и его коммунистические седины».

После XX съезда словно развеялись колдовские чары. Действительность стала обретать свои истинные черты. Как я мог не видеть то, что нами правил вовсе не мудрейший в истории человек, что мы ничего сверхъестественного не сумели выстроить, ни социализма, ни благополучия, нищая деревня, бездорожье,

коммуналки, что пограничники нужны не против шпионов, они нужны, чтобы мы не убегали за границу, что нет у нас ни свободы печати, ни свободы слова, что люди тайком крестят и церкви детей, что мы не можем выезжать из страны, что повсюду царит доноительство, колхозники — форменные крепостные...

Как я ничего этого не видел, не понимал. Прожил двадцать с лишним лет оболваненным, дурнем, соучастником системы лжи, самообмана. Я терял к себе уважение. Наверное, нечто похожее происходило и с моими друзьями, но от этого было не легче, да и мне было не до них.

Страна очнулась, откинула амбиции, это было спасительное разочарование. На время.



А что, если удастся доказать, что возможности разума ограничены? Что есть направления, в которых он двигаться не может, есть пределы, есть табу, есть области, которые наш мозг, устройство разума, познать не в состоянии. Как не может человек поднять сам себя за волосы, как не может мысль следить за тем, как она рождается.

Еще Паскаль заметил, что никакое насилие не может подчинить себе истину. «Истина всемогуща, как сам Бог».

СЕНТЯБРЬ. БОЛГАРИЯ

Светлые ступени из ракушечника усыпаны листьями, узкие железные калитки, перед ними стоят тазы с лиловым инжиром, валяются сливы на палых коричневых листьях, ветер несет песок с пустого пляжа, там еще стоят цветные зонты, кожа моя сохраняет соль, но купаться не хочется. Конец сентября. В желтой кабинке висят забытые женские трусики.



Однажды Михаил Дудин передал мне письмо Г. Куприянова, бывшего первого секретаря ЦК Карелии. Было это в 1960-е годы. Куприянов вернулся из лагеря, где он сидел по «Ленинградскому делу».

После освобождения его послали работать директором Ломбарда. Его полностью реабилитировали, ЦК восстановило его в партии. Дали квартиру в Пушкине.

То, что он рассказывал, было ужасно. Он писал воспоминания, но в те годы опубликовать их было невозможно. Тем более что он не соглашался ни на какие купюры, не шел ни на какие компромиссы. Он был ожесточен до предела. Звание секретаря ЦК республики он нес, как княжеский сан, нечто неотъемлемое, вельможное. Он пишет возмущенно, что ему дали квартиру «из 3-х маленьких комнат вместо 5 больших, что я имел до ареста. И то, как мне сказали, в виде исключения». Ощущение избранности выглядело уже пережитком, но ярость его внушала симпатию.

Шесть лет он провел в камерах каторжных и пересыльных тюрем, ■ карцерах, в кабинетах следователей. Из этих 6 лет четыре года просидел в одиночке как персоне нон грата. Навидался и натерпелся всякого. В особорежимном лагере он работал в каменном карьере. Видя, что творится с заключенными, он послал письмо Г. Маленкову об избиениях, пытках. Вскоре его заковали в кандалы, отправили в Москву и как опасного преступника приговорили к Владимирской тюрьме на 25 лет. Это был ответ Маленкова.

Молотов, Маленков и Каганович в 1937 году голосовали за расстрел Якира, Тухачевского и других, а в 1954 году — за их реабилитацию посмертно. У Куприянова накопилось много улик. После ликвидации «Ленинградского дела» его продолжали держать ■ тюрьме еще полгода. Это был рослый симпатичный человек. Начитанный. Но сколько еще сохранялось в нем партийных амбиций. Ни тюрьма, ни пытки не поколебали его коммунистической веры, вся протестность сосредоточилась на ненависти к Маленкову и Сталину. Не произошло в нем осмысления той жизни, которой он руководил, ему не пришлось в голову, что сам он был частью, и немалой, этого страшного режима.

Знакомый мастер-радиотехник пришел ко мне посоветоваться. Он узнал, что жена изменяла ему. Всякий раз (как выяснилось из письма ее подруги, чье письмо она обронила) никакого удовольствия от этого жена не получала, изменяла потому, что подруги хвастались... Короче говоря, «Что делать?» — спрашивал мастер.

Что я мог посоветовать? Ситуация деликатная, вроде как, выгодная для мужа, но понятно, что мириться с ней не хочется.

— Вы же любите безвыходные ситуации, я читал у вас, — поддел меня радиотехник.

НА 8 МАРТА

Он встал, оглядел стол, уставленный мисками с неизбежным салатом оливье, бутылками водки, кувшинами морса, ну, конечно, колбаса, селедка «под шубой», свекла и тарелки горячей картошки. Все это было в прошлом году и позапрошлом, все тот же набор, те же лица, незаметно постарелые. Ему захотелось сказать им что-то другое, то, чего им не говорили, без банальных похвал их красоте, доброте, всегда чересчур.

— Выпьем во славу Господа Бога, который вовремя спохватился и понял, что жить без женщин мы не можем. Если бы для этого он взял у нас не одно, не два, а даже три ребра, мы бы не жаловались, тем более что второе его создание было более совершенное, он наделил Еву более чуткой душой, тонкими инстинктами, отзывчивым сердцем, правда, излишней любознательностью, но все равно слава Господу.

Каким образом Господь узнал, что был нарушен его запрет? Яблоки ведь не были сосчитаны, глупо подозревать рай в такой мелочности. Из Библии можно понять, что уликой был стыд. Люди устыдились. Стыдные места прикрыли фиговыми листками. Стыда было больше у Адама. Он должен был остановить Еву, она из его ребра вышла, так что с него главный спрос.

А всерьез, то, что Ева не из глины создана, а из человеческого нутра, объясняет человечность женщины, ее неоценимое превосходство.

«Наша партия, руководимая Никитой Сергеевичем Хрущевым, искоренит вредные последствия культа личности» (смех в зале).

«Все видимое имеет срок, все невидимое бессрочно» (надпись в гостинице).

На выездной комиссии в райкоме поэту Сергею Давыдову сказали:

— Чего вас все заграница тянет, поездили бы по своей стране.

Сережа сослался на Маяковского:

— Маяковский? Он с собой покончил, это не украшает советского поэта, это вам не дуэль с чуждыми людьми, на которую шли наши классики.

«Читая Шекспира, я убедился, что он ставил такие вопросы, на которые до сих пор нет точного ответа. К примеру, вопрос Гамлета — „быть или не быть“, и другие. Есть ли смысл ставить новые вопросы, пока на те не даны ответы?»

Белая изразцовая печь во весь угол была лучшим украшением комнаты. Гладкая с медной дверцей (мать ее начищала), там за ней гудело пламя. Печь никогда не была горячее, она всегда приятно теплая, всегда чистая. И холодной не была, какая-то теплынь в ней сохранялась. Когда поставили батареи отопления, вот тогда она похолодела. От обиды, что ли?

Стоял еще огромный дубовый буфетище, непонятно было, как его втащили в комнату, он не мог пролезть ни в какие двери.

В комиссионном магазине я видел бронзовые подсвечники — высокие, в два яруса свечей, когда-то такие стояли у нас, и сразу вспомнилось все вокруг них, над ними в овальной раме портрет какого-то мужчины, строгого, с усами, в скюртуке. Кто такой, мы не знали, и отец не знал, чем-то он ему нравился, снимать не велел. Подсвечники я развинчивал, свинчивал, пока мать не сдала за копейки утильщику.

В передней стоял ломберный стол, крытый зеленым сукном, для карточной игры. Судьбы его не знаю, а вот другой стол, овальный, из карельской березы, с львиными лапами на подставках, с инкрустацией из черного дерева, этот стол, роскошный, музейный, я с друзьями вынес на помойку. Зачем — объяснить теперь уже не могу. Видел, что красиво, а почему-то хотел избавиться, как от чего-то устарелого, пошлого.

Достался он нам от прежних хозяев квартиры. Не достался, а остался. Кто они были — не знаю, не спрашивал родителей. Многого не спрашивал, жил без любопытства к прошлому, к родительской жизни. Иногда они что-то хотели рассказать, но

наталкивались на мое безразличие и умолкали. Примерно то же самое я получаю ныне от внука.

Еще висела огромная картина — море, юг, какая-то парочка на набережной стоит в правом углу. Картина так себе, а вот черная дубовая рама роскошна.

Да, поздно мы научились ценить старинное. Это была идеология, борьба с мещанством, с прежним бытом, мы приветствовали фанерную дрянную мебель, дешевку, ныне она кажется безобразной, слава богу, мало что от нее уцелело.

Тяжелые блестящие льняные скатерти, полотенца, картонки для шляп, супницы, часы с боем — сколько было всякого, что ныне стало антиквариатом.

Все верно, мило, красиво, но ведь были еще и клопы с их отвратным запахом, были мухи, пауки, мыши, были стирки с тяжелой парной сыростью. В углу стоял ларь с картошкой. Мать вычесывала мне голову от вшей, давила их на газете ногтем.



Болваностойкий аппарат.

Дружба врозь, ребенка об пол.

Не от большого ума, но от чистого сердца.

ПОХОРОНЫ ХРУЩЕВА

Мы узнали о смерти Хрущева из зарубежного радио. Был сентябрь 1971 года. Наши газеты два дня молчали. Наконец, появилось: «С прискорбием сообщаем о смерти бывшего... персонального пенсионера». Больше ни слова. Ни некролога, ничего. Хоронили, в сущности, тайно. Не было объявления о панихиде, что, где, когда. Москвичи звонили в ЦК. Там отвечали: понятия не имеем, пенсионеров хоронит семья. Дотошные иностранные журналисты выяснили, что похороны будут не то в понедельник, не то во вторник в 12 часов. Приехали на Новодевичье в 10 утра. Знали, что попытаются обмануть. Власть решила перехитрить — объявила санитарный день. Никого не пускали. Оцепили район солдатами. Допустили всего двести человек. Быстро-быстро свернули панихиду. Дали сказать сыну. Со следующего дня началось паломничество. Надписи на венках за ночь были стерты (!). Откуда такой страх,

жалкий, панический страх любви к Хрущеву? Каким трусом оказался трижды Герой Брежнев, как подло сводил он счеты с покойным. За что? За то, что тот выдвинул его, а Суслова, и всю эту компанию Политбюро?

Объявление о смерти Пастернака: «Умер член Литфонда» — это при Хрущеве, и — «Умер персональный пенсионер Хрущев».

Как аукнулось, так и откликнулось; что посеешь, то и пожнешь.

«Просвещение без нравственного идеала несет в себе отраву» (Ник. Ив. Новиков).

История технического и научного прогресса — это история непостижимого. Вирусы, микробы были непостижимы. Так же, как радио, электрический свет, самолет. Мог ли человек XVII века представить фотографию. А компьютер, а робота?

Следовательно, будущее полно непостижимых вещей. Они там существуют. И больше всего те, о которых мы не догадываемся, не в состоянии догадаться.

Антисоветская литература стала советской литературой.

Великую советскую литературу заносит песком читая.

Античное искусство было большей частью безмолвно.

Нормальный человек задыхается в мире политических страстей, ему нужно другое общение, полное любви, мечтаний, состраданий, поэзии, с теми, кто одинаково нуждается в этом, чтобы вместе гулять, печь пироги.

Велик ли у нас престиж подвижников искусства, таких, как Филонов, который не продавал своих картин, жил бедно, или таких бедняков, как Ван Гог?

Ракеты были нацелены, потом перенацелены, все цели были великие и оправдывали, как положено, средства. Средства потратили огромные. Генералы наши тратили их, попут-



но строя себе дачи, покупая машины и прочие необходимые предметы роскоши. Все было засекречено, так что ни у кого не было возможности упрекать наших славных генералов. Суммы все были оправданны.

— Мы ставим идею, которой служим, — сказал мне на это генерал, — она выше ваших поисков истины.

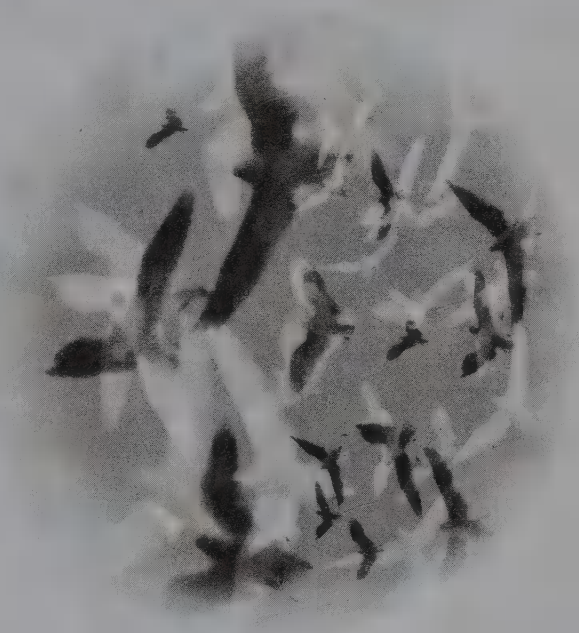
— Ну и ставьте. Справедливости наплевать. Она непотопляема. Она выплывает.

Американцы говорят: «Мы можем сделать гения из кого угодно».

И делают. Изготовленные таким образом гении недолговечны. Подлинные заслуги страны — это ее вклад в мировую науку и культуру. В науку меньше, потому что ее достижения быстро присваиваются, музыку же Сибелиуса или Грига не отобрать у скандинавов, так же, как романы Гамсуна, пьесы Ибсена, Стриндберга.

Можно подумать, что «Мерседесы» или «Пежо» — тоже достижения Германии, Франции, тоже их вклад в мировую технику. Однако ежегодные автосалоны выдвигают новых рекорсменов. Количество электроэнергии, чугуна, шелка не вызывает восхищения страной: «Ах, какой, газ у России!» Это ведь то, что досталось ей от Господа Бога, а не от творчества.

Часть четвертая





Мать научила Сашу Минца, будущего академика, отмечать, что надо сделать и что сделано за день, научила уважать женщину, уступать ей место, скромно одеваться, не тратить деньги на роскошь, потому что кругом много бедных людей. Эти простые, наивные правила навсегда укоренились ■ нем и были важнее, чем если бы его заставляли читать книги, учить математику, заниматься спортом. Такое пришло само собой, а вот правила, втолкованные матерью, пришли только от нее.

В школьные годы он мастерил планер, изготовил катушку Румкорфа. Она давала искру в 12 сантиметров. Искрой его так стукнуло, что он потерял сознание. Планер ему удалось поднять в воздух довольно высоко, так, что, когда планер грохнулся, его, то есть Минца, долго искали среди обломков, тем более что он не подавал признаков жизни. С тех пор началось. То и дело он погибал. Так что в конце концов он к этому привык. Ни один из академиков, насколько мне известно, не имел такого везения.

Заболев дифтеритом, он, лежа в больнице, стал читать физику Краевича. Одолевал, думал, опять вчитывался.

Сдал экзамены в университет. Поскольку еврей, то приняли его вольнослушателем. Еврейство свое он украшал юмором, почему-то это помогало.

Пошел работать к первому русскому биофизику П. Лазареву. У него начал одну работу по колебаниям, так ее и не кончил. С тех пор он мечтал вернуться к своей идее, помешала революция. Она появилась перед ним ■ виде одного молодца с ордером на квартиру, где жил Минц с молодой женой. Минц прогнал

его, назавтра ЧК забрала его как скрытого белого офицера. Восемь дней ждал в карцере, готовился к расстрелу. Как готовиться, не знал, но велели. Вызвал следователь, посмотрел на него, удивился: «Какой же вы офицер, когда вы еврей! Безобразие». Выпустили. Пошел в Первую Конную преподавать радиосвязь. Назначили его начальником радиосвязи армии. Имел 13 радиостанций, 250 бойцов, коней и отсутствие запчастей.

У Ровно остались без прикрытия, нужно связаться с вперед ушедшими. Развернули рацию — не работает. Ни звука. Выяснить причину — надо копать два дня. А счет шел на минуты. Решил применить для приема передатчик. Нужда — мать изобретений. Сумел установить двустороннюю связь и сообщил, что корпус белополяков заходит в тыл. Выручил своих, и сами спаслись.

Опуск с приемом на передатчик был осмыслен теоретически.

Началось отступление, Минц отправил рации в тыл, а тут потребовалась связь с Москвой, ее нет. Троцкий прислал следователя — разобраться. Минца — под трибунал, расстрел. Буденный выручил, защитил.

После войны переходить стали на стеклянные лампы. Александр Львович работал в Военно-техническом управлении Красной Армии. В институте у него связь работала хорошо, в частях — плохо. Арестовали. Посадили. Полтора месяца шло следствие. Выпустили.

Его арестовывали, судили, освобождали, приговаривали, оправдывали. Привык, так что страха не стало. Он счет потерял своим посадкам, «расстрелам». Однажды в очередной раз вызвал его Берия. Поставил условие: если выполнишь вовремя — освобожу. Минц пожал плечами: «Я не сижу, я свободен». Берия удивился: «А почему называешь меня „гражданин комиссар“?» — «Извините, привык».

Он строил радиостанции, возглавлял институты, но была у него никому не ведомая жизнь. Будучи в Италии, он посетил Флоренцию, и что-то с ним произошло, он признался мне, может, заговорила кровь предков-итальянцев и греков — были в его роду предки XIV–XVI веков, те, что не попали ни в какие анкеты спецотделов. Тайнственное чувство.

В галерее Питти его поразил портрет знатной дамы в наряде гречанки. Маленький такой портрет, несколько раз возвра-

щался. Не мог оторваться. Влюбился. Репродукции нет. Что с ним произошло, непонятно. До утра бродил по городу, не мог успокоиться. С тех пор все время думает об этой женщине. Что это такое? Сколько ни пытался себе объяснить — не мог.

Первый экспонат этой «выставки» — соска, затем идет распашонка, детские башмаки и так год за годом:

Игрушки-погремушки,
Картинки, рисунки,
Школьная тетрадь первоклассника,
Трехколесный велосипед,
Очки,
Книга «Приключения Незнайки»,
Заводной автомобиль,
Двухколесный велосипед,
Карта географическая.

Сколько их было в детстве — игр, лыж, футбольных мячей...

Они появлялись и исчезали, короткие спутники. Были солдатики, был пистолет деревянный, самодельный, потом пластмассовый, потом лук со стрелами.

Ролики,
Студенческий билет,
Порнооткрытки,
Часы ручные.

Вещи — иллюстрация возраста. Появились часы дорогие, потом опять дешевка. Галстук...

Поначалу читательские конференции доставляли мне удовольствие. Их большей частью устраивали библиотеки. Собирались люди, которые прочли, допустим, мою книгу, у них были вопросы, возражения, во всяком случае они интересовались. Помню, одна из первых такого рода встреч была в Москве, в библиотеке Чехова по поводу романа «Искатели». У меня сохранились записи о некоторых выступлениях. Про одного героя — «неживой, не показан его рост».

«Непонятно, почему Лиза не понимает своего мужа».

«Нет образца любви».

«Потапенко говорит жене: „Заткнись“. Такой язык недопустим».

«Много технических терминов».

«Не представляю, как выглядит ваш герой Борисов».

Я, конечно, бросался на защиту и языка книги, и своих героев. Особенно меня раздражали поучения и рекомендации: «Надо, чтобы главный инженер сильнее защищал новую технику», «Мы хотим видеть рядом с главным героем чистую, благородную женщину».

Они хотят, чтобы все было благополучно, хотят красиво, чтобы зло немедленно наказывалось, чтобы все говорили изысканным языком.

Потом была встреча в Доме медработников, потом в другой библиотеке.

Повторялись вопросы, претензии. Но были упреки в безыдейщине, в отсутствии роли партии, требования не личного вкуса, а идеологических штампов.

Часто находились читатели, которые оспаривали казенно-партийный подход, даже требовали большей непримиримости.

Постепенно мой интерес к подобным обсуждениям снижался. В конце концов, я свой материал знал лучше, со своими героями прожил не один год. «Ты сам свой высший суд, взыскательный художник». Правда, иногда меня радовали неожиданные точные подсказки, какой-то психологически мотивированный поступок: «Слишком быстро у вас профессор раскрывает свое коварство, неумно это».

Но затем читательские конференции, встречи надоели. Зачем они? У меня есть несколько читателей, по крайней мере трое разных, мне любопытных, с хорошим вкусом. Достаточно их суждений.

Два спутника, которые меня давно занимают: человек в зеркале, он всегда ждет меня, в каком бы я ни был виде. Никак не удастся застать его там отдельно от меня. И второй — это моя тень. У этой свои правила, она то маленькая, то огромная, иногда она прячется, но все равно я знаю: она сопровождает меня всюду. Как соглядатай, от нее не избавиться, ее не унич-

тожить, правда, ночью она исчезает, но появляется у каждого фонаря.

Если бы дети не задавали вопросов, причем самых простых и трудных, очевидных и невероятных, — взрослые бы ни о чем не задумывались.

Много раз приходилось убеждаться, что дети куда сообразительнее, чем мы думаем, нам кажется, что они еще не знают, а они уже догадались, они обгоняют нас в том, что мы думаем о них. Они, например, чувствуют, что какие-то вещи не стоит спрашивать, это нам будет неприятно.

Еще древние считали Бога справедливым судьей, поскольку он не так сильно гневался, как человек.

Великий поэт Древней Греции Гесиод горевал над правосудием, что находится в руках «жадных до подарков царей», что люди не равны перед законом, что «легок и приятен путь ко злу и труден путь к добродетели».

Это было написано за 900 лет до нашей эры.

Гесиод был современником Гомера. История почему-то любит сводить гениев в одно время в одном месте.

Есть у Гесиода примечательный стих: «Мужчина не может выиграть ничего лучшего, чем хорошую женщину, и ничего худшего, чем плохую».

Читая древних поэтов, убеждаешься, что в поэзии нет прогресса. Три тысячи лет поэзии, она не хуже, не беднее нынешней, ее вершины достойны такого же восхищения.. Впрочем, то же самое и в созданиях художников, архитекторов.

Слишком многое утеряно из стихов Сафо, того же Гесиода, утеряны пьесы Софокла, Аристофана, погибли все прекрасные храмы, статуи Фидия, Праксителя.

Мы знаем Древнюю Грецию по отрывкам, обломкам, счастливым находкам. Земля сохранила не так уж много целых статуй, великолепных скульптур, по ним можно представить удивительный расцвет художественного гения этой маленькой страны. Это было какое-то чудо взлета искусства. Возможно, в более древние эпохи существовали народы с не менее мощным выбросом человеческих талантов. Но греческие

достижения в течение трех тысяч лет каким-то образом остаются недостижимыми.

Эта особенность странная, почти таинственная, представляется мне связанной с язычеством, с культом Зевса и Афины.

Человек слишком жаден. Как выразился один богослов — «человек ненасытен» и в ненависти, и в любви. Ему нужны кумиры не только для поклонения и любви, они же и для ненависти.

Человек «внутри себя искривлен» (Лютер).

— Мне сказали, что у меня сердечная недостаточность.

— Лекарство прописали?

— Не врач сказал, а учительница.

Я вспомнил эту деревню, пятьдесят лет тому назад мы остановились здесь в ноябре 1943 года, было холодно, мы подожгли дом, чтобы согреться.

В Копенгагене на главном здании Института физики Нильса Бора мы прочитали надпись: «Ничто из того, что делается в этом Институте, не должно оставаться секретным, оно должно поступать во всеобщее пользование».

В 1940 году к Тимофееву-Ресовскому в его институт под Берлином явился знаменитый немецкий изобретатель Манфред Ардена.

В кабинете Зубра он увидел плакат, самодельный, во всю стену: «О с т о р о ж н о, С С с л у ш а е т!»

Дерзкая эта пародия в те годы выглядела вызывающе. Ардену всегда вспоминал о ней восхищенно.

Я встречался с ним в его лаборатории где-то в шестидесятые годы в ГДР. Он представлял собой изобретательский «комбайн», его работы и открытия охватывали биологию, медицину, электронику, атомную физику и все-все остальное.

Он успешно работал при Гитлере, и после войны в ГДР, и в СССР.

«Вдруг мне пришло в голову: а свет солнца и звезд, как он доходит до нас? Эфир? Через эфир? А за пределами Вселен-

ной, куда не проникает ни один световой луч? Что там делает эфир?»

Мысль о том, что все мировое пространство заполнено веществом, единственное назначение которого — облегчить нам понимание, как распространяется свет, если он туда попадет, — эта мысль показалась мне абсурдной.

Примерно так рассказывал мне о своих размышлениях Абрам Федорович Иоффе.

Примечательно, какие простые вопросы одолевали великих физиков. Ведь примерно подобное было у М. Планка, у Галилея, у Ньютона.

«Я видел людей, не способных к науке, но никогда не видел, чтобы люди были не способны к добродетели» (Конфуций).

Самая справедливая из властей — это природа. Она исполняет свои законы неуклонно. За нарушение этих законов карает так же неуклонно.

Образ врага всегда был главным в духовной жизни советского человека. Нас с детства учили не любви, а ненависти, не милосердию, а борьбе, не сочувствию к эксплуатируемым, а уничтожению эксплуататоров. Кругом были враги, шпионы. Агенты. Внутри страны — вредители, враги народа, перерожденцы, оппозиция, врачи-убийцы, диссиденты, уклонисты, вейсманисты.

Мы не привыкли понимать противника, прощать заблуждения, уважать чужие взгляды.

«Если враг не сдается, его уничтожают». Только так. Но когда сдавались, тоже уничтожали.

Он прожил жизнь, ни разу не подняв глаза к небу. Служил, копался в огороде, пил, жрал, блудил, на все мои разговоры отвечал: «Творец плевал на меня, не нашел времени сказать мне, на кой черт я живу, я для него — козьявка, а у меня, между прочим, кепка 59-го размера!»

— Как же вы, культурный человек, не читали Толстого?

— Ну и что, и Пушкин его не читал.

— Всюду немцы, евреи, татары. Оккупировали они нашу нацию. У Ленина еврейская кровь, цари наши наполовину немцы.

— Считай, на девять десятых.

— Скоро нас, чисто русских, не останется. Моя дочь крутит с испанцем. Зачем нам испанец?

— У нас в лаборатории делают анализ. Хочешь, тебе сделают.

— Какой анализ?

— Сколько в тебе какой крови. Думаю, что там будет и литовская, и польская, конечно, монгольская, будет и французская. Ты ведь смоленский? Будет и финская. Давай?

— Да пошел ты!

СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ

После завтрака детей повели гулять. Марья Никитична надела шляпку и выстроила всех в пары. Катя сказала, что она с Васей не пойдет, потому что он не дышит.

— Как так не дышит? — спросила Марья Никитична.

— Он и на завтраке уже не дышал, — сказала Катя.

Марья Никитична испугалась.

— Ты почему не дышишь?

— А неохота, — сказал Вася.

— Как же, все дети дышат, а ты что, особенный?

— Да устал я дышать, — сказал Вася.

— Ну тогда не пойдешь гулять, зачем тебе свежий воздух.

Но Вася не огорчился, он остался и стал вырезать колечки и рисовать мушек.

Марья Никитична повела ребят в садик, но там она подумала: а что если ребенок задохнется? Все же она отвечала за детей. И она по мобильнику позвонила Васиной маме, пусть та отвечает за своего ребенка.

— Как так не дышит? — спросила Васина мама и заплакала.

— Успокойтесь, — сказала Марья Никитична, — он здоров, он просто у вас избалованный мальчик.

Мама срочно приехала.

— Может, тебя обидели? — спросила она. — Что значит надоело? Я всю жизнь дышу, и папа твой дышит. Нет, тут что-то

не так. Наверняка мальчика обидели. Почему вы ребенка не повели гулять? — спросила она Марью Никитичну. — Мало ли что не дышит, гулять-то он имеет право?

Марья Никитична не согласилась, потому что все это было непедagogично.

— Вы бы лучше о других подумали, какой он пример подает нашим детям, — сказала она, — неизвестно, можно ли его дальше держать в коллективе.

Мама взяла Васю домой, но и дома Вася не дышал. Он по-прежнему был веселый мальчик, с хорошим аппетитом, но дышать не хотел. Пришлось вызвать доктора.

— Станный случай, — сказал доктор.

Долго он выслушивал Васю, поскольку доктор привык слушать ребят при вдохе и при выдохе. А тут не было ни вдоха, ни выдоха, и ничего он толком не мог определить. Тогда он рассердился:

— У вас, извините, ненормальный ребенок.

— Почему ненормальный? — возмутилась мама. — В конце концов каждый человек имеет право не дышать.

— Ну тогда пусть не дышит, — сказал доктор, — пройдет, надоест ему так жить.

И знаете, он оказался прав. Как только Вася пошел в школу, он задышал, как все дети, правда, первое время он путался, он выдыхал кислород, а вдыхал углекислый газ, но когда ему объяснили, как надо, он стал дышать так же, как все остальные дети в классе.



Хочешь быть благородным, честным, добрым, для этого надо иметь много денег. А для того, чтобы занять много денег...

В Министерстве невозможно ни с кем поговорить, в кабинетах решают вопрос, как делить банку селедки на пять человек. (1971 г.)

Он отличал издали лай своей собаки, мычание своей коровы, голос своего петуха, и они тоже знали его голос.

Долгих, назначенный секретарем ЦК КПСС, чтобы лететь из своего Норильска в Москву, велел переоборудовать самолет в правительственный. Очень его зауважали ■ столице.

Каждый мужчина чувствует свое превосходство, входя с женщиной ■ винный магазин.

ПЕТР I

Он не хотел различать подданных по родовитости, по имуществу, предпочитал другой принцип — по годности.

Не было ремесла или искусства, с которым бы Петр не ознакомился будучи ■ Лондоне: монетное дело, гробовщики, часовщики, обсерватория.

— Что вам больше всего понравилось в Англии? — спросил его король.

— То, что богатые люди ходят в простых и чистых одеждах.



Хлеб придает смысл земле, когда она становится ржаным полем.

Женщина и мужчина

— До:

Она капризна, недоступна, ее превосходство во всем, она умнее, воспитанней; он глуп, неуклюж. Она свысока взирает на его ухищрения, ей смешны его приемы, подступы.

— После:

Он величественно усталый, небрежно слушает ее лепет, морщится от ее глупостей, от пошлых вопросов:

— Ты меня любишь? Я тебе нравлюсь? Скажи мне что-то хорошее, ты меня презираешь?

Каждая спрашивает одно и то же. В надежде на что?

Ему не хочется врать, лень, если даже и доволен, зачем облекать это ■ слова?

Куда девалась ее недоступность? Непонятно, зачем она упиралась. Теперь она позволяет что угодно, даже требует.

Это две разные женщины.

МАРТ 1954 г.

«Крымскую область передали Украине. Весть об этом была радостно встречена народами нашей страны. Советские люди видят в этом благородном акте яркое проявление ленинской национальной политики. Великодушный акт русского народа выражает любовь к украинскому народу!»

Так преподносил нам горкомовский лектор. А когда Хрущева сняли (1964 г.), он же в перерыве рассказывал, как Хрущев по пьянке совершил свой великодушный акт, никого не спрашивая.

Раньше побуждали к действию нравственные заповеди, пример Христа. Ныне побуждает безнравственность, пример с Крымом возмущает душу, проклинаешь и Хрущева с его хамством, самоуправством, хочется бросить вызов всей этой системе, которая до сих пор позволяет начальникам ни с кем не считаться.

ЗАТМЕНИЕ

Пчелы слетаются к улью, наверное, полагают, что наступили сумерки, впрочем, куры, гуси что-то знают, волнуются.

Затмение кончилось. Щенок возвращается к поросенку играть его хвостом. Поросенку это нравится. Гуси вытягивают шею, шипят на прохожих. Корова идет, не уступая дороги людям. Жара с каждым днем нарастает. Трава стала жесткой, сухой. В станице магазины закрывались с 12 до 14, теперь с 11 до 17. На улицах пусто. Все прячутся в погребах.

Грузчик ставит на голову тяжелый сундук, приговаривает: «Не хотела учиться, теперь таскай, не жалуйся».

ср

Когда я работал в Союзе писателей референтом, ко мне приходило довольно много чокнутых, иногда такие, что после них я долго был не в себе.

Один мужик вполне приличного вида рассказал, что изобрел жидкость, помажешь ею — и предмет исчезает.

Вытащил бутылку, поболтал, там плескалось что-то зеленое.

— Хотите, покажу?

Спросил, что помазать. Я показал на старый письменный прибор на моем столе. Он намочил ватку, помазал подставку, сказал, что надо подождать.

Сел на диван.

Позвонил телефон, я заговорил, отвлекся, когда повесил трубку, подставка исчезла, мужик сидел на диване, улыбался.

— Хотите, помажу вам ботинок?

— Нет, — сказал я, — достаточно.

Он ушел. Подставка эта пластмассовая так и не появилась, исчезла.

Николай Корнеевич Чуковский умер внезапно. Во сне. Ничего не предвещало его смерть. Но за несколько дней до этого он впервые привел свои бумаги в порядок. Я видел — они лежали, разложенные по папкам: переписка, договора, роман, рассказы.

Можем ли мы до конца представить свою смерть? Кажется, это просто. Солнце будет вставать, автобусы ходить, родные горевать. Но это не так просто. Жить мы привыкли, а к смерти привычки нет. Массу дел, решений откладываем. И вдруг смерть, ничего уже доделать нельзя, то, что продолжается, можно лишь комментировать, как шахматную партию, при этом не знаешь, выиграл ли ее.

Как бы там ни было, умер, и жизнь стала законченным произведением и судится совсем иначе.

Первая мысль о смерти (или при смерти) — жена, дети! Как им будет тяжело! Потом — что скажут? Кто придет на похороны?.. Такая вот всячина. Потом — сколько не успел доделать.

Все сразу начинают думать — как тяжело будет близким. Узнав о смерти Николая Корнеевича, я через минуту подумал о его жене Марине Николаевне. А она мне сказала: «Я боюсь увидеться с Корнеем Ивановичем, ему так тяжело». Не знала, как ему сообщить.

Нам нужно, чтобы о нас грустили. Хотя бы месяц. Ну — неделю. От их грусти становится как бы легче.

Вот видите, мы умеем чувствовать себя мертвыми.

И живые тоже некоторое время еще считаются с нами, неживыми: «не трогайте ничего на его столе», «не уроните гроб», «воля покойного...».

Конечно, все это можно легко опровергнуть, но именно потому, что легко, не стоит торопиться.

ДИРЕКТОР

На заводе в Челябинске, где мы получали танки «КВ», вся наша рота работала в сборочном, помогая работягам ставить тяжелые детали. Сборщики были большей частью ребяташки-допризывники или пожилые люди, все довольно истощенные, слабые, а нам полезно было повозиться с новой машиной «И. С.».

Там, в цеху, я наслушался рассказов о легендарном директоре Зальцмане, нашем питерце, раньше он командовал Кировским заводом, потом завод эвакуировали в Челябинск, и теперь он здесь начальствовал.

...В сборочном цеху зимой мороз доходил до минус 40°. Скопилось много машин. Тут такая получилась незадача. Танки приходилось все время прогревать, потому как морозом прихватывало крыльчатку водяной помпы. Из-за выхлопов поднимался такой дым, что у рабочих кружилась голова, они задыхались, бежали в термическую, там отсиживались, и сборка оказалась в прорыве. Явился Зальцман, начал ругать начальника цеха, тот незаметно скомандовал мотористу запустить моторы. Весь цех заволокло. Зальцман даже испугался. На следующий день объявил, что цех выходной. Собрал всех специалистов по вентиляции, сказал: вот вам сутки, не сделаете, запру в цеху, запущу все моторы, пока не угорите.

...Позвонил по ВЧ Сталин. Был январь 1942 года. «Товарищ Зальцман, судьба Москвы решается вашими танками». Это было во время совещания у директора. Зальцман вернулся бледный, две полосы на щеках (так у меня записано, что это значит, уже не помню).

Рассказал про звонок Сталина. Пять дней никто не уходил с завода. Три эшелона танков отправили в Москву.

...Не было раций. Где-то они застряли по железной дороге у Омска. Зальцман вызывает к себе Гутина и требует, чтобы завтра рации были в цеху. Танки ведь нельзя выпускать без

рации. Рации были хреновые, но все давали связь. Гутин доказывает, что доставать их невозможно, неизвестно, где эшелон, неизвестно, как добраться к нему, есть ли дороги и т. п. «Бери самолет, лети вдоль железной дороги, спускайся, как завидишь эшелон. Перегрузишь рации из вагона в самолет и прилетиай обратно». На все возражения директор повторял: «Невозможный вещей нет!»

И сделали. Привезли. Назавтра рации были в цеху. Утром Зальцман вызывает Гутина. Тот доложил: «Все сделали, как вы сказали». И сам смеется. Зальцман не поверил. Звонит в цех. Они подтверждают. Он тоже смеется: «Вот видишь!»

Так работали в войну, такие были директора, не один Зальцман, сложилась порода этих жестких, непреклонных хозяйственников, для них не было невозможно, они действовали волей, убежденностью, умом — и достигали.

После войны их методы осуждали, а ведь их любили, ценили и того же Зальцмана.

Как мне сказал один историк: «Списать с двух книг — это плагиат, с десяти — это компиляция, а со ста — это научный труд».

Первым делом он близоруко наклонялся к картине, читал кто автор, название, после этого уже начинал хвалить или бранить. И к людям так же — сперва выяснял: кто такой, кем работает?..



Стояла ольха, корявая, высохшая, на голом стволе торчали остатки коры. Зимой ее сучья, припорошенные снегом, казались тоже живыми, после снегопада этот труп среди других сходил за живого. Снегопад все преобразил, прибрал грязный, замусоренный банками, бутылками пригородный лес.

Недавно еще он выглядел отвратительно запущенным. В течение лета туристы и дачники превратили его в отхожее место, мусорную свалку. Снег все прикрыл белоснежным толстым слоем, и вот уже заблестели лыжни. Деревья — осины, ели с нависшими снежными нарядами сделали его сказочно прекрасным, и все наслаждались этой красотой,

не зная или не вспоминая, какое под всем этим сохраняется безобразие.

«По-японски вы все называетесь — „мудáки“. Какое мне дело, расширяется Вселенная или сжимается. Положил я вашу Вселенную. Я, как тебе известно, блядолюб, и все твои призывы мне до фени. А за что ты меня можешь ущучить? Совесть? Слава Богу, никому не известно, может, ее у меня больше, чем у тебя, поди проверь. Откуда смотреть. Это как в фильме „Корабль глупцов“, сперва мы осуждаем немца-нациста, которому пришлось ехать в одной каюте с евреем, немец терроризирует беднягу, потом ночью еврей начинает храпеть, и немец сходит с ума от бессонницы, и мы его жалеем».

В искусстве обещать, подавать надежды, расписывать красками ослепительное будущее — нам нет равных.

— Вы не уважаете армию, — сказал мне генерал.

— Не уважаю.

— За что?

— Если б у вас не было ракет — никто бы вас не боялся, вы не умеете делать свое дело.

Во время блокады два памятника не были защищены мешками с песком, щитами — Суворову и Кутузову. Два полководца стояли на страже, несли свою вахту.

В январе 1942 года какой-то мужик явился в Ленгорисполком и заявил, что ему снился вещий сон, и был еще голос, что если он погибнет, то немцы войдут в город. Говорил так убежденно, что дали ему литерную картошку.

Не всегда надо шагать в ногу, на мосту, например.

Старая шутка: величие ученого измеряется количеством лет, на которое он задержал развитие своей специальности.

Какое правительство доставляло мне столько радости, как Бах, или Врубель, или Утесов?

Нас толкнули — мы
Упали,
Нас подняли — мы
Пошли.

«Кем хочу быть? Все равно, лишь бы больше получать. Поменьше работать. Балдеть. Хватать кайф. Хорошо жить. Не напрягаться».

Настоящие систематики — для них потрясающее многообразие форм живого не отвлечение от настоящей работы, а источник удивления и восхищения, такого удивления, которое не дает ни одно рукотворное чудо. А искреннее удивление приводит к открытиям.

Наука, как определил один из учеников Любищева, прежде всего уровень понимания мира.

На примере своих друзей и знакомых я убедился, что скромность создала куда меньше, чем честолюбие.

Декарт был изгнан, странствовал, служил в армии, был врачом, математиком, философом.

Коперник не репался публиковать свои великие открытия, увидел их напечатанными перед смертью.

Таких примеров среди ученых великое множество, пожалуй, судьба больших художников куда милостивей.

У нас полагают, что человека можно переубедить, если заставить его замолчать.

— Вы спутали биографию с фотографией, это фотографию ретушируют, а биографию не положено.

Владимир Яковлевич Александров однажды сказал мне, когда речь зашла о жизненном опыте:

— Опыт — это название, каждый так называет свои ошибки.

После изгнания из рая ближайшие потомки Адама были люди жестокие, озлобленные, заклеянные. Они — герои



Ветхого Завета. Отсюда такая злость и мстительность их действий. В них нет милосердия. Их нельзя судить по законам христианской морали.

Кажется, Честертон считал, что поэтому-то Господь и послал на Землю Христа, чтобы как-то смягчить человечество.

Фольклор — иностранное название русской народной речи.

В последние десятилетие брежневщины все лежало плохо, так что «воруй — не хочу». Вообще интересная закономерность была. Пришел к власти Хрущев — все вздохнули свободно. Кончились репрессии, осудили культ Сталина, провели реабилитацию, люди вернулись из лагерей, стали свободней выезжать за границу. Но прошло несколько лет, и он пошел на

расстрел рабочей демонстрации в Новочеркасске. Убито было двадцать три человека... Разразился Карибский кризис. Началось всесоюзное кукурузное насилие... И пошло-поехало.

Его сменил Брежнев. Вроде, спокойный разумный человек. И зажили мы без реформ, благоразумно. Но минул срок, свой срок, начало разрастаться воровство. Подношения, приписки. В республиках творили бог знает что. Хлопковое дело в Узбекистане. В Краснодаре царил секретарь крайкома Медунов — хапуга, самодур. И дальше во всех обкомах — повально взятки, дутые цифры. Сам Брежнев (или ему) — орден за орденом, Геройские Звезды. Главная победа в Великой Отечественной произошла на Малой Земле под его руководством. Он превращался в развалину, в маразматика, но за него держался весь партаппарат, с этим манекеном было удобно.

Умер. Пришел Горбачев. Обрадовались. Сам ходит, сам говорит. Чего-то разумное делает. Отменил цензуру. Демократии прибавил. Выборы. Верховный Совет. И тут же стал сооружать себе дворец в Форосе, в Крыму. И говорит, выступает без умолку. А еще жена Раиса, не понять, кто правил.

Его сменил Ельцин. То же самое — первая часть правления радовала. Со второй части — пьянство, семья стала заниматься бизнесом...

Почти закон — первая часть правления встречается с радостью, вторая — приходит разочарование, власть полученная портит, изделие это скоропортящееся, вот что грустно.

На поле Полтавской битвы сооружен памятник с надписью «Вечная память храбрым шведским воинам, павшим в бою под Полтавой 27 июня 1709 года». Не знаю, сохранился ли он. Открыли его в честь 200-летия победы, в 1909 году. В продолжение славной петровской традиции уважения к противнику. Когда он пригласил к столу в своем шатре шведских генералов во главе с фельдмаршалом Реншильдом, выпил за их здоровье, назвал своими учителями, вернул им шпаги, это было по-рыцарски. Это произвело сильное впечатление на Европу. Петр и позже повторил нечто подобное с адмиралом Эреншильдом.

В Валдае местный краевед показал мне забавные описания визита цесаревича в город в 1837 году во время путешествия по России. Я даже кое-что записал:

«Желание граждан Валдая наконец исполнилось. Мысль сохранить в памяти потомству посещение Государя цесаревича осуществилась.

Цесаревич проехал на лодке озеро Валдай и с удовольствием взирал на рвение жителей, старавшихся наперерыв высказать любовь свою. Пробыв несколько часов в доме купцов Коротковых, изволил отправиться дальше. Событие оставило сильное впечатление в сердцах здешних жителей. Они решили передать память о посещении потомству: построить галерею для хранения шлюпки, носившей Государя Наследника».

Далее с тем же трогательным чувством описывается открытие галереи и богослужение. Перед этим совершили рейд по озеру — шлюпка, те же гребцы с городским головой, за ней тридцать лодок с начальниками и уездными чинами.

А вот как писали в «Северной пчеле» о посещении государя императора Академии художеств:

«Величие и благодать их Величества представляют столько умильного, столько восхищенного, что никакая речь не достаточна выразить то, что чувствует душа».

Утратили мы эту неподобную стилистику.

В Польше, и Закопане, нас пригласили в дом отдыха священников. Там висела доска с фотографиями самозванцев. «Ходят, собирают якобы „на монастырь“».

АБОРИГЕНЫ В АВСТРАЛИИ

Им удивительно, как живут белые люди. Зачем работать?

Аборигены «живут в стадии первобытного коммунизма и не понимают, зачем выходить из него» (Ф. Харди).

Художник-абориген Наматжира начал своими картинами зарабатывать и... стал нуждаться.



За все четыре года войны я пережил всего две атаки на немцев. И то одна была для меня не очень удачливой, для

нашей роты она была счастливой, а со мной случилась такая история: рядом ранило одного парня новенького, только что присланного с Большой земли, звали его Адольф, я запомнил потому, как в ту войну имя это было неуместное. Заорал он, зовет, я наклонился к нему, а он как вцепится в меня обеими руками, не вырваться. Догнал своих уже в немецком окопе, потом ротный допрашивал меня, а у этого Адольфа рана была небольшая, в бедро.

«Молочные реки и кисейные (!) берега».

Александр Любищев с возмущением цитировал одного известного медика: «Наука говорит, что живые организмы — это только очень сложные системы».

— Кому и когда она это говорила? — спрашивал А. Любищев. — Это чистое суеверие — считать живое существо системой, машиной. Это все равно как полагать, что гороскопы определяют судьбы людей.

Любищев никогда не скрывал своих идеалистических взглядов на жизнь, все живое связано с действиями непознаваемых сил. Жизненные процессы в организмах не сводятся к законам физики, химии, к законам сохранения и превращения энергии, есть что-то ещё, некое творческое начало.

Думаю, что он прав, надеюсь, что прав, что человек — это больше, чем человек.

ДЕТИ

— Мне бабушка говорила, что на небе ангелы живут. Ты как думаешь?

— Не знаю, я не в курсе дела.



«Главная беда Москвы в том, что она со всех сторон окружена Россией».

«Лучше ничего не делать, чем делать ничего», — говорил Брюллов молодому Ге.

Открывая женское собрание, председательница предупредила:

— Времени у нас мало, давайте говорить все сразу.

ФОТОГРАФИЯ

Лицо человека все время меняется, поэтому фотоснимки воспринимают как «непохожие». Непохож — на кого, на меня, а кто же это был? У снимаемого есть какой-то внутренний собственный портрет, с ним обычно идет сравнение. Актеры, те умеют останавливать свое лицо. Они делают его портретным, таким, каким им нужно, они создают свой собственный портрет, так же, как они создают портреты тех героев, которых они играют. Я не умею этого делать и плохо получаюсь на фотографиях, то есть редко совпадаю с тем, каким я представляю себя. Наверное, у каждого из нас есть некий внутренний фотоэталон, что ли.

Фотограф-художник, например Валерий Плотников, действует, по-видимому, интуитивно, это нечто вроде охоты: выстрел на поражение. Он сделал мой снимок, и этот снимок для меня стал факсимильным, точным соответствием, с тех пор я им всегда пользуюсь. Льстивого в этой фотографии мало, она неприукрашенная. Но он поймал момент, когда выглянуло то симпатичное, что есть во мне, как в каждом человеке.

Моему другу Вите Тимофееву в наследство от отца осталась изношенная толстовка, увешанная значками МОПРа, ОДР, Осоавиахима, ГТО.

В сельской парикмахерской стоял бюст Ленина, на него вешали шапки.

Иногда мне кажется, что череп некоторых моих собеседников оклеен изнутри старыми газетами. Да и мой тоже.

Советская жизнь станет своими трагедиями, кумирами, мифами античностью для следующих веков.

Мне сказал мой друг поэт Армении — Разик Аганесян:

— Захотел я родиться, и так захотел, что не стал выбирать подходящее время, а надо бы.

На выставке-продаже фарфора Миша Дудин сказал про посетителей:

— Преуспеватели... — потом добавил, — неблагоприятные люди.

Я хотел бы поверить в Бога, но боюсь. Почему боюсь? Вопрос, на который я избегал отвечать. Не хотел, тем не менее, по мере того, как старел, я неотступно приближался, упирался в этот вопрос. С годами прожитая жизнь обретает разочарования, теряет смысл, и невольно обращаешься к Богу. И вот что мне пришло в голову — я боюсь, потому что не хочу страдать. За неправомерные поступки, за суету, эгоизм, за грехи, которые как бы не грехи, пока не веришь, а как поверишь, так они станут грехами и станут их бесчисленно... Неприятно будет оглядываться на свое прошлое, испортишь остаток жизни. Исправить нельзя, отмолить времени не хватит.

Перечисление — это еще не покаяние. Да и покаяние — не искупление.

«У меня было много казусов, один из них большой».

«Ну и „будка“ у вас!»

Наш профессор велел соблюдать три «К» — Кратко, Конкретно, Корректно. Такие правила хорошо запоминаются.

«Надоело ходить все время под вашей эгидой».

В ЛГУ был ректором Вознесенский, брат члена Политбюро Вознесенского А.А., его называли «персона брата», хотя он был куда порядочнее и умнее того, но острословие с этим не считается.

Любить — это счастье, оно доступно каждому. Почему же люди не пользуются этим счастьем?

Жизнь улучшается: чтобы купить двухкомнатную квартиру, нужно было откладывать деньги примерно 300 лет, теперь, в 2007 году, уже 250 лет.

Давай зайдем ■ наше
Детство,
Когда мы с тобой ходили
■ пятый класс,
И будем вспоминать, не
зная, кем мы стали.

«— Игорь Васильевич, вы мой камень преткновения, вы меня лишаете свободы телодвижения».

ЭТО ВСЕ МЫ

27 октября 1999 года я выступал по НТВ в передаче «Старый телевизор». Ведущий по ходу дела запустил старую пленку митинга по поводу награждения Нобелевской премией Б. Л. Пастернака. Там выступает руководитель КГБ Семичастный, кричит о Б. Л.: «Паршивая овца! Свинья не гадит там, где жрет, а Пастернак хуже свиньи».

И зал, битком набитый, аплодирует, эти лица на экране, с каким ожесточением, восторгом они хлопают. Это мы! Это все мы, и сегодня это еще мы.

Хотелось бы сделать фильм — какие мы были, документальный, из старых пленок, из кинохроники, чтобы там были наши оваии Горбачеву — его приезд в Ленинград, потом такие же оваии Ельцину.

Уличать не начальников, а нас самих: какие мы легковверные, как нас обманывали и как мы обманывались. Демагоги на трибунах, на экранах — их обещания. Как наш съезд освистывал Сахарова, как мы выбрали Яковлева вместо Собчака. Все это осталось, имеется в деле, заведенном Историей на каждого из нас.

— Ты можешь держать меня за любое место, только не держи меня за дурочку.

Разговор со следователем:

— Он имел дело с иностранкой. Не передал ли он ей информацию?

— Передал, только генетическую.

«Станиславский — это Моцарт, который мечтал стать Сальери», — сказал Товстоногов.

Священник Александр Борисов, тот, кто причащал Н. В. Тимофеева-Ресовского, можно сказать, его духовник, как-то сказал ему, и потом Николай Владимирович повторял: «Христианство — это встреча человека с Богом в личности Христа».

На месте боев нашего батальона трупы давно сгнили, и скелеты частично превратились в труху, только пули, которые были в них — остались, возьмишь, к примеру, череп, там бренчит.

— Семья наша столько испытала, не пересказать. Деда два раза сажали ни за что. Бабку сослали, другую бабушку раскулачили, потом изби́силивали так, что она повесилась. Отца выгоняли с работы, не дали закончить институт. Дядей гнали из партии, увольняли, обворовывали, одного довели до сумасшедшего дома. Но никогда в семье нашей не было плохих людей. Мы трудились, терпели, учились, пока позволяли, растили честных детей. И вот появился среди нас подлец. Я так думаю, потому, что кровь изверилась. Подлец этот — единственный, кто в нашем роду преуспел, он теперь на местном телевидении директор.

Академик Моисей Александрович Марков:

«Всю жизнь я пытался выяснить, мог ли Бог создать Вселенную иначе, чем она создана. Или же это единственный вариант, который у него мог получиться... Так и не выяснил».

Музыка пробуждает во мне чувства, не доступные никакому другому виду искусства. Даже поэзия не проникает в такие глубины души. Иногда, слушая Моцарта или Бетховена,

я словно поднимаюсь над своей жизнью, попадаю в миры, о которых я даже не подозревал. Оказывается, я еще могу плакать и верить.

Всю жизнь он тратил денег больше, чем получал. Всегда мы задавались вопросом: откуда у него? Он был всего лишь администратор — в театре, в кино, в оркестре, казалось бы...

Мы должны понимать, что мы выросли в полной несвободе, и уже поэтому мы хуже наших детей, и это хорошо, что они лучше нас.

И. К. Полозков был избран (!) генеральным секретарем Российской компартии. Приехал он в Питер, посетил театр Комиссаржевской, спектакль «Царь Федор Иоаннович». После окончания зашел к главному режиссеру Агамирзяну Р. (который мне это рассказывал), говорили про трилогию Алексея Толстого. Полозков сказал: «Да, да, люблю этого писателя, был у него ■ Ясной Поляне, все осмотрел. Матерый был человече!»

Дело даже не в его невежестве, ну напутал, хотя кончал Высшую партшколу. Поражает самоуверенность, нахвтанность, «матерый человече!» — повторяет слова Ленина про Льва Толстого, как свои. Эти люди, не сомневаясь ни минуты, брались руководить огромной страной. За все годы я ни разу не встретил в обкоме, горкоме, в райкомах по-настоящему образованного интеллигентного человека.

Ленинград — это не Москва, в городе трех революций царил более строгий режим. То, что дозволялось в Москве — некоторые фильмы, спектакли, — в Ленинграде — ни-ни. Как говорили в ЦК, в Ленинграде температура ниже, там холодней, трех революций стране достаточно. Обком старался вовсю. Идеологически чтоб примерный город, без вольностей. Уезжают в Москву Сергей Юрский, Аркадий Райкин, Глеб Панфилов, Олег Борисов — «да ради бога, нам тут легче будет».

Мы живем в мире трех измерений... «Четвертое, — добавляют физики, — это время». Поэты говорят, что есть пятое.

«Пятое измерение — измерение любви» — звучит красиво, но ведь и в самом деле, чего стоит жизнь, если она не была согрета любовью? Нет, согрета — не то слово, без любви жизнь лишается смысла, единственного света. Когда-то мне казалось, что творчество может оправдать мое существование. Увы, творчество доставляет удовлетворение, но в нем нет счастья самопожертвования.

БЛОКАДНАЯ ЖИЗНЬ

После публикации «Блокадной книги» стали приходить письма, воспоминания горожан, звонили, приходили домой, хотели дополнить, вставить про себя, про свою неповторимую... Возвращаться к этой теме я не собирался, все материалы отправил в архив. Однако кое-что затерялось. Ныне всплывает. Вот, например, из рассказа Лаптевой:

«Муж лежал на диване, на том, где вы сейчас сидите. Снаряд залетел со двора. Когда я вернулась домой, нижний этаж был разрушен, квартира как бы висела в воздухе. Все были живы. Но мама сошла с ума, она ничего не понимала. Муж лежал, у него отнялись ноги. Ребенок сидел, накрывшись шапкой. Наступила ночь. Рискнули переночевать дома. Ночью начался пожар — кто-то затопил печь. Я отвела мать, мужа и сына на улицу, посадила возле пожарной машины. Они умерли на глазах мальчика, на снегу. Сестра моя увела сына, я осталась около двух трупов — матери и мужа. Десятого апреля умер сын, еще через месяц умерла сестра...»

...Во время блокады лед на Неве был такой толстый, что за водой ходили с поварешками. Ложились у проруби и поварешкой набирали воду.

Милосердию надо учить, как учат чистить зубы. Учить, пока оно не войдет в привычку. Привычка помогать несчастному, попавшему в беду, больному. Милосердие не добровольное дело, оно возложено не на организации. Оно обязанность каждого человека. Бедного и богатого. Нельзя пройти мимо упавшего, проехать мимо аварии, мимо плачущего ребенка.

Должен был посетить Дом творчества болгарских писателей в Варне генсек компартии Болгарии Тодор Живков. Стали готовиться, чистить, красить, расстелили ковры. Вдруг за несколько часов до визита кто-то обратил внимание на ласточкины гнезда, их было много на деревьях. А вдруг нагадят на гостей? Вооружились шестами, посшибали все гнезда. Ласточки носились, как сумасшедшие, загадили все и всех.

Русские философы считали русскую культуру стыдливой. Мнение это утвердилось в мировой литературе. Никто не ставил это ■ упрек нашему искусству. В этом была его сила и, если угодно, преимущество.

Один из питерских чиновников объяснял мне:

— Вас половой акт крупным планом на экране смущает, а когда крупным планом видны приемы борьбы за власть, это не смущает? Все просто — какой еще стыд, стыд не помогает достигнуть власти. Нет. Скорее мешает. Это чувство не полезное для чиновных людей. Для правителей тем более.

Он был согласен, что человек, знающий стыд, — моральный; человек, не знающий стыда, — аморальный. Но из этого для него ничего не следовало. Потому что в российских условиях человек разбогатеть может только незаконным путем. При этом он ссыался на мнения и наших, и западных финансистов.

К стыду в России относились не всегда уважительно: «Стыд не дым, глаза не выест». А то и со смешком: «Когда сыт, так знаю стыд». Мы говорим «бесстыдный», осуждая. Но говоря «стыдливый», мы этим не хвалим: «Стыдливый кусок на блюде лежит», «Стыдливому удачи не видать».

Впрочем, были моменты, когда стыд охватывал всю Россию угрызениями совести. Салтыков-Щедрин писал: «Новейшие веяния времени учат всего более ценить ■ человеке не геройство и способности претерпевать лишения, сопряженные с ограниченным казенным содержанием, а покладистость, уживчивость и готовность. Но что же может быть покладистее, уживчивей и готовее хорошего, доброго взяточника?..» Один вид стыдящегося человека среди проявления бесстыжества уже может служить небесполезным напоминанием. Самые закоренелые проходимцы и те понимают, что в стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его из массы бездельников и казнокрадов.

Наверняка среди тигров и воробьев есть свои красавцы, весельчаки, гении. Почему бы нет?

Я узнал, что такое земля, только на войне, солдатом. Надо было копать и копать, зарываться в щели, в окопы. Требовали «полного профиля», чтобы почти в рост, чтобы ходить в окопе, не пригибаясь. Летом еще ничего, а зимой как ее, мерзлую, копать? Лом не берет. Земля — то песок, то суглинок, то корнями переплетенная. Болотистая, через полметра вода выступает. Копать землянки, укрытия для танков, для орудий, брустверы. Проклинаешь, материшь ее, а она единственная защитница от пулеметов, от снайперов, от артобстрела. Всю войну с ней, она на всех фронтах с нами, и в Германии она же, такая же... Сколько перекопали ее. А еще копали для могил. В начале лета 1942 года снег сошел, землю пригрело, и дали знать себя трупы на нейтралке. Те, что остались от зимних боев. Они оттаяли, и наши, и немцы, вонь от них тошното-сладкая одинаковой была. Приказано было хоронить всех без разбора в одну траншею, да уже и не разобрать было, кто лежит. Пугали нас эпидемиями, скорее прикопать всех. Единственный толк был, что начальство перестало посещать передок в тот месяц.

Работая в обществе «Милосердие» я убедился, что милосердие выше справедливости. Милосердие не требует определять, справедливо это или нет. Справедливость удовлетворяет чувство законности. Милосердие не требует ничего, кроме сочувствия, великодушия. Это рождается чувством гуманности, сердечности.

Но когда мы увидели, как обращаются со стариками в доме престарелых, мы обрушились на врачей, на медсестер. То была непосредственность возмущения, потом я узнал про их нищенские оклады и понял, что мы были не совсем справедливы, у них была своя правда.

На могиле Эйнштейна изображена Солнечная система со всеми планетами, и там, где Земля, надпись: «Здесь жил Эйнштейн».

На памятнике Ньютону написано: «Пусть смертные радуются, что существовало такое украшение рода человеческого».

Рядом с плитой Ньютона в Вестминстере были плиты поменьше: В. Томсона, Д. Максвелла, Ч. Дарвина, В. Гершеля — великих ученых Англии.

— С ними следует говорить на языке, действенном для них, — советовал мне Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.

Этим языком он владел в совершенстве. Но были и другие примеры, которые подтверждали его совет. Я помню, как известный художник Пластов рассказывал нам о посещении выставки в Манеже членом Политбюро Полянским. Был такой, курировал сельское хозяйство и проявлял благосклонность к искусству. Остановился он у картины Пластова «Обед на колхозном стане». Посмотрел, укоризненно покачал головой: «Что же вы, товарищ Пластов, не хотите наших колхозников хорошо накормить, разве это обед, разве это сытая колхозная жизнь?»

Выслушав, автор, то есть Пластов, удивленно развел руками: «Товарищ Полянский, вы присмотритесь, это же они десерт едят». Полянский присмотрелся. «Это другое дело», — удовлетворенно сказал он.

Петр Леонидович Капица редактировал «Журнал экспериментальной и теоретической физики» — «ЖТЭФ», основной журнал советских физиков. Вышло постановление сократить выпуск и объем журналов, в том числе и «ЖТЭФ». Капица запротестовал и попросил у Суслова доложить свои соображения. Его пригласили на секретариат ЦК КПСС.

Выступление его звучало примерно так:

— Представьте, что вы приходите в магазин купить сливочного масла. Пожалуйста, его сколько угодно: и топленое, и вологодское, и псковское, но продать не можем, бумаги нет.

Секретари засмеялись, и вопрос был снят.

Хорошая английская пословица:

«Дурак считает себя умным, а умный — дураком».

А эта Владимира Яковлевича Александра:

«Никто не бывает дураком всегда, изредка — каждый».

АНТИЧНЫЕ БАЙКИ

У Перикла голова была в форме луковицы, скульпторы надевали на него шлем. На всех бюстах он в шлеме.

Александр, разрушая Фивы, единственный дом оставил в целости — поэта Пиндара, этого греческого гения «владыки поэтов и поэта владык».

Пиндар был уверен, что без песен поэта всякая доблесть погибает в безмолвии, и Александр это понимал.

Питтак, будучи правителем Митилены, отказался стать тираном и ■ конце концов сложил свои полномочия. «Знай свое время!» — его девиз.

Величайшие драматурги Эврипид и Софокл терпеть не могли друг друга.



Николаю Владимировичу Тимофееву-Ресовскому его ученики преподнесли его высказывание в стихотворной форме:

Ведь человек и суетен, и грешен.
Не отмечает ■ слепоте своей
Немногие существенные вещи
От мнѳгих несущественных вещей.
Чему Вы только нас не обучали,
Но если все до афоризма знать,
То главное — и в счастье, и в несчастье
Существенное в жизни отмечать.

Сентябрь 1980



«Дай, Аллах, мне силы бороться с тем злом, с которым можно бороться.

Дай, Аллах, мне терпение вынести зло, с которым нельзя бороться.

Дай, Аллах, мне разум, чтобы отличить одно от другого».

70-летие Михаила Матусовского, ему позвонили из бюро секции поэтов: «Составьте, пожалуйста, к юбилею текст приветствия». «Как же так, это же неудобно». «Да что вы, все де-

лают, иначе напишет кто другой, переверт. Мы напечатаем **все** полностью, все, что напишете».

Он отказался, и что вы думаете — переврали.

Где-то в семидесятые годы я был в Севастополе. В первый раз был студентом до войны, а во второй — уже бывшим солдатом. Поэтому я увидел то, чего раньше не видал. Танки стояли на вершине горы Сапун у обрыва — памятники. Плюс самоходки. Пушки установлены. Земля расчерчена белыми колышками виноградников.

Между танками бродят жирные курортники, приехавшие на экскурсию, облокотясь на траки, фотографируются.

Танки все время подкрашивают, смазывают, держат чистенькими, такими, какими они сроду не были. На башне ИС выступ с какой-то трубкой, не могу вспомнить, зачем трубка. Не антенна. Забыл. Спросить не у кого.

А на Малаховом кургане была другая война. Редуты Синевина, старые пушки и новые воронки. Пушки стали смешными. Впрочем, и наши пушки тоже стали смешными.

Стояли памятники, сооруженные дивизиями и армиями Великой Отечественной. Свои скульпторы, архитекторы вычертили, слепили, саперы построили, отлили неумелыми, отвыкшими от тонкой работы руками.

Какой-то инженер соорудил памятник летчикам Севастополя, ему удалось передать стремительность полета. Эти памятники-самоделки сердечны, жаль, если их не сохранят.

Дашу Севастопольскую помнят, а наших героев не видно, не упоминают.

Да и вообще не слишком ясно, в чем был смысл так долго удерживать этот клочок земли такой кровью. В чем смысл обороны Севастополя 1942 года? Пошел бы Нахимов на такое?

Нынче эти впечатления кажутся мне странными. Прошло сорок лет, Крым уже не наш, Севастополь принадлежит Украине, душа не лежит с этим смириться, «этот клочок земли» хочется удержать всячески.

сз

Физик Юрий Борисович Румер работал ■ шарашке ■ отличной компании. Сидельцами, «врагами народа» были

Королев, Глушков, Мясищев, Туполев, Петляков. Румера привлекли как теоретика, там он написал работу о фазовых превращениях и что-то по квантовой механике. Кажется, вместе с ним сидел и Борис Викторович Раушенбах. Словом, собрали цвет авиа- и ракетостроения.

Румер считал себя циником. «Обстоятельства, в какие я попадал, были поразительно циничны, — рассказывал он, — судите сами, по этапу я ехал с пленным немцем — гауляйтером из Таганрога, который истреблял евреев. Мы ехали с ним в одном вагоне, спали рядом на нарах, ели одну баланду. Такое подстроило мне соседство судьба. Разве это не цинизм с ее стороны?»

Еще он поведал мне историю о некоем заключенном (подозреваю, что это был он сам), как однажды в шарашке вызвал его следователь и поздравил — какой у него сознательный сын, четырнадцать лет, все понимает, написал добровольно, никто не уговаривал писать, заявление, что отказывается от отца — врага народа. Осуждает мать, которая жалеет об отце, ведь идет война, врагов нельзя жалеть. Сын — искренний противник отца, правда, его все равно исключили из школы, но чекисты постарались его устроить в другую школу.

После войны, через три года, отец вернулся с наградой за самолет, созданный в шарашке. Когда собрались отметить его возвращение — пришли Туполев, Королев и другие. Сын в другой комнате рыдал, не смея выйти к ним.

Жена отозвала его, попросила выйти к сыну, как-то утешить, успокоить. На это он ответил так: «Есть огорчения, которых нельзя избегать, надо их пережить полностью, иначе жизнь ничему не научит».

Я спросил у Румера, за что его посадили, я у всех, кто возвращался, спрашивал. Они пожимали плечами. Никто не знал за собой нарушения закона. Никто. Румер сказал, что как-то приехал к ним в шарашку Берия отметить сдачу проекта. В застолье один итальянец, был среди них такой, обратился к нарком, что вот, мол, его посадили ни за что. Берия благодушно, с чекистским юмором ответил: «Если бы было за что, то, дорогой мой, ты тут бы не сидел».

Наверное, он был прав. Сидел ли кто-нибудь из тысяч и тысяч заключенных советских людей за что-то?

Был среди односидельцев Румера один комкор, то есть командир корпуса, так он убежденно повторял: «Значит,

так надо». У него сомнений не было, наверное, так ему было легче.

Боже ты мой, вдруг среди вороха ежедневных писем, просьб обиженных, уволенных, требований графоманов попало маленькое письмо однополчанина по Кировской дивизии, к тому же из нашего батальона, да еще по самому драматическому времени — сентябрь 1941 года, когда мы оставляли Пушкин. Пишет и про полковника Лебединского, нашего командира. Удивительно! Сорок с лишним лет никого не встречал из того нашего разгромленного, разбомбленного на смерть полка, казалось, никого не осталось в живых. Был Э. Писаревский — умер. Володя Лифшиц — умер. Капралов, Ермолаев — никого не осталось, все затянулось, заросло, следа не найдешь. И вот объявился. Надо же! Радость, словно встретил в пустыне... Пишет: «Соприкасались мы с Вами в Пушкине, ■ сентябре 1941-го, когда штаб стоял недалеко от пионерских лагерей... Если Вы помните, то числа 15 сентября у штаба сидели две девушки в гражданском, их ночью переправили через линию фронта, а утром наш штаб накрыли арт-огнем». Как накрыли, помню, еле вылез, а девушек не помню, но странная эта подробность убедительна. Если б он что другое привел, может, я и усомнился. Был он, Аркадий Иванович Богданов-Савельев, в роте связи, прослужил до 1948 года, потом уехал на родину, под Воронеж. Он попросил у меня «Блокадную книгу», я послал, написал письмо, спрашивал про то, что с ним было потом зимой 1941/42 года. Получил ответ, общие слова, ничего нового для меня не помнит. Память мою не поправил, колыхнулось что-то и улеглось. Воспоминания о войне его, видать, не шибко интересовали, солдаты этим не занимаются. В то военное прошлое мало кто ходит. А зачем?

КАК ОНИ НАЧИНАЛИ

В детстве Макса Планка поразил рассказ о кровельщике, который втаскивает на крышу тяжелую черепицу. Работа его не теряется, она сохраняется долгие годы. Практически вечно хранится, пока случайно не сорвется вниз и трахнет что-то, кого-то, это принцип сохранения энергии. Сохраняется бес-срочно.

Однажды Абрам Федорович Иоффе, «папа советских физиков», рассказал мне, как начиналась его жизнь учебного.

— Решил мою участь учитель физики. Он был хорош тем, что признавал беспомощность физических воззрений того времени. Он говорил: «Свет есть распространение волн в эфире. Свет звезд доходит движениями волн по эфиру». Я его спросил: «Значит, кроме как передавать свет звезд эфиру делать нечего?» Мне показалось это глупым. Надо исключить эфир из науки или выяснить, чем он еще занят, — решил я.

Рассказывая, он посмеивался и над той физикой, и над собой.

— У меня обостренное обоняние. Собачий нюх. Заинтересовали запахи. Что такое запах? Нет субъективных запахов. Есть три-четыре основных запаха, из которых складывается остальное многообразие. Примерно как в оптике с цветами. Учитель развел руками. Много позже я задался вопросом, тогда неясным — отчего человек загорает? Наклеивал себе на лоб разные кусочки материалов».

Учитель Абрама Федоровича Иоффе был хорош тем, что указывал ученику на незнание, открывая перед ним непонятные явления. Это возбуждало мысль сильнее, чем то, что давно всем известно. Тайны природы, нераскрытые, удивительные, привлекают, волнуют молодой ум: «Вот она, задача, которая ждет меня!..»

МАЛЕНЬКАЯ БЛОКАДНАЯ ИСТОРИЯ

Она его любила после свадьбы еще больше, чем до. Он читал ей стихи, рассказывал дивные истории, которые сочинял специально для нее. В армию его не взяли по зрению. Носил толстые очки, сам был толстяк и как-то незаметно в феврале 1942 года опух, перешел в дистрофию. Однажды потерял карточки, ее, свои и тещи.

Это была катастрофа. Остаться в блокаду без карточек — верная гибель. Теща считала, что он убийца, он обрек их на смерть, что он, наверное, присвоил карточки и тайно ест их хлеб, он всегда жадно ел, съедал общий довесок, мог прихватить чужую порцию.

Он просил прощения, а потом ушел из дома и пропал. Больше они его не видели.

Теща умерла, а жена выжила. Продавала вещи, работала в госпитале и выжила.

Много лет спустя внук ее, школьник, стал читать Баратынского, нашел в книге три желтых бумажки. Это были их карточки.

Она представила, как это было, как запамятовал его истощенный голодом мозг, и долго рыдала.

Австралийский писатель Френк Харди приехал ко мне в гости. Мы с ним много гуляли по Ленинграду, и он озадачивал меня вопросами, которые никогда не приходили мне в голову. Например, повсюду висели лозунги «Слава КПСС!»

— Кто это пишет? — допытывался Френк. По его разумению, славить нашу партию могли только иностранцы, инопланетяне и прочие пришельцы, восхищенные нашими порядками.

Еще я помню свои безуспешные попытки объяснить ему, что значит «Ударник коммунистического труда». Если труд коммунистический, зачем еще «ударник», у них, если работаешь плохо, тебя уволят, остальные работают как положено.

Поэт Пиндар писал: «Будь таким, каким ты себя познал».

Спустя две тысячи лет Гете отточил эту фразу до совершенства: «Стань тем, что ты есть».

Всегда интересен тот, кто молчит.

ДОМ МЕЧТАТЕЛЕЙ

На Троицкой площади стоит дом, построенный в 1933 году. Конструктивистская архитектура резко отличает его от соседей, ранних и поздних. Но еще больше отличает мемориальная доска на его стене. На ней длинный список жильцов дома, все они жертвы репрессий 1937 года. Это «Дом политкаторжан».

Фамилии и сломанное дерево — символ погибших надежд. Это все те, кто прошли царскую каторгу, выжили, приветствовали революцию и новую эру коммунистической жизни. За нее они боролись, о ней мечтали в ссылках. Для них был



построен этот дом, его они решили сделать образцом нового быта, дом-коммуна. Жизнь сообща, без индивидуализма, никаких кухонь в квартирах, будет общая столовая, общая библиотека, детский сад, клуб, солярий, больным еду привозят транспортеры в квартиру. Совместный быт был продуман в деталях. И осуществлен. Однако вскоре действительность стала разрушать идиллию. Нехватка продуктов, очереди, появился в доме продовольственный магазин — закрытый, для «своих», появились привилегии.

Кое-что мне рассказывала старая большевичка, мать моего товарища Вити Тимофеева. Например, висело объявление: «Цареубийцам мясо без очереди». Что-то в этом роде. После убийства Кирова в городе начались репрессии. С общественной столовой не ладилось, в квартирах делали себе кухни.

В 1936–1937 годах стали арестовывать и бывших политка-торжан. Закрыли их общество, журнал, вскоре население дома сменилось, квартиры заняли следователи, те, что отправляли «бывших» опять на новую квартиру, в лагеря. А затем была еще одна репрессия, и новые хозяева тоже отправились в лагеря.

Этот дом из морали коммунистического быта стал памятником советской истории. Пожалуй, единственным в своем роде, таким наглядным примером, во что превратились утопические мечтания русских революционеров. Не знаю, выжил ли кто из прежних жильцов, вернулся ли в свой дом-коммуну. Хорошо, что сохранился сам дом, хорошо, что его не перестроили, может, его следовало бы приобщить к экспонатам соседа — бывшего особняка Кшесинской, в 1917 году Штаба большевиков, ныне Музея политической истории.

Надпись мелом у «Медного Всадника»:

«Петр скачет на коне —

Это сделал Фальконе».

Почему человек в снах себя не видит? Возможно, потому, что и наяву он себя не видит, не имеет представления, какой он на людях, как ходит, как ест.

Первый мой книжный герой был Спартак, он произвел впечатление сильное, он воодушевлял, я украшал его всякими добродетелями, дорогими мне качествами, физическими, душевными. После Спартака был «Овод», потом — Робинзон Крузо, потом — «Мартин Иден».

ЭН ИЗ ЭНСКА

Писатели общались между собой в Союзе писателей, на собраниях, в секциях, удовольствие от этого бывает редко, чаще же в путешествиях, в поездках. Там каждый раскрывается полнее, неожиданно.

Николай Иванович впервые попал за границу. Да еще в Японию. Да еще в составе весьма почтенной делегации, которую возглавлял председатель Союза писателей СССР, сам Алексей Александрович Сурков. Делегация маленькая, четыре человека. Николай Иванович подсел к нам в Хабаровске.

В аэропорту Токио нас торжественно встречали, начальство обменивалось речами, приветствиями, потом отвезли в отель, познакомили с программой, и началось путешествие с переездами, приемами, цветами, ночными прогулками. Новый город, новый отель, далее привычный ритуал неизменно повторяющийся, те же улыбки, те же радушные фразы, заверения, те же подарки, та же трапеза.

В очередной раз, в очередном отеле глава делегации обратил внимание на желтый чемодан, обмотанный толстой веревкой. «Это чей?» — поинтересовался он. Оказалось, чемодан был Николая Ивановича. «А веревка к чему?» Николай Иванович пожался, покряхтел, затем признался, так, мол, и так, не доверяет он, известно, что тут полно жулья, человек человеку волк, может, и похуже, поэтому он для маскировки обмотал чемодан, пусть думают, что колхозник какой-нибудь, деревенщина прибыл, у него взять нечего, а то ведь в отелях этих нести чемодан самому не дают, хватают мальчишки и на тележке укатывают. Чемодан, лишенный сопровождения, он должен как-то за себя постоять, веревки ему вроде маскхалата. А так чемодан новенький, крепкий, не посрамляет... Несмотря на его доводы, глава приказал веревки снять, что Николай Иванович исполнил, но страх его при виде увозимого боем чемодана возрос, Николай Иванович рвался было последовать за ним, но останавливал себя, ибо был человеком долга и общественный интерес ставил выше личного. Вообще, по мере того как я знакомился с Николаем Ивановичем, он пробуждал во мне все больший интерес. Наивность его могла москвичам казаться глупостью, человек же, знающий нашу провинцию, постигал через него многое. Вечером Николай Иванович постучался ко мне в номер. Вид у него был удрученный.

— Вы заметили, дорогой мой, похоже на провокацию... Они каждый день меняют простыни и обе наволочки.

— Ну и что? — не понял я.

— Что же они думают, что мы, русские, такие грязные?

Ночью мы, пользуясь свободой, уходили с ним вдвоем гулять. В нашей маленькой делегации мы были рядовые члены, вечерние приемы и переговоры на высшем уровне нас не касались. Гуляя, мы направлялись в центр, на людные, сияющие рекламой улицы, с распахнутыми настежь кафе, ночными

заведениями, сворачивали в проулки, где всю ночь торговали магазинчики, заваленные джинсами, беретами, кроссовками.

Николай Иванович удивлялся, вздыхал, ненасытно смотрел и смотрел. Какая-то тоска одолевала его. Чем дальше — тем сильнее. Иногда ему казалось, что это все показуха, выставленная чуть ли не специально для нас. Он стремился все дальше, в слабо освещенные проулки, словно надеялся там застать что-то врасплох. Там были ночные клубы, казино, шныряли какие-то тени, что-то предлагали, обнимались парочками, работали рабочие, которые опорожняли блестящие черные мешки с мусором.

Что так мучило его? Под секретом он сделал нелепое признание: что же ему рассказывать, когда он вернется домой, в Н-ск? Тот японский капитализм, который он видел, никак не годился для рассказа. Не мог же он делиться тем восторгом рокадными дорогами, автострадами, многоэтажными виадуками, изобилием товаров, фруктов. Где, где, спрашивал он, тот капитализм, про который им рассказывали, который они изучали, гниющий от кризисов, где чудовищные контрасты, где нищета и безысходность жизни? Он не хотел врать. Рассказать правду боялся. А ведь его спросят, его заставят выступить в библиотеке, на партактиве. Что ему делать? Он был в смятении, простодушие мешало ему, то есть он мог, конечно, наговорить положенного, врать мы все умели, без вранья эти годы прожить никто не мог, каждый должен был произносить ритуальные фразы, выражать согласие, поддержку. Николай Иванович, однако, страдал от того, что он искренне всю жизнь верил в близкую гибель капитализма и теперь никак не мог обнаружить признаков гибели. Мы ходили по заводу Ниссан, и там капитализм процветал, не корчился, не стонал... Вот в чем трагедия. Спустя два дня после этого признания Николай Иванович принес мне шариковую ручку, черную, перевернул ее, и там какая-то темная жидкость внутри медленно сползла, открывая обнаженную догола красотку, груди, животик и далее все, что полагается. Такие ручки давно появились в Москве. Николай же Иванович такую ручку увидел здесь впервые, подивился изобретательному бесстыдству японцев, не удержался, приобрел ее, и затем блестящая идея осенила его: а что если купить таких ручек с десятков, благо недорого, даже по нашим средствам, и дарить их местным начальникам города

Н-ска. Сей карандаш покажет, как разлагается капитализм, развращая даже школьников, которые покупают такие ручки, а как же иначе, вроде мелочь, деталь, но как в капле воды... И начальству интересно, и не просто подарок, а идеологический акт, вещественное доказательство, до чего дошли сукины дети.

Идея его была одобрена, партия ручек закуплена, и, по моим сведениям, все сработало как нельзя лучше.

Личной драмы это, конечно, не решило. Капиталистическая Япония обманула все ожидания Николая Ивановича. Он надолго после этой поездки перестал писать.



Если поручить лучшим в мире экономистам придумать систему, при которой самую богатую в мире страну надо за семьдесят лет превратить из успевающей в самую нищую, да при условии, что народ ее, талантливый, многочисленный, будет все это время надрывно трудиться, сеять, пахать, учиться и нищать, — они бы думали, думали и не придумали, а наша славная КПСС сумела!

ОБСТРУКЦИЯ

На съезде выступил от комсомола воин-афганец, он же секретарь горкома комсомола одного украинского города, он же инвалид афганской войны. Говорил горячо, обвиняя всех и Горбачева за то, что не дал политической оценки афганской войны, и «старших товарищей» за то, что не оставили молодежи «хоть каких-нибудь приличных идеалов», больше всего от него досталось А. Д. Сахарову как противнику афганской войны.

Пафос его, театрально агрессивный, вызвал горячие аплодисменты. Еще бы, покушаются на святое-святых, героическую нашу Советскую армию! И кто, Сахаров, человек невнятных взглядов с репутацией не то диссидента, не то инакомыслящего, верит вражеским радиопередачам. Нравилось, что «афганец» не стесняется поносить академика, великого ученого — смельчак. «На каком основании Сахаров дал интервью канадской газете о том, что будто в Афганистане наши

летчики расстреливали попавших в окружение своих советских солдат, чтобы они не могли сдаться в плен?» Вместо того чтобы опровергнуть это утверждение, он возмущенно говорил про унижение чести, достоинства героев Советского Союза, которые до конца выполнили свой долг.

Заодно он сетовал на то, что воинам-афганцам не дают детских колясок без очереди, не дают мебели и квартир.

Слушая это, я думал о том, какая все же разница между ветеранами Великой Отечественной войны и «афганцами». 45 лет живут, доживают бывшие мои однополчане, и так и не дождались хороших протезов, доживают в коммуналках, в инвалидных домах, топали на деревяшках, безногие катались на самодельных тележках. Ругались, жаловались, но понимали, что не ради льгот мы воевали. И все же «афганцы» молодцы, нечего деликатничать — подавай то, что положено!



Рок — штука неразгаданная, вроде совести. Почему-то совесть не бывает ложной. Если она грызет, то будьте уверены — за дело.

Словно со стороны раздается: «Нехорошо, братец, так поступать, некрасиво!» То шепотом, то хмуро, то воплем: «Тьфу, как не стыдно, чего же ты делаешь!» Ночью будит, достает.

Может, и вправду совесть — свидетельство божественного происхождения человека. Досталась она нам от Адама, от первородного греха. Стыд неслучайно был первым чувством, которое отличило человека от остальных живых тварей.

Они, Адам и Ева, прикрылись фиговыми листьями, и стыд прошел. Стыд был запретом. В фильмах мужчины и женщины африканских племен носят набедренные повязки. Меня всегда это озадачивало: зачем? Это что, признак цивилизации? Или потребность человека? Или наличие того высшего начала, что дано было человеку при сотворении мира, когда Господь спросил Адама: «Кто тебе сказал, что ты наг?»

Ни у Курчатова, ни у Флерова участие в работах над атомным оружием не вызывало моральных сомнений. Не было у них того, что испытывали Нильс Бор, Сцилард, Эйнштейн, — душевного протеста.

Приходится считать, что нравственное мышление в сороковые—шестидесятые годы у нас еще не очнулось. «Проблемы вашей научной совести берет на себя ЦК», примерно так успокаивало наших физиков начальство.

С какого-то предела Сахаров не смог отмахнуться от этой проблемы. Харитон, Зельдович, тоже великие физики, люди высокой порядочности, безмолвствовали. У Сахарова же вырвался протест. Он категорически выступил против испытания «большой» бомбы. Обратился с письмом к Хрущеву, вызвав его гнев. Это был первый голос протеста ученого-атомщика. Диктат совести одних посещает, к другим не достучаться. Никто не знает, почему одни люди получают порядочные, а другие — непорядочные, почему в одних и тех же условиях один поступает порядочно, другой — подло. Есть благоприобретенная порядочность, но есть и врожденная совестливость. Война, блокада показали, какая сила заключена в природной бессознательности, порядочности.

Владимир Короленко писал: «...мне часто приходило в голову, что очень многое у нас было бы иначе, если бы было больше той бессознательной, нелогичной, но глубоко вкорененной нравственной культуры».

В перерыве я разыскал Сахарова, он стоял со своей женой, я понимал, что они расстроены, я не стал утешать их, чтобы поддержать их, я пригласил отдохнуть перед вечерним заседанием у меня в номере гостиницы «Россия», благо она рядом, через площадь.

Андрей Дмитриевич удивился — отдыхать, успокаиваться, можно подумать, он не заметил никакой обструкции, он вел себя как обычно, все так же чуть смущенно, мягко, даже отрешенно. Все, что происходит, — это в порядке вещей, он огласил свою правоту, ему удалось сказать то, что надо, депутаты поймут, в этом он был уверен, как бы то ни было, он исполнил свою миссию.

Выглядел он все же устало, я думал: почему он должен отдуваться один за всех нас, ему что, больше всех надо? Но тут же подумал и о том: выступи я — и слова были бы слабее, и реакция не та. Выступил великий ученый, человек, пострадавший за Афганистан, выступил не спорить с депутатом, а объявить преступным наше правительство. Им командовала его совесть. У совести нет разума, она скорее инстинкт, она не

требует осмысления, ■ этом ее сила. В своих воспоминаниях Сахаров назвал первое свое выступление интуитивным. Оно произошло еще во времена Хрущева, на академических выборах. Выдвигали в академики пособия Т. Лысенко, некоего Н. Нуждина. Известен он был прежде всего как гонитель генетики. Общее собрание должно было утвердить его кандидатуру. Чисто формальная процедура, ибо все было на отделении согласовано, а сверху — рекомендовано. И вот тут попросил слово Сахаров, совсем не биолог, успешный физик, занятый далекими от лысенковщины вещами. На этом собрании его вдруг поразила безнравственность того, в чем его заставляют участвовать. «Вдруг» — для окружающих, но еще больше для него самого, вот что примечательно.

«Почему я пошел на такой не свойственный мне шаг, как публичное выступление на собрании против кандидатуры человека, которого я даже не знал лично? — писал Сахаров в своих воспоминаниях. — Решение возникло интуитивно, может, в этом и проявился рок, судьба».

Нуждина провалили.

На следующее утро после шумного скандала вокруг выступления Сахарова в кулуарах съезда было заметно смущение. Про вчерашнее помалкивали, словно стыдились учиненного.

— Погорячились, — сказал мне один деятель из президиума съезда.

— Хоть бы извинились перед ним, — сказал я. — Для чего вы там восседаете.

Он вскипел:

— Получится, что мы перед афганским народом извиняемся. Думаешь, нашим это по душе: «Извините, напрасно миллион перебили...» Не дожили мы еще до этого.

Потом добавил:

— Тогда надо и перед чехами извиняться, и перед венграми... Никакой извинялки не хватит.

Видать, его зацепило, потому что позже он, разыскав меня, сказал, что если б Сахаров не придумал ядерное оружие, наши генсеки сидели бы тихо и не совались куда не надо, а то возомнили, что им все можно.

— Так что у твоего Сахарова рыльце тоже в пушку.

Извиняться у нас не любят, просить прощения тем более. «Мы ни при чем, то был СССР, другая страна, другое правительство, мы не отвечаем за то, что они творили в Катynie, в Чехословакии, в Венгрии, в Прибалтике, не хотим просить прощения и у своих народов, высланных из Северного Кавказа, из Калмыкии, у немцев Поволжья».

Они не отвечают, папа римский, тот от имени церкви считал возможным извиниться за все преступления против православных христиан, за неправоту в осуждении Галилея, за действия против протестантов, за трусость отдельных христиан в годы преследования евреев нацистами. Он вспоминает один за другим грехи католической церкви и просит за них прощения. Для него нет срока давности.

Правители России не хотят отвечать за грехи и преступления советских властей. Сидеть в Кремле им нравится, Россия для них начинается лишь с их прихода к власти. Так удобнее. С какой стати им брать на себя прошлые грехи.

Великие способности ученого-физика у Сахарова сочетались с не менее великим талантом доброты. Для меня доброта — это, несомненно, талант, это счастливый дар природы. На протяжении всех лет своих правозащитных дел Сахарову доставалось, может, как никому другому. Его оскорбляли, на него клеветали, его физически мучили, чего только не позволяли себе наши доблестные чекисты, начиная с мелких пакостей — прокалывали резину его машины, — и вплоть до насилия при его голодовке в Горьком. Читая его воспоминания, меня поражало, что нигде он не сводит счеты со своими гонителями. Однажды лишь упоминает о пощечине некоему А. А. Яковлеву за оскорбление своей жены Е. Боннэр. Нетерпимость у него удивительно соединена с толерантностью, умение прощать — с требовательностью. Д. С. Лихачев прав, когда утверждает, что доброта не бывает глупой, она вне оценок с точки зрения ума или не ума. Вспомнив слова Лихачева, я не могу не привести его рассказ о том, как после возвращения из горьковской ссылки Сахаров и Лихачев встретились перед началом международного форума «За безъядерный мир». Лихачев спросил Андрея Дмитриевича, как он встретится сейчас с академиками, теми, что подписали отвратительное письмо против него.

— Ужасно волнуюсь, — ответил Сахаров. — Наверное, они будут чувствовать себя очень неловко.

Случилось так, что меня позвали на этот форум. Войдя в фойе, я увидел Андрея Дмитриевича. Было шумно, многолюдно, Сахаров стоял у колонны, никто к нему не подходил, его окружало заколдованное пространство. Здравовались, обнимались, смеялись, Сахарова же обходили, отводили глаза, некоторые отворачивались. Я подошел к нему, сразу же на нас нацелились камеры. Было смешно и стыдно — меня считали чуть ли не смельчаком. Я подозвал Адамовича, познакомил их, теперь нас было трое, но никто больше к нам не присоединился. Сахаров разговаривал, делая вид, что ничего не происходит, чувствовалось, что неловко ему, а не им — академикам, чиновникам, начальственным сановникам. Они проходили мимо нас — внушительные, увешанные лауреатскими значками, геройскими звездами, — портреты, растиражированные учебниками, монографиями, газетными фотографиями. Казалось, слава их незыблема. Бедные, они не понимали, что, сохраняя свои звезды, они потеряли порядочность.

Как-то на пляже, в Дубултах, я прочел в «Известиях» письмо академиков против А. Д. Сахарова, за его осуждение войны в Афганистане. 72 члена Академии наук СССР подписали это постыдное письмо, осуждая Сахарова, не стесняясь в выражениях. Академия надолго опозорила себя. Впоследствии академики оправдывались так: «нам выкручивали руки», «о, если б вы знали, чем они угрожали». Действительно, «насиловали», прессовали, на себе испытал, но ведь далеко не все поддавались. Отказались подписывать, например, П. Капица, Д. Лихачев, Зельдович, Гинзбург, Канторович. Никого из них за это не заточили в тюрьму, не выслали, не уволили. Грустно, что среди подписантов были хорошие ученые — Прохоров, Дородницын, Тихонов, Скрябин. Называю этих четверых, потому как они специально выступили в зарубежной печати, назвав Сахарова клеветником.

В Краснодаре собрал в День Красной Армии командующий корпусом всех ветеранов-офицеров, устроил им прием. Спрашивает — как жизнь? Встает ветеран генерал-лейтенант, Герой Советского Союза: «Что это за жизнь, если я, генерал, с голой задницей хожу?» «Как это понять?» — спрашивает командующий. «А прикрыть жопу нечем. Трусов нет».

Комкор вызывает начальника военторга. «В течение трех суток обеспечить всех ветеранов трусами!»

Изловчился. Обеспечил. Вот это был настоящий праздник.

(Рассказал мне генерал-лейтенант Е. Майоров.)

Лопатников Виктор Алексеевич:

— Наша работа партаппарата требовала унификации мысли, языка. Лучшие свои годы я потратил на эту деятельность. Зачем?

Вот и сейчас сидит во мне партаппаратчик, сумею ли я его одолеть, не знаю. Принимаем фильм Сергея Михалкова «Вдовы». Там в финале две старушки провожают на вокзал приехавших на похороны неизвестного солдата гостей. Старушки опекали его могилу. Теперь там торжественно открыли памятник. Оркестр. Начальство. Проводы. Все разъехались, старухи остались. Их забыли. Им двадцать километров домой идти. Пускаются в путь, распевая песню. Конец.

— Кто у нас может оставить старых людей без машины? — спросил секретарь обкома при приеме картины. — Этого не может быть. Поклеп.

Заставили режиссера переделать. А меня помалкивать.

ЛИХАЧЕВ

У Лихачева есть замечательное определение ученого: «Не тот, кто знает, а тот, кто понимает».

Он был мастер дефиниции, это куда важнее, чем искусство афоризмов, краткое определение открывает суть, самое существенное в явлении, в предмете, помогает отделить внутреннее от внешнего.

Можем ли мы обойтись без врага? Нашему обществу всегда навязывали врага, это была важная часть советской идеологии. Враг внешний. Враг внутренний, враг скрытый, замаскированный, еще не разоблаченный. В научных работах, особенно гуманитарных науках, борьба была обязательной. Лихачев счастливо избежал этого. Была ли это его установка? Думается, да. Выглядит это сопротивлением политике ненадежного

мира, повально злокозненного — излюбленного понимания Сталиным окружающей жизни.

Тот, кто побывал в лагере, навсегда становится предметом внимания органов, его отпускают как бы условно.

Игорь Смирнов приводит знаменательный факт — через два часа после того, как на Лихачева напали в подъезде его дома, сломали ему два ребра, он выступает с докладом на конференции по «Слову о полку Игореве», которую организовал.

Один из руководителей Ленинградского КГБ, Калугин, писал в печати о том, что Д. С. Лихачева подслушивали. Три человека в городе удостаивались этой «чести», в том числе Дмитрий Сергеевич.



Ленинград — город наших страданий, они начинаются с первых лет революции.

Восьмого марта поручили мне составить программу концерта. Дело простое, зачем-то я решил проявить инициативу, оживить программу смехом. Пригласил Карцева и Ильченко исполнить миниатюру М. Жванецкого «Туристы на ликероводочном заводе». Все задыхались от смеха, только члены бюро обкома и горкома в первом ряду сидели с каменными лицами. Мы тоже перестали смеяться. Нам из ложи они были видны. Кто не мог удержаться, так те прятались в тени, чтобы первый их не увидел.

Потом мне сказали: «Зачем ты этих дал? Не следовало. Дешевый смех». (Рассказ Виктора Лопатникова.)

Поэт Сергей Орлов подарил Михаилу Светлову свою книгу стихов. Называлась она «Колесо».

Светлов повертел ее в руках и сказал со своей прелестной интонацией:

— Старик, еще три колеса, и машина.

Я вспомнил об этом, потому что меня убеждали, что у Светлова его «мо» заранее заготовлены.

Еще помню, зашел разговор о детском писателе А. Алексине, Светлов повел губами, сказал:

— Когда Гоголь пишет: «в избу вошел черт», — я верю. Когда Алексин пишет: «в класс вошла учительница», — я не верю.

Комбат говорил нам: «Надо иметь смелость быть трусом», — это когда он заставлял нас ползать по окопам, их заваляло снегом и не стало укрытия.

Света можно прибавить, тьмы не прибавишь.

Сколько может любить одно сердце. Сердце не однолюб. Оно может влюбляться вновь и вновь, ему кажется — наконец-то, вот оно настоящее. Если б оно знало, что оно хочет.

Ты меня не знаешь, потому что любишь.

Ботаник так увлекся, что говорил: «Мы — растения».

Мы его терпеть не могли за то, что он всегда оказывался прав. Советам его, тем не менее, приходилось следовать. Из-за этого нам не нравилась его безукоризненная вежливость, и то, что от него пахло мятой. Однажды я подсмотрел у него бесовскую ухмылку, и это меня примирило с ним.

Его заставили каяться, хотели снять с него маску, а сняли скальп.

В 1990 году я получил от читателя стихи, подписи не было. Не знаю, его ли это, или он где-то списал:

Нам часто говорили:

— Даешь!

И мы давали.

— Тяни!

И мы тянули.

— Нажми!

Мы нажимали.

— Терпи!

И мы терпели.

Сквозь зубы мы стонали,
Теперь не все нам верят,
Что, в горе захлебнувшись,
Мы счастливы бывали.
Ведь что-то мы смогли,
Нам много обещали,
Нам больше говорили,
Так мало нам давали.
К чему же мы пришли?

ПОМИНКИ

Сохранился у меня среди блокадных записей рассказ Маруси. Ни фамилии, ни адреса, просто Маруся.

«У подруги ее, Каряниной, умер муж. Карянина сама не могла похоронить, сил не было. Маруся и Ляля взялись довести его до братской могилы. Мужчина был большой, тяжелый, везли его вдвоем на двух связанных детских санках, они все время разъезжались. Мы очень устали, довели его до кладбищенского морга и там сдали. Карякина очень просила, чтобы подруги сами поглядели, дождались, как его предадут земле. „А я ■ это время поминальный обед сделаю“. Она была вся захвачена именно этим — сделать поминальный обед, поминки... Обед был из трех блюд. На первое суп из ремней. У них было куплено метров двадцать привозных ремней, и они эти ремни ели. Ремни-то ведь были из свиной кожи, жирные. С варева можно было снимать жир — он горчил, и все кушанья из ремней горчили, но есть было можно. Итак, на первое был суп из ремней, на второе — лепешки из пропущенных через мясорубку ремней, на жиру, вытопленном из них же. Лепешки тоже горчили. А на третье было желе из сахарной земли. Это была действительно земля. Земля из-под бадаевских складов, сожженных немцами в первые дни бомбежек Ленинграда. Они горели, картина была совершенно библейская: дым багровый, круглый, поднимался до самого зенита.

Расплавленный сахар просочился глубоко в землю, метра на четыре. Ленинградцы эту землю копали и ели. Ее даже на рынке продавали, и говорили: „Хорошая земля, первый метр“. Шла она по 50 рублей за стакан. Эту землю как-то вываривали,

процеживали, получалась сладковатая жижица, но с привкусом горечи.

Вот такой был поминальный обед. Ели его с удовольствием, она вспоминала мужа, любила его».

Из всей блокады ей (автору письма) больше всего запомнились эти поминки, там есть еще комментарии, почти веселые, с удивлением к той своей блокадной жизни.

Когда наступили годы первого после революции террора, единственный, кто в полный голос обратился к правительству с протестом, был Владимир Галактионович Короленко. Затем, если не ошибаюсь, Иван Петрович Павлов.

Страшно, пока кол над головой, ударили — и страх прошел.

Если боишься — не говори, сказал — не бойся.

— Личные интересы нельзя ставить выше общественных. Интересы общества выше. Интересы общества, то есть народа, знает ЦК, а интересы государственные тем более, они выше всего, и знает их только ЦК, то есть самая высшая власть.

— А откуда им известны интересы народа? И почему государственные интересы выше их? И почему все это выше моих личных? Например, у меня есть интерес жениться на Варе. Для меня выше ничего нет.

— Это тебе кажется. А если мобилизация?

— То закон, я его должен выполнять. Все остальное перед Варей отодвигаю.

Эпитафия: «Может быть, теперь я пойму, зачем все это было».

Любой атеист знает, что у него есть душа. Не понимает, отрицает, но знает, и наверняка, и при этом будет опровергать свое знание.

Голова круглая потому, что шар обладает наибольшей вместимостью. Так хочется думать.

Самое интересное в жизни — я сам.

Один мидовец рассказал, как Подгорный (он тогда был председатель Президиума Верховного Совета, как бы наш Президент), встречался в США с Бушем. Подгорный спросил его:

— Господин Буш, у вас растет капуста?

Тот заметался, не понимая, что значит этот вопрос.

— У меня было одно имущество — красота, — повторяла Лиля Б.

Наш ротный уверял нас (в 1942 г.):

— Когда я сплю на левом боку, мне снятся девки, когда на правом — пироги.

Удобно устроился.

ЛИВЕНЬ

Лес, темный, как грузная туча, лежит у озера. Плынешь на лодке, позади от весел воронки и гладкий след на шершавой воде. Виден долго. День серый, теплый. Где-то гремит сухая гроза, длинные, нестрашные молнии падают в леса. Лиловый блеск гаснет в воде.

Последние месяцы я занимаюсь в лаборатории молний — разряды в газах, атмосферное электричество и всякое такое. Но вот смотрю на грозу и, слава богу, обо всем этом забыл, а вижу ее, как раньше, ее красоту, таинственность; наука ничего не прибавила, не отняла все это.

Вдруг нас нагнал дождь. Он рухнул на озеро всей массой, невесть откуда взявшийся. Лупит озеро, бьет с такой силой, что вверх поднимаются водяные пальчики, шишечки. И так же внезапно умчался.

Мы мокрые насквозь, в лодке вода, а небо очистилось, невинно-голубое.

Сосенки по берегам разом поседели. В длинных иглах завязли капли.

Лес отряхивается. Листва шевелится от падающих капель. Мы тоже выжимаем из маек, штанов дождь.

Мы идем по берегу, слышно, как повсюду стучат капли. Дождь продолжается, это лесной дождь. Лес тоже выжимает... На траве капли сворачиваются в шарики.

Мой приятель занимается каплями. Как она формируется, как набухает, как отрывается. Это целая наука, и важная.

После дождя в помутневшей воде играет рыба. Выскакивает, то там, то тут взблескивает уклейка.

Допрашивали пленного ефрейтора в землянке комбата. Это вообще-то не рекомендовалось, просили сразу отправлять ■ штаб. Но комбат хотел узнать про огневые точки, что донимали нас, где, какие... На допросе я не был, но Володя Лаврентьев нам рассказал, что из ответов немца стало ясно — перед нами часть, которая запросто может нас раздавить. Был конец января 1942 года, народу в батальоне осталось всего ничего, подкрепление не присылали, три человека перешло к немцам, мучил не только голод, еще и цинга, зубы выпадали.

Комбат не понимал, почему немцы не наступают. Получалось из ответов ефрейтора — то ли не хотят, то ли боятся. Немец без приказа не войдет, тогда мы можем так, для виду, оставить тут половину, а другую отправить в город помыться, отогреться, отдохнуть. И вообще, раз так, нечего нам вылазки устраивать. Послушали мы его и посоветовали помалкивать. Но запомнилось. Рассуждали потихоньку, не прилюдно: чего ради немцы стоят перед нами, чего они блокировали город, если входить не хотят? Чего ж они добиваются? А у нашего командования какая такая стратегия?

РОМОВЫЕ БАБЫ

Сюда, наверное, следует добавить рассказ о том, как нам во время работы над «Блокадной книгой» принесли фотографии 1942 года. На них был кондитерский цех какой-то ленинградской фабрики. Работницы и рабочие в белых халатах. Лица у них тронутые блокадой, не так голодом, как именно блокадной жизнью, куда входили морозы, бомбежки, пожары, обстрелы, смерть близких... Круги под глазами, потухшие глаза, усталые лица.

На двух снимках ромовые бабы, их макают ■ чан, укладывают в ящики, подсчитывают. На последнем снимке — большой противень, уставленный этой продукцией. На нем примерно две сотни свежих ромовых баб.

Шел 1978 год, советская власть была еще в силе и думать не думала о своем конце. Гость пояснил наспех, что снимки подлинные, изделия пекли для Смольного, о происхождении снимков ничего не сказал, ничего о фотографе, ничего о себе. Отдал и ушел.

Нам не раз рассказывали о том, как сытно, даже роскошно питалось начальство, но никаких доказательств у нас не было, возможно, голодное воображение приукрашивало, раздувало эти слухи.

Фотографии, чем дольше мы их рассматривали, тем убедительнее они выглядели. Если бы то были колбасные изделия, сосиски, но тут ромовые бабы, в разгар блокадных смертей (начало 1942 года), именно эта невероятность почему-то подтверждала факт. «Верю, потому что абсурдно», — как говорил древнеримский христианский философ Тертуллиан.

Опубликовать в то время эти снимки и думать было нельзя. Но спустя почти двадцать лет они появились в немецкой публицистике. И мне преподнесли не две, а еще третью, где шел какой-то этап производства этих баб.

Никогда я не уважал наше советское начальство, но все же не хочется смириться с тем, что блокадным городом командовала бессовестная каста, лишенная стыда и сострадания. Я столько насмотрелся, столько узнал о муках голода, что готов простить несчастным людям даже людоедство, но ромовые бабы простить не могу. Эти фотографии нанесли удар моей вере в человека, напрасно я придумывал какие-то оправдания — может, их готовили к празднику, может, то был единичный случай. Нет, не помогало. В городе люди падали на улицах, не в силах дойти до дому. В булочных дети вырывали у взрослых полученные жалкие пайки. Можно ли было готовить не то чтобы булочки, пирожки, нет — пропитанные ромом, облитые глазурью ромовые бабы? Ничего более подлого я не мог представить. Это было как предательство.

...Уже некому возмущаться, негодовать, проклинять, не с кем поделиться своим гневом.

Кроме общеизвестной, самой древней профессии, на это звание претендуют еще сикофанты. С древнегреческого — доносчик. Доносительство стало профессией уже в V веке до нашей эры.

Тундра в октябре была яично-желтая. Лиственница плоская, как итальянская пиния. Кочки. Брусника здесь с маленькими листочками. Много голубики, черники, и все это по разноцветным мхам. Красиво. Вода торфяная. Пусто. Тихо. Плыдем. И такой покой от безлюдия, настоенного годами, от непуганности.

Северная природа вовсе не бедная, она скромная, если присмотреться — в ней красота не напоказ, а интимная, с отличным вкусом.

Плыдем и слушаем, как Кирилл Ф. хвалится своей деревней, ее песнями, рушниками, наличниками и при этом едко поддевает городских. Очкарик гидростроитель Альберт И. почему-то виновато ему уступает, не спорит, ведет себя как-то непривычно робко. Вечером я спрашиваю его: чего он вдруг так покладист? Оказывается, он участвует в проекте, где будет затоплена эта местность: и деревушка Кирилла, и весь край этой долины.

На юбилее Юрия Ивановича Полянского, которому больно досталось в годы лысенковщины, выступил Владимир Яковлевич Александров. Начал он так:

— Ныне историкам говорят: «Не будем ворошить прошлое, сколько можно». Представляете себе, что будет с историей, если они исполнят эту просьбу?..

В начале всего была тишина. Почему-то кажется, что она черного цвета.

После тишины наступило молчание. Оно отличается от тишины тем, что обрело смысл. То было раздумье или ожидание. Космос состоит из тишины. Внутри зерна тоже тишина, тишина созревания. Или ожидания.

— Не в свои сани не садись.

— А где мои санки? Где они? Никогда не видел их.

Лев Толстой писал Леониду Андрееву: «Значение всякого словесного произведения в том, что оно открывает людям нечто новое, и большей частью противоположное тому, что считается несомненным».

Меня давно занимала достоверность в романах Достоевского. Достоверность адресов, обстановки. Точность доходила до странного. Он поселял своих героев в реальные дома, существующие квартиры. Придерживался топографии города и насчет трактиров, дворов, полицейских участков. Я пытался так объяснить, для чего Достоевскому нужна была подобная реальность: «Он начинал жить, воплощаясь в своих героев. Со всей предметностью. Подобно режиссеру, он ставил спектакль...» Встречается подобное и у других писателей, но Достоевский буквален топографически. Андрей Федорович Достоевский водил меня по адресам героев «Преступления и наказания», показывая точность текста романа и обстановки. Я даже написал об этом очерк. И вдруг спустя десятилетия приходит письмо от читателя: вы, мол, утверждали в своей книге, что дом на углу ул. Пржевальского и Гражданской тот самый, что описан у Достоевского, как дом, где жил Раскольников. Однако это не так. В романе сказано, что дом пятиэтажный, на самом деле он четырехэтажный.

Я удивился, поехал на Гражданскую. Действительно, четыре этажа. Мы с Андреем Федоровичем не обращали внимания на эту деталь. Все остальное сходилось, а это... Андрея Федоровича уже не было в живых, справиться не у кого, да что справляться — вот он, дом, в натуре. Четыре этажа.

Зашел во двор. И со двора четыре. Никаких мансард. Вся моя теория треснула. Конечно, Достоевский мог не доглядеть, ничего особенного, четыре этажа, пять — что это меняет в образе Раскольникова, это же роман, сочинение, а не историческое исследование. Могло вообще не быть никакого адреса, нет же адресов ни у Чехова, ни у Льва Толстого.

Но не хотел смириться с поражением. Продолжал бродить возле дома № 19, опять зашел в подворотню и вдруг увидел табличку — этажи и квартиры — 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й — этаж! 5-й этаж, квартира 34! Поднялся по лестнице. Увидел, что на пятом этаже мансарда, полукруглое окно, снаружи оно выглядит обычным чердачным. Вот оно что. Фактически этот дом пятиэтажный. Значит, Достоевский знал этот дом изнутри, знал не по наружному виду. Поселил Раскольникова именно на верхотуре, на пятом этаже.

Это письмо читателя еще раз показало мне, какая потребность была у Достоевского вжиться в бытование своего героя.

«Сообщаю, что мост у нас противоречит подвозке молока. Уже полгода как мы проявляем беспокойство».

— При научных спорах прошу возражать деликатно, например: «Наконец мы услышали доклад, где сформулированы положения, опубликованные за последние годы в разных учебниках». Это действует сильнее.

В США, в конгрессе нам рассказали, что за 200 лет сменилось в стране 40 президентов, 16 верховных судей — всего, и 160 членов Верховного суда.

В Ватикане есть мозаичные портреты 242 пап.

Вообразите площадь, где выстроились бывшие кумиры — Гинденбург, Гитлер, Ленин, Наполеон, Сталин...

Мир был полон — родных, двоюродных, дяди, племянники, тетки, школьные друзья, и вот опустело, позвонить некому, на улице давно не встречаю знакомых.

Птица — та живет в трех измерениях, человек — он ходит по земле, движется по плоскости.

Пожить своей собственной жизнью не успел, разве что в последние годы, когда лишился всех установок, программ, генеральной линии, остался на собственном усмотрении, нет ни обозначенной цели, ни идеи.

Физик Петр Лукирский с 1934 года начал работать с медленными нейтронами. Двигался он параллельно итальянцу Ферми, но в конце 1937 года его арестовали. Работы прервались. В 1938 году Ферми дают Нобелевскую премию, Лукирскому — концлагерь. Сослали на Север, на гидростроительство. Потом перевели на Колыму. Там уже, умирающего, его устроили аптекарем. Затем банщиком. Выжил. Вернули в 1943-м, выбрали в Академию наук.

— Понимаешь, до чего дошел человек? Получил взятку тысячу рублей, а хвастается, что получил десять тысяч; угнал

«Жигули», а хвалится, что угнал «Мерседес». Престижно. Сейчас мы, мелкие воры, стесняемся своей честности.

КАПРИЗ

Мне рассказала это Майя Кавтарадзе, дочь Сергея Кавтарадзе, довольно известного и в России, и в Грузии революционера. В 1915 году он окончил юридический факультет Петербургского университета, что выгодно отличало его от других деятелей партии. Выгодно, а может, и невыгодно для него. Был наркомом юстиции Грузии, потом участвовал в троцкистской оппозиции и далее, конечно, был арестован.

Отсюда начинается рассказ Майи. Мы сидели на даче у Товстоноговых в Комарово и слушали эту странную историю из сказок 1001 ночи.

— Мой отец Сергей Кавтарадзе в 1940 году в очередной раз вышел из тюрьмы. Его сажали часто, то царское правительство, то при меньшевиках в Грузии, то советская власть, это уже Сталин за участие в троцкистской оппозиции. Работы не было, его приятель, переводчик, занимался «Витязем в тигровой шкуре», устроил его редактором этого перевода. Однажды вечером за отцом приезжают двое, молчаливые такие, ничего не объясняют, увозят. Но мать сказала, что это не арест. Она заметила какие-то признаки, у нее был опыт. Однако проходит час за часом — нет его. Мать ждет, не ложится. Наконец в шесть утра появляется хорошо подвыпивший.

Жили мы в коммунальной квартире. Две комнаты у нас и соседи. Одна из соседок открыла дверь — увидела отца, а за ним Сталина. Подумала, портрет. Надо же, с утра пораньше такую большую картину приволок. Но когда портрет сам по себе вошел, она тихо осела и потеряла сознание. Внизу, во дворе, где были магазины, грузчики выгружали хлеб и молоко. Увидев Сталина, а за ним Берию, они застыли.

Вошел отец, говорит матери: оденься, выйди, к нам Сталин приехал. Мать ему — ты пьян. Нет, говорит, выйди. Мать слышит, в той комнате ходят, разговаривают. Она оделась, вышла.

Мать Майи София была замечательная личность, это потом мне Нателла Товстоногова рассказала. Она была любимой фрейлиной при дворе Марии Федоровны, смолянка. Знала языки. Была и аристократичней, и образованней мужа.

— Мама возвращается и говорит мне: «Встань, пойди по-здоровайся». Я не хотела. Мать сказала: «Все же историческая личность, выйди». Я оделась, вышла. Слыхала, как Сталин сказал матери: «Замучали мы вас». Мать моя тоже сидела, вернулась вся седая. Я писала в те годы каждую неделю письма Сталину и подписывалась «пионерка Майя Кавтарадзе». Кое-что, наверное, дошло, потому что Сталин сказал: «А, пионерка Майя Кавтарадзе!»

Внесли угощение в термосах, накрыли стол. Все четверо — отец, мать, Берия, Сталин — сидели, пили, вспоминали молодые годы.

Да, наутро соседка проспалась, не поверила нам и все допытывалась, почему мы носили портрет Сталина «туда-сюда».

Позже отец рассказывал, что он узнал, как все было. Сталин спросил Берию про Кавтарадзе, как поживает. Освобожден-то он был потому, что Сталин однажды вспомнил о нем, сказал, чтоб вернули из лагеря. Узнав, что Кавтарадзе с переводчиком работают над поэмой Руставели, захотел поговорить с ним. Их доставили. Сталин слушал какие-то куски из перевода, делал замечания, некоторые разумные, потом пошло застолье, общая юность, Тбилиси, Батуми, Кутаиси — было что вспомнить.

Вдруг Сталин уже под утро спросил: «Почему, дорогой Сергей, меня в гости не зовешь?» Кавтарадзе стал ссылаться, что живет в коммуналке, Сталин пожал плечами, при чем тут коммуналка, вполне возможно, что он плохо представлял, что значит коммуналка, вполне вероятно, что он даже никогда не бывал в подобных поселениях, коими были переполнены в те годы Москва и Ленинград.

Сталин между тем вспомнил про его жену, которую он тоже посадил, и предложил продолжить застолье у своего, оказывается, «друга Кавтарадзе».

Вполне возможно, ему показалось забавным появиться перед женой, дочерью внезапно, под утро.

Что касается отсутствия угощения, то, как вы понимаете, проблемы в этом для товарища Сталина не было. Он предвкушал эффект своего внезапного визита. Он любил выворачивать, казалось бы, очевидное наизнанку, озадачить так, чтобы оторопь взяла. Во время Великой Отечественной войны велел

доставить ему из лагеря Рокоссовского. Оглядев его арестантскую телогрейку, сказал укоризненно: «Нашли время сидеть, товарищ Рокоссовский». Другие утверждают, что эти слова были обращены к Королеву.

Возможно, правы и те, и другие, фольклор приписывал вождю немало удачных реплик.

Выслушивали благоговейно, вопросов не задавали: за что я сидел, зачем меня посадили? ...Кавтарадзе не спрашивал, и Софа не спрашивала, понимали — не положено, с Всевышнего не спрашивают, «Господня воля — наша доля». Хотя жег один мучительный вопрос: что с братом, его тоже арестовали, жив ли он?

Нателла рассказывала мне, как они в Тбилиси стояли ■ огромных очередях, несли в тюрьму передачи — теплые вещи для арестованных, пошел слух, что их высылают в Сибирь. Несли свитера, куртки, валенки. Передачи принимали, никто из родных не знал, что все вещи адресованы мертвецам, они уже давно расстреляны, брат Кавтарадзе ■ том числе, а тысячные очереди несли и несли передачи.

В тот вечер Сталин расчувствовался и сказал Софии: «Замучали мы вас».

Как и положено, чудесное посещение должно было закончиться счастливо. Через несколько дней Кавтарадзе получил назначение заместителем министра иностранных дел.

Оказывается, и такие трогательные истории бывали. Понять, как вмещалось то и другое, невозможно. Конечно, в человеке сосуществуют и дьявол и ангел, и inferнальный и совестливый. Гений и злодейство несовместимы, зато посредственность вмещает все.

Нет таких глупых людей, которых нельзя было бы за что-нибудь похвалить.

По утверждению некоторых ученых, человек использует только 10 % своих умственных и физических возможностей. Наполеон считал, что духовная сила относится к физической как 3 : 1.

Они сидели в автобусе напротив меня. Одна рассказывала, вторая слушала. Это вторая была еще ничего, особенно чистый белый лоб и красивые глаза с молодым блеском. Подбородок,

вот он по-старушечьи поджат, обвислые щеки, морщины у накрашенных губ делали ее увядшей. Она настойчиво снова и снова выпытывала у подруги, с кем та видела ее мужа. Та рассказывала охотно, расписывала шелковый шарф на девице, сочувственно и в то же время восхищенно.

Когда рассказчица сошла на остановке, женщина стиснула щеки, съежилась, и стало ясно, что ее угрозы, решимость ни к чему, она стара, любви не вернуть. Зачем она расспрашивала, для чего выясняла?

ПОЭТЫ

В юности многие пишут стихи. Потребность выразить свои чувства именно стихами настигает внезапно, большей частью из-за влюбленности, такая происходит сублимация. Человек до этого не читал стихов больше, чем положено в школе, и те кое-как, и вдруг неодолимая сила заставляет его складывать слова в рифму, в определенном размере. Словесная музыка овладевает им, звучит в нем, ищет выход, он переходит в непривычное состояние, даже неудобное, начинает заниматься чем-то совершенно неподобающим. Так действует любовь. Это она рождает поэзию и поэтов.

Любовь человек не в состоянии передать обычными словами, самая красивая проза тут не справляется. В других странах, в другие времена пели романсы трубадуры, у нас слагают стихотворные послания в письменном виде, передают скомканные листки. Хочется передать свое чувство тому, кого любишь, потребность это мучительная, стихи ближе к музыке, в них ритм, мотив, они сходны с глухариним токованием. Оно поднимается из сокровенных глубин, брачные танцы журавлей, соловьиные песни, человек ничем не отличается, он тоже, слава богу, причастен этому древнему призыву. Самец рыбы колюшки исполняет в пору любви брачный танец перед самкой, описывает круги, плывет, широко разинув рот, все это в ритме. Любовные песни цикад, кузнечиков, около десяти тысяч видов насекомых известно с их песнями «обольщения». А песни лягушек, жаб? Мы не знаем их языка, возможно, это великолепные серенады.

Поэзия — потребность природы, поэзия рождается из любви, высшее проявление духовных сил всего живого, по край-

ней мере, так кажется, когда думаешь об этом таинственном явлении отдельно от всего окружающего, где человек остается еще частицей природы, сохраняет ■ этом родство с ней.

Те первобытные силы, которые заставляют трубить оленей, у человека, обретшего речь, выражаются через стихи, если это так, это ничуть не принижает поэзию. Но при чем тут неумелые, большей частью бездарные вирши школяров, студентов и прочих влюбленных. Да, это не поэзия, они не для других, они не существуют ни для кого, они смешны, они примитивны, они существуют лишь для автора и адресата, если автор решится передать их. Они не поэзия, но они написаны поэтом, то лихорадочно-возвышенное состояние, которое заставляет писать стихи, есть состояние поэтическое, человек в этом состоянии истинный поэт... Величина дарования тут ни при чем, какие получились стихи, не важно, важно чувство, бескорыстное, идущее из глубины души, пропеть свою песню, для самого себя, так и должны писаться стихи.

Пропел, написал — и свершилось.

ЧУЖИЕ ДЕТИ

После выхода «Блокадной книги» мы стали получать много писем, десятки, а потом сотни и сотни. Отвечать на них мы уже не могли, ни сил, ни времени не хватало. Читатели хотели поделиться своими воспоминаниями, дополнить книгу, но возвращаться к ней мы не собирались. Всю почту я сдавал в архив.

Какие-то письма задержались у меня. Из них одно 1993 года. Теперь я понимаю, почему я его сохранил. На самом деле это письмо не о блокаде, это удивительно написанный рассказ, даже повествование, об одном еще более удивительном человеке. Она жила во время блокады, и авторы письма, две девочки, а теперь уже далеко не девочки, сочли своим долгом непременно поведать эту историю, дабы сохранить память об этом человеке.

Своим рассказом они соорудили памятник ему, и мое дело — напечатать, не дать затеряться этой истории.

Обычно я привожу из читательских писем какие-то отрывки, сцены, но здесь мне не хочется ничего сокращать, честно говоря, я боюсь повредить, замутить этот источник. Они обе

писали его долго, с чувством любви и горечи, оттого что не могут передать полностью ту свою блокадную любовь.

У Густава Флобера есть повесть «Простая душа». В сущности, это тоже о простой душе, но в условиях тех пылающих, страшных девятист дней блокадной жизни.

Начато 14 марта 1993 г.

Глубокоуважаемый Даниил Александрович!

Простите ради бога, если я займу Ваше время.

Я уже несколько лет собиралась Вам написать, да никак не могла реиниться. Когда вышла Ваша и Александра Михайловича Адамовича «Блокадная книга», я даже хотела Вас увидеть или позвонить Вам. Тогда же, будучи в Ленинграде, узнала Ваш адрес, но Вы были больны, и я не осмелилась навязываться. А тут годы идут, мне уже 70 лет, а написать нужно о женщине, которой я обязана жизнью. 26 марта этого года (1993 г.) было 50 лет со дня ее смерти, а я живу только потому, что умерла она. Живу ■ долг. И понимаю это всю жизнь. Моя сестра все эти годы просит меня: «Напиши о Поле, ведь ты больше знаешь!» И больше откладывать нельзя — можно не успеть. Теперь каждый день — как сто лет, и все эти события, что мы переживаем, благотворно на здоровье никак не влияют — наоборот.

У Вас, наверное, кроме того, что вошло в «Блокадную книгу», еще много записей о человеческих судьбах блокадников. Мы с сестрой очень хотим, чтобы и о ней хоть что-то сохранилось не только в нашей памяти.

Если Вам не трудно, прочтите, пожалуйста, то, что я Вам напишу, а дальше уж Ваша воля — оставить ли это в Вашем архиве.

Конечно, надо представиться. Я — Галина Иосифовна Мах, 1923 года рождения, выросла и в 1941 году окончила школу в Ленинграде, всю блокаду пережила, работала санитаркой, потом медсестрой в госпиталях. После войны окончила Пединститут им. Герцена (филфак). Уже много лет живу на Украине, но все мое — в Ленинграде. И там же живет моя сестра. Я уже давно на пенсии. Это — если коротко — все.

По моей и моей сестры судьбе прошли все жернова нашей чудовищной эпохи. Ничего, кажется, не миновало. Теперь это

все очень трудно осмыслить, вернее, трудно признаться себе, что, ■ сущности, жизнь прожита зря. А может, нет? И так тяжело!

Кажется, что рухнули все остатки надежд; и не только для нас, но и для наших детей и внуков. Простите за это отступление.

Теперь я буду писать о том, ради чего и решилась написать Вам.

Мои родители были если не фанатичными, то, во всяком случае, убежденными большевиками. А люди — очень хорошие. Уж как так сложилось — кто его знает! Одна история рассудит. Об этом пишет и Булат Окуджава в своей последней статье в «Известиях» о своих родителях.

Из нищей одесской еврейской семьи — мама, пережившая четыре погрома, а потом, можно сказать, сама себя из грязи и нищеты вытащившая.

Из чешской (с Волыни) крестьянской семьи, где было 10 детей и хлеба едва хватало до рождества, — отец.

Ясно, что они революцию с ее лозунгами приняли. Отец в Гражданской войне участвовал. А потом они стали «партийными работниками». И я их в этом не виню, не имею права. Это их беда и беда миллионов людей.

После всех переездов с места на место (почему-то таких людей все время тасовали, как карты в колоде) отца после 16-го партсъезда, на котором он был делегатом, с Дальнего Востока перевели в 1931 году в Москву — директором Дорогомиловского завода. А образования было 3 класса сельской школы.

Но он был такой — самородок, невероятно талантливый, начитанный, толковый. В истории — в любой эпохе как дома! Просто удивительно, когда успел! Но к технике это отношения, понятно, не имело, а иногда такая должность называлась «красный директор».

А мама была инструктором горкома. Я понимаю, что она могла быть прекрасной учительницей, библиотекарем, журналисткой, да мало ли кем! А вот поди ж ты!

Я все понимаю, и я их люблю, и память о них люблю, и бесконечно их жалею! Лично они (я это знаю точно) никому зла не сделали, никого не предали, а вот на эту сволочную систему работали!

И вот ■ Москве появилась у нас ■ семье домработница — Пелагея Константиновна Щербакова, наша Поля. Она сразу стала членом семьи, всеобщей любимицей. Она была родом из деревни Орешково Воротынского уезда Калужской губернии (так она говорила). Родилась в крестьянской семье ■ 1904 году. Образование — почти как у нашего отца: 2 или 3 класса сельской школы. Отец потом говорил, что если б Полю учить — из нее великий бы человек получился (по ее способностям).

Тогда (в 1931 г.) как раз шла коллективизация, и родители отправили ее в город, в Москву, желая спасти, благо как раз случай представился: друг отца поехал в гости в свою деревню Орешково и, по просьбе моих родителей, привез ее к нам.

Стали мы вместе жить. Поля вела хозяйство. Я тогда училась в первом классе, а сестра еще ходила в детский сад.

В 1932 году отца перевели в Ленинград. Он стал директором завода абразивного станкостроения, а мама опять же инструктором (ну и должность же!) горкома, в Смольном работала. Жили мы у Мальцевского рынка — на улице Красной Связи, д. 17/5, кв. 82, ходили с сестрой в школу, что на углу 9-й Советской и Суворовского проспекта (школа 156-ая Смольнинского района). Школа была, надо сказать, — чудесная! Учителя! Ну, действительно, ни одного плохого не было! Это мне повезло. А класс! Какие хорошие, толковые ребята! И сколько мальчиков потом погибло!

Даниил Александрович! Вы меня простите за подробности и отступления. Такая потребность выговориться. Я переписываю это в мае, а начала писать в марте. И на фоне этих страшных теперешних событий, этой каши, бессмыслицы и, для меня, отсутствия света в конце туннеля — единственный способ сохранить живую душу.

Я понимаю, что Вам и без меня хватает трудностей, но... Простите!

Я ни на что не претендую, ни на какое напечатание, ни на что! Только бы это где-нибудь сохранилось. Может, когда и понадобится кому-нибудь.

Мама работала в Смольном, хорошо знала Кирова еще по работе в Баку, дружила потом с его женой и была невольной свидетельницей его смерти: вылетела вместе с другими инструкторами в коридор, услышав выстрел, и видела, как он

умер. А за пять минут до этого эти женщины-инструкторы говорили с ним на лестнице, по которой он поднимался, идя ■ свой кабинет.

Естественно, что летом 1938 года их арестовали. Мурыжили долго. Отец сидел в «Крестах», ■ одной камере с Рокоссовским (в камере 213). Рокоссовский был у них «старостой».

Из отца выбивали, что он друг врагов народа (Блюхера, например), что он — английский шпион и проч. Об этом я знаю из его письма Сталину, которое он умудрился передать на волю, а я возила в Москву. Ничего не выбили. Осталось только, что он «социально опасный элемент», т. к. чех по национальности.

Мама сидела на Шпалерке в одиночке, и ей тоже приписали «соц. оп. элемент»: «антисоветское поведение в связи с арестом мужа». Если б что-то выбили, то они получили бы «10 лет без права переписки», т. е. расстрел. А так — 5 лет лагерей. Мама отбывала в Дóлинке в Карлаге, а отец — в Вятлаге (Соцгородок Кайского района).

А мы остались с Полей. Две комнаты опечатали, потом их заселили, а нам оставили две маленькие. В детприемник не взяли. Мне было 15 лет, Зоре — 12. Поля оформила над нами опеку, т. е. фактически удочерила!

Когда я читала «Жизнь и судьбу» В. Гроссмана, то прочитала у него, что многие родственники и друзья арестованных людей переставали звонить оставшимся родным, отворачивались на улице при встрече — боялись. А простые женщины — соседки, домработницы, няньки — не боялись ничего. Носили в тюрьму передачи, опекали детей, писали в лагерь письма, слали посылки.

Вот наша Поля была такая. Она на нас работала, она нас обшивала, она стояла в очередях, чтобы купить нам что-то из одежды. Я помню, как она несколько ночей подряд стояла в очереди, чтобы купить мне туфли. Она ездила с нами на Острова гулять, чтобы мы на воздухе были. Она следила, как мы делаем уроки, сердилась, если меньше часа сидели за роялем, (учились музыке во Дворце пионеров, а она дала маме слово, что музыку не бросим).

Она готовила еду, все покупала, стирала на нас. Господи! Что мы ей были? Чужие дети!

К зиме 1938 года из Баку приехали две дальние мамы родственницы, стали распределять, куда деть вещи: рояль,

комод, мамины платья. Вообще-то кроме маленького рояля, доставшегося по случаю при обмене квартиры, ни единой ценной вещи не было. У мамы никогда в жизни не было ни одной золотой вещи. Единственное крепдешиновое платье она ни разу не успела надеть. Было, правда, по тем временам, много книг — два стеллажа. Отец собирал. Читали они много, не знаю, когда и успевали.

Поля теткам сказала: «Как что тут стояло, так и будет стоять. Я дала Бакинской слово, что все будет, как при ней». Поля почему-то не могла выговорить Эстер Моисеевна, а называла маму — «товарищ Бакинская», с какой-то певучей особенной интонацией, я просто и сейчас слышу. Сестра слышала, как одна из теток сказала: «Поленька, их все равно расстреляют, так лучше детей сразу в детдом отдать!» На что Поленька ответила: «Я дала слово, что детей не покину, пока жива».

Еще нам тогда сказала: «Девки, пока они тут, вы побольше масла на хлеб мажьте, а как уедут, — мы подождемся!» Тетки уехали, мы поджались. Выросли на тогда пролетарской треске, оладушках, которые она ставила на стол полную миску, приговаривая: «Ну, девки, больше не на что надеяться!» Еще была селедка «залом» — с картошкой. Не голодали, но чего это стоило Поле — она одна знала.

Помогала нам мамина сестра из Баку и папина подруга детства — тетя Франия Глузская (мать артиста Мих. Андр. Глузского), но они и сами мало имели.

Маме, пока она сидела на Шпалерке (в одиночке!), Поля регулярно передавала 30 р. в месяц (столько разрешали). Так мама знала, что мы живы. Отца долго не удавалось отыскать: нигде не значился. Я тогда в свои 15 лет знала все ленинградские тюрьмы. А сколько высидела в справочную в очередях ■ Большом доме! Как Софья Петровна из повести Л. К. Чуковской. И все отвечали: «Нету, неизвестно, где он». Мы таскались по этим очередям с подружкой, которая тоже искала отца, и больше всего боялись, что в ответной бумажке будет написано: «Расстрелян».

Потом пришел как-то к нам во двор и вызвал меня через соседей один дядечка, которого выпустили из тюрьмы, и спросил, почему мы не передаем папе передачи. Вот тогда мы узнали, где он. И стали передавать ему тоже 30 рублей. Очень это важно было. А то он не знал, есть ли мы, где мы. Он же не

знал точно, что мама тоже арестована, только предполагал, и не мог понять, почему ему ничего не передают.

В 1988 году в газете «Вечерний Ленинград» (14/XI) один папин сокамерник, Я. Г. Энгарт из Колпино, назвал его фамилию. Сестра с ним созвонилась, и он рассказал ей, как мучили отца на допросах, как вталкивали его, окровавленного, после допросов в камеру, как с него полосами слезала кожа!

Когда его отправляли по этапу в лагерь, на свидание в пересылку ходила я одна. Господи! Какой это был ужас — увидеть любимого отца в таком виде! Но главное — я не заплакала. Перед этим мне наша двоюродная сестра сказала: «Грош тебе цена в большой базарный день, если ты заплачешь!» И я не заплакала. А потом мы получили уже с дороги его письмо, где он написал: «Если бы ты заплакала, я покончил бы с собой». Он был могучий человек, большой и сильный. Амур переплывал в самом широком месте. А тут — жалкий маленький старик с растерянным лицом. А было ему тогда аж 45 лет!

А к маме на свидание ходили мы втроем: Поля и мы с Зорей. Почему-то разрешили в отдельной комнате (при конвое-ре). Мы принесли мандаринки и что-то еще. А ей захотелось что-то нам дать, и она попросила из этих же мандаринок дать нам по одной хотя бы, а потом (я до смерти не забуду этого!) попросила: «Разрешите мне детям ручки поцеловать!» Боже ты мой, Боже! Это абсолютно ни в чем не виноватая, красивая, молодая женщина — ей тогда было 40 лет! За что?!

И стали мы им писать уже в лагерь! И Поля посылала посылки, и сохранились наши фотографии, которые мы посылали в лагерь маме. В начале 1941 года Поля хотела взять к нам своего племянника из Калуги. Ее брат работал там на железной дороге и очень бедствовал. Так она у меня спросила, не буду ли я возражать! Я помню, как у меня вырвалось: «Поля! Это же твой родной племянник, зачем ты меня спрашиваешь? Какое право я имею сказать нет, если ты ради нас живешь и работаешь!».

Но племянник приехать не успел — началась война. Я тогда закончила 10-й класс.

В начале июля стали отправлять младших детей в эвакуацию. Поля не хотела, чтобы Зоря уехала. Она же дала маме слово, что мы не разлучимся. И потом — она так любила Зорю, как не всякая мать любит своего ребенка, она ее обожала. Не

хотела отпускать. Но учителя настояли. Я помню, как учитель математики Александр Георгиевич Румянцев сказал мне: «Иди и скажи Поле, чтобы собирала Зорю в дорогу. Война эта надолго, а если Ленинград окружат, вы погибнете все вместе». Как видел! И он-то, бедный, погиб в свои 32 года на Балтике в первую же зиму войны. А был тогда уже доцентом Политеха, а у нас — учителем, любимым.

Мы остались с Полей. Я помню, как отправляли детей с Московского вокзала. Вся площадь была полна крошечными детьми — детсадовского возраста, по 4–5 лет и даже меньше: панамочки, трусики, сандалики и — рюкзачки за спинками. Матери рыдали, кричали, дети плакали! Жара была!

Мы, выпускники, помогали организовать этот отъезд младших школьников (по 7-й включительно) и учителей, уезжавших с ними. Провожали до самого отъезда товарняков от платформ.

И вот товарняк тронулся. Зоря что-то закричала нам. Все. Мы с Полей пошли домой. Поля горько плакала. Очень она без нее страдала.

С этого начались Зорины эвакуационные страдания: Ярославская область, потом — Сибирь, потом — к папе в лагерь! Но это уже совсем другая история.

Поля в последние перед войной годы работала в булочной. А я в июле подала документы на филфак Университета на отделение славистики (школу окончила с отличием), но учиться не пришлось. В августе отправили на рытье окопов где-то под Новгородом (от университета). А в сентябре я уже работала санитаркой в госпитале на 8-й Советской, около электростанции, которую часто бомбили, отчего в госпитале спокойней не было. Сжималась блокада. А дальше — как у всех. Вы же это все пережили и помните.

Почему-то луна светила, и город лежал под немецкими самолетами ясной мишенью. Все голоднее и голоднее. Все страшнее и страшнее. Замерзла вода в трубах. Канализация не работала. А Поля уже ходила за Невскую заставу пешком. Жили мы все, соседки, на кухне. Мы с Полей спали вдвоем на Зориной кровати или на плите. Топили книгами, сожгли в плите верблюжье одеяло, стулья жгли. А на стенах все равно был иней.

В январе или феврале Поля из магазина того ушла: не было сил ходить, очень уж далеко.

В 1967 году я попыталась кое-что записать. А вообще я не любила это вспоминать, слишком страшно. О блокаде старалась не читать книг, поэм, не смотреть пьес ■ театре, кинолент.

А в 67-м году кое-что записала. И, конечно, там о Поле было, но получилось о блокаде вообще. Тогда мне шел 45-й год, а теперь уже 70! Описывать сейчас все прожитое я не могу — это невозможно, но и обойтись без этого нельзя. Я помню, как первый раз увидела завернутый в одеяло труп на санках, который провозили по двору, как я кричала и плакала дома и как Поля меня успокаивала и обнимала, а сама, по-моему, заледенела от ужаса. Потом мы привыкли к этим саночкам, к их страшным сверткам, к мертвым людям на тротуарах, в подворотнях. У цирка, у моста Белинского, я видела раз женщину с лицом, съеденным крысами. Тогда я тоже орала от ужаса! А сколько трупов пришлось потом выносить из палат и складывать штабелями!

В городе съели всех собак и кошек. А у нас был рыжий кот, по прозвищу Иосукэ Мацуока. Так он умер сам, бедный, от голода.

Только блокадники знают, что такое хряпа, шрот, дуранда. Голод — это такое стыдное чувство, его не поймет тот, кто не пережил. Это не просто проголодался и хочется есть, а это дикая потребность жевать что-то зубами, что-то твердое, осязаемое, чтобы дольше жевать, чтобы никто не видел, чтобы что-то было во рту, потому что ни думать, ни соображать иначе ничего нельзя. И мы с Полей, сидя на плите, жевали резину, свечку, ремень, кусок столярного клея. Хлеб, который получали по карточкам, Поля ухитрялась делить так, чтобы мне больше доставалось. Пока она работала, она говорила, что уже поела на работе, а мне совала по кусочку от своего кусочка и плакала, что я так худела. Когда уже в 43-м году я ходила в тот магазин далекий получать какую-то справку о ней (я уже не помню, зачем), то заведующая расплакалась и сказала: «Она же была святая! Она же крошки себе не оставляла!»

В Бога она действительно верила, тайком от нас молилась (детки-то были коммунистические), крестик нательный носила всегда. Между прочим, отец наш очень уважал ее веру в Бога, а нас ругал, когда мы по глупости над этим потешались.

Сейчас я не могу видеть этих телеспектаклей массового фарисейства, но Полину веру уважаю до сих пор.

Весной 1942 года Поля стала работать на Охте на сломе старых домов на дрова. Очень тяжелая работа для голодного человека. И в такую даль приходилось ходить! Она отекала, так как много пила воды. Вечером кипятила воду с лавровым листом, это как-то напоминало мясной суп. Потом мы просто кипяток пили, а она говорила: «Чайничек на всех и по чайничку на каждого!».

И еще случилась беда. Одна знакомая девочка, наша подруга и дочка друзей родителей наших, встретила меня на улице, пришла к нам в гости, осталась ночевать и... украла у нас карточки. Мы ей сами показали, где они лежат, и похвалились, что вот все вместе живем и ничего ни у кого не пропадает. Она еще стащила ключ от квартиры и днем явилась, когда никого не было дома, и стащила полученные накануне по карточкам 300 г. лапши и еще чего-то из еды у соседок. Это был для нас с Полей конец! Когда это все выяснилось и мы с Полей пошли к ее маме забрать карточки, то ничего уже не было на них, она все талоны проела ■ столовых что ли. Мы были обречены. Это было 2 мая — и до конца месяца ничего не осталось, ничего! И тут мать моей одноклассницы, которая работала ■ том же госпитале, где и я (в здании Финансово-экономич. ин-та), сказала мне: «Сдавай остатки своих карточек и поедешь на подсобное хозяйство от госпиталя; да и Поле без тебя легче будет выкрутиться». Так я поехала в Мяглово под Невскую Дубровку — знаменитое место.

Поля осталась одна. А я как-то на крапиве, лебеде и корнях от лопуха выжила. Но цинга была такая, несмотря на крапиву, что стоило наклонить голову, — ■ ладошке была кровь изо рта, и зубы крошились, и нога плохо разгибалась. Потом, когда подрос турнепс и брюква, то нам иногда немного давали, да еще удавалось немного тайком пару штук добыть, и я раз в неделю топала пешком или, реже, на попутной машине в город. Это км 30 до городской заставы на Охте. Я приходила домой, и если Поля была дома, то такая была радость! Отдавала ей все турнепсины и брюквы. А она мне все, что урывала от себя. Иногда были письма от мамы, папы, от Зори. Я ночевала дома, а наутро трогалась обратно.

Летом Поля могла уехать на Большую землю, но из-за меня не уехала. Каким-то образом людей отправляли. Но вот она осталась! И еще. Зимой 42-го года и летом из Ленинграда выслали людей с нерусской фамилией. Соседке, Елене Савельевне Шедлих, пришлось так уехать. И мне тоже пришла повестка. Но меня в городе не было, а потом так это и сошло. А то ведь выслали в определенное место и под надзор: надо было ходить отмечаться где-нибудь в Джембуле или Намангане. И обратно уже после войны не разрешали возвращаться. Выслали бы и меня так, и не была бы я теперь «участница ВОВ» (очень это «умилительная» аббревиатура), и не была бы теперь «прикреплена» к магазину в этой Виннице, где я живу. Завидная судьба! Смолоду и до старости быть прикрепленной к магазину, где все равно ничего нет. Но Поля-то, может быть, и спаслась бы!

У нас сохранилась Полина открытка, которую она послала маме, когда я в Мяглове была. И это ее послание говорит о величии ее души — иначе не скажешь.

Она маме писала так, чтоб не пугать ее, чтобы мама думала, что все у нас в порядке. Вот я ее перепишу, сохраняя Полину орфографию. Неграмотная была она, но сколько в ней истинной интеллигентности!

«Добрый день тов. Бакинская (это в лагерь!) это пишет поля. Бакинская, я вчера получила от вас открытку которая послана 8/VII 42 но я тоже пишу вам часто но почему вы их не получаете низнаю нам тетя Аня из Баку прислала 150 руб но мы в деньгах нужды ниимеем потому что мы с Галяй работаем но как обе работаем то конечно жить легче от Зори писма получаем часто она писма пишет хорошие здорова и сыта а это самое основное. Галя работает в подсобном хозяйстве выращивает овощи тоже ниплохо но только ей трудно потому что она никогда (непонятное слово) но она пошла охотно на эту работу сама ей хотелось загородом лето провести время ну это ничего опять было бы здоровье. Мы дружим уже давно. Между нами плохого не было ну писать кончаю напишу писмом досвидания 2/VIII 42 г. Поля». Вот так. Ни о чем плохом: ни о голоде, ни о карточках, ни о том, что Зоря там, в Сибири, лежала в больнице с тяжелой хореей, ни о том, что сама она уже еле ходила!

Осенью я вернулась в город, и опять в госпиталь санитаркой. А Поля говорила: «Девочка, десятилетку кончила, а горшки таскаешь. Учиться надо!» Горшки мне не стыдно было таскать, но в школу медсестер я пошла. Так мы и жили с ней, все худели, уже еле ноги волокли, хоть вроде и пайки увеличили немного. Но дистрофия была такая глубокая, что лучше не становилось. Вообще я знаю, что зимой 41/42-го года умирали сначала мальчики, потом мужчины, а женщины уже позже. Такие необратимые были изменения в организме, что трудно было выйти из дистрофии. И женщины умирали зимой 42/43-го года, да и позже.

Я уже еле ходила к началу 43-го года. Школа медсестер была на Кировной, недалеко от дома, а я уже с трудом добиралась. Поля почти не вставала. В начале января 43-го года начальник школы медсестер вызвал меня и сказал, что может отправить меня в госпиталь медсестрой (хоть курс был годичный, а я ходила всего 2 месяца), т. к. наши войска вот-вот пойдут на прорыв блокады, и будет много раненых, сестры будут нужны. А если я останусь в школе, то не выживу. Он видел, что я уже плохо хожу, и жалел. И не меня одну. Спросил только, смогу ли я писать рецепты по-латыни. Я сказала, что смогу.

И вот перед самым прорывом блокады отправили нас, группу полудохлых девочек, в эвакогоспиталь № 1015 — на Васильевский остров (раньше и теперь это клиника им. Отта), около Университета. Я все помню: как мы брели туда по всему Невскому, потом от Адмиралтейства — наискось по льду Невы — к Университету, как привели в госпиталь. Как накормили, дали хлеб и сказали, чтоб мы не ели его сразу, а то плохо будет; а мы не удержались и, пока стояли перед кабинетом начальника госпиталя, съели весь хлеб.

Первые несколько дней отпускали домой по вечерам, а с 20/1 перевели на казарменное положение, хотя мы имели «статус» вольнонаемных медсестер (я так думаю, по соображениям экономического характера: из зарплаты вычитывали за питание и обмундирования не надо было давать).

С первого дня я стала оставлять от завтрака, обеда и ужина, что могла, безумно старалась удержаться, чтобы все не съесть, и вечером плелась домой на Некрасовскую со свертком для Поли. Она почти уже не вставала с кровати, не могла ходить. Я садилась около нее, давала ей по кусочку хлеба, мяса или

рыбы. Очень это было мало! А она смотрела на меня со слезами на глазах и говорила: «Ты моя кормилица!» Да уж!

26 марта этого — 1993 года — было 50 лет со дня ее смерти. Я свечку на окне зажгла в память о ее святой душе! И позвонила в Питер сестре, и мы ее вдвоем помянули, нашу бедную Полю!

Госпиталь был нейрохирургический, лежали там черепно-мозговые раненые, с контузиями, работа была адская, но как-то о себе не думалось. Об этом тоже можно много написать, но я все стараюсь — о Поле. Это мой долг перед ней. Кто же скажет о ее судьбе? Мы с сестрой уйдем — и никто не вспомнит о ее судьбе блокадной, о ее подвиге человеческом. Родных ее, наверное, давно нет, а если кто и остался, то ничего об этом не знает. Сестра ее родная, Марфуша, жила в Москве. Тоже судьба — типично советская, кошмарная!

Пока жива была наша мама (после «реабилитанса»), она ее навещала, когда приезжала в Москву, и я у нее была несколько раз (Марфуша почти всю жизнь прожила в общежитии), и сестра у нее бывала. Но уже много лет, как она умерла, а с друзьями ее родными мы связаны не были.

Так вот, когда нас перевели на казарменное положение, домой ходить не разрешили. Дежурили мы через сутки — сутки, каждый раз устраивались проверки. Я плакала, просила — нельзя было и все. А в конце февраля отправили в Пэри на лесозаготовки для госпиталей. Возражать не приходилось — приказ! Я просила хоть два дня, чтобы отвезти Полю в стационар; ей наконец дали такое направление, а отвезти некому было. Но мне не разрешили, сказали, что потом отпустят на несколько дней. И так я поехала.

И больше Полю не видела.

Грузили мы бревна в пульманы, иногда по несколько суток без захода в казарму. Это тоже был какой-то кошмар невероятный. И никуда меня непустили.

А 2 апреля из города пришло письмо от соседки, что Поля очень больна (это она меня подготавливала), а на следующий день еще одно, что Поля умерла 26 марта (было ей тогда 39 лет), и что она и нижняя соседка похоронили ее на Охте. Вернее — свезли на санках на Охту, а там уж — в общей могиле наша Поля. У меня тогда все в душе одеревенело. Даже слез не было. Вот тогда меня отпустили на пару дней в город. Уже было поздно.

Вот так окончилась ее святая жизнь. Если я пишу слово «святая», то не из дани нынешней ханжеской моде, а потому, что тут другого слова не подберешь.

Я начала это писать 14 марта, а теперь уже июнь. И за эти месяцы прошли, кажется, тысячи лет: эти мерзкие съезды — спектакли, этот страх, что все рухнет, что может весь этот ужас повториться для моего сына, внука, для внуков моей сестры, для моих любимых учеников и их детей. Это 1 мая с заранее подготовленным побоищем, страх ожидания 9 мая. Очередная издевательская «шоковая терапия» с космическими ценами на Украине.

Какая-то несчастная огромная страна с тысячелетними сволочными экспериментами над живыми людьми. Прошел ■ России этот референдум, но ничего, по-моему, не решил. Продолжается спектакль двух театров неизвестно ради какой конституции, которую все равно никто соблюдать не будет. И так и будет та же грызня, тот же житейский кошмар, та же гибель природы, то же изгалаение (не знаю другого слова) над людьми. Что в России, что на Украине, которая хоть и самостийно, но идет ей след в след по тому же сценарию!

Я приезжаю в Ленинград (Санкт-Петербургом он в моем понимании так ■ не стал пока) каждый год, иногда и по два раза. Хожу по родным улицам, иду во двор дома на Красной Связи, 17/5, где мы выросли и откуда Полю на санках везли на Охту. Когда я вижу этот искалеченный, разбитый вдрезыг город с выпотрошенными домами (теперь мы живем на Шкиперке, и если ехать 40-м трамваем через всю Петроградскую сторону, то впечатление — потрясающего ужаса, город не был так грязен и искалечен даже во время войны), когда вижу этот сплошной пьяный плебс на улицах, этих несчастных, специфически ленинградских серых, худых старух, то думаю: за что же столько людей погибло? За что умерла Поля? За двух девочек, которые ей благодарны до гроба?

Какая-то ж высшая цель ее жизни должна быть? Правда?

Я не могу отнести себя к верующим людям, не верю, что в конце XX века можно думать и понимать жизнь так же, как две тысячи лет назад; а к церкви как таковой отношусь вообще отрицательно, абсолютно не признаю церковников, не верю попам любых рангов.

Но что-то же есть в этом мире, в этом Космосе, если есть вот такие люди, как Поля?! Или как наша бедная мама?

И мне бы хотелось, чтобы Вы узнали о Полиной судьбе из этого так затянувшегося моего послания. Может, Вам понадобится рассказать о таких людях, чтобы кто-то, узнав о них, стал лучше, чище, добрее и поверил бы в какой-то высший смысл жизни.

Спасибо! И простите, что так много времени у Вас заняла.

Я Вам, Даниил Александрович, и Алесю Михайловичу верю безусловно, поэтому и адресуюсь к Вам.

Я писала, что раньше боялась вспоминать и читать о блокаде, хотя, когда ходила по улицам, то смотрела сквозь время и на любом перекрестке видела то, что было тогда. Но Вашу «Блокадную книгу» прочла сразу и всю. И перечитываю.

Желаю Вам здоровья и еще много сил душевных, чтобы все это мутное время пережить, понять и еще объяснить людям, если будет возможно.

С глубоким уважением!

10/VI г. Винница

Мах Галина Иосифовна
1993 г.

18/VI-93 г. Ленинград.

Уважаемый Даниил Александрович!

Добавление от себя напишет моя сестра. А я хотела только прибавить к своему посланию, что отец наш умер ■ 1949 г. в Дамбуле, куда я специально взяла назначение после института, чтобы взять к себе родителей, т. к. им нигде не разрешали жить. Он умер в 55 лет, не дожив до реабилитации. А мама была восстановлена потом во всех правах, и даже квартиру ей вернули после 56-го года.

А главное — она оставила очень интересные даже с современной точки зрения воспоминания о своем одесском детстве, о своей страшной юности — до 1919 года, и — отдельные воспоминания о нашем отце и его жизни. Архив у нас довольно большой. И много документов и очень интересных фотографий. Мама умерла в 1974 г.

Дополнение. Пишет сестра моя — Зоря.

Поля, бывало, наряжала меня ■ белое маркизетовое платье, все в оборочках, в косах — розовые ленты, и мы шли

на ул. Воинова. Мы прогуливались возле Б. дома. Поля была в полной уверенности, что мама может выглянуть из окна и увидеть меня, здоровой, нарядной. «И как мама обрадуется». Мы знали, что мама ■ течение года сидела в одиночной камере ■ Б. доме, но об этом узнали значительно позже, а тогда было просто предположение.

Мы с Полей обожали друг друга, любовь эта стала еще сильнее после потери родителей. Поля была теплой, доброй, всепрощающей, неунывающей. Поля была спасительницей. Я страдала от сознания, что могу ее (как и маму) потерять, что с Полей может что-то плохое случиться. Если Поля работала в вечернюю смену, я выходила на Лиговскую ул. к остановке трамвая, стояла подолгу в подворотне дома № 17 и ждала, когда она, моя родная, выйдет из трамвая, постоянно волновалась. А завидев ее — была счастлива. Обнявшись, мы вместе шли домой, мимо Мальцевского рынка, Прудов... Летом мы с сестрой уже не выезжали ни на дачу, ни в лагерь. Время проводили ■ городе. Галя устраивалась на временную работу (в эпидемическое бюро города), зарабатывала какие-то гроши.

Меня на воскресенье иногда приглашали к себе на дачу родители моей подруги-одноклассницы. Но стоило мне приехать в Петергоф, как я начинала тосковать по Поле, мне казалось, что дома, без меня уже что-то случилось, и я больше не увижу Полю. Плакала. Как-то пришлось даже отвезти меня в город.

И пришел этот день — 5 июля 1941 года, дети всех школ Смольнинского района шли по Советскому (Суворовскому) проспекту в сопровождении родителей, шли к Московскому вокзалу, чтобы покинуть город. У входа в вокзал мы с Полей простились навсегда.

Чего я ждал столько лет, почему письмо это не попало в «Блокадную книгу»? Да, оно не о блокаде, вернее, не так о блокаде, как о любви. Блокада ленинградская — это большое событие в истории Второй мировой войны, но любовь как человеческое чувство, она может быть выше и значительнее, чем любые события истории, это нечто необъяснимое, то, что дается как талант, как дар божий и даже в тех страшных условиях как счастье.

Письмо это полно любви и ненависти. Ненависти к войне — понятно, но не меньше ненависти ко всем подлостям советской жизни. Не пустили к умирающей Поле. Тут война ни при чем, это наша социалистическая бесчеловечность, наш строй с нечеловеческим лицом, в сущности так прошла вся жизнь авторов письма, где единственное счастье, о котором они помнят, которым греют свои души, — воспоминание о Поле, о ее любви.



В конце сороковых годов, вслед за тем как Лысенко разгромил генетику, идеологи захотели продолжить свой поход на физику. Разбить квантовую теорию. Все было подготовлено, но перед тем как спустить их «с цепи», Сталин вызвал Курчатова, спросил его мнение о пользе предстоящего разгрома.

— С философской точки зрения, может, это и правильно, — осторожно сказал Курчатов, — но тогда нужно отказаться от мысли иметь атомную бомбу.

Подумав, Сталин сказал:

— Раз так, то наводить чистоту в физике можно подождать.

Чуда не будет. Стало ясно, что уже ничего сверхъестественного не произойдет, не спустится ко мне инопланетянин, не создам я ничего гениального, не взлечу в небо на крыльях, не встречу с привидением. Буду доживать все тише, сужая радости. Чуда не случилось. А с детства я так ждал его, я был уверен, что должно произойти со мной что-то небывалое. Раз уж я появился на свет божий... Иначе зачем это. Ясность пришла внезапно и придавила меня. Оказывается, все эти годы мечта еще теплилась.

На самом деле чудом было то, что я уцелел на войне, да и после чудом была счастливая любовь, и семья, можно многому удивляться и радоваться, это так, но все же это не та давняя, детская мечта, которая нынче угасла.

Борис Викторович Раушенбах считал Михаила Герасимова, ученого, восстанавливающего лица по черепу, — гением.

У Герасимова действительно кроме методики целой науки, разработанной им, было еще сверхчутье, «невероятное воображение и внелогическое знание — знание совершенно нам непонятное» — определял Раушенбах.

Я был знаком с Михаилом Михайловичем. Мы с ним время от времени гуляли, он рассказывал о своих работах над обликами Ярослава Мудрого, Ивана Грозного, Шиллера, Тимура.

С последним была связана целая история. Существовало поверье, что кто потревожит прах Тимура, тот вызовет дух войны. Герасимову разрешили вскрыть гробницу Тимура. Было это, кажется, в Самарканде. Только он взял в руки череп Тимура, как в мавзолей вбежали с криком «война!». Произошло это 22 июня 1941 года. Его чуть не растерзали.

Мы с ним как-то вышли на тему о старце Федоре Кузьмиче. Согласно легенде, Александр I не умер в Таганроге, а скрылся и стал отмаливать свои грехи под именем старца Федора Кузьмича. И прожив так инкогнито, спустя столько-то лет умер и был похоронен (положен тайком в императорский саркофаг) в Петропавловской крепости.

М. М. Герасимов уверен был, что эту давнюю загадочную версию можно легко прояснить, если ему позволят вскрыть царскую гробницу в Петропавловском соборе. Воодушевил он меня, и, ничтоже сумняшеся, я обратился в обком, к секретарю по пропаганде Кругловой. Заинтриговал ее легендой, дал книгу о Федоре Кузьмиче. Она вроде бы заразилась от меня этой идеей, но сказала, что надо посоветоваться в Москве, в ЦК. Зачем? А потому что «цари — не наша номенклатура, они в ведении ЦК».

Через две недели вызывает меня, увы, не позволили, объяснили — если Герасимов определит, что череп императора — череп человека, умершего не в 1825 году, а много позже, в год смерти старца, то церковь сделает его святым, что же получится — с подачи ЦК Коммунистической партии? Нет, невозможно.

Так прикончили наш с М. Герасимовым проект.

Благодаря ЦК КПСС сохранена тайна старца Федора Кузьмича и, соответственно, тайна императора Александра I.



Мы сейчас все хотим, чтобы у каждого была отдельная квартира. А что дальше, мелко для российского человека.

Те, кто много читают, отвыкают самостоятельно мыслить.

Качество жизни измеряется количеством счастья. Или покой. В Швеции и в Швейцарии люди не лезут на Марс. И живут там, живут благополучно и счастливо.

Я больше не болею космосом. Зачем мне нужен Марс, когда я иду выносить мусор и вижу людей, которые роются в контейнерах? Мои восторги немедленно исчезают. Почему я должен восторгаться тем, что на Марсе есть жизнь, когда у нас жизнь так убога для многих?

Все, что я читаю сегодня, — это и есть современная литература. Я же это сегодня читаю. Например, Сэлинджер, которого я недавно перечел, — это современная литература.

Мое правило: сегодняшний день — мой самый счастливый день в жизни. Потому что большую часть жизни мы живем, или вспоминая хорошее, или надеясь на хорошее.

Как бы ни был счастлив человек — оглядываясь назад, он вздыхает.

В. Я. Александров на семинаре привел такой пример: разбирали вопрос — как отличить лошадь от лошади, пока кто-то посторонний посмотрел и сказал что, кажется, черная лошадь немного выше, чем белая.

На этом семинаре висел плакат: «И что из этого следует?»

Позже специалисты и старики утешали меня тем, что якобы в дни Октябрьской революции матросня вскрыла все царские саркофаги, искали драгоценности, перемешали все останки. На самом деле, думается, Михаил Михайлович мог и при таких условиях разобратся...

«Французский патриотизм состоит в том, что сердце согревается, вследствие этой теплоты расширяется так, что обнимает своей любовью не только близких, родных, но и всю Францию.

Немецкий патриотизм, наоборот, состоит в том, что сердце суживается, стягивается, как кожа от холода, немец начинает ненавидеть чувственное, перестает быть гражданином мира, европейцем и хочет быть лишь узким немцем» (Генрих Гейне).

Благородные либералы, борцы с тиранией, реакцией, мало того, что их меньшинство, так и притесняют их беспрестанно, ходу не дают, к тому же среди них больше неспособленных к борьбе и выживанию. По законам естественного отбора им положено исчезнуть. С какой стати они продолжают появляться на свет? Их ссылают, выгоняют с работы, высмеивают, лишают прав, а они нарождаются. Почему? Почему они не приспособились к нашей несправедливой жизни? Или почему не вымерли? Зачем им надо вновь и вновь появляться?

В семидесятые годы этот секретарь райкома ходил на симфонические концерты в Филармонию. Ходил как бы тайком. Сидел за колоннами, чтобы его поменьше видели. Однако был замечен. Вызвал его секретарь обкома Бобовиков:

— Ты, говорят, ходишь в Филармонию?

— Да, бываю.

— Что ты там делаешь?

— Музыку слушаю.

— Это же не твой район.

— Дочь у меня музыкой занимается, она просила, — придурковато объяснил он.

Оправдание его приняли с подозрением, пришлось прекратить эти посещения, изжить в себе эту опасную тягу.

Прогресс науки, культуры происходит вопреки комфорту, совершается людьми, живущими без комфорта, он им не нужен, а то и мешает. Шикарные виллы, машины им ни к чему. Большая часть комфорта, возможно, тормозит прогресс.

Еще древние римляне считали труд земледельца праведным и чистым, а жизнь его самой полезной и благородной.

Из разговоров с Виктором Борисовичем Шкловским.

— Старый человек может делать почти все, что молодой, но при этом устает.

— Я сказал Горькому: «Человек — это звучит горько». Он обиделся.

— Стихи нельзя читать каждый день, это драгоценный на-
питок.

— Человек сам к себе едет с пересадками.

— Самое худшее — это потерять способность удивляться.

— Что за странные гетры на вас? — сказала Гиппиус Есенину.

— На улице они называются валенки, — ответил Есенин.

Сегодня первое декабря. Я вдруг вспомнил — это день убийства Кирова. Вспомнил, потому как до войны день этот отмечался. Появлялись статьи в газетах, возлагали венки к памятнику, раздавались призывы бороться с врагами народа. Были и другие памятные дни. Отмечали 18 марта — День Парижской коммуны. Даже вывешивали флаги. Появлялись траурные флаги в день 9 января — ■ память расстрела 1905 года. Почему-то флагами напоминали и день Ленского расстрела рабочих 1913 года. И еще день смерти Ленина. Ничего из этих дат ныне не отмечается. Неужели и наши даты тоже поблекнут, канут? Кто вспоминает ныне дату начала Первой мировой войны? Никто. Правда, у нее не было Победы. И поражения у нее не было. А ведь то была Первая мировая война, и вот стерлась из исторического календаря.

В душе появляются чувства, необъяснимые ей самой. У нас с женой была игра, иногда я ее вдруг спрашивал: «Почему ты это сказала?». Она задумывалась. Объясняла. Но были случаи, когда она не могла понять, откуда взялась вдруг эта фраза, эта мысль, этот вопрос. То же она проделывала со мной, и мне докопаться не всегда удавалось. Сколько ни копался, никаких, казалось, поводов, появилось воспоминание — почему? С чего? Никаких причин. Вдруг ни с того ни с сего вспомнился Витя Сергеев, как мы с ним и с моей женой плывем по Вуоксе. Двадцать лет не вспоминал о нем. С чего он появился в памяти? Пролетел мимо? Или *там* вспомнил?

Где вы были, попрекающие нас? «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророков и украшаете памятники праведных и говорите: „Если бы мы жили во дни отцов наших, мы не были бы сообщниками их в крови пророков“» (Мф. гл. 23, ст. 29–30).

Рассказывал мне Сергей Корсаков, который воевал на Украинском фронте: «Шли мы из окружения, из-под Киева на Харьков. Под Киевом колхозники выносили нам припасенные картошку, сало, сами давали. Сколько наших прошло через эти села, всем давали. Не знаю, как они потом жили, мы у них все припасы схарчили. В Харьковской области совсем другое было, никто нам ничего не дает, попросишь, они начинают тебя осматривать, чего бы взамен взять, не стеснялись. Ремень? Давай ремень. Сапоги, хоть изношенные — снимай. За картошку, за сало все снимали, начнешь им выговаривать, они в ответ: „Ваша советская власть у нас все позабирала — и коней, и волов“. Это были раскулаченные.

Окружили нас в лесу, по радио предлагают сдаваться, обещают всем жизнь, вы, говорят, окружены с трех сторон, с четвертой болото непроходимое... Пошли к ним сдаваться, а кому нельзя было сдаваться, направились через болото. Некоторые перебрались. Я перебрался. Идем дальше, приходим в одну избу. Там хозяин старик. Крепкий, лет семьдесят, у него два сына. Здоровые мужики. Он их гоняет, они послушно бегают. Притащили самогон. Сидим, пьем, он рассказывает, как его раскулачивали, говорит: „Я бы сейчас комиссара какого этими руками бы задушил“. Вдруг шум, треск — врываются в деревню немцы, мотоциклы, за ними машины. Мы в огород, там схоронились. Крики, выстрелы».

Слушал я этот рассказ Корсакова — все в точности, как с нами было. Те, кто в окружении были, те всю изнанку войны видели.



Привезли ■ соседнюю палату пожилую женщину с окровавленным лицом, разбитой головой. Врач спрашивает: что с ней случилось? Она говорит, что это муж, сколько лет живет с

ним, столько и бьет. Как забеременела, так он — ■ живот табуреткой. Вчера пропил всю получку, сегодня запустил тарелку в голову и ушел, не кушавши. Попросила к вечеру выписать ее, чтобы покормить.

Врач пришел ко мне, спрашивает: «Ну что это такое, как назвать? Смирение, тупость? Вот вы писатель, объясните мне, можно ли уважать такое терпение?»

Терпение или, может, это любовь все прощающая? А может, она принимает за какие-то свои грехи? Разное тут может быть. Но чего действительно у нас с излишком — это терпения, терпим и терпим.

На свете нет большей тайны, чем то, что происходит в сердце мужчины, когда вдруг из многих женщин одна проникнет туда и произведет полный переворот. Как, почему именно она? Причем сама ведь она ничего для этого и не делала.

Первородный грех превратил Адама и Еву ■ человек, так что можно считать, они продолжили сотворение, начатое Господом.

Возбужденный разговор на Невском в девяностые годы:
— Во дворе гитары дают!
Дают! ...Гитары!

«Не агрессивуй меня!»

Человек тихий, как снегопад.

Однажды ночью я проснулся от какой-то мелькнувшей мысли. Никак не удавалось вспомнить, что это было. Во сне жена вдруг обняла меня, и я вспомнил. Мне снилось счастье наших молодых ночей, и подумал, как наша дочь возникла из нашей любви, из тех миг, когда мы сливались в одно целое, душа наша становилась общей душой, так ведь и я результат восторга, высшего блаженства отца и матери ■ тот далекий миг, когда они соединились. Я произошел из того их счастья обладания и с этим отправился в жизнь. Этот миг называется зачатием, я о нем ничего не знаю, мне не положено о нем знать, но сейчас я вдруг понял, что это было.

ДОЦЕНТ ПИМЕНОВ

— Когда меня послали в командировку в Австрию, жена устроила мою мать в дом престарелых. Я знал, что так и будет.

Вернулся, поехал к маме, погоревал — напрасно тебя переместили, мол, безобразие, как это так, я тебя обязательно возьму, вот комнату твою отремонтируем, и возьму отсюда.

Ремонтировали долго, мать плоха была и вскоре умерла. Очень ей хотелось дома умереть. Квартира ведь, по существу, ее, родовая. Не вышло... Я боялся, как бы не узнали в институте, пойдут разговоры, что мать упрятал. Поминки справили хорошие. Памятник на могиле поставили из гранита. Неудобно, чтобы фамилия наша на каком-то ракушечнике, так что все честь честью. Вроде бы обошлось.

— Не совсем.

— Пронюхали?

— Говорили об этом на кафедре.

— А черт с ними.

— Зачем ты мне это рассказал?

— Не знаю... Плохо мне.

Ньютон оставил много богословских сочинений. Он прямо указал на сверхъестественность атома. На принципе всемирного тяготения он показывал, что одно тело действует на другое. Через что? И отвечает — через пустоту, через пространство. А как? И объявил пространство — *чувствищем Бога*.

— Американцы теперь могут новой бомбой разорвать человека на 27 частей, а мы только на 20.

— Как же мы такое отставание допустили? Ужасно.

«Глухонемых арестовать — они занимались враждебной агитацией. А эта женщина видела провокационные сны о нашем правительстве, ее допросить».

Если научный руководитель может понимать то, чем занимаются его сотрудники, значит, исследование идет не на современном уровне.

Врач сказал ей: «Вам вредно сдерживаться». Она пришла на работу и выложила начальнику все, что у нее накопилось, все, что она думает о его бестолковости и хамстве. Почувствовала себя сразу лучше. Ее уволили... Врач спрашивает: «Как вы себя чувствуете?» — «Много лучше». — «Вот так и будем».

История занята вечной борьбой за власть, и всегда писали, и до сих пор пишут — кто кого. Каждый историк славит своих победителей, тех, кто перехитрил, обманул, завоевал какие-то города, обратил в рабство, это они — Великие. Не потому, что уклонились от войны, не потому, что обеспечили своим гражданам спокойную, счастливую жизнь, а потому, что завоевали какие-то земли. Лучше бы проходили историю Швейцарии, как она уклонялась от конфликтов и веками сохраняла покой и благополучие своих граждан.

Апрель 1941 года.

Сталин верил Гитлеру и Риббентропу больше, чем Черчиллю, больше, чем своим разведчикам. Нет, он не был доверчив, он лишь был уверен, что его, Сталина, никто перехитрить не может. (Майскому и послу Шуленбергу не поверил.) Раз он, Сталин, придумал, как обмануть Гитлера, так и будет.

Январь 1942 года.

Идет война, в лагерях сидят сотни тысяч мужчин, специалисты, военные, хозяйственники. Их охраняют большие воинские подразделения.

ГЕНИИ МЕСТА

Надо было пережить свою Великую Отечественную, ленинградскую блокаду, бомбежку, поражения, чтобы оценить День Победы. Теперь я понял и другое — что значит конец войны, мир. Понял и чувства Петра Первого, и всей России, когда 3 сентября 1721 года пришло известие о мире со Швецией. На Троицкой площади собрался народ. Петр взошел на помост, поднял ковш с вином, поздравил всех с окончанием долгой войны. Он пел песни, веселился, кланялся, люди

плакали, кричали «Ура!». Он пил за здоровье народа. «Виват! Виват!» Стояли кадки с вином и пивом. Чокались, целовались, плакали, с крепости палили пушки, на Троицкой выстроились полки в парадных мундирах, давали залпы из ружей. Трубили трубачи, по городу ездили драгуны с белыми перевязями. Они держали знамена, украшенные лавровыми ветвями.

Я так живо представлял себе это, потому что для меня соединились эти крики, эти слезы с днем 9 Мая 1945 года, когда то происходило на этом же самом месте, у этой Петропавловской крепости, под этим северным небом. Одни и те же слезы. Считается, что слезы чем горше, тем солоней. В сорок пятом в мае моя жена тоже плакала, я целовал ее, совсем несоленые слезы.

Мальчишка бежит, закинув голову, почти падает от изнеможения и — полное блаженство. Шатается, смеется, размахивает сумкой, орет — насиделся в школе.

И вдруг я увидел себя, ощутил тоже детское чувство тела. Наверное, где-то в глубинах тела сохраняется воспоминание о том, как оно было молодым, могло бежать, бежать, а потом валиться на землю, это было радостью, грохот сердца, шум в ушах, все доставляло восторг.

Следом из той же школы вышла девушка лет пятнадцати, она что-то напевала, подпрыгнула, сорвала листок, закусила зубами. Она шла пританцовывая, не видя никого, ни до кого ей не было дела. И такая в этом была полнота чувств, того же избытка сил, молодости, еще не знающей ограничений, не надо опасаться, рассчитывать, жизнь бесконечна, здоровье безгранично и бессрочно.

Любовь не бывает маленькой

Любят не за что-то, любовь необъяснима.

Любовь может отстранить все что угодно, а ее — никто.

Любовь существует в любой обстановке, на войне сходились, страдали, ликовали, ревновали.

Все хотят быть любимыми.

Для секса нужны жилплощадь и уединение, для любви тоже, но если нет, то есть прикосновение, письма, голос по телефону, да мало ли.



Атеистов нет. На самом деле почти каждый человек, пусть втайне, верит в высшую власть, Провидение, Судьбу, Рок... Приходит момент: война, болезнь, страдания близких, их гибель, трагическое испытание — и он взывает к своему покровителю: «Спаси! Помилуй! Защити!»

Его личный, тайный Вседержитель должен выручить.

Сколько раз я это видел, слышал за четыре года войны. Сколько раз я, неверующий, становился верующим — перед боем, во время артобстрела, в разведке, когда потерялся, когда ночью запутался, перестал понимать, где наши, где немцы. Когда заболел отец... Да мало ли было... Оставался жив, удавалось выкарабкаться, и что? А ничего, не появлялось веры, нисколько, и не было чувства, что Он помог, нисколько, все приписывал себе или счастливому случаю. Но все же где-то откладывалась благодарность, копилось ощущение чуда не просто жизни, а своей жизни.

Не знаю, может быть, нечто происходит и у других, но у меня с годами выросло это ощущение чуда моей жизни, а в самой природе чуда, наверное, и заключена вера. В непостижимость, в тайновидение духа, или плоти — во всяком случае, оно появляется. Возраст тут ни при чем. Скорее, это вера в нашу историю.

Лихачев писал спустя двадцать лет после войны: «Я думаю, что подлинная жизнь — это голод, все остальное мираж. В голод люди показали себя, обнажились, освободились от всякой мишуры: одни оказались замечательные, беспримерные герои, другие — злодеи, убийцы, людоеды. Середины не было. Все было настоящее, разверзлись небеса, и в небесах был виден Бог... Бог произнес: „Поелику ты не холоден и не горяч, изблюю тебя из уст моих“».

Она определяла с ходу: импортный мужик, это — фольклорный, а этот — потаскун.

— Нельзя? А сколько стоит нельзя?

Среди примеров дружбы у лектора были Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин, Брокгауз и Эфрон.

Мужицкое происхождение Ломоносова раздражало многих придворных.

Князь Куракин сказал ему:

— Я из Рюриковичей, от Владимира Красное Солнышко веду свой род. А ты?

— А у меня вся родословная, все записи нашего рода погибли при всемирном потопе.

История репрессий в советской жизни показывает, что физики сажали физиков, врачи — врачей, писатели — писателей.

Самые пессимистические прогнозы сбываются в России — стране постоянного оптимизма.

Н. Риль, немецкий физик, после войны был отправлен в Сухуми, где работали атомщики. Риль был ведущим специалистом. Когда на объект приехал Лаврентий Павлович Берия, он спросил у Рили: чем помочь, может, кто-то мешает, не дает развернуться, ускорить?

— Нет, никто не мешает.

— А все же, вы скажите нам, мы уберем, обеспечим.

Риль подумал: какая возможность расправиться с тем, кого не любил. Раз, раз и нет их. Ничего не сказал, но запомнился на всю жизнь этот дьявольский миг — владение чужими жизнями.

Академик Борис Павлович Константинов был у Берии: два черкеса стояли за его креслом. Он чихнул, хотел вынуть платок, побоялся, как бы не накинудись.

Академик Мигдал свел одного провинциального профессора с Игорем Васильевичем Курчатовым. Им обоим разговор был чем-то интересен. Мигдал за дверью давился от смеха, слушая, как они кричат друг другу. Обоих он предупредил, что собеседник глуховат. И они орали: «Здрасьте, И. В.!» , «Здрасьте, Н. П.!» . Но вскоре они стали кричать: «Мигдал злодей!»

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Через год я получил уже некоторое представление о том, что я делаю. Прибор долго не работал. Сменил методику, придумал новую подвеску, выяснил, как вычислять ошибки. Не работал. Наконец установил, что просто у меня неправильно присоединены были провода. После этого все равно не получалось. Сигнал был слабый. Затем я три дня провалялся с гриппом, и когда вернулся, прибор заработал. Что произошло, никто не знает и никогда не узнает. Сигнал, правда, появлялся чаще чем надо. И еще были какие-то дополнительные сигналы. Откуда они наводятся, я не стал выяснять. Поединки с природой выматывают душу. Сука эта природа, как говорил наш лаборант, она хитрит, прячется, лишь бы не проговориться. Путаешь результаты, сегодня одно, завтра другое, чего только не придумывает, набивает себе цену, не дается, кажется, загнал ее в тупик, нет, зараза, вывернется ■ последнюю минуту! Журналисты называют это «муки творчества». Чурки...

У меня есть максима, которой я стараюсь следовать, последнее время чаще, хотя делать это все труднее: «Другие имеют право быть другими».

Просто, не правда ли? Что может быть очевиднее? Другому может не нравиться Пушкин, или, допустим, гречневая каша, запах рыбьего жира. Нельзя за это его попрекать и вообще считать этого типа недоразвитым.

Так-то так, а все никак. Едем мы на туристском пароходе. Что-то по радио поясняет гид насчет берегов, какие там прелести. Что именно говорит, не разобрать, крик стоит кругом, итальянские туристы общаются. Мы с приятелем идем на корму, там еще хуже — китайцы, у них голоса зычные, их много, к тому же они толкаются грубовато, на замечания мило улыбаются, раскланиваются и прут по-прежнему и так же. Мой приятель успокаивал меня: может, они живут ■ тесноте, в провинциях переполненных, там так общаются, иначе не услышат, иначе не пройти...

Спустились ■ салон. Там свой гомон, крик — это евреи из Израиля. Размахивают руками, гогочут. Казалось бы, имеют право, ведут себя свободно, так привыкли. Почему, спрашивается, они должны придерживаться наших правил? Допустим,

считаться с окружающими, не мешать другим... А если у них не такие правила учтивости?

Грузины, люди древней культуры, у них, когда гости, то своих женщин за стол не сажают. Ну и что? Это их обычаи. Есть традиции, есть правила у каждого народа, выработанные тысячелетней практикой. Народы Ближнего Востока не едят свинину. Итальянцы любят макароны, русские — всевозможные грибы, а немцы предпочитают шампиньоны.

Мне нравятся китайские и японские правила есть палочками, нравится голубизна мусульманских мечетей, нравится вдумчивый покой узбекской чайханы. Многое что нравится в жизни других народов. Там, конечно, есть и то, что мне не симпатично, когда на Востоке мужчины сидят вдоль улицы на корточках, или женщина в чадре, но я не вправе судить подобные обычаи.

Будучи в Норвегии, моя знакомая с неудовольствием отметила, как «темнеет» Осло, как много появилось там пакистанцев, водители такси сплошь пакистанцы. И вообще, однородность населения, норвежская гомогенность этого небольшого народа разрушается. В уютности страны появилось нечто неприятное. «Что это?» — докапывался я. Она призадумалась, попробовала объяснить — пожалуй, чувство опасности. У них, у чужих, другие понятия, другие правила общения, другие ценности.

— Я приехала в Норвегию, к норвежцам, я хочу общаться с ними. А тут все такси возят эти...

Я вспомнил Париж, как он «потемнел», да и Лондон, вспомнил Берлин, где всюду слышна турецкая речь. У меня тоже появилось малопривлекательное ощущение настороженности, встреча с чужим. Кроме того, что это *другие*, появилось и *чужие*.

В Пакистане, в Карачи, пакистанцы были мне интересны, быстро появилось взаимное дружелюбие. То же было в Узбекистане, я помню, с каким удовольствием мы путешествовали с Володией Тендряковым по этой стране, тогда не существовало оскорбительной клички: «черножопые». Мы все были «советские»...

Вы посмотрите, с каким чувством превосходства написана статья Ленина о Толстом, как он поучает Толстого, посмеивается над его размышлениями, над его исканиями, отчитывает за

идеологию. Он, Ленин, лучше знает, где истина, как надо и как не надо. Величина Толстого, его гений, его культура нисколько не смущают этого партработника. Искусства он никогда не понимал, да и не интересовался. Ему достаточно было стихов Некрасова, романа Чернышевского «Что делать?». Возможно, читал «Войну и мир», и то сомнительно — до конца ли?

МАНИФЕСТ

«Цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных ее проявлениях. Если бы мне сказали, что я могу написать роман, которым я неоспоримо установлю воззрение на социальные вопросы, *на все*, я бы и двух часов не потратил на такой роман, но если бы мне сказали, что то, что я напишу, будут читать и лет через двадцать, и будут над ним плакать и смеяться, и полюбят жизнь, я бы посвятил ему всю свою жизнь и все свои силы», — написал Л. Н. Толстой в письме к Боборыкину в 1865 году. Мне думается, это важнейшее высказывание Толстого о литературном труде, пусть выражено коряво, запальчиво, но смысл его, если вдуматься, привлекает и, пожалуй, неопровержим. Звучит, заповедью, как ее выполнять — вот в чем вопрос.

За гробом Моцарта шли пять человек, потом остался один, потому как лил дождь.

За гробом Лейбница шли три человека.

За гробом Рембрандта — один.

«Аппетит говорит — еще стакан вина, разум говорит — нет! Кто умнее, тот уступает».

Что такое человек — «остаток творения» или «венец»?

Никто не учит, как надо стареть. Это целое искусство — не надоедать советами, не навязывать свой опыт, помалкивать о своих болезнях, лекарствах. Жизнь наших детей не должна совпадать с нашей. Так что осторожней!

С чего мы взяли, что закон сохранения энергии всеобщий и обязательный? В этом мире нет ничего абсолютного. Ничего

нельзя доказать полностью. Все чаще мы доходим до непонятного и нерешаемого.

«Он привез нам подарки с точки зрения печенья».

Хорошие генералы во время войны берегут солдат, продумывают сражения, побеждают. В мирное время хороших генералов не бывает, все они требуют боевого оружия, стремятся к войне.

Придет день, когда Россия повинится перед народами, которых советская власть выселила, выслала, — черкесами, немцами поволжья, калмыками, балкарцами, чеченцами. Нам помешала это сделать Победа, известно, что победителей не судят, мы даже сами себя не желали судить. Немцы, те повинились перед евреями, немцам легче, они потерпели поражение.

— Россия — страна сирот, — сказала мне директриса детского дома. — Отцы либо сгинули в лагерях, либо на фронте. Сироты выросли, вырастили своих детей, а дети уехали за границу, и стали родители снова сиротами. Я работаю в системе детских домов больше тридцати лет. Сиротство — это наш русский феномен. Дети репрессированных, они, как ни странно, вырастают хорошими людьми, в них есть здоровое чувство протеста, они хотят доказать, что они не сломаны, что они не люди второго сорта. Но есть другие — дети воров, бандитов, проституток, всякой уголовщины. У них проявляются гены, я не знаю, что это. Если их даже малышами берут усыновлять, то редко из них получаются порядочные люди, по моим подсчетам, всего процентов двенадцать, все остальные следуют за своими родителями.

«Работать бы как прежде, по совести, а жить по-капиталистически. Ходить на работу, это еще куда ни шло, но вкалывать там все часы без перерыва — извините. Раньше можно было курить, обсуждали события, телевидение, разные передачи, книги, в рабочее время духовная жизнь кипела, культура повышалась. Нынешний строй не способствует росту духовности. На работе все чем-то заняты, не с кем перекинуться ни в пинг-понг, ни в шахматы, живем без обмена

новостями. Не чувствуется коллектива. Как мы не ценили советской жизни!»

Американский писатель-публицист Казинс пропагандировал лучшее, по его убеждению, лекарство от всех болезней: с м е х. Он испробовал его на себе. Болел тяжело, так, что кардиологи еле удерживали его на этом свете. Он попросил показывать ему комедии, рассказывать анекдоты, всячески веселить. Восприняли просьбу как блажь. Больному пошли навстречу. Приглашали комиков, клоунов. Казинс доказывал, что при смехе что-то выделяется, работает биохимия. И представляете, сработало.

Это был веселый, милый человек, он возглавлял американскую сторону ■ дни нашего визита в США. Его исцеление произвело впечатление на медиков, правда, потом вспомнили, что подобное средство давно известно. Ничего нового под луной не бывает. Итак, он выздоровел и стал автором нового средства. Которое тоже вскоре позабудут.

Казинс пригласил нас к себе на вечеринку домой, случай редкий, нас — девять писателей плюс десять американских.

Посреди вечера меня позвал глава нашей делегации Федоренко. Он возглавлял иностранную комиссию Союза писателей, возглавлял журнал «Иностранная литература». Он был крупный начальник, всегда что-то возглавлял, имел звание посла, что причиняло много хлопот и огорчений. Когда мы прилетели в США, он был уязвлен тем, что в Вашингтоне его в аэропорту не встретил посол.

— По протоколу положено, — жаловался он мне, — посла должен встречать посол.

— Так вы же давно не посол.

— Посол звание пожизненное. Как академик!

Послом он был при Сталине ■ Китае. Он сопровождал Мао и был на их встрече со Сталиным. Это на него сильно подействовало, до сих пор он пересказывал, как кто говорил, каждый жест, каждое междометие одного вождя и другого. Глубочайшее историческое значение он был обязан запечатлеть, беда была в том, что ничего про эту встречу он писать не мог и тогда, и поныне.

Итак, он пригласил меня, я подошел, он сидел с Казинсом в углу гостиной и американской журналисткой, другом дома,

рослой сорокалетней дамой, красивой, большеглазой, никакой косметики, ранняя седина не закрашена, все это было симпатично, и по-русски она говорила коряво симпатично, вспоминая свою московскую жизнь.

Оказывается, меня призвали как фронтовика. Разговор у них шел о втором фронте, слишком поздно его открыли, как доказывал Федоренко. Собственно, когда исход войны был уже предрешен. Союзники не считались с тем, как гибли советские солдаты. Двадцать миллионов — он самодовольно подчеркивал эту цифру как свой козырь. У него были круглые навывкате глаза, веселые. Двадцать миллионов!

— Разве ■ этом виноваты союзники? — спросила американка. — Вы ведь не открыли второй фронт, когда немцы напали на Европу.

— Давайте лучше послушаем фронтовика, — сказал Федоренко и похлопал меня по плечу.

Конечно, мы ждали второго фронта, чем дольше, тем больше, мы негодовали на союзников: чего они тянут, готовятся? Но если мы не выдержим, если падут Ленинград, Сталинград, Москва, то тогда вся их подготовка ни к чему, без нас они рухнут. Мы еле держимся. Кое-кто говорил, что они нарочно тянут, чтобы мы ослабли...

Я высказал это как можно мягче, дело прошлое, да и эта славная бабенка была ни при чем, не она медлила.

— Но ведь мы вам помогали, — сказала она. — Раз вы были на фронте, вы, наверное, помните.

— Чуть что, они предъявляют свою тушенку, — и Федоренко подмигнул мне.

— Кроме тушенки мы послали четыреста тридцать тысяч автомашин, — мягко сказала американка, — «Виллисы» и «Студебеккеры».

На «Виллисе» носился вдоль нашей танковой колонны комдив. Могучая была машина. Я однажды проехался на ней, она брала подъемы не хуже танка. Я вспомнил и «Студебеккеры». Не чета нашим полуторкам.

— Еще был американский шоколад, на Ленинградском фронте мы от него сразу пришли в себя. Мне вспомнилось, как мы рубили светло-коричневые глыбы шоколада, и вкус горько-сладкий, и крошки, которые тоже делили. Шоколад был потрясный.

Еще мне достался фонарик, а в конце 1942 года нам выдали по меховой жилетке, как-то они назывались, уже не помню.

— А танки, три тысячи танков вам сумели доставить наши корабли, — сообщила американка, — а телефоны, а рации...

Она, видно, неплохо знала или подготовилась про этот ленд-лиз.

— Насчет танков не надо, танки ваши на бензине были плохи, — я смягчил, как мог, потому что в самом деле это были никудышные машины.

— Это говорит танкист, — сказал Федорченко, — так что не будем преувеличивать.

— Нет, что было то было, Николай Трофимович, лично я благодарен, я бы слег от дистрофии, а может, и вообще бы загнулся, они нас сильно поддержали.

Мне хотелось отдать должное тем парням на транспортах, что везли нам через Мурманск жратву и взрывчатку, там потопили немало пароходов. В сущности, мы так ни разу не отдали должное тем парням. Наши начальники быстро перессорились, мы и опомниться не успели, как они объявили друг другу холодную войну. На обратном пути Федоренко стал выговаривать мне за восхваление ленд-лиза. Не надо нам снижать ценность нашей Победы, отдавая ее американцам, англичанам, разгром Гитлера наша заслуга, они же хотят разделить Победу. Не стоит помогать им...

В мягкой его настойчивости чувствовалось требование признать свою ошибку. Известно было, что руководитель делегации пишет отчет, что было, кто как себя вел, какие замечания. Кто-то «там» читает и выносит решение — этого больше не выпускать. Такие решения в мой адрес уже выносились. Наверное опять повторится...

Цивилизация XX века была технической, а не человеческой, она себя не оправдала.

Говорят, XXI век — век информации. Общение через границы — это то, чего нам не хватает. Рассказывать о себе, откровенно незнакомым людям, находить друзей по духу, по вкусам — великое достижение нынешней электронной жизни, она через это может очеловечиваться. Пусть переговариваются по Интернету о пустяках, важно, что не молчат, а то ведь с женой и детьми разучились говорить.

Откровенность, вот что восстанавливается. Откровенность, откровение — это важно для науки и искусства, и не только для них. Истинным знанием становится то, что появляется неизвестно откуда, его встречают недоверчиво, напрасно, оно надежнее, оно легче приходит душам открытым.



«Мы хором декламировали Маяковского. Я читал его стихи на выпускном вечере. Читал, будто свои собственные. Как мне хлопали, а Мария Львовна расцеловала меня и заплакала. Мои герои — Павка Корчагин и „железный“ Феликс Дзержинский, рыцарь революции. Меня выбрали в институте комсоргом курса. Я первый возглавил стройотряд. Я хотел ехать на целину. Не пустили. Но зато как мы работали в колхозе, какие построили сараи и малую ГЭС. Нам выписали деньги, так я сагитировал отдать их детскому дому. Из-за общественной работы я учился плохо. Инженер из меня получился неважный, но диплом дали как отличнику, понятно, потому что общественник. Считался хорошим организатором, а все сводилось к чему — давай, давай!

Назначили директором электростанции. Я пропадал на работе до позднего вечера. Выбрали депутатом горсовета. С восторгом ринулся своим избирателям добывать квартиры, помогать больницам моего района. Я разъяснял, агитировал за советскую власть. Меня послали на встречу с французскими рабочими, так я им такую речь закатил. Мы с женой продолжали жить в коммуналке. Я думать не смел, чтобы свое депутатство использовать. Я свет тушил в коридоре, чтобы сэкономить энергию, хоть на секунду приблизить коммунизм. Скажи, почему теперь стыдно вспоминать об этом? Что же, я был дураком? А теперь, значит — я умник?» (рассказ Дмитриева И. И.).

Идеи свободны, на них патентов не дают.

Не случай был неприметен, а случай не встретил зрячего человека.

Мне казалось, я писал то, что думал. Но думал ли я честно, не лукавил ли? Скорее всего, я не думал, а повторял чужие мысли.

«Тайна призвания — одна из самых глубоких тайн, это тайна жизни!» (Сергей Аверинцев).

Большинство людей за всю свою жизнь так и не успевает узнать своего призвания.

У Эренбурга Хулио Хуренито, став комиссаром, отменил всякое искусство впредь до окончания мировой революции, «чтобы оно ей не мешало».

Нашел свою запись 1957 года: «Наш советский строй учит людей мечтать, это оплодотворяет советскую науку. Наука капитализма хиреет, не имея будущего. Капитализм сковывает воображение ученого, воспитывает в нем трусость ума...»

И далее в таком духе. Писал убежденно, не сомневаясь, что это так и есть. Был 1957 год. Уже после XX съезда, я считался либералом, да что там — меня уже прорабатывали, кто-то требовал выслать из страны вместе с Дудинцевым, Яшиным, а я, оказывается, твердил свою правоверную молитву.

Блескучая капель бьет звучно, отстукивает в каком-то ритме мелодию. Она за окном, это точно мелодия, она то появляется, то пропадает в каком-то современном ассонансе. Темп убыстряется, чаще, чаще, и вдруг пролилось и стихло. Значит, копится. Тишина сомнительная, не то передышка, не то задумалась.

Я лежу, слушаю. Музыку на концерте не всегда слушаю с таким интересом.

Делая ремонт, она увидела приклеенную снизу, к полке бумагу. Оторвала. Это было стихотворение Е. Евтушенко «Наследники Сталина».

Вспомнила, как сорок лет назад получила его от знакомых. Они предупредили, что могут их найти по машинке, у каждой печатной машинки свои особенности. Как она копировала фотоаппаратом.

Ныне смотрела на этот листок с улыбкой и любовью, думая о том, как перемешались тогда страх и мужество.

В Союзе писателей я еще застал писателей дореволюционной России. Была Фортунато — широко известная когда-то детская писательница. Она по случаю глухоты ходила со старинной слуховой трубой. Был Березарк, критик, страшно неопрятный старик. Но знаток театра, писал стихи. Жив был Леонид Борисов, первый его роман (1927 г.) одобрил М. Горький. Был Николай Буренин, друг М. Горького, он сопровождал Горького в Америку, много общался с Лениным, вождь просил его не вступать в партию, выгодно было, чтобы Буренин из состоятельной семьи домовладельцев оставался беспартийным. Он рассказывал мне интересные истории про Ленина и других, про тайные дела партии — как добывали оружие, взрывчатку, про партархивы. Как всегда, я ничего не записал, полагал, что успею, или что Буренин будет жить всегда, бог знает, чего я полагал. Воспоминания, которые он публиковал, куцые.

НАША ЦЕНЗУРА

В фильме К. Симонова о разгроме немцев под Москвой есть сцена. Жукова спрашивают: «Были ли вы уверены, что удастся отстоять Москву в 1941 году?» «Нет, не был уверен», — отвечает Жуков.

Симонова попросили изъять этот ответ, это, мол, не соответствует правде. «Как так, это ведь сам Жуков говорит!» — «Все равно не соответствует».

Симонов дошел до самых верхов, протестуя, так ему и там сказали: «Цензура права».

Писатель, как сказал В. Гюго, не заканчивает книгу, он ее покидает.

Л. Толстой негодовал на Шекспира за «Короля Лира», написал специально большую работу, утверждая, что драма вызывает отвращение и скуку. А спустя четыре года сам, подобно Лиру, бросил свое королевство, ушел из дома, направился в Оптину пустынь и по дороге умер. Что это было?

— Ты бы лучше с Павки Корчагина пример брал.

— Если бы Павка знал, что вы сделали с советской властью, он бы к белым ушел, а вас перестрелял наверняка.

«Русские такие-сякие, лентяи, пьяницы, воры» — нагородили такое за последние годы и сообща создали миф, сводный портрет русского человека, удобный прежде всего для иностранных людей.

Мы в свою очередь тоже рисовали бездуховных американцев, неуклюжих толстяков, вскормленных в «Макдональдсах».

Но скажите мне, пожалуйста, почему русский человек, попадая в ту же Америку, становится преуспевающим бизнесменом, ученым, врачом? Преодолевает рогатки разных экзаменов, языковые, профессиональные, обгоняет и американцев, и других? Откуда такое, если он лентяй?

Захожу к приятелю ■ обком, чего делаешь, спрашиваю. Пишу письмо рабочих в газету. О чем? Возмущены романом Дудинцева, осуждают.

В Ленинграде улавливали скрип дверей в Москве на Старой площади, в ЦК.

Вы уж извините, на повышение пойти не можете, вы тихо говорите, голос слабый.

1990 г. 7 ноября, лозунги несли такие:

«Доколе будет КГБ угрозой жизни и судьбе?»

«Кремлевская мафия не бессмертна».

Тимофеев-Ресовский любил повторять: «некисельность жизни».

Человек человеку — человек!

Санаторий «Дюны».

Пришел к директору разъяренный секретарь обкома Бобков: «На меня в парке собаки напали. Что у тебя творится? Знаешь, чтоб с тобой сделали, если б собаки съели члена ЦК!»

Из письма школьника:

«Предлагаю поставить памятник Галилею, потому что он заставил Землю вертеться».

Сделали ли люди заметный шаг за последние 1000 лет, даже за 2000 лет? Как были гении, так и есть, как были идиоты, так и есть.

— Мама, а почему ты покупаешь только белую цветную капусту?

— Другой нет.

— Ты меня шутишь?

«Вернулся пьяный и стал произносить всякие добавочные слова».

Когда она вышла, директор сказал:

— У нее мысли не по рангу.

Где-то там, в глубине мозга, наверняка у меня имеются умные мысли. Да вот как извлечь их оттуда?

— Вдумался в песню про вратаря:

Ты представь, что за тобою
Полоса пограничная идет.

То есть, не пропускай мяч. То есть, не пропускать за границу. Для этого и существовали пограничные службы — своих держать.

Англия для меня лично самая уважаемая страна. И по своей истории, и по устройству. Я люблю Лондон. Это город, где могу без конца ходить, что я и делал, а устав, мог там отдохнуть где-нибудь в сквере, летом разлечься на траве, переспать и идти дальше. Лондон сохраняет свою историю не отдельными памятниками, а всем бытом своих районов и кварталов.

Англия отличается тем, что все попытки ее завоевать со времен Наполеона и вплоть до Гитлера были обречены на

неудачу. Не потому, что она так укреплена или ■ военном отношении неприступна, а потому, что она не хочет быть ничем другим, кроме Англии, и не может быть ничем другим. Даже если бы Гитлер завоевал ее, там не мог бы удержаться фашизм, она, английская монархия, по своей природе, по своему консерватизму, обречена быть именно Англией, с ее традициями и складом жизни. Можно считать это вольнолюбием, а можно считать это ее натурой. Британский лев не может превратиться ни в слона, ни в орла. Предпоследний раз я был ■ Англии семнадцать лет назад, а в последний раз в 2004 году. Приехал — и пошел посмотреть на решетку Гайд-Парка, что там изменилось. А ничего не изменилось. Все так же висят картины уличных художников, все так же эта уличная выставка тянется на несколько кварталов.

Когда Петр Леонидович Капица посетил в Лондон спустя 36 лет и его пригласило Королевское общество на обед, он забеспокоился, где бы достать мантию члена Королевского Общества, потому что надо в ней являться на обед. Его спросили: где же ваша мантия? Он говорит, да я не знаю, я ее повесил 36 лет назад. Пошли, посмотрели — а она там же и висит. Вот что такое английский порядок жизни. Это не застой, это стабильность, это надежность. Когда меня пригласили в редакцию газеты «Таймс», главный редактор показал мне свой кабинет. Он был обставлен тяжелой старинной мебелью, дубовой, времен королевы Виктории. Он мне с гордостью сказал: «Это кабинет первого главного редактора газеты». Тот же стол, те же чернильницы. И в этом прелесть и красота их жизни по сравнению с нашей. Мы ведь непрерывно хотим обновляться. Каждый новый начальник меняет обстановку в своем кабинете, показывая дурной вкус и самомнение.

Мы как живем? У нас ведь не прочтешь особых похвал другим народам. Мы не славим успехов китайцев, филиппинцев, южнокорейцев, а уж тем более не чтим порядки, успехи европейцев и не учимся у них.

ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ МЕДНОГО ВСАДНИКА

Я помню, как освобождали от укрытия в 1945 году памятник Петру. Долго и трудно открывали деревянный футляр, отдирали доски. Оттуда сыпался песок, показались рваные

мешки, и начал появляться Петр. За ним конь, конская голова. Внизу кругом стояла толпа. Голова Петра была целой, без повреждений. И конь тоже оказался целым, все заплодировали и стали кричать «Ура!»... На верх полезли мальчишки, принялись доставать из песка осколки снарядов. Ни один из осколков не дошел до статуи. Все-таки она уцелела. И тут из толпы один мужчина в берете, мне сказали, это был скульптор Крестовский, начал рассказывать, как в 41-м году предложили этот памятник Петру как величайшую ценность снять со скалы и для того, чтобы спасти его, осторожно опустить в Неву тут же у набережной. Скрыть под водой. Уже начали готовиться, разыскали кран, но в последний момент ■ Управление по охране памятников пришел архивариус и сказал, что в архиве 1812 года он нашел интересный доклад императору Александру I — там один петербургский старожил писал про свой сон. Явился к нему Петр Великий во сне и сказал, что «покуда мой памятник стоит в граде сем, ни одна вражеская нога не вступит в него».

Это повлияло на ленинградское начальство, и в последний момент решили памятник не тревожить, укрыть мешками и засыпать песком не только пьедестал, но и весь памятник.

По камню стали забираться женщины со швабрами и сметали прилипший песок с брюха коня и с ног царя.

История казалось бы, забавная, вовсе не свидетельство о панических суевериях в городе первого военного лета 1941 года. Все не так просто, оказывается, предание сие не миф. В 1812 году, когда появилась опасность вторжения французских войск в Петербург, император Александр I решил снять статую Петра и увезти ее из города.

Отпустил для этого статс-секретарю деньги.

Но некий майор Батургин явился к князю Голицыну Александру Николаевичу и сообщил, что его преследует давно сон, как Петр съезжает со скалы и скачет на Каменный остров ко дворцу, вызывает императора Александра, говорит ему, что «покуда я на месте, моему городу нечего опасаться». Голицын, известный сновидец, передал все это государю, и статую оставили в покое.

Что сообщают сны, мы не знаем. Есть вещие, есть сны-открытия, бывают всякие, что-то они означают. В прежние времена их смысл толковали куда лучше, чем ныне, у людей

было сильнее чувствование, они верили себе, своему под-
сознанию.

В школе:

— Если Пушкин — наше все, то зачем мы проходим Тол-
стого?

В памяти остаются не наказания, а помилования, не месть,
а прощение. О генерале Франко нам в Испании рассказыва-
ли, что вместе с республиканцами он похоронил своих фран-
кистов, всем был поставлен общий крест. Вот и нам бы — и
белогвардейцам, и красноармейцам совместный крест прими-
рения.

— Послушай, Христос-то, оказывается, был еврей? Чего
же мы так на евреев кидаемся? Их уважать можно за то, что
подарили нам Христа. А то, что распяли его, так это положено,
пророков распинает свое отечество, не чужое. Достоевского к
смерти приговорили, потом на каторгу. Сахарова уничтожали,
сослали мы сами. Французы Жанну д'Арк на костре сожгли.
Президента Линкольна, который рабство отменил, убили,
царя Александра II, который крепостное право отменил, на-
звали Освободителем и убили. Все делали свои же.

— Легче было выиграть войну и спасти социализм, чем
избавиться от него, — уверял меня мой друг Булыжкин. А он
прошел всю войну и знал, что это такое.

Я согласился с ним. И подумал о том, что у нас нет ни
истории войны, ни послевоенной жизни, ни вообще истории
СССР. Мы проиграли «холодную войну», но позорно ли это
поражение? Сомневаюсь. Все эти переживания не попали и
вряд ли попадут в Историю.

— Быть свободным, чтобы выбрать себе хозяина?

— Курс лекций по Sex'у он не посещал и схватил двойку. Не
мог ответить на простейшие вопросы. А слыл Дон Жуаном.

«Любовь требует времени, а его нет», — обычное возраже-
ние мужчин, а теперь и женщин. Жизнь ускоряется.

Одна французская проститутка сказала нам:

— Это вы, русские, придумали любовь, чтобы не платить за нее денег.

Мебель у него югославская, аппаратура — японская, вина — французские, обувь — итальянская, унитаза и вся сантехника — чешские, машина BMW — немецкая, он считает, что нет в нем национальной ограниченности. Хочется иметь что-то отечественное, а что, не знает.

— Десять раз мы писали в этот журнал, а ответа не было.

— А нам ответили. Но лучше бы не отвечали

— Почему?

— Через семь месяцев пришел ответ, начинался он так: «Спешим ответить...».

Жизнь прекрасна,
Что удивительно.
(Не Маяковский)

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД, МАЙ, 1942 ГОД

Гололедица, но из труб течет вода. Полощут белье на Литейном. Питаются травой, первыми листочками, щиплют, как козы. В квартире, куда я пришел, учительница литературы рассказывает, что «согреваются прозой». Лучше всего горят романы. Все жильцы, женщины, собрались вокруг буржуйки, закутаны в одеялах. Маленькие улыбки иногда появляются на лицах, пробиваются, как трещины.

Футбол после войны был для всех ленинградцев единением. И общением. Люди вышли из своих убежищ, из одиночества. Стадион «Динамо» был переполнен.

Одиночество чем тяжело — помогать некому.

Наше историческое прошлое все время в ремонте, в лесах.

Он предпочитал быть там, где дают ордена, а не там, где их заслуживают.

«Талант — это в юности хорошо, а в наши годы нужен чин», — сказал мне заведующий отделом культуры в Архангельске.

ПИТИРИМ СОРОКИН

Будучи в Гарварде, я попросил кого-то из дирекции Университета устроить мне свидание с Питиримом Сорокиным. Что я знал о нем? Да, в сущности, лишь то, что его раскритиковал Ленин, что его выслали из России в 1922 году на знаменитом «профессорском пароходе». Здесь, в США, говорили о нем с восхищением, он стал одним из создателей социологии, науки, которую у нас, тогда в 60-е годы, терпеть не могли.

Жил он в Гарварде в своем доме. Принял меня в большой гостиной, высоченный потолок, на стене длинная картина «Москва», кажется, Добужинского. И сам Питирим был тоже вытянутый, узкая симпатично-приветливая физиономия много думающего человека, готового сообщить вам, ответить, поделиться... Рассказал мне, что из его деревни вышел еще один, может, известный мне человек — скульптор Эрзья. Что сам Питирим обучал детей нескольких президентов США. Разговор проходил беспорядочно, я не сумел использовать полученное время. Его занимала проблема альтруизма, то чем у нас не занимались. Если бы... На прощание он подарил мне оттиски своих последних статей с автографами.

Живя, работая в таком успешном центре Западной цивилизации, он увидел, как она деградирует, как уменьшает божественное в человеке.

Позже я читал материалы наших конференций, посвященных Питириму Сорокину. Там звучали его мотивы катастрофичности жизни. Сомнения Сорокина в могуществе человеческого разума.

Из нашего разговора я мало что запомнил. Записать не удосужился, еще раз упустил подарок судьбы.

сз

Покидая Париж, Петр Великий сказал, что хорош город, но воняет. Известно, что во времена Людовика XIV даже во дворце царило зловоние, которое старались заглушить

духами. Король духами опрыскивал себя, и придворные делали то же.

Однако замечание Петра вспомнилось мне, когда Вадим Валентинович Знаменов, директор Петергофского заповедника, показал мне ■ Монплезире туалет. Оказывается, Петр сделал его смывным. В России это была новинка. Возможно, нечто подобное он видел в Голландии. Так что Монплезир, где Петр любил бывать, был избавлен от вони. Может, оттого Париж разочаровал его вонью?

Петровский туалет Знаменов восстановил, так же как и дворцовую кухню и прочие подробности бытовой придворной жизни. Это придало музею особый интерес. Потому как кроме парадных зал, мебели, картин и прочих красот появилось представление, как тут люди проживали в XVIII веке. Мылись, стриглись, что носили, ели, страдали от блох...

ДАВНИЙ РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЕМ ФРЭНКОМ ХАРДИ ИЗ АВСТРАЛИИ (1992 г.)

Он неплохо говорил по-русски — наследство, которое он получил от своих дедушек и бабушек, эмигрантов.

— Слишком много я не понимаю у тебя. Ежедневно не понимаю. Неделью в Москве и уже четыре дня в Ленинграде. Почему такие длинные очереди везде? Люди стоят, не работают.

— В очередях люди общаются, у вас клубы по интересам, у нас очереди тоже по интересам. Например, стоят за капустой. Обсуждают, как ее готовить, солить, где купить подешевле.

Ужас, сколько у него накопилось вопросов. Многие мне даже ■ голову не приходили.

— Почему у вас дети так долго живут с родителями? Почему у вас не продают экологически чистых продуктов? Почему у вас так много талантливых инженеров и такие плохие приборы? Почему я много раз давал в такси на чай, а они мне не говорили «спасибо»? И в магазине не говорят «спасибо», если я покупаю. В ресторанах мне никто не улыбался, они не хотят, чтобы я пришел? Почему у вас рабочий класс его величество, а ученые — не величество? Почему всем надо иметь паспорт? Почему у вас не продают американских книг? Почему в таких красивых домах так плохо на лестницах и еще темно? Почему нет совсем консьержей?

В докладе на президиуме Академии наук секретарь ЦК КПСС Л. Ильичев подчеркнул, что «кибернетика вправе рассматривать человеческий мозг как систему для переработки информации, но необходим при этом комплексный союз с диалектическим материализмом, иначе мы будем отставать».

Дурак действует так, что его образ действий можно предсказать довольно точно.

У чиновников наших накопился свой фольклор:

— Чем меньше ты нужен, тем быстрее тебя выдвинут.

— Даже среди твоих однокашников может оказаться твой будущий начальник, причем не обязательно из первых учеников.

— Если у тебя все идет хорошо, не беспокойся, это не долго.

— Если у тебя все в порядке, значит, ты плохо информирован.

— Начальник редко любит своего начальника, он любит начальника своего начальника.

— Если начальник посредственность, ему приходится искать себе заместителя еще бездарнее.

— Прибор должен работать не в принципе, а в кожухе!

— Истинно счастлив тот, кто сознает, что то, что у него есть, и есть все то, что ему надо (Л. Н. Толстой).

Бывает, держится, держится человек, не сдается, терпит и вдруг ломается. Есть усталость металла, есть, оказывается, усталость души.

Ломается, когда уже от него готовы отступить. Или отступились. Так бывало с Константином Симоновым. Выступил он против Борщаговского, своего приятеля, обвинив его в космополитизме, можно было продолжать молчать; зачем-то выступил. Выступил против Зоценко, вовсе было необязательно, мог отговориться, не ехать в Ленинград, это было уже после смерти Сталина. Борис Слуцкий присоединился к проработчиком Пастернака. Надо оговориться — оба они потом остро переживали свою слабость.

Фадеев написал позорную статью о романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Никто его не заставлял, а вот поди ж ты.

Неизъясним человек, как его ни расщепляй на составляющие, всегда останется нечто, от чего все хорошее кувырком, такую ляпу выдаст, руки разведешь.

СТРАНА НЕУБЫВАЮЩЕЙ ЛЖИ

Когда я был студентом, жизнь улучшалась: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Очереди росли, а «жизнь улучшалась». Социализм приближался. Запад загнивал. Сельское хозяйство имело все больше успехов.

Всей лжи не перечислить.

Война уличила нашу власть во лжи, поймала, можно сказать, с поличным.

Но и после войны вранье продолжалось. Хотя бы о наших потерях, солдатских. Сперва семь миллионов. Потом четырнадцать. Наконец, через полвека, генералитет дал цифру двадцать миллионов. Еще через десять с лишним лет она выросла до двадцати семи миллионов.

Эпоха Горбачева запятнала себя ложью Чернобыля. Эпоха Ельцина — ложью чеченской войны. Скрывали поражения, потери. Гибель подлодки «Курск» показала, что новое правительство насчет соврать все то же. Иностранные наблюдатели помещали скрыть аварию. Все службы были застигнуты врасплох и ввали вразнобой: «Экипаж еще жив, не беспокойтесь», «Наши молодцы могут еще неделю продержаться», «Виновата чужая подводная лодка», «Диверсия».

«Не беды сушат душу, но обиды многие, от обид выгорает душа человека, и ничего не вырастет на ней уже угодное Богу», — написано было в древности.

От обид и несправедливостей и физически гибнут. Так на моих глазах погиб поэт Володя Торопыгин, не мог справиться с чувством несправедливости, когда его ни за что выгнали с должности главного редактора журнала. Рак сожрал его. Примерно то же происходило с Александром Твардовским, затравили его из-за «Нового мира», и вскоре — рак.

Травля, проработки, облыжные обвинения, ярлыки — со всем этим у нас не стеснялись. Инфаркты, онкология, инсуль-

ты — за это никого не судили, не привлекали, на самом же деле происходило убийство.

Как надоело в свое время слышать: «Вы, писатели, должны служить народу». Художник никому не должен служить. Служить он должен своему замыслу, или, как писал Б. Сарнов, «своему дару», не считаясь с мнением власти, критики, черни.

Каждое дерево, большое, малое, включено в производство природы. Растет день и ночь, цветет, дает приют птицам, хранит влагу, сбрасывает листву, наполняя почву, а когда свалится, то кормит жучков, червяков, пока не рассыплется в труху и станет землей.

И так каждая травинка, их жизнь целесообразна, необходимая часть природного цикла. Хочется сказать «замысла», где все гармонично прилажено, согласовано; то, что нам кажется бедствием, возможно, необходимый зигзаг, потребность организма Земли. Неразумность чаще всего идет от человека, природа болеет им.

ЖИВОТНЫЕ ТОЖЕ ЛЮДИ

Шел я по лесной дороге и вдруг за поворотом услышал шум, птичий шум, хлопотание, такой встревоженный разговор. Завернул и увидел на дороге двух ворон. Одна с белым колпаком на голове, другая вокруг нее скачет и громко ей чего-то объясняет. Или нет... Я пригляделся: колпак — это был стаканчик, то ли бумажный, то ли пластмассовый, не поймешь, он сидел на ней глубоко, по самые плечи. Оттуда, из стаканчика, она о чем-то кричала. Вторая, свободная ворона, подскакивала к ней и клювом пыталась сдернуть стаканчик, ничего не получалось. Видимо, он сидел плотно. Как ее угораздило так засунуть голову — трудно сказать. Потерпевшая пробовала лапой стянуть с себя стаканчик и заваливалась на бок, на одной ноге устоять не могла. Подруга или друг подставила ей плечо, все равно не получалось, не хватало сил. Так они возились несколько минут. Потом вдруг та, что со стаканчиком, легла на спину и уже не одной, а обеими лапами принялась стаскивать с себя злополучный стакан. Поза была совершенно



человеческой. Стаскивала, стаскивала и таки стащила! Секунду-другую она лежала, отдыхая, потом перевернулась, встала на ноги, о чем-то они каркнули, выругались вдогонку, или нет, пожалуй, в их голосах звучало довольство, даже смешок.

Мне вспомнилась другая сцена, которую я наблюдал прошлым летом. Ворона нашла сухарь, большой старый черный сухарь. Она пробовала его расклевать, ничего не получалось, как видно, закаменел. Положила его на пень, не помогло. Посидела с ним, подумала и вдруг потащила его куда-то, смотрю — к луже. Расположилась у лужи и принялась макать свой сухарь. Помочила, подождала, попробовала, мало, опять помочила, так раза четыре, пока не убедилась, что он достаточно размок. Тогда она поклевала, а остаток в клюв и полетела кого-то угощать.

Был такой грузинский писатель Константин Гамсахурдиа, автор многих исторических романов (между прочим, сын

его — печально известный первый президент Грузии) так вот, Гамсахурдиа высоко ценил умственные способности ворон, особенно после одной странной истории. По возвращении из заграницы снял он себе комнату в Тбилиси и засел там за работу. Посреди дня во двор слетались вороны, и начинался крик, галдеж. Тбилисские вороны, уверял он, базарно-крикливы и чересчур общительны. Он выходил на крыльцо, швырял в них чем попало, ругал — они не обращали внимания. Этот приезжий, реэмигрант, чего он лезет, какое право он имеет мешать нам? Гамсахурдиа всерьез рассердился, очевидно, они обидели его, вели они себя вызывающе. Он попросил у приятеля-охотника одолжить дробовик. Зарядил его и в разгар вороньего гама вышел на крыльцо с ружьем в руках. Наступила тишина. Удивленная, почтительная тишина. Как только он поднял ружье, вся компания снялась и улетела. Назавтра сцена повторилась. Он выходил с ружьем; они замолкали и улетали. Он выстрелил всего однажды и то в воздух. Одно появление — и на целый день он был обеспечен покоем. Через неделю приятель уезжал на охоту, пришлось ружье вернуть. Гамсахурдиа загоревал, приятель предложил ему сделать деревянное ружье, выпилить из доски, покрасить черной краской. Так они сделали. Получилось вполне похоже.

На следующий день Гамсахурдиа, когда вышел на крыльцо с этой деревянной моделью, на какое-то мгновение шум смолк, вороны обернулись к нему, и Гамсахурдиа клятвенно заверил меня, что они расхохотались, захохотали на весь двор. Он все же поднял свою деревяшку, делая вид, что прицеливается. В ответ они повернулись к нему задом и зашумели еще сильнее.

Соседи издали не могли отличить настоящее ружье от подделки, а эти пройдохи мгновенно отличили.

Известно, что кошка и собака, вынужденные жить в одном доме, тем более в одной квартире, терпимо принимают соседство, бывает, что и сдруживаются. С одной такой парочкой я познакомился. Он — огромный пятнистый дог, она — сибирская кошка. Принесли ее в дом в младенческом возрасте. Поначалу он морщился, все же кошачий запах исконно был ему противопоказан, досталось ему это бог знает от каких далеких предков. Но дитя было беспомощно, и в конце концов он принял ее. Я увидел их, когда она подросла, и терпимость

их переросла в дружбу. Да, это была настоящая дружба, они вместе спали, ели, гуляли. На прогулку они отправлялись так — она шла у него под брюхом. Чувствовала себя спокойно и не боялась встречных собак. Посматривала на них со снисходительностью, позволяла себе поддразнивать их, шла, задрав хвост — принцесса!

Он заботился о ней, но и она о нем. Когда он порезал на улице себе лапу о стекло, она своим шершавым языком долго зализывала его порез, пока не вылечила. Тогда-то я впервые понял выражение «зализывать раны».

Не знаю, он ли научился говорить по-кошачьи или она по-собачьи, но факт, что они общаются и понимают друг друга. Получилась неплохая парочка.

А на днях меня познакомили со скульптором, который меня удивил. Специальность у него удивительная. Вернее — у нее, она женщина-скульптор. Она делает портреты лошадей. Именно портреты. Оказывается, у каждой лошади своя физиономия. Никогда мне в голову не приходило, для меня они различались лишь мастью да возрастом. А в самом деле, почему не чертами физиономии? И кошки, и мыши, и мухи, да, и мухи, вероятно, имеют неповторимость, лица индивидуальные, такие же, как и мы, люди. Портрет лошади такой-то, мухи такой-то, мухи-красавицы, мухи-уродки.

«У нас в институте была одна преподавательница. Я ей говорю: не могу эту задачу решить, сколько вам надо за зачет? Она отвечает: несколько, сам решай! Представляете? Я ее прошу назвать любую сумму, она — нет, иди решай. Бешеная какая-то. Мы ее выжили. Есть правила — и не выпендривайся!»

ПРОИЗВОДСТВО ДОБРОТЫ (2007 г.)

Недавно по телевидению транслировали выступления молодых красоток. Одна для своей карьеры готова переступить через людей, пойти на что угодно, лишь бы пробиться. Никого не будет жалеть на этом пути. Готова обманывать, воровать, лгать, лишь бы не попадаться.

Вторая: «Я мечтаю потанцевать с олигархом, я бы его не отпустила, я бы сделала так, чтобы отомстить».

Чем они хуже того Валентина Катаева, который пришел к Бунину в 1919 году, сказал, что готов убить, зарезать, чтобы иметь хорошие ботинки и шляпу.

Разве что тогда это было исключением.

Ныне этическое пространство сузилось. Сегодня исключением стали принципы честности, альтруизма, верности своему слову.

Оценивать движения жизни современникам следует крайне осторожно, наверное, все же производство добра падает, зла производится больше. Конкуренция растет. Тесно.

В ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Подвыпивший мужичок, похожий на петуха (нос клювом, глаза красные, навывкате, подбородок скошен, волосы рыжеватые торчком), добродушно веселится, заговаривает с пассажирами полупустого троллейбуса. Перед остановкой обращается к сидящей рядом девице:

— Хотите, скажу сколько сейчас людей войдет? Шесть! Считайте.

Остановка. Все считают. Шесть. Смеются. Перед следующей та же игра. Три войдут, четыре выйдут. И точно. Заинтересовались.

— Два! — объявляет он.

Входит один. Но в самую последнюю минуту, раздвинув дверь, всовывается второй. Девушка загадывает ему: «А сколько выйдет?» Пожалуйста, он называет. Кто-то спрашивает: «А сколько у меня монет?» Показывает кулак. Мужичок грозит ему пальцем: «Ни одной!» Тот разжимает пустую ладонь.

Мужик спохватывается, идет к дверям, перед выходом оборачивается и, хихикнув, говорит:

— А в декабре Сахаров вернется! — И спрыгивает.

В троллейбусе наступило молчание.

Г. Федотов писал, что юродивые — те же святые, но с вызовом, с загадкой.

Падает снег, словно пух, вяжет и вяжет что-то, так монотонно это мелькание. Связывает небо и землю, и всех нас, и ели, и шоссе, и машины, которым не умчаться от него.

В духовных книгах перечислены главные греховные страсти:

1. Чревоугодие.
2. Блуд.
3. Сребролюбие.
4. Гнев.
5. Уныние.
6. Тщеславие.
7. Гордость.

Дух уныния отличен от печали, от него пропадает внутренний покой, он отбивает от дел и разленивает.

Со всем тщанием отцы церкви разрабатывали способы духовного совершенствования и как бороться с греховными страстями:

«При гордости — крикливость; в молчании — досадливость; при веселости — громкий смех; при ответах — колкость; в речи — легкость».

Как писали отцы святые:

«Все изгибы моего сердца преисполнились желчной горечью».

«Мира сего печаль ропотливая, исполненная отталкивающей строптивостью, бесплодного горевания...».

«Дух тщеславия силится уязвить всякого собственными его добродетелями».

«Душа его покрылась мраком».

Он умел жить внутри своего ума.

Когда муж привычно перед сном чмокал ее ■ щеку, она думала о том, что даже ради такого поцелуя другой отдал бы многое, для того это было бы радостью, и то, что в глазах того такое прикосновение было бы событием, волновало ее и холодило к мужу.

С ней он чувствовал себя молодым, как когда-то, можно подумать, вернулись прежние мечты, надежды. Впервые за много лет не возникло желания обнять ее, поцеловать, было ощущение восторженного удивления перед этой розовой блузкой, маленькой теплой рукой, чистым нежным лицом. Но еще больше удивляло его, с какой робостью он прикасается к этой руке.

В ЗАЩИТУ ДАРВИНА

Этот произошел от обезьяны, этот — от Адама. Так различаются все люди, на тех, у кого неспокойна совесть, и тех, у кого она всегда спокойна.

А вот Петр I не убоился на своем собственном приказе наложить резолюцию: «Отменить указ, потому что дуростью был учинен».

Сколько правителей настаивали на своем, клали головы (чужие), чтобы в них и мысли не закралось, что государи могут ошибаться.

То, что интересно, — спорно, то, что бесспорно, — неинтересно.

Горе хорошо сохраняет прошлое, память вьется, как плющ, вокруг потерь, несчастий.

После XX съезда я невероятно воодушевился, решил, что теперь все можно. Сел и написал за один день рассказ «Собственное мнение». Не стеснялся, не удерживал себя, не думал о цензуре, это было сладостное чувство, совершенно непривычное. Отправил тут же ■ «Новый мир». Главным редактором был тогда Константин Симонов. Получив, он сразу же позвонил мне, расхвалил рассказ, наговорил такое, что ко мне никто из домашних подойти не мог. Сказал, что рассказ маленький, его втиснут без очереди в номер, который уже в печать отдали. Номер вышел. Это был 8-й номер 1956 года. И сразу же появились хвалебные рецензии в «Комсомолке», в провинциях, зазвонили телефоны. Я ликовал. Но затем буквально через месяц журнал «Партийная жизнь» напечатал разносную статью некоего полковника Стародубцева. Фамилия в критике совершенно неизвестная. Как мне сказали, это псевдоним, обычный прием партийной критики, которая пряталась за вымышленными фамилиями. И далее начался откат. Как по сигналу, открылась кампания разносной ожесточенной критики. В «Литературной газете», ■ журнале «Коммунист», «Смелость подлинная и мнимая», «Ошибка журнала „Новый мир“», и тому подобное.

Физики, имея дело с элементарными частицами — «кирпичиками мироздания», время от времени задумываются — почему мир устроен так, как он устроен. Вопрос непосильный, тем не менее, манящий, он выводит из привычного круга мыслей.

«Даже когда Вселенной было несколько минут, — говорил мне академик Марков, — все было так, как ныне, то есть мир уже тогда был сделан так, как нынешний».

За что благодарен своей натуре — мало выступал, не рвался к трибуне. Будучи депутатом Горсовета, а затем народным депутатом, ни разу не попросил слова. Так что можно считать, бесполезный был депутат. Правда, иногда голосовал «против».

Наступает день, когда остатки листвы опадают разом. Листья сыпятся, как дождь. Они несутся по мостовой, бросаются за проезжающей машиной, догнать не могут, успокаиваются, начинают кружиться на мостовой, бегают наперегонки. Ветер подхватывает их высоко, заносит на улицы, где нет ни одного дерева. Мимо моего окна на пятом этаже гостиницы проносятся парочка рыжих листьев.

ВЛЮБЛЕННЫЙ

Он лучше видит красоту природы, он преображается. Воспринимает стихи, бормочет их, сам сочиняет. Токует, как глухарь, поет, как птица в брачный период. «Что с тобой?» — спросил я у Володи Святского. Он посмотрел на меня затуманено, и голос у него звучал туманно: «Когда она идет, у нее тело словно струится... Я жду, когда она поднимет глаза, боюсь, что я там увижу... Каждый раз она может увидеть, какой я некрасивый, ненужный ей...»

Было невероятно слышать от него подобное, это были не его слова, не его речь, обычно наглый, самоуверенный победитель, тон его вызывал у меня раздражение, а тут впервые появилось к нему сочувствие. Кто бы мог подумать, что в нем хранится такой робелый, боязливый.

Спустя неделю он совсем сник. Отвернула его, что ли? Мы не представляли, что он мог потерпеть поражение, неко-

торые считали полезным сбить с него спесь. Так-то так, но вид у него стал жалким. Пошла ли неудача ему на пользу? Не знаю.

ДАУ

Его одолевала суета. В Коктебеле на пляже он подбегал туда, где раздавался смех, крик, встревал в разговор. В это время слышался шум в другой компании, Ландау торопился, боялся упустить что-то стоящее, не находил, злился.

И со мной стал общаться лишь от любопытства, быстро разочаровался, но задержался, наверное, потому, что я умел слушать. Это иногда привлекает людей. Слушал я его с интересом, не спорил, слушал его вызывающие рассуждения о браке, о женщинах.

— Все интересные — длинноносые страшили. Женщина должна быть красивой, миловидной.

Неожиданно он вспоминал, как мать уверяла, что люди его не любят. Ему было 18 лет, и это мнение матери породило кризис, он принялся доказывать превосходство своего ума над другими. Выработалась ироничность, защитная, порой мало-приятная.

Один из физиков сказал: «Я могу переспорить любого, даже если я неправ, но Дау переспорит меня, даже если я прав».

Однажды он признался мне: «Нужно ли кому-нибудь то, что я делаю?»

Он занимался, насколько я понимал, теорией элементарных частиц — почему у них такая масса, такие свойства.

— А вдруг лучше заняться чем-то реальным, дающим быстрый выход?

Но тут же он одергивал себя, удивляясь молодыми из своего семинара: избегают братья за сколько-нибудь рискованную работу. Ненадежные результаты? Нет, не стоит, смысла нет.

Физик Алеша Ансельм жаловался на молодых — работать не хотят, хотят делать открытия. В первую очередь — великие. Студенты приходят, смотрят, как бы сделать открытие. Им сказали, что все значительное делают ученые в молодые годы. Так что нельзя медлить. Значит, все должны помогать им.

Маслозавод в Старой Руссе изготавливал 10–12 тонн масла и отправлял в Ленинград. Отправка происходила в определенные дни месяца, вслед за грузовиками двигалась процессия «Жигулей», это население ехало за маслом, и там, в Ленинграде, они становились в очередь.

Недавно справили пятнадцать лет, как город Старая Русса без масла.

В Старую Руссу приехал лектор из общества «Знание», его спросили, что будет после продовольственной программы, он ответил, что после продовольственной программы будет перепись населения.

Священник, любитель Достоевского, пришел в Старой Руссе к местному священнику, и они вместе пошли в дом-музей Достоевского. Директор музея, увидев их, не пустила, сказала: «В таком виде нельзя».

ПРИЕЗД БРЕЖНЕВА В БАКУ

Сентябрь 1982 года.

За месяц начались репетиции, собрали руководителей всех учреждений. Разнарядка: вашему институту две тысячи флажков, три тысячи бумажных цветов, на такой-то участок выставить столько-то десятков человек. Весь путь от аэропорта до резиденции, 18 км, всюду должны стоять люди. Репетировали. Ехала машина, ей кричали, махали, в одной руке флажок, в другой шарик, раздали тексты что кричать, одежда праздничная, нещадное солнце, жара, по четыре часа репетиции, за каждым участком следили руководители, кричали в мегафон: «Академия наук, становись!» Заготовлены были искусственные клумбы, их бросали на обочины, круглые, синтетические, яркие. Все стены домов вдоль шоссе покрасили в желтый цвет, чтобы было веселее и солнечнее.

КРУИЗ НА «ПОБЕДЕ»

1956 год.

В Афинах в археологическом музее я застыл перед женской головой, желтоватый глянец блестел пятнами на ее лице, и было впечатление теплой кожи, вот-вот дрогнут, откроют-

ся губы. Античные скульпторы умели придавать выражение полного спокойствия, еле уловимые оттенки настроения, не всегда понятного, у них всегда было «чуть-чуть», чуть задумчивое внимание, чуть грустная улыбка, чуть похоже на раздумье, поэтому приходится так долго смотреть на эти «чуть-чуть», или разгадывая, или вкладывая в них свое. Почти все женщины, все юноши прекрасны, но красота бесконечно разнообразна.

Великие творения всегда заключали в себе тайну. Иногда она появлялась много позже. Что, например, изображали отломанные руки Венеры Милосской? Как дополняли они ее спокойную красоту? Смотрел-смотрел, ничего не мог придумать. Ее совершенство связано с этой незавершенностью, пусть случайной, но пробуждающей много догадок. На них нет ответа. А если бы руки сохранились, сохранилось бы нынешнее впечатление? А вдруг этим мраморным обрубкам мы обязаны восторгу, который мы испытываем при свидании с ней? Но вполне возможно, что на бесчисленных рисунках и репродукциях мы просто привыкли видеть ее такой, всякий по-своему домысливает жест ее рук, то ли исполненных уверенности, то ли любовной тоски, каждый лепит по-своему.

С еще большей силой в том же Лувре процесс соучастия разгорелся у меня при виде Ники Самофракийской, у нее нет ни головы, ни рук, только торс с распростертыми крыльями. Осталось лишь движение, страстный порыв вперед, ветер треплет рыжеватую мраморную тунику, надувает паруса воображения, фигура Ники стояла на носу галеры, трубила в горн, она была поставлена на острове в память морской победы, одержанной в 306 г. до н. э. Наука может снабдить вас множеством подробностей события, существует восстановленный учеными первоначальный вид Ники, но когда остаешься один на один и вглядываешься в этот безголовый безликий торс, забываешь о том, что знал, начинает работать воображение, доделываешь Нику так, как тебе это хочется, есть неисчерпаемый материал для замысла. Оказывается, можно сохранить образ даже в обезображенном остатке.

Поразительна жизнестойкость, неистребимость этого творения, образ ликующей Победы кричит из каждой складки.

Высказывания наших экскурсантов о Венере:

— Неужели не могут восстановить эту скульптуру?

В Колизее:

— А почему не восстанавливают эти развалины?

— Какова кубатура Сикстинской капеллы?

— А лестница на нашем комбинате такая же, как и в Ватикане, ничего особенного.

На теплоходе хотели организовать встречу с москвичами. Жена министра сказала: «Это будет нехорошо — выпивать вместе с рабочими».

В соборе Св. Петра мраморные ноги статуи святого слизаны поцелуями миллионов верующих. Увидев это, одна из наших дам сказала: «Какой ужас, до чего дошел религиозный фанатизм, они искалечили статую».



Отец рассказал мне, мальчику, такую притчу:

«Христос шел позади своих апостолов, увидел подкову, мимо которой все прошли, поднял ее, в деревне продал кузнецу и за вырученные деньги купил вишни. Идут они дальше, Христос роняет одну за другой вишни, и апостолы всякий раз наклоняются поднять их».

Почему-то очень она мне запомнилась.

При взгляде назад, в прошлое, радость кажется более прекрасной, чем она была в действительности, потому что воспоминания доставляют радость, свободную от страха за то, что она исчезнет, и придают радости ту вечность, которая в настоящем просто невозможна. Время утрачивает ту силу, когда воспоминание — прошлое.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Легли поздно, он крепко выпил, так что не проснулся в восемь, когда открыл глаза, было десять. Привычно приподнялся, но тут же повалился обратно, сообразив, что выходной. На улице было еще темно, и в соседней комнате, где спали родные, была сонная тишь. Он снова задремал. Встал в один-

надцать, долго бродил не одетым, голова болела, завтракал неохотно, молча, ел соленые огурцы, чтобы как-то опохмелиться. Включил радио и снова лег. За окном рассвело, проглянуло солнышко, морозно заискрилось. Подумал, как хорошо сейчас на лыжах. Было приятно дремать и слушать музыку, передавали старые песни. Потом он долго брился, одевался, его позвали к телевизору, там шла комедия. Он просидел до конца, комедия была пустая, скучная, но было лень уходить. Вечером пришли друзья, пили, говорили то же, что вчера, сегодня это казалось почему-то глупым. Ночью он проснулся, внезапно, как от толчка. Долго сидел, не понимая, что случилось, почему он не ложится. И вдруг он вспомнил, что был Новый год, что сегодня начался Новый год, вспомнил свои обещания, много обещаний, целая программа, два дня назад, и три дня, он все откладывал на Новый год, мечтал, как он начнет Новый год, он делал это уже не раз, больше не хотел откладывать, сколько можно.

Но тут он сообразил, что сегодня уже не первое, уже второе января, первое уже прошло. Он испугался: как же так, когда? Не хотелось думать, что ничего изменить нельзя, никак. Тогда он спросил с вызовом: что же, разве он не имеет права отдохнуть в выходной день? Можно все начать с завтрашнего дня, все, что он задумал, чтоб ни минуты впустую, никакой болтовни... Но все же в этом было что-то не то.

В Библии сказано:

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность уже исчезли, и нет им более доли во веки ни в чем, что делается под солнцем».

Это про всех нас без исключения, это жестоко, страшно, даже думать об этом страшно.

Июль 1985 г.

Романов Г. В. — снят. Горе счастливых граждан Ленинграда не поддавалось описанию. Звонят друг другу, поздравляют, на работе все улыбаются, похлопывают друг друга. Типично, у нас не бывает, чтобы горевали из-за снятия начальника.

За что сняли — не сказано. Поэтому слухам нет конца. От самых романтичных («Выяснилось, что он потомок Романовых, тех самых», «Сошелся с певицей С., жену упрятал в сумасшедший дом») до самых прозаичных («Напился в Финляндии. Финны сняли фильм о его пьяных выходках, показали по телевидению после того, как у нас началась продовольственная кампания», «Взял на свадьбу дочери сервиз из Эрмитажа и расколотил его», «Выступил на Политбюро против Горбачева, истерику устроил»).

Слухов много, радость единодушна. Решение нового руководства вызвало одобрение. «Хорошо начали!» — сказал С. Алексеев, мой приятель по Ленэнерго.

Затем последовали другие смещения. Сняли Кунаева, узбекскую мафию погнали, в Молдавии убирают вождей, идет суд в Москве над «Мосторгом». Начались самоубийства: Щелоков, министр внутренних дел, его жена, сняли Епишева — Скалозуб из Политуправления армии и пошло-поехало.

Так кончается эпоха Брежнева.

Дочь, пьяница, пользовалась властью для воровства, мужа ее из милицейского лейтенанта был назначен первым замминистра внутренних дел Щелокова. Каждый родственник Брежнева обзавелся удостоверением «Родственник Л. И. Брежнева». Было много идиотского, все окружение старалось, несмотря на маразм генсека, продлить его существование на престоле, оно всех устраивало. Между тем сам Брежнев в первые годы своего правления был разумен, по натуре человек добрый, он старался по возможности избегать зла. Мне о нем хорошо рассказывал Аркадий Райкин, да и другие.

Черненко посмертно наградили орденом «За освобождение Кремля».

Большой пруд, оттуда с рассвета начинался крик, квак лягушек, громкий, звучный, на несколько ладов разносился он далеко. Вожделенное кваканье сливалось с птичьим гамом, с краком ворон, щелканьем соловьев, криком соек, дроздов, малиновок. Соловьи вырывались из общего хора, их чистая песня торжествовала. Днем, в жару, хор смолкал, к вечеру нарастал. Клекот лягушек продолжался до глубокой ночи.

При солнце видны были зеленые морды, неподвижно торчащие над водой. Глаза выпучены, при кваканьи лягушка раз-

дувается и выглядит, и звучит неприятно, что-то похабное, и то, как лягушки соединялись, как самец схватывал со спины самку и замирал на ней в тине, тоже было неприятно.

ФОРΟΣ

В Крыму, как известно, строили резиденцию президента Горбачева. Место выбрали наилучшее, на берегу моря, всех, кто там жил, переселили, без разговоров. Как возразишь — земля казенная, хоть в доме этом жили родители, деды — ничего не значит, земля государственная, следовательно, президентская.

Началась стройка. Под свист, улюлюканье, времена-то уже «отпущенные». Свистели, правда, негромко, а хоть и громко, начальству наплевать. Они быстро приспособились, порог слышимости был повышен.

Проект то и дело поправляли — то супруга президента, то охрана, то он сам. Денег не жалели. Мраморы, ценные породы дерева, бронза... Держава!

Разработана была специальная система, чтобы с моря не мог проникнуть аквалангист и чтобы с воздуха он не прыгнул. Это вам не Красная площадь, куда сумел приземлиться немецкий наглец. А уж с земли ему никак — тройная система.

Сдали. Приняли. Семейство Горбачевых прибыло, поселились. Через два дня упал карниз, угодил на дочь, сломал ей ключицу. Затем отключился свет. Затем вода. Зато охрана работала безупречно. Ни одна тварь не могла проникнуть ни с воды, ни с воздуха, ни с земли.

Предлагают убрать из Кремлевской стены урны с прахом Вышинского, Шкирятова, Жданова и других. Разные у всех списки.

Надо ли?

Тревожить прах умерших не принято, есть традиция почитания могил...

Этот хоть злодей, не трогайте, он уже не ваш. Кроме того, это ведь наша история. Страна устроила себе пантеон из Кремлевской стены, хороним там своих великих. Важно, кого считаем великими, кого назначили, кого славили, кому поклонялись: Джон Рид, Чкалов, Жуков, Киров.

Подправлять историю, закладывать дыры новенькими кирпичами? Делать вид, что тут ничего не было? Сооружать новую ложь? Убрав прах Вышинского, мы историю не исправим. Осудим? Да, но о таком ли осуждении мечтали миллионы репрессированных? Не самый ли это легкий способ? Кремлевская стена — это документ. Вот с какими вождями мы жили, вот кто правил страной. Надо ли производить отбор, делить на чистых и нечистых?

Хрущев на Новодевичьем кладбище — это тоже историческая акция против человека, восставшего на Сталина.

Захоронения ■ Кремлевской стене — это большой кусок русской истории, как-никак семьдесят с лишним лет!

Когда была советская жизнь, я не чувствовал себя советским человеком, а теперь очень часто чувствую.

— У меня никогда не было врагов, которых я заслуживаю, — сказала мне Ольга Федоровна Берггольц, — все какие-то шавки.

Маркиз де Кюстин советовал всем французским юношам поехать в Россию и раз и навсегда избавиться от недовольства своей страной. Сомнительный совет. Юноши русские, которых Петр отправлял за границу, как правило, возвращались. Французские аристократы после Великой революции охотно эмигрировали в Россию, многие приживались у нас. В наше время иностранные журналисты, студенты, побывав в России, стараются вернуться сюда. Плохой быт, плохие порядки, а что-то есть такое, чего нет на Западе.

ТРИ ЧТЕНИЯ В ТРИ ЭПОХИ

Так получилось, что рассказ Исаака Бабеля «Соль» я читал три раза в самые разные эпохи. Три чтения. Три эпохи. Всякий раз рассказ становился другим. Неузнаваемо другим. Что-то с ним происходило. Он как бы окрашивался в другой цвет. Со всеми хорошими рассказами такое происходит. Они меняются. У них меняется интонация, голос, вылезают новые подробности. Но тут дело было еще и во мне, через этот рассказ я обнаруживал собственные превращения.

В первый раз, это было до войны, рассказ восхитил меня революционным пафосом, я бы сказал, даже яростью своей романтики. Тогда еще догорала героиня Гражданской войны, мы еще верили в ее лозунги, в светловскую «Гренаду», восхищались «Чапаевым», еще читался «Разгром» Фадеева. Среди опустошенной галереи легендарных полководцев сохранился Семен Буденный, разве что чуть смешными стали его воинственные пышные усы. Однако с прежним жаром мы распевали:

«Никто пути пройденного
У нас не отберет,
Конная Буденного
Дивизия, вперед!»

Много позже на каком-то приеме познакомился с Буденным. Он оказался таким, как на портретах. Все другие вожди усохли, поседели, облысели, хотя на портретах они оставались неизменными. А этот блистал тщательно окрашенной шевелюрой, и знаменитые его усы оставались черными.

— Как вам удастся так хорошо выглядеть, Семен Михайлович? — спросил я. Ему было примерно 88 лет.

Оказывается, он имел простой рецепт — надо с утра сделать прогулку верхом на двадцать километров, потом съесть три лимона и то же повторить перед сном. Рекомендовал он это мне с горделивой радостью изобретателя.

Шел 1971 год. Из всей архаики Гражданской войны уцелел только он, и было немного грустно и смешно. Почему так странно распорядилась судьба двумя самыми знаменитыми представителями «Конармии» — ее командующим и ее трубачом. Весь цикл бабелевской «Конармии» полнился жаром раскаленной непримиримости к буржуазии, к врагам революции, а враги виделись повсюду. Когда боец Балмашев обнаружил, что женщина, которую он посадил к себе в вагон, на самом деле вместо ребеночка нянчит мешок соли, запутанный в пеленки, когда он обнаружил этот бесчестный обман, то выкинул ее из вагона, она стала контрреволюционным врагом, взял винтовку и с одобрения братвы «смыл этот позор с лица трудовой земли и республики».

При том своем первом чтении я воспринял сей акт как справедливое возмездие, и чувства бойца Балмашева были

убедительны, и мы вместе с Исааком Бабелем разделили его гнев и боль за «несказанную Расею», «и крестьянские поля без колоса», «и товарищей, которые много ездят на фронт, но мало возвращаются».

Второе чтение произошло в 1971 году после встречи с Семеном Михайловичем Буденным. Я увидел у букиниста «Кон-армию», изданную в 1927 году, второе издание, купил ее, почему-то меня привлекают книги, изданные при жизни автора.

В рассказе «Соль» бросились мне в глаза слова, какими отвечает солдат революции Никита Балмашев на следующее возражение разоблаченной гражданки:

«Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов Ленина и Троцкого спасаете...».

На что ей Балмашев отвечает так:

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. Между прочим, за Ленина не скажу, но Троцкий есть отчаянный сын тамбовского губернатора и вступился, хотя и другого звания, за трудящийся класс.

Разумеется, вскоре цензура изъяла все упоминания Троцкого, и даже в Избранном (1966 г.) несознательная гражданка стала более сознательной и уже не упоминает ни Ленина, ни Троцкого. Так что для меня этот ее первоначальный ответ был откровением.

То, что вытворяла цензура, новостью не было, они поправляли не только Бабеля, они вмешивались в тексты Белинского, Горького, никакая классика не была для нее святой. Фамилия Троцкий была изъята из всех энциклопедий. «Троцкизм» был, а Троцкого не было, не узнать, кто такой, когда родился, когда умер, так что ничего не мешало ему существовать в виде незаконного сына тамбовского губернатора.

Меня же озадачило другое: насчет Ленина. Солдат революции «между прочим» про Ленина отказывается вступать в дискуссию. Это почему? Как раз в то время печатались скандальные материалы Мариэтты Шагинян — с Лениным-то, оказывается, нечисто, есть у него еврейская кровь, мать его наполовину или более того — еврейка! Солдат революции Мариэтту Шагинян не читал, и Исаака Бабеля не читал, однако оба они уклонились от вызова несознательной гражданки. Похоже, что Бабелю кое-что было известно, как, впрочем, и другим. А вот образ председателя Реввоенсовета Льва Троцкого был окутан легендами, никак не вязался с книжечками,

сочинителями научных трудов, он виделся отчаянным рубахой-командиром на лихом коне, а то на лихом автомобиле, но обязательно с наганом в руке.

И в других рассказах «Конармии» упоминается товарищ Троцкий, и поскольку фактически он был у всех на устах в «Конармии», теперь было странно, как мы не замечали этого изъятия. «Кто знает, как пусто небо на месте упавшей башни» (Анна Ахматова).

Третье прочтение — нынешнее. Ничего не подозревая, я взялся за этот рассказ и поразился жестокой бесчеловечности конармейцев, всей этой братвы, которая с таким удовольствием застрелила женщину — за что? За то, что она не от хорошей жизни тащила мешочек соли, да продать, да добыть денег, чтобы как-то прожить. Беззаконный суд, несправедливый, да какой там суд, не суд, а расправа. Революционные понятия, по которым дозволялось преспокойно застрелить любого, кто покажется нарушителем. Он, этот солдат революции, преисполнен уверенности в справедливости, в высшей справедливости возмездия, которое настигает женщину, он осуществил это возмездие, честь и хвала Никите Балмашеву, истинному солдату революции!

Я удивился себе, тому, давнему, который принял этот рассказ, умиляясь наивной чистоте революционного пыла, не увидел в нем чудовищной постыдной вседозволенности, какая нарождалась в советской стране. А ведь все это было заложено в рассказе ■ почему-то не прочитывалось, а теперь пугающе открылось. Соответствует ли это замыслу Бабеля или нет — гадать бесполезно. Писатель не знает, как будет читаться его вещь ■ другие времена. Кто бы мог подумать, какой злободневностью наполнится для нас «Хаджи-Мурат» Льва Толстого и печально опустошится «Как закалялась сталь» Николая Островского.

Иногда перечитывая книги, словно читаешь еще и себя самого, нечто вроде дневника, там, в книге, сохранились невидимые записи, отпечатки чувств и состояний, которых уже сам не помнишь, — неужели я был таким и так видел жизнь.

Курица по зернышку, по зернышку — и весь двор засран.

Не яйца красят мужчину.

Закон тяготения устарел, пора его отменить, решил парламент.

ОТКРЫТИЕ

В 2003 году Александр Александрович Фурсенко подарил мне толстенную книгу. Называлась она «Президиум ЦК КПСС». Стенограммы. Полистал я ее — скучища. Но академик Фурсенко — настоящий историк и знает цену таким документам, не так-то просто ему было издать это «произведение». Он — главный редактор, и он понимал, что именно мне будет любопытно.

— Почитайте, почитайте, вас касается, — сказал он.

Меня? Президиум ЦК — было нечто заоблачное. Я давно избавился от былых своих представлений о его членах, об их мудрости, всесии. Но бывлые трепеты неожиданно шевельнулись, что-то там еще жило.

В именном указателе отыскал свою фамилию. Протокол № 61, 29 ноября 1956 года. Присутствовали — Булганин, Ворошилов, Каганович, Микоян, Молотов, Брежнев, Жуков, Фурцева, председательствовал Хрущев. Были еще фамилии уже начисто позабытые.

Обсуждали настроения советской интеллигенции. Дудинцев «Не хлебом единым», Симонов «Памяти Фадеева», стихи Евтушенко и рассказ Гранина «Собственное мнение».

Кто-то докладывал, обсуждали, что делать с антисоветчиками — выслать, арестовать, кому поручить...

Почти полвека прошло с тех пор, и вот опубликовали.

Следующий пункт в повестке дня был «Жилищное строительство в СССР».

Шестого декабря опять вернулись к нашему вопросу, а спустя две недели был изготовлен проект письма ЦК КПСС ко всем организациям страны «О мерах по пресечению вылазок антисоветских и вражеских элементов».

ЛИХАЧЕВ

1926 год (?).

Сдавал экзамен в университет «красному» профессору. Были «красные» и просто профессора. «Красный» сидел в тельняшке, спросил, от какой болезни умер царь Петр I?

Студенты не могли ходить в галстуках и воротничках, Дмитрий Сергеевич ходил в шинели. Его друг, Владислав Михайлович Глинка, в галифе.

Дмитрий Сергеевич знал, что профессор ждет ответа: «Умер от сифилиса», но сказал, что от воспаления легких. Зачета ему не поставили.

ДАНТЕС И МАРТЫНОВ

После смерти Лермонтова Мартынов, удаленный из армии, поселился в Киево-Печерской лавре. В монахи он не постригся, но от мира удалился, так и жил там. Воспоминаний не оставил. Ни с кем не общался. Раскаяние его, очевидно, было глубочайшее, было оно внутреннее, без биения в грудь, которое обычно чтят. Он молился и каялся перед Богом.

Дантес, тот уехал из России, поселился в Париже, прожил долгую беспечную жизнь, сделал карьеру, семенил светским кобельком, не стеснялся встречаться с русскими. Чувствовал себя легко, свободно, все так же блудил. Ни вины своей, ни угрызений совести никогда не испытывал, во всяком случае, сведений об этом пушкинисты не могли обнаружить ни в его письмах, ни в известных разговорах, видимо, он и не вспоминал об убийстве Пушкина.

Некоторые деревенщики так наполняют свои сочинения фольклором, что начинает «вонять литературой», по выражению Тургенева. Чем «народней», тем больше воняет. Шитье бисером по бумажному костюму.

В период сталинских репрессий 1936–1938 годов можно было в «Литературной газете» найти письма и телеграммы писателей в честь советской разведки, чекистов, с требованием уничтожить врагов народа, подлую банду, проклятых выродков. Они славили наркома Н. Ежова. Среди них были писатели Евгений Шварц, Юрий Тынянов, Всеволод Иванов, Михаил Слонимский, Григол Абашидзе. Я их любил и продолжаю любить и уважать. Не думаю, чтоб они подписывали искренне. Они боялись. Степень ужаса и страха того времени передать словами невозможно. Лишь немногие сумели устоять. Там не было подписей Ольги Берггольц, Лихачева, Ахматовой.

Самого Пастернака за его Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго» в 1959 году осуждали Симонов, Овечкин, Катаев, Шагинян, Сергей Антонов, Вера Панова, Слуцкий,

Мартынов — это все люди, которых чтит и чту, потому что я жил в ту эпоху, понимаю их слабость и страхи. Некоторые из них потом каялись. Тяжело переживал Борис Слуцкий, мучался, не мог простить себе. Думаю, что Библия права, когда говорит, что раскаявшийся грешник дороже праведника.

СТРАХ ЛЮБВИ

Это не страх наказания, это страх за свою любовь. Представьте себе женщину, которую вы любите, любите всем сердцем, самозабвенно, вы убедились в ее душевной красоте, вы боитесь потерять ее, вам она необходима. Вы можете добиться ее чувств чем? Представ перед ней самым лучшим образом, краше, чище, чем вы есть. В этой любви дрожит страх, совсем особый страх совершить низкий поступок, о котором она узнает, даже просто проявить слабость. Вы побоитесь воровать, брать взятки, прежде всего из-за страха, что она узнает. Вам станет боязно, что кто-нибудь расскажет про ваше вранье или про вашу корысть. Останавливать будет страх потерять ее уважение. Неважно, какие у нее самой принципы, может, она бы отнеслась проще, снисходительнее, важно, что она думает о вас хорошо, лучше, чем вы есть, что она, возможно, поставила вас на пьедестал.

Нечто похожее я обнаружил по возвращении с войны, спустя года два, случайно узнав, с каким восторгом моя жена рассказывала обо мне своей подруге. И потом еще раз своей сестре. Честно говоря, я испугался, я-то знал, каков я на самом деле. С этого все и началось. Я никогда не мог добраться до того, каким она меня вообразила, но во всяком случае я стал бояться. Появился страх, страх любви, который мне помогал карабкаться. Или выкарабкиваться.

В семидесятых годах мы увлекались парапсихологией. У нас дома живо обсуждали ее возможности, сеансы, где тогдашние кудесники угадывали, двигали взглядом предметы и т. п. Как-то при таком разговоре был академик Флеров, он слушал, слушал и, когда его спросили, что он думает, он засмеялся: «Я знаю только один предмет, который может двигаться под взглядом на него».

2007, декабрь. Приближается Рождество. Всюду на перекрестках установлены елки. Одинакового роста, идеальный конус. Одинаковая иллюминация, снабженная компьютером. Елки искусственные. Натуральных в продаже мало. Продаются маленькие, домашние, тоже синтетика. Плюс флаконы с запахом хвои. У нас на шкафу — мешок старых украшений, тех, что вешали мы на настоящие елки.

Природа красива потому, что она постоянно трудится.

В 1926 году Малевичу удалось вывезти за границу большое количество своих полотен и разместить их в музеях Запада. Он быстро стал известен и одновременно стал запрещен здесь, на родине. А те, кто, вроде Филонова, не захотели или не сумели отправить картины за границу, десятилетиями оставались неизвестными широкой публике, томились в запасниках.

БЫЛ 1980 ГОД

Является в парикмахерскую здоровенная тетка. Зычно сообщает: «Девочки, мне на совещание, приведите меня в порядок». Ее усаживают без всякой очереди, бросив своих клиентов, начинают ее обслуживать, одна делает ей маникюр, другая — прическу, третья — маску. Она лежит в кресле, как императрица. Кто она такая? Девочки шепотом сообщают — директор овощного магазина, что по соседству.

Музыковед Н., уважаемый профессор, после того, как его товарищей прорабатывали за то, что они не докапались, были неискренни, не разоружились, стал признавать свои ошибки полностью. И то, что он занимался каким-то Бахом и Моцартом, вместо того, чтобы заниматься русской музыкой. Все из-за своего невежества, не понимал, не разбирался в истории, неправильно ориентировал и направлял студентов... Так он казнил, уничтожал себя и свои лекции. Полагал, что покаяние, такое полнейшее, удовлетворит всех, снимет с него вину. Сошел с трибуны в изнеможении, сказал соседу: «Ну, кажется, все». А тут выходит на трибуну полковник в отставке, преподаватель марксизма по фамилии Дав (его прозвали «Удав»),

и говорит: «В войну мы однажды захватили в плен не просто немца, а эсэсовца, спрашивали, что он знает про русскую культуру, про музыку, он сказал, что Чайковского, сказал, что это великий композитор. А вот этот, который здесь каялся, хуже эсэсовца, он Чайковского не хвалил, он его не любит...». Тут Н. с места крикнул: «Неправда», так его за этот крик еще обвинили в оскорблении советской армии.

Покаяния никак не отменяли проработки, что бы ни говорил космополит, избиение продолжалось, как бы ни выступал, все было мало. Единственное, что отменяли в случае покаяния, это арест, и это было немало.

КЕНТАВР ВНУТРИ НАС

Рожденная из шуток кентавристика, ни на что не претендуя, своим легкомыслием будоражит и нечто серьезное, она толкает мысль по нетривиальному пути.

Я задумался, слушая рассуждения Даниила Данина:

— Конь не может сбросить всадника, а всадник не может сойти с коня. Вот что интересно в кентавре!

По мере того как он рассуждал о безвыходном положении полюбившегося ему существа, я все явственней различал следы кентавра в себе самом. Раньше мне это и в голову не приходило. Несомненно, кентавр когда-то во мне был или пребывал, или еще есть. Обнаружить в себе такую тварь неприятно, еще хуже, когда не знаешь, в каких отношениях ты с конем. Или всадником? Где ты — внизу или наверху?

Сперва думаешь о двуликости. Кентавр как воплощение двойничества. Характерно, что именно это прежде всего приходит в голову. Если бы Россия сохранила язычество, то в XX веке ее главным богом стал бы двуликий Янус, бог который олицетворяет двойственность. К одним — с печалью, к другим — с улыбкой, к одним — с обещанием, к другим — с угрозой. Двойственность двери, которая ведет внутрь, и она же ведет наружу. Снаружи она видится как вход, изнутри — как выход. В Янусе два лика несовместных, противоположных, будущее и прошлое, так что истинное лицо его неизвестно. Этот бог, можно сказать, спасал нас. Двуликость, а затем и многоликость стали условием выживания человека в советские годы. Ему приходилось говорить не то, что он думает, делать не то,

что он хочет, верить ■ то, во что он не верил, изображать того, кем он не был, учить своих детей тому, чему не следовало бы учить, и так во всем.

Способность человека раздваиваться, расстраиваться и далее разделяться — велика. Быть одним с начальником, другим — со своими коллегами, третьим — дома с родными, четвертым — с самим собою (если решиться на такую встречу), пятым — с Господом Богом. Советская действительность не исчерпала всех возможностей, но достигла невиданной прежде расщепленности личности. Лицедейство стало массовым искусством; изменчивость, хамелеонство, мимикрия — спасительными приемами. За многие годы умение не быть самим собой достигло совершенства. Выживал и преуспевал тот, кто легко сменял свои облики, совмещал несовместимое. Это, наверное, нельзя определять как притворство, надевание масок. Только что мы славили ленинградских руководителей, затем, когда их осудили, с таким же пылом должны были клеймить их.

Ярый ортодокс сочетался со скептиком, активный пропагандист партийных лозунгов, придя домой, издевался над своими речами. Отец требовал от сына честности и просил его не спорить с учителями, соглашаться с их ложью. Несовместимые, противоположные воззрения уживались в одном человеке, что не проходило безнаказанно. Смена ликов уродовала сознание. Растворялось, гибло собственное «я». Человек всячески уклонялся от размышлений, самосознание пряталось от него. «Янусизация», если так можно назвать, была насилием над человеческой природой.

Кентавр в этом смысле предстает перед нами как существо цельное. Получеловек-полуконь соединены в один организм. Это не гибрид, ибо гибрид возможен, здесь же соединение явно невероятное. Поэтому оно и осуществленное в человеческой фантазии. Почему, зачем — другой вопрос.

Подхваченные мифом кентавры жили себе ■ поживали, размножались, сражались, обладали характером, никак не страдали от своей несовместности.

Двуликость требует притворства, притворяться — значит, изображать то, что тебе не свойственно. Лик один, лик второй, но где-то под ними подразумевается скрытая подлинность (если она сохранилась).

Кентавр — не двуликость, кентавр — две истины, которые не уничтожают друг друга, они соединены потребностью противоположностей, своей полярностью. Человек в этом смысле состоит тоже из полярных величин: из добра и зла, в нем есть и худшее, и лучшее, он мал и велик, слаб и силен, мудр и глуп.

На всякого мудреца довольно простоты, нет-нет да она проявится. Но речь идет не о проявлениях, а об источниках, о тех совмещенных существах, которыми полон наш внутренний мир.

Начну с примера, близкого мне. Работа писателя вырабатала потребность наблюдения за людьми, их жестами, настроениями, поступками. Объектом наблюдения стал я сам. Я — гражданин, я — бытовой человек, я — друг, я — отец... Моя личность стала постоянным объектом моего же анализа. Я — исследователь и я — предмет исследования одновременно. Я — человек, который живет своей жизнью, и я — писатель, который изучает этого человека. Такова в той или иной степени природа писательской работы у большинства писателей. Дневники Л. Н. Толстого показывают, как пристально, постоянно, прямо-таки неотступно изучал он свои поступки, свои решения, какой это был институт по изучению Льва Николаевича Толстого:

«10/22 марта 1884 г. Встал рано, убрал комнату. Миша пролил чернила. Я стал упрекать. И, верно, у меня было злое лицо. Миша тотчас же ушел. Я стал звать его; но он не пошел и занялся рисованием картинок. После я послал его в комнату Тани. Таня сердито окрикнула его. Он тотчас же ушел. Я послал его еще раз. Он сказал: „Нет, я не хочу, где сердятся, там нехорошо“. Он уходит оттуда, но сам не сердится, не огорчается. И его радости и занятия жизни не нарушаются этим. Вот чем надо быть... Очень я не в духе. Ужасно хочется грустить на свою дурную жизнь и упрекать. Но ловлю себя.

27 марта... Зашел к Усову и просидел до часу. Праздный, пустой и не прямой, нечестный разговор: пересуды, выставление своих знаний и остроумия. Я во всем принимал участие и вышел с чувством стыда».

И вот так из года в год он следил за собой, оценивал себя, свои грехи и упущения. Обе ипостаси «писатель—человек» срослись, совместились, образуя кентавра, где, скорее всего, писатель — человечья половина, а человек — это конь.

Другой пример: отец — ребенок. Я выступаю как отец своего ребенка и одновременно как сын своей матери. Соседство отнюдь не простое. Я требую постоянной любви и уважения от своего чада, но куда в меньшей степени делаю это для своей матери.

Ощущает ли себя кентавр больше лошадью или больше человеком? Или такого вопроса для него нет. То есть ощущаю ли я себя сыном-отцом одновременно? На первый взгляд, нет. Но тогда спрашивается, откуда же угрызения совести, чувство вины, не есть ли соединение отец-сын чувство шва? Мне могут заметить, что когда кентавр скачет, он ощущает себя конем, когда он стреляет из лука, он — человек. Однако внутренний кентавр не рефлектирует, он выступает во всей цельности своих противоположностей, тем он нам и интересен.

Кентавры на исходе XX века в России проявляют себя все интенсивнее: я хочу уехать, покинуть эту страну, мне ненавистны ее беззакония, разруха, противно видеть, как ее разворовывают, меня отвращает борьба за власть... Я не могу покинуть ее, потому что люблю ее, жалею, потому что защищал ее, потому что люблю этот народ, люблю наши интеллигенцию, наши традиции, нашу природу. Ненависть и любовь, боль и привязанность, жалость и возмущение, я эмигрант и я иммигрант, я защищающий и я отвергающий, все спуталось, срослось, сосуществует в мучительной двусмысленности.

Как известно, кентавры имели нрав необузданный, были буйны и агрессивны. Вызвано это было их функциональной неопределенностью. Они не очень представляли себе, для чего они нужны. Так маленькие домашние собачки, всякие болонки обычно злы, не видя своей предназначенности. Человек назначен мыслить, стоячий образ жизни для размышлений неудобен, сидеть же на четырех ногах невозможно. Между тем именно сидячесть имела неоцененное еще значение в умственном развитии человека. Кентавристика как наука родилась благодаря письменному столу и стулу в доме ее основателя.

Хотя бы отчасти она позволяет по-новому взглянуть на человека — наиболее таинственное явление в этом мире. Именно через невозможные соединения, именно через сочетание несочетаемого, то, что составляет сущность кентавра, значение его для человеческой души.

История последних лет порождает все новых кентавров, порой фантастичных. Так последние события в России явили миру во всей своей наготе так называемых красно-коричневых.

Четыре года шла война на уничтожение между коммунизмом и фашизмом, вернее, между коммунистами и фашистами. Гитлеровский нацизм был разгромлен. И вот спустя полвека в России, стране-победительнице, которая освободила мир от фашизма, возродилась новая разновидность: коммунист-фашист. Под красным знаменем, на котором вместо серпа и молота изображена свастика, шествуют верные последователи Ленина и Гитлера. Они проповедуют национализм, ненависть к ино-родцам, великую русскую Империю. Непримириемые, казалось, идеологии слились, смертельные враги заключили союз, дети и внуки тех, кто воевал друг с другом с непримиримой ненавистью, действуют заодно против демократии. Общий враг заставил из забыть о разногласиях. Такой идеологический кентавр опасен, как летающий тигр, мы не умеем с ним бороться.

Мифологического кентавра художник запросто изобразит, он зрительно распознаваем, внутренний же, душевный кентавр — это не наглядная тварь, он невидим, не дышит, не скачет, человек прячет его в своей душе. Тем не менее великие писатели распознавали это чудище, они видели, как звериное причудливо соединялось с человеческим, страдающее — с преступным, вспомним лермонтовского Демона, пушкинского Сальери. Таких героев мировая литература знает немало, история также.

Человек готов смириться с тем, что может быть то плохим, то хорошим в зависимости от обстоятельств. Куда труднее признать, что в душе его могут уживаться и хищник, и ангел. Если я утверждаю, что кентавры живут внутри нас как сочетание несочетаемого, как соединение противоестественного, то спрашивается, почему такое противоречие существует устойчиво, что поддерживает его существование? Почему совесть, религия позволяют торжествовать кентаврам? Почему не сокрушают его?

Давно известно, что в человеческой душе могут уживаться и черт, и ангел, самое лучшее и самое худшее. Как заметил Паскаль: «Человек, желая стать ангелом, становится зверем». Возможности человека не измерены ни в сторону добра, ни в

сторону зла. Весь предыдущий опыт для этого недостаточен, XX век это показал. Человек как был тайной, так и остается. Душа его тем более. Что хранится в ней, какова ее жизнь?

Кентавр нечто иное, чем соседство. Я говорю о внутреннем кентавре. В наиболее общем виде «кентавр внутренний» — симбиоз, в котором соединяются и живут, казалось бы, исключаяющие, неприязненные состояния... Кентавристика? Кентавристики — путешественники, с любопытством озирающие неизвестную им страну, куда занесла их легкомысленная игра ума. В этой несерьезности чаще всего бывают прекрасные находки.

Кентавры, русалки, минотавры, горы — множество созданий такого рода возникали в мифах разных эпох и народов. Человек-птица, человек-рыба, человек-змея, можно вспомнить сфинксов, нику — их всегда творило мифологическое сознание. Наверное, они, кроме всего прочего, выражали потребность человека совместить несовместимое.

ПУГОВИЦЫ

Я сохраняю агавизм в обычаях, в одежде, так, например, я обнаружил, что пуговицы на рукавах некоторых моих пиджаков не имеют теперь никакого смысла, это рудименты XVIII века, когда обшлага отворачивались и пристегивались, чтоб они не опадали.

Гений никогда не ходил в учениках другого гения, возьмите художников, допустим, Рафаэля или Рембрандта, они не годятся в учителя и у них не может быть учеников, потому что в их направлении невозможен дальнейший прогресс, они достигли совершенства.

ЗАКУРЖЕВЕЛО

Наутро я вышел и обомлел. Лесистые дюны у залива преобразились. Никогда ни летом, ни весной не было здесь так сказочно. Уже много лет знаю этот берег, и лишь сегодня увидел его в таком наряде. Не мог и помыслить, что в гардеробе у него хранится такое сказочное. Каждая веточка опушилась снегом, не просто опушилась, подобное бывало при липких

снегопадах, нет, тут случай иной. Я отломил веточку куста, она сразу опала, потеряла наряд, стала сухой хворостинкой. Уже осторожно отломил другую, рассмотрел, она вся была в игольчатых кристаллах. Сложнейшая структура, ювелирная работа по серебру высшего мастерства. Прелесть матовой белизны изделия, местами муаровая. На соснах иголки были отделаны по-другому, наряжены узорчатой канителью. Все сосны являли новую выделку снега, по оттенку похожую на жемчужную. Поражала добросовестность, с какой отделана была каждая из миллионов хвоинок, веточек, самые корявые, чахлые — всем достались наряды.

Вспомнилось слово «закуржевело», точное, единственное....

Мы все думаем по-разному, а поступаем одинаково.

Скучно жить, когда лошадь превратилась в лошадиную силу.

Вдруг, откуда ни возьмись, появился передо мной один вечер, когда моя жена принесла мне шарф, и мы отправились с ней в филармонию. Шарф был красный, а в филармонии играл знаменитый пианист Горовиц, единственный его концерт в Петербурге. Но не было никакого повода вспоминать этот концерт, этот шарф и-то, как мы шли с ней пешком обратно. С чего он предстал передо мною, этот вечер? Зачем напомнил о себе? Что-то там, в прошлом, происходит, идет там какая-то своя, независимая от меня жизнь, и вот оповестила о себе.

Рожь первоначально была сорняком пшеницы, кажется, был сорняком и овес.

1981 год.

Привезли презервативы в аптеку Зеленогорска. Выстроилась очередь. Заведующая вывесила бумажку: «Отпускается в первую очередь инвалидам Великой Отечественной».

Чубайс укрепил свою репутацию главного врага населения как человек, который стал вдруг требовать, чтобы за электричество платили (2000 г.). Все давно отвыкли, не платили и

больницы, и школы, и воинские части. Тогда он стал отключать. Беспощадно. Его поносили, писали на него, он не сдавался. Выстоял, переломил эту всероссийскую халаву.

Русланова, была такая замечательная певица, на каком-то приеме, подвыпив, сказала Сталину: «Все песни про вас, а ведь есть и другие, не хуже».

Ортега де Гассет писал: «Подлинное богатство человека — это богатство человеческих ошибок». Относится это и к нации в целом, у России чего-чего, а ошибок хватало, плохо, что мы их прячем от себя, не осознаем, не изучаем свое богатство.

Что посмеешь — то пожнешь (или пожмешь).

Хрущев сказал Никсону:

— Ваши внуки будут жить ■ коммунистической Америке.

Никсон ему ответил:

— Нет, ваши внуки, думаю, будут жить в капиталистической России.

Был 1959 год.

Хотя война давно кончилась, но на каждого военного Нина продолжала смотреть жалеючи, вздыхая.

И мира нет — и нет нигде врагов;
Страшусь — надеюсь, стыну — и пылаю;
В пыли влачусь — и в небесах витаю;
Всем ■ мире чужд — и мир обнять готов.

(Петрарка)

Чтобы врать по-крупному, надо говорить правду по мелочам.

«В долгу перед страной, в долгу перед правительством, перед народом, партией — да с чего вы это взяли, пошли вы все... Всю жизнь платили мне нищенски, как бы я ни работал. Став писателем, я смог в точности уличить этих грабителей. Мою книгу выпустили тиражом 100 тысяч. По два рубля, значит, 200 000 рублей. Так? Ушло на бумагу, и типографию, и торговлю 70 тысяч,

это мне сосчитали с запасом. Заплатили мне — за два года работы — 7 тысяч гонорар. $70 + 7 = 77$ тысяч. Значит, государство прикарманило $200 - 77 = 123$ тысячи. Вот столько государство ухватило. Это уже не прибавочная стоимость, это грабеж».

Глаза у девочки такие живые, отзывчивые на все, еще ненасмотренные. Говоришь с ней, и на каждое слово откликаются, видно в них, как воспринимается, как чувствуется, все распахнуто настежь.

Все было превосходно, много лет как нельзя лучше. Даже ссориться перестали. И вот однажды он услышал, как она говорила подруге, думала, что он спит, а он проснулся и услышал ее голос, холодный, твердый. Надоело ей все, все, надоело готовить, убирать, его обязательный поцелуй в шею после траханья. Не дождется, когда он уедет в командировку. Может, месяц побудет одна. Отдохнет.

От ее слов вдруг все опрокинулось. Бог ты мой, а он-то думал, что они счастливы.

Образование мне дали, а интеллигентность — никак, говорят, этого мы не даем, нет у нас такого предмета, пытались ввести, не выходит.

Одно из самых прекрасных зрелищ — высокая липа на легком ветру, когда она сама неподвижна, а листья ее шевелятся, трепещут по всей высоте. Тысячи их взблескивают на солнце, перекидывают зеленый свой свет, играют, и все это шевеление, живое, радостное, сопровождается еще и шелестом, похожим на говор, на какой-то успокоительный, почти осмысленный разговор. Нет в нем монотонности, есть переблеск, он тоже все время другой, живой. Когда такое застанешь, то чувствуешь, как все навстречу этому внутри улыбается. Однако заставлял я такое редко. Прохожу мимо липы часто, и больше безучастно, я ее не замечаю, и она меня. Надо, чтобы мы совпали, прежде всего чтобы я совпал с ней, наверное, все дело во мне, в том, как я закрыт, глух, слеп, как занят... Чем занят, бог ты мой, чем?

Воздух был наполнен птичьим посвистом пуля, то есть смертью. И протяжным воем мин. У тяжелых мин один звук, у

ротных минометов — другой, острее. Мы жили среди всего этого и думали про жратву, это прежде всего, и о том, как быстрее завалиться спать, спать, вовсе не думали о своей жизни, которая могла в любой миг оборваться. Но еще удивительней было мое непонимание, мое равнодушие к тому, что жив, сегодня остался жив, сходил на Пулковое, обстреляли, уцелел, не было счастья от того, что повезло. Счастье отодвигалось куда-то в будущее, когда кончится война и начнется жизнь. На фронте была не жизнь, а ее ожидание. Возвращался в прошлое, к Римме, наслаждался воспоминаниями о той жизни, повторял наши ночи, ее слова, движения.

Вместо счастья, было «повезло», суеверное, боязливое, чтобы не спугнуть...

Много специалистов по перестройке, а по строительству — мало.

У моего гамбургского знакомого на шкафу лежит солдатская каска с рожками — его отца, участника войны 1914 года. В ней он дошел до Украины. Рядом лежит его собственная, от войны 1941–1945-го, тоже дошел до Украины.

От общения с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским у нас всех, его почитателей, друзей, учеников, остались его поговорки, его выражения, яркие украшения его речи:

«Это вообще не опыты, а одна грусть и тоска безысходная».

«Мудрый Господь Бог учил: все сложное — не нужно, а все нужное — просто».

«Это вам не жук накакал»

«Грязь то, что в данное время не на месте».

«Утешительно, душеспасительно, душеласкательно».

«Со всем русским языком и малым морским загибом».

«Всякая уважающая себя пресноводная мелочь».

«Горох, он вроде русского человека, — все выдержит».

«Кнопка „стоп“ — самое мудрое изобретение, я ее в каждом приборе прежде всего ищу».

«Вернемся на первое, как говорил протопоп Аввакум, и посмотрим, а почему же сие важно в-пятых, и увидим, что в-пятых сие вовсе не важно».

«Что такое жизнь? Черный ящик. Все исходное должно быть просто. Это география мужская, а та вон — женская».

«Как всякий честный человек должен делать все то, что могу делать, не более того». (В подтексте он имел в виду Фому, сына, считая, что тот погиб по своему максимализму.)

Были у него и такие суждения:

«Разумеется, я бы отменил деньги за звание академика. Самое почетное звание в науке измерять деньгами, примешивать сюда корысть — фу. Нигде в мире этого нет. В Королевском обществе английском члены должны платить сами взносы. Шутка ли, быть членом английского Королевского общества! Да и у нас в Императорской академии не было вознаграждения. За что платить? За то, что ты удостоился почета быть избранным в Академию наук? Да и зачем, спрашивается, эти деньги, только привлекать всяких недостойных, которые рвутся в академики, чтобы обеспечить себе пожизненный пенсион. Нет, не говорите мне ничего, это дело не нравственное. Я понимаю, раньше, в первые годы советской власти, надо было поддержать крупных ученых материально. Надо было сохранить их, создать им условия для работы. Ну а теперь-то, слава Богу, хорошим ученым и без того платят. Тем более что у нас академики большей частью директора институтов, заведующие отделами. Атмосфера сразу очистится. Вы бы знали, что творится на выборах в Академию. Приезжает с Кавказа. Ученый он никакой, занимается горными обвалами на уровне альпинистов. Хочет баллотироваться на членкора. Что делать? Устраивает для одного, другого, третьего академика охоту на Кавказе. Для детей их — отдых в альпинистском лагере. А уж ужинам, обедам — нет числа, привозит „дары гор“. Покупает себе большинство. У другого друг один — академик-начальник. Тот приезжает и выламывает, выкручивает руки академикам за своего друга. Третий армянин — всех армян мобилизовал. Четвертый договорился: нынче меня, следующий раз — его. Сделки, торговля, неприкрытые подношения... В результате, несмотря на все усилия президента, вице-президентов, кого выбирают? На чаепитии у президента договариваются, вроде бы, полюбовно. Кандидаты достойные, возражений нет? Нет! А при выборах проходят другие. Люди, о которых на том же чаепитии говорили

пренебрежительно: недостойные кандидаты. Они на кандидата наук еле тянут. Кроме того, еще бывает, что ■ отместку действуют. Я, например, знаю членкора М. Хороший специалист. Действительно серьезный ученый. Его третий раз нынче завалили. Так он что сделал? Разъярился и выступил против своего соперника. Высек его самым блистательным образом. В итоге прошел третий, абсолютно серый человек, всем безразличный».

— Если мир — гармоническое единство, то правильно ли противопоставлять живое мертвому?

— Так-то так, а вот что такое жизнь, никто определить толком не может.

— Это у меня для книги «Моя жизнь на дне литературы».

Этот из породы номенклатурных. Их как бы отменили вместе с советской властью, но они остались. Ему все положено бесплатно. В театр, на концерт — звонит ■ дирекцию, заказывает. Ему все без очереди. Приехал на курорт. Требуется, чтобы организовали рыбалку. Пожаловала дочь с зятем. В голову не приходит снять им комнаты. Будьте любезны устроить, выделите. Ехать на базар — все берут такси, он требует машину. И дают. Он не скупой, нисколько, он просто привык, и так привык, что по-иному жить не будет, ни за что. Для него все не номенклатурные, это «наш замечательный простой советский человек». В каком смысле «простой»? В том, что без власти. Власть дана — значит, ты уже не простой, посложнее, с тобой уже считаться надо, ты знаешь, что народу нужно, что народ поймет, что он будет приветствовать.

В предсмертной записке за час до самоубийства Александр Фадеев все же вырвался на волю и сказал то, что думал: «Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-ничтожным руководством партии. Лучшие кадры литературы в числе, которое даже не снилось царским сатрапам, физически истреблены или погублены благодаря преступному попустительству власть имущих».

Узнав о самоубийстве Фадеева, Хрущев определил: «Он в партию стрелял, а не в себя». Но спустя несколько дней это самоубийство нам преподнесли как поступок спившегося человека, спьяну, мол, застрелился. Подлейшее было высказывание. На самом деле Фадеев бросил выстраданное обвинение партийному руководству за все то, что они творили с нашей культурой. Он и сам в этом участвовал, его вынуждали, и он за свою вину приговорил себя к высшей мере, но они-то все... Как всегда они ни при чем.

А тот же Хрущев, осудив сталинские репрессии в 1962 году, в июне, не сомневаясь, отдает распоряжение расстрелять демонстрацию рабочих в Новочеркасске.

Американец, какой-нибудь клерк, приезжая в Россию, чувствует себя вельможей, держится заносчиво, надменно, все ему не так.

К тридцати годам он женился, появились дети, хороших две девочки, но жена у него была неинтересная, а в банке он встречал красивых женщин, они работали рядом, и он думал с тоской, что мог бы жениться на этой или на этой. Когда его знакомили на корпоративных вечеринках с дочерьми его начальников или вообще «больших людей», ему казалось, что он мог бы добиться куда большего, если бы не поспешил, и тайно все более раздражался от вида своей жены, да и от всей семьи своей. «Проиграл, — думал он, — проиграл свою жизнь».

Хороший поэт был Николай Тряпкин, он написал в 1982 году:

Как научились воровать!
Воруют все напрапалую,
Ворует сын, ворует мать,
И строят дачу воровскую.

Воруют, врут, из-под двора,
Воруют дно из-под кадушки,
Воруют совестью Петра,
Воруют душу у Марфушки.

Уже про себя:

Не сумел я достойно прожить эти жуткие годы,
Только пил, да гулял, да плясал
Среди блуда и кала.
И руками вовсю потрясал,
Не жалея кимвала.

Известно, что Михаил Афанасьевич Булгаков написал письмо правительству, прося разрешения уехать из страны, где он как писатель не может быть полезен у себя в отечестве, прося великодушно отпустить на свободу.

Ему позвонил Сталин, спросил: «Что, мы вам очень надо-ели?»

Письмо было действительно резкое, но ведь честное. Булгаков мог ответить: «Я все написал в своем письме, я хочу уехать».

Вместо этого он пояснил, что раздумывает, может ли русский писатель жить вне родины, и понял, что не может. То есть, отказался от своего письма.

Струхнул? Наверное. Спрашивается, зачем писал? Конечно, растерялся. Конечно, Сталин сформулировал вопрос точно, там были и угроза, и миролюбие. Но все же поспешность отказа и форма отказа от своих слов, все это не вызывает сочувствия.

Нам рассуждать сегодня легко. Могли отпустить, могли и посадить. Неизвестно, получили бы мы тогда роман «Мастер и Маргарита».

ОНИ ВСЕ ЗНАЛИ ПРО СЕБЯ

Замечательную историю рассказал Сергей Капица, как его отец вместе со своим другом Николаем Семеновым пришли к художнику Кустодиеву, известнейшему в то время, и сказали: «Вы делаете портреты знаменитых людей, а сделайте наши портреты, тех, кто будут знамениты».

Их уверенность поразила художника. Он нарисовал парный портрет обоих, Семенова и Петра Капицы. Этот портрет висит в Академии наук в Москве. Им было по 23 года. Они стали академиками, оба получили по Нобелевской премии.

В Древней Греции много значил Дельфийский оракул, его предсказаниями пользовались на протяжении столетий. Известны истории о пророках, весталках, волхвах. Мы относимся к ним с недоверием, в лучшем случае с удивлением, но вот история того же сорта, только предсказания этих великих ученых были обращены к собственной судьбе. Они ее знали наперед, на многие годы.

Товарищ Чугуев образца 1965 года:

«Все, что делается, — правильно. Сталин на веки веков. Врагов надо было уничтожать. Главное пролетарское сознание. Наверху виднее. Наступает зрелый социализм. Мы всех обогнали. У нас лучше, чем на Западе. Там нищета и разврат. Руководитель — это партия. Я знаю, что я хочу, и это будет потому что нам даны все возможности. По Неве будет плавать теплоход „Антон Чугуев“, вот увидишь!»

А вот Чугуев образца 1990 года:

«Все сволочи. Брежнев — ничтожество».

«МАТЬ ВСЕХ ПОРОКОВ»

Двор короля Людовика XIV узаконил для Европы женщину как объект наслаждения.

Все родственники короля, все сановники должны были делиться с королем своими женами.

Племянник короля герцог Орлеанский соревновался в своем разврате с королем. Недаром на могиле его матери предлагали такую эпитафию: «Здесь покоится мать всех пороков».

Если утром хорошо, значит, вечером было мало... Если утром плохо, значит, вчера было хорошо.

«У ДОМЕНИКА»

Ему было лет за восемьдесят, когда мы с Лили побывали у него в ресторане. Хороший ресторан в центре Парижа, на Монпарнасе. Хозяин — Лев Адольфович Доменик, русский ресторан, весьма популярный. Матрешки в окнах. На стенах — старинные русские лубки, плакаты. Обедали мы у камина, над ним — роспись Александра Бенуа. Висит меню, нарисованное

им. Лев Адольфович знает всему этому цену, бережет. Вот самовар из мхатовского реквизита. Он, самовар, играл в таких-то пьесах... И Лев Адольфович исполняет нам монолог самовара: «Теперь мои хозяева стары, уходят в приют, прошу принять меня в русском ресторане. Только русские понимают особый вкус чая из самовара».

— Почему его не почистят? — спросил я. — Такой тусклый.

— Нельзя. На сцене нельзя выставлять блестящие предметы.

Весь второй этаж увешан русскими картинами. Подарены. Официанты в красных русских рубашках подали нам блины с семгой, затем были котлеты «Доменик».

Открылся ресторан в 1928 году. Сперва две медных кастрюли. В них варили щи и сосиски. Обворовали, прогорел. Хотел было закрыть, да тут приехал Шаляпин с Мозжухиным. Приехал Рахманинов. Однажды собрались все трое. Рядом сидели две американки. Шаляпин пригласил их. Пировали. За полночь мэтр принес счет. «Да ты что, — сказал Шаляпин, — ты американкам давай». Обе они были счастливы.

Познакомились мы с официантом Федоровым. Он знал китайский, тут же нам продемонстрировал. Красив, нахален, хвастун. Доменик, когда Федоров уходил, пояснял нам: «Бабник. Хвалится, что гвардейский офицер, что воевал. Иногда выдает себя за моряка. На самом деле он воевал, и неплохо».

Доменик сказал, что сын его, Игорь, человек другого склада, наверняка все перестроит, оформит ресторан по-другому. Исчезнет, может, и этот столик Шаляпина со скатертью, где они все расписались.

Иногда в Германии мне казалось, что мы стесняемся своей победы. «Извините, мол, что мы вас разгромили». Стесняются солдаты, офицеры говорить, что стреляли, убивали немцев. Так же как бывшие немецкие солдаты всегда говорили мне, что были связистами, санитарями, писарями. Никто из них не воевал в артиллерии, не был минометчиком, снайпером. Немцы еще могут стесняться, это можно как-то понять. Но мы-то чего стесняемся?

Во время одной встречи с немцами кто-то из них стал оправдывать наши солдатские бесчинства. Когда мы вошли

в Германию — да, мол, советские солдаты насильовали немок, но немецкие солдаты насильовали русских женщин. Грабежи были и у тех, и у других, и т. д.

Немцы и русские в войну вели себя абсолютно симметрично.

«Самые верные друзья у вас — это наши ветераны», — заявил экс-сенатор ФРГ Аппель, обращаясь к нашим ветеранам. Прозвучало, по крайней мере для меня, вполне искренне. Получилось, что не союзники наши — американцы, англичане, а немцы, да еще финны, те, с кем так долго, страшно воевали.

Судя по эпитафиям, здесь похоронены все люди незамеченные.

Он ощущал себя черным ящиком. Жизнь входила в него прекрасной, яркой, неожиданной, а выходила вымученными статьями, надуманными рассказами, фальшивыми героями.

ОБЕД

Году в 1948-м, кажется, так, дали нам в небольшой коммуналке две комнаты. Это вместо одной, в огромной многолюдной коммуналке, где мы обитали — жена, я и маленькая дочь. Новое жилье было после ремонта с голыми, наспех оштукатуренными стенами, еще сырыми. Впрочем, стены эти так и не просыхали. Нам объяснили, что клеить на них обои бесполезно, посоветовали сделать так называемый «накат», его умеют делать немцы. Что за немцы? А пленные, они работают в городе на стройках. У меня был приятель в строительной службе «Ленэнерго», я его упросил, и к нам привели трех немцев. Переговоры с ними вела жена, она могла по-немецки объясняться. Стены одной комнаты стали покрываться синей краской, второй — солнечно-желтой. На третий день вечером, придя домой, я сел за стол, жена сказала: от обеда осталось только две картошки. А где же остальное? Оказывается, она все скормила немцам, все — и обед, и ужин. Они, «бедные, были такие голодные, целый день работали», каждому выдано только по куску хлеба с сыром и больше ничего. Пожалела, видите ли,

милосердная какая, немцев пожалела. Они на фронте мужа не жалели, а она тут жалеет их.

Для меня вообще тогда словосочетание «жалеть немцев» звучало странно. За что их жалеть? Ничего еще не остыло тогда в сорок восьмом году. Работают, и пусть работают, должны отрабатывать. Что они сотворили с нашим городом?.. Мужа оставила без обеда и при этом еще чувствует себя сестрой милосердия.

Она со всем соглашалась, признавала свою вину, а назавтра повторилось то же самое. Один раз, под конец, я застал этих трех немцев со всеми их красками и валиками. Они еще какие-то золотые блески пустили по синему фону. Получилось неплохо, но вспоминаю, что язык не поворачивался поблагодарить их. Выглядели они, конечно, неважно, но интересно, что жалости у меня не было никакой, а у нее была. И на этом мы долго не могли сойтись.

МЕДНЫЕ КАСКИ

Как-то речь зашла о поэме Пушкина «Медный всадник», и Д. Лихачев заметил, как много мы упускаем, не вникая в поэтические детали поэмы. Вот, к примеру, строчки:

Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно-зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.

Дмитрий Сергеевич обратил внимание на последнее выражение, его странность. Что оно означает? Почему простреленные и почему их носят? Оказывается, в июне 1807 года в сражении с войсками Наполеона отличился Павловский полк, павловцы проявили себя так отважно, что Наполеон после отступления русских, обходя после битвы, обратил внимание на павших русских солдат, особенно в форме Павловского полка. Он отдал должное мужеству, с каким они сражались. Повелел собрать на поле боя простреленные медные каски русских сол-

дат и послать Александру Первому «эти скорбные свидетельства мужества русских воинов».

Александр, в свою очередь, издал приказ по армии: «За неустрашимость шапки оставить и как памятный знак давать солдатам носить эту воинскую реликвию, сделать ее отличием павловцев». С тех пор солдаты лейб-гвардии Павловского полка носили гренадерские шапки. Все пятьсот были прострелены в том сражении под Фридландом в 1807 году. В этой истории поражает то рыцарское, что еще сохранилось при наполеоновских войнах.

Невозможно представить что-либо подобное в нашей Великой Отечественной войне.

Воевали, бились насмерть, при этом не было ненависти, Наполеон сохранял дружеские чувства к Александру, и в «Войне и мире» Толстой точно ощущает это, когда описывает сцену столкновения с французским офицером у Пьера Безухова.

Рассказ о касках выплыл случайно, сколько другого подобного таится еще в том же «Медном всаднике», да и в других пушкинских стихах. Казалось бы, абсолютно ясные, прозрачные, очевидные.

Никогда не мог понять, почему «Борис Годунов» не ставится в драматических театрах. Читается пушкинская пьеса превосходно, я часто перечитываю ее. Опера Мусоргского великолепна. Идет и идет, в самых разных вариантах, повсюду с успехом, причем композитор весьма бережно относился к авторскому тексту и к духу трагедии. А вот в театрах не получалось. И «Русалка» Пушкина тоже существует лишь как опера. В чем-то тут есть секрет.

Иногда, если прислушиваться, можно уловить прелестные выражения. Идет позади меня парочка, он галантно спрашивает спутницу:

— Извините, я вас не запыхал?

Прочел у Степуна мысль, которая давно привлекала меня: «Столетия она (христианская истина. — Д. Г.) трудилась над изображениями жизни Спасителя, Богоматери, апостолов и святых. Она же создала церковную музыку, органную и хоровую... Католическая церковь сыграла огромную роль в создании духовной Европы...»

Я полагал:

— Что социализм не имеет никаких преимуществ перед капитализмом, что у социализма нет будущего.

— Что капитализм создал бездуховное общество.

— Что там, на Западе, люди культурнее, образованней, начитанней, интеллигентней.

— Что там и продукты лучше, и вкуснее, и здоровее. Сколько разных фруктов, какие аккуратные яблоки, какие красивые сладости, печенье.

Все не так, совсем не так...

Алексей Сурков как-то сказал мне: «Нужда заставляет заниматься любимым делом — писать стихи». В другой раз он признался: «На самом деле я бы хотел издавать газету. Массовую, народную, типа „Копейка“».

Е. Лигачев говорил на Политбюро о А. М. Адамовиче, что он сколачивает заговор, что он, конечно, еврей.

Чуть что — еврей!

Рассказал мне Адамович, который узнал это от А. Яковлева (1989 г.).

Александр Прокофьев, председатель Союза писателей, уехал в Москву, и ■ Смольный вызвали меня. Я был один из секретарей и замещал в тот раз его. Вызвали не к кому-нибудь, а к Первому. Первый был тогда Фрол Романович Козлов.

Судя по тону помощника, ничего хорошего меня не ожидало. Приняли меня сразу, и Козлов без всяких предисловий, не вставая из-за стола, помахал какой-то бумагой и выругался. В адрес писателей, от которых одни неприятности, вечно от них, распустились, думают, что теперь им все позволено, но ничего, мы вас проучим, давно надо проучить...

Он распалился, поднялся, голос его гремел, голос у него был хорошо поставлен. И сам он был тоже отлично изготовлен для должности большого руководителя. Волосы ранней седины красиво уложены волнами. Волосы густые, ни залысин, ни плешей, фигура плечистая, здоровый цвет лица. Правда, Георгий Александрович Товстоногов говорил мне, что Козлов кладет грим, румяна, то есть ему кладут, и волосы укладывают, а Товстоногову можно было верить, режиссерского опыта ему хватало.

Надо было дать выговориться, этому меня научил Прокофьев. Начальство ведь готовится к встрече, пусть оно свои заготовки выложит. Еще одну любопытную особенность внушил он: «Начальство боится писателей, они нас не любят бо-
ятся, что возьмут и изобразят их ■ каком-то смешном виде, сделают Скалозубом, Хлестаковым, что-нибудь неприличное, а то сочинят эпиграмму, это будет полный абзац».

Наконец, он перешел к делу, оно оказалось куда серьезнее, чем я ожидал. Бумага была письмом из Комитета госбезопасности. Группа сотрудников сообщала, что они из своего дома отдыха поехали на экскурсию ■ дом творчества писателей в Малеевке. Приехали. На ступенях подъезда стояла Ольга Берггольц, узнав, что они из КГБ, она потребовала, чтобы они убирались вон: «Вы нас пытали, мучали, а теперь ездите к нам ■ гости, катитесь вы...» И далее следовали с ее стороны нецензурная брань, оскорбления. Это была не просто пьяная выходка, заявили они, это политический выпад, недопустимая клевета на органы...

Он вычитывал отдельные фразы, что-то он пропускал, в заключение они требовали принять меры, считали, что такой человек не может быть членом партии, что это идет вразрез...

— Так что надо будет вам ее исключать из партии.

— Это как? Нам? — сказал я. — Почему нам?

Сознаюсь, это было самое глупое, глупее не придумаешь, он это было первое инстинктивное движение отпихнуться.

— Согласно уставу партии, — сказал Козлов.

Я пришел в себя:

— Нет, мы не можем.

— Это почему?

— Потому, что у нас ее не исключат.

— Как так? Организовать надо. Мы обеспечим.

— Нет, не получится, — это я сказал уже уверенно — Нельзя ее исключить.

— Что за персона, всех можно, а ее нет? Не таких исключали.

Я любил Ольгу Федоровну, любил с первого дня как увидел ее, даже еще до этого, я полюбил ее, и продолжал настаивать на своем: «Она символ, символ блокады, нельзя блокаду лишать символа». Слово это, тупо повторяемое, как ни странно, озадачило... Ольге поставили на вид.

ЗАЧЕМ

Два выдумщика-финна художники Каллейнен и Кохта-Калейнен собрали «Хор жалобщиков». Обратились к жителям Бирмингема, Хельсинки и Гамбурга — давайте, господа, жалуйтесь, на что хотите, присылайте нам свои жалобы. И что вы думаете? Жалобы, просто жалобы, не то чтобы заявления с просьбами, просто жалобы насчет жизни посыпались... Из них сочинили песни. Получилось уморительно. Жаловались на уличные пробки, на мобильники, на цены. Пригласили участвовать Петербург. Засняли питерский хор. Это что-то невероятное. С каким восторгом, смехом, удовольствием поют:

Зачем ты, Петр, строитель чудотворный,
Построил город наш ■ климате тлетворном?
Зачем мы любим, когда любить так больно?
Зачем мы вечно чем-то недовольны?

Было это давно-давно, наверное, году ■ 1933-м. Тогда всякие «промтовары» давали по ордерам. Мать работала в пошивочном ателье и там однажды получила ордер на обувь. Думаю — выпросила. Для меня. Потому что мои ботинки разваливались, их чинили, чинили, сменили подошвы, каблуки, и уже не брали ■ ремонт. Даже «ассириец», что сидел на углу Спасской, и тот сказал матери: «Пускай галоши не снимает, а то выпадет».

Ордер был, но обуви не было. Мы ходили в магазины, там разводили руками — неизвестно, когда привезут. Однажды, проходя мимо магазина, я увидел очередь. Привезли. Я помчался в ателье, к маме. Она отпросилась, ■ мы оба побежали ■ магазин. Когда я получил ботинки, боже мой, какая это была радость! Мама взяла на номер больше, купила про запас еще пару шнурков. Ботинки блестели свежей коричневатой кожей, носки круглые, каблуки звонкие, я помню их стук до сих пор, никогда больше я не испытывал такого удовольствия от обуви.

В Праге было написано на мусорном баке: «Нет дорогой пули для русских» (1968 г.).

Надпись XII века ■ Софийском соборе: «О, душа моя, почему нежишься, почему не молишься Господу своему, почему добра жаждешь, сама добра не творя?»

Мне всегда интересно мнение других народов, вернее, иностранцев, образованных, думающих, о русских. Чем мы нравимся, чем — нет. Мнение других обо мне самом — абсолютно меня не занимает, а вот о нас интересно. Так же как и наших людей о других народах. В частности, о немцах. В читательских письмах я получал немало характеристик немецкого народа, это всегда отличалось от моего личного восприятия немца. Вот писал мне уважаемый ученый Вл. Покровский, оспаривая мою повесть «Прекрасная Ута»: «Немцы как народ один из глупейших в Европе. Они лишены способности становиться не на свою точку зрения, глубоко провинциальны, лишены чувства юмора...»

ПОЕЗДКА В НИЦЦУ

Русское кладбище на окраине Берлина. Там был похоронен М. Глинка. Его прах увезли. Осталась плита. Поставили памятник. Возле церкви — деревянный белый крест среди прочих надгробий. Надпись: «Владимир Дмитриевич Набоков. 1870 — убиен 25.3.1922 г.»

Это отец писателя. Он на собрании заслонил Милюкова, и пуля досталась ему.

Княгиня Мещерская, когда-то Бенуа. Все заброшено. Надпись: «Благословен и день забот, благословен и тьмы приход». Когда я был на этом кладбище, добавилась еще печаль от забвения, от того, что мало кто из русских бывает здесь.

И вспомнилась мне история с прахом Герцена.

Произошло это восьмидесятые годы, точно не помню, вызвали меня в Москву, в Союз писателей, и предложили поехать в командировку во Францию. У кого-то наверху, в ЦК, возникла блестящая идея очередного праздника — перенести прах Огарева и Герцена на Воробьевы горы, туда, где они когда-то дали клятву бороться за лучшее будущее. Или за справедливость, словом, дать прекрасный пример для советской молодежи, которая страдает без таких примеров. Поручили («доверили») это дело союзу писателей, а наш «группенфюрер» товарищ Марков предложил поехать мне, поскольку меня там, во Франции, переводили, и я могу доказать, что я писатель, а не какой-нибудь...

Придется получить согласие родных Герцена, они обитают в Париже.

Признаться, я не стал отбиваться, почему бы не поехать, весна, тепло, да еще не за тощий счет Союза писателей, а за счет социалиста и ЦК, у которых совсем другой счет. Единственное, что я попросил: раз речь идет о столь возвышенных идеалах, они требуют делегации, хотя бы небольшой. Договорились включить писателей Виктора Конецкого и Абдижамилу Нурпеисова.

В Париже нас принял глава клана Герценов, известный микробиолог, профессор, работал он в Институте Пастера, любезный пожилой господин. По-русски он говорил, пользуясь милой архаикой: «не сочтете ли вы», «я был бы признателен», «если бы вы сообразовались».

Это после того, как он вдумчиво ознакомился с нашей просьбой перенести прах Александра Ивановича Герцена в Москву. Он осведомился, были ли мы в Ницце на кладбище, видели ли могилу?

В Москве были уверены, что родные будут обрадованы почетной церемонией: погребение Герцена и Огарева, рядом Университет, приедут и выступят члены правительства... Профессор, однако, принял наше описание сдержанно, он не отказал, попросил все же «сообразоваться» предварительно посетить Ниццу, после чего разумно продолжить разговор. Да ради Бога, конечно, почему бы не побывать в Ницце.

Она, голубушка, раскинулась перед нами вдоль Лазурного берега во всей красе и неге. Кладбище находилось на холме, оттуда открывался великолепный вид на залив, на город. Кладбище было белым от беломраморных надгробий. Цветущие кусты, аллеи, чистый пьянящий морской воздух. Мы разыскали смотрителя, он отлично знал могилу Герцена, ее посещают, да и она особенная. Он вызвался проводить нас и кое-что рассказать.

Кладбище выглядело садом. Мы поднимались в гору, смотритель рассказывал, что должность его наследственная, досталась ему от отца, тому — от деда. Далее пошло самое интересное. Во время войны немцы стали изымать с кладбища бронзовые бюсты, памятники на переплав для военных нужд. Смотрители решили покрасить скульптуру белым, под мрамор. Дело было рискованное, но удалось Герцена спасти. Сама

фигура стояла того, работа знаменитого русского скульптура Забелло, она изображала Герцена во весь рост, со скрещенными руками он возвышался над этими мраморными усыпальницами. У подножья лежали красные розы. «Всегда кто-то приносит их», — пояснил смотритель. Надпись «Александр Герцену от семьи, друзей, близких». Зеленоватые потеки на мраморе от статуи.

Кладбище прорезано террасами. Наверху могила, по-видимому, русского — «Зубалов, участник Сопротивления, погиб за Францию. 1902–1932».

Сперва Герцена похоронили в Париже на кладбище Пер-Лашез, позже, следуя воле покойного, перевезли сюда.

«У нас лучше, никакого сравнения, и воздух, и вид», — убеждал нас смотритель.

Перезахоронением занимался его дед. Погребли Герцена рядом с женой, Наталией Александровной, тут же находилась условная могила матери Герцена и Коли, они погибли при кораблекрушении. А Наталия Александровна умерла в Ницце.

Я вспомнил «Былое и думы», потрясаяще описанную сцену смерти жены, их расставание, там была фраза, удивительная, она навсегда запомнилась — момент исчезновения из человека того таинственного вещества, что называется душа. «Ее рука упала как вещь».

Время от времени я перечитывал эту книгу, великая повесть о ревности, страданиях любви, измене. Редко у кого я встречал такую честность исповедальности.

Долго еще мы сидели у этих могил, размышляя над тем, как уберечь их неразлучность от наших бесчувственных... Закрасить краской было легче, заметил Витя Конецкий, добавив большой морской загиб в адрес московских чиновников.

Конечно, профессор знал историю с памятником, тем не менее он внимательно слушал нас, ожидая вывода. Ничего не осталось от прежней нашей пылкости, но мы не имели права отказаться от своей миссии. Надо было аккуратно свести ее на нет, не сразу до него дошла щекотливость нашего положения, и мы тоже не сразу уесли, что у него или у них были свои причины уклониться от категорического отказа. Обе стороны играли на ничью. Договорились, что они

обдумывают наше предложение, мы же не будем торопить их. Прощаясь, профессор усмехнулся: срочное дело, и даже весьма срочное, перестает быть таковым, а то и вовсе теряет интерес.

Начальству мы доложили, что-то огорчительное, советуя не нажимать, чтобы не получить отказ. Главное было не разубеждать, не ссылаться на волю покойного, на их любящие сердца. Все это не много значило перед задачами воспитания советской молодежи. Мудрее была рекомендация парижского профессора: не будем спешить. В конце концов нам удалось замотать эти мероприятия.



Очередная проблема, которая его занимала, — «тьма посреди дня». То есть затемнение местности днем. «Антипрожектор», «вытесняющий луч». Зачем, для чего, это было еще неясно, эффектна была сама задача.

Упрекали Булата Окуджаву за строчки:

«Но нам нужна одна победа,
Одна на всех,
Мы за ценой не постоим».

И не постояли, цену нагнали до тридцати миллионов, теперь уже заговорили о 40 миллионах погибших.

Цена страшная. Но чувство такое было. Доподлинно. По крайней мере в 1941 году. Свидетельствую.

В 1965 году на празднике Дня Победы учительница сказала: «Не нужна мне ни эта война, ни эта Победа». Дети моих друзей, вернувшись из школы, спрашивают: «Как же так? Почему?»

Попробуй, объясни.

НИКОГО НЕ ОСТАЛОСЬ

Что-то в этом знакомом здании на Старой площади показалось мне необычным. Был солнечный будничный день, много прохожих, все как всегда, не было только длинного

блестящего ряда черных «Волг» напротив этого дома. Опустошенность, и серое здание это показалось мрачным.

Привычный подъезд, здесь я бывал у моего друга в отделе культуры Игоря Черноуцана, у Александра Николаевича Яковлева... Решение пришло внезапно — я зашел. Охране показал свое депутатское удостоверение. В здании никого нет, предупредили охранники. Они были в штатском. Тем более, сказал я, интересно посмотреть, просто так, писательское любопытство, бывший наш храм. Они усмехнулись. Это были дни безвластия. Рядом на площади снесли памятник Дзержинскому. Лубянка притихла.

Лифты работали. Отдел культуры, тот самый коридор. Полутемь. Тихо. Безлюдно. Кое-где еще на дверях белеют надписи, фамилии недавних хозяев. Открываю дверь за дверью. Никого. Не вышли, а ушли. Насовсем. Ощущение покинутости. Кабинет Беляева. Большой был начальник. Ковровая дорожка. Приносили чай, а то и кофе с бутербродом. Попасть к нему трудно. Я ходил к нему, добиваясь открыть в Питере литературный журнал. Напрасно. Он ничего не решал. Уклонялся. Употреблял он один и тот же прием. Только я приступаю к делу, он останавливает меня с милой улыбкой, приглашает послушать запись какой-то сонаты, песни, сочиненной молодым композитором, нужно, видите ли, мое мнение. Запускал музыкальный комбайн, блаженно прикрывал глаза, прослушав, спрашивал как понравилось, озабоченно взглядывал на часы, на этом аудиенция заканчивалась. А я ведь специально приезжал к этому увертышу из Питера. Ныне кабинет его был открыт. Нет музыкального комбайна, шкаф с книгами, пластинками — пуст.

— Сукин сын, — произнес я громко, и удивленное эхо свистнуло вслед надзирателю нашего злосчастного искусства.

Далее поднялся еще выше на этаж, на идеологические заоблачные вершины, где решалось, о чем нам положено было думать, что надо было любить, кого поносить, какого социализма мы достигли — цветущего, зреющего, спелого.

В кабинете одного из секретарей, или уже бывшего, не уследить, я застал охранника, он профессионально обшарил меня быстрым взглядом, показал на настольную лампу.

— Представляешь, начальничек, уходя, вывинтил себе лампочку.

— Зачем?

— В карман. Скоммуниздил! Мудозвон сраный!

Он ругался с удовольствием, изобретательно, ■ полный голос.

Рядом был кабинет какого-то из секретарей ЦК. Кого, неизвестно, вывеску сняли. Объемные кожаные кресла. Телефоны, толпа телефонов: вертушки, междугородние, прямые, и туда, «к самому». Повсюду валялись изорванные бумаги. За стеклом огромного книжного шкафа — нетронутые собрания сочинений Маркса, Ленина, старое издание Большой советской энциклопедии. Разбитый графин. Свисала порванная портьера. Пахло куревом, застоялый, непроветренный воздух конторы.

«Штаб ленинской гвардии», «Наш родной ЦК», а чаще всего со значением, с угрозой — «Старая площадь» — остался мрачный, замусоренный. Безмолвные телефоны. Развалины империи, великой империи, символ ее абсолютной власти, он стал символом катастрофы, вдруг она предстала передо мной явственно, я увидел ее останки, труп.

Никогда не думал, что доживу до этого.

Много позже многие цекисты — «цикаччи», вроде Лигачева, каялись: «Ах, почему мы не отстаивали своих взглядов», проклинали Горбачева — предателя, предал партию. Действительно, почему не отстаивали? Не вышли на улицу? Но было ли что отстаивать? Кровавая история Коммунистической партии оказалась без защитников. Где они, крепко сплоченные вокруг ЦК? «Единство» — ценою жизни миллионов. Рецепт был прост: «больше расстрелов — больше страхов — больше единства». Немудренная политика состояла только ■ пролитой крови.

Я вспомнил того младшего лейтенанта, дистрофика на Ленинградском фронте, что брел по ледяной дороге в штаб к Богатому переулку фотографироваться на партбилет. Фотограф к нам на передовую не добирался. В кармане полущубка была поджаренная пайка хлеба. Поджаренную лучше брать в дорогу, она не крошится, можно отламывать и посасывать.

Был 1942 год, конец января, морозы стояли под тридцать, особенно донимал ветер. Чего ради я вступал? Уже не вспомнить, что я писал в заявлении, наверняка с пафосом, молодым

восторгом идущего на смерть во имя победы коммунистического будущего. Положение Ленинграда было гибельное, выжить мы не надеялись, уж погибать, так с красной книжкой на груди.

Жаль было и меня, того послевоенного аспиранта, которого без конца заставляли идти на партсобрания, политучебу, перевыборы, изучать решения пленумов и съездов, всегда исторические, бесконечная говорильня годами расхищала его жизнь.

Казалось, я приговорен до конца своих дней. Выйти из партии никто не мог. И вдруг она исчезла, растаяла как мираж. Под ногами валяются обрывки бумаг, папки «для служебного пользования» — ДСП, «секретно». Развалины Бастилии. Обломки Империи.

...А ликования не было, было удивление — неужели дожил? Увидел, как эта власть пала, бесшумно рассыпалась.

Итак, все разбежались, бросили свою цитадель.

Было ■ новом ощущении крохотное, с горчичное зерно ощущение потери. Его мне однажды выразил Юрий Темирканов: посмеиваясь, он говорил, что больше никто не интересуется, что он готовит, какую музыкальную программу, почему такую, а не другую, как бывало, когда приглашали в обком и там расспрашивали, выясняли, спорили, что-то навязывали, за что-то хвалили. Он не скрывал сожалений о том времени. И ведь у меня тоже появлялось нечто подобное. Счастье освобождения потускнело.

Как известно, ленинградская блокада стала символом стойкости ■ истории не только Отечественной, но и Второй мировой войны. Блокада овееяна ореолом героизма защитников города, врага не пустили, и 900 дней блокады показали, что город выдержал невиданную, неслыханную осаду, несмотря на все лишения и голод.

Для меня всегда было непонятно, что на самом деле произошло под Ленинградом.

17 сентября 1941 года, надеюсь, что память мне не изменяет, я с остатками своего полка I ДНО отступил из г. Пушкина в Ленинград. Мы вышли на рассвете где-то в 5 часов утра, получив приказ отойти из района расположения дворца. Штаб

полка находился ■ Камероновой галерее. К тому времени немецкие автоматчики уже занимали парк, они обстреливали галерею, расположения всех рот. Одна за другой роты покидали свои позиции, отступая к дворцу. С правого и с левого фланга, вероятно, никаких частей наших уже не было. Во всяком случае, получив приказ, мы эвакуировали раненых ■ организованно отходили по шоссе в направлении Шушар. Дойдя до Пулково, мы подверглись налету немецкой авиации. Спустились в низину Шушар, и я увидел, как немецкие эскадрильи одна за другой обстреливали людей, которые отходили к городу. Это были беженцы из пригородов и остатки частей вроде нас.

Фронт рухнул.

Над нами одна за другой, волнами, непрерывно сменялись эскадрильи штурмовиков. На бреющем полете они расстреливали людей. Огромное поле от Шушар до города представляло собой тысячи бегущих ■ беспорядке бойцов и штатских. Все наши попытки сохранить организованность ни к чему не привели, остатки нашего полка также были развеяны.

Перебежками, а потом уже просто пешим образом я дошел до Средней Рогатки, до трамвайного кольца, сел на трамвай и поехал к дому. Все было ясно, немцы на наших спинах войдут в город.

Меня поразило, что на всем пути не было никаких заградотрядов, никаких наших воинских частей, никто не останавливал отступающих, впечатление было такое, что город настуже открыт. Через день, придя в штаб народного ополчения, я получил направление в отдельный артпульбат укрепрайона, он занимал позицию перед Пушкиным в Шушарах. Там я и воевал вплоть до конца зимы 42-г года (292-й артпульбат 2-го укрепрайона).

Но с тех пор меня томит загадка: день 17 сентября, город был абсолютно не защищен со стороны Шушар, ■ немцы спокойно могли войти в него. Пустые доты, покинутые баррикады.

Только позже, уже пребывая в укрепрайоне, мы увидели, что налаживается оборона, какие-то подразделения стали на пути на участке Пулково — Шушары.

После войны, много позже, я пытался выяснить, что же происходило ■ сентябре, ■ почему немцы в город не вошли. Почему они не воспользовались этими сентябрьскими

возможностями войти в Ленинград, не встречая никакого сопротивления?

18 сентября Лееб, командующий 18-й армией, записывает: «Павловск взят нашими войсками. Таким образом, весь район включая сегодняшний дальний рубеж окружения, находится в наших руках». Павловск, значит, и Пушкин. А дальше к городу никакой серьезной обороны не было, и это было, очевидно, ясно и командованию 18-й армии.

Что же произошло? Что мешало немцам продолжить наступление?

Как ни странно, ответы на это стали появляться лишь спустя 60 лет и в Германии, а затем и в России. В нашей историографии считалось, что сентябрьское противостояние завершилось истощением немецких войск, большими потерями благодаря героизму частей Красной Армии и частей народного ополчения. Советские историки впервые привлекли неизвестные нам до этого документы Халпта и Польшмана (бывший офицер вермахта) — книга «900 дней боев за Ленинград».

У нас что писали? В книге, изданной в 2004 году, «Блокада Ленинграда»: «В результате ожесточенных боев и сражений осенне-летней кампании 1941 года гитлеровский план молниеносного захвата Ленинграда был сорван». И в других трудах повторяется: «немцы были остановлены».

Где? Когда? Кем? Я этого не видел. И что бы я ни читал, я не могу отделаться от той картины, которая предстала передо мной 17 сентября 1941 года.

Только в самые последние 2–3 года удалось мне узнать, что в дневниках фон Лееба и начальника генштаба Гальдера говорится о том, что препятствовал к вторжению в город немецких войск прежде всего сам Гитлер. Инициатором был Гальдер, ему, очевидно, удалось уговорить Гитлера, и, несмотря на сопротивление фронтовых генералов, приказ о вхождении в город немецких подразделений отдан не был, потому наступление было запрещено, а затем 4-я танковая группа была с Ленинградского фронта отправлена под Москву. Лееб не получил команды войти в город, и осаждающие войска перешли к осаде, к удушению Ленинграда голодом. Очевидно, рассчитывали на то, что город сам должен сдаться. Но даже и эта процедура не рассматривалась: что делать с населением? Отпустить? Добить голодом?

В результате дело свелось для немцев не к воинской неудаче наступления, а к бесчеловечным планам удушения города голодом, не собирались даже принимать капитуляцию города.

Чисто нацистская операция уничтожения горожан огромного города с помощью голода была противна воинскому достоинству кадровых генералов, таких, как Лееб и Манштейн, неслучайно они подавали в отставку из-за этой отвратной для солдата ситуации.

Почему Гитлер принял такое решение?

Какие у него были мотивировки?

Что творилось в генштабе? — Неизвестно.

До сих пор немецкие историки не дают полного ответа на эти вопросы.

ХОЧУ СПРОСИТЬ

В конце 1987 — начале 1988 года у меня было несколько выступлений в больших аудиториях — ■ Политехническом музее, в Центральном доме работников искусств — в Москве, в Центральном лектории, в Доме ученых, в Концертном зале — в Ленинграде, еще в некоторых институтах. Вечера прозаиков — это вечера вопросов и ответов. Довольно-таки сложное нынче занятие, потому как вопросы сейчас задают не только литературные, даже, признаюсь, не столько литературные, сколько нравственно-политические, про нынешнюю нашу взбудораженную жизнь с ее надеждами, опасениями. Круг этих вопросов безмерно широк. Тут история и экономика, перестройка и суд, журналы и экология... В конце концов, однажды я, рассердясь, сказал в зал: почему бы вам не пригласить лектора — специалиста по праву или, допустим, по экономике, по внутренней политике, они лучше меня ответят, я же писатель. Из зала мне крикнули в ответ: «А мы им не верим!»

И тогда я обратил внимание на характер записок-вопросов: «Ваше мнение о перестройке, не кончится ли она, подобно другим компаниям?», «Считаете ли вы моральным установление государственного догмата атеизма?» и т. д., то есть от меня требовали не сведений, не фактов, не информации, а мнения, интересовало, что я думаю по таким-то вопросам. Откуда такой интерес? Полагаю, что литература вдруг оказалась

на главном перекрестке событий. Никто другой не философствует — ни история, ни экономика, а литература. Вернее писатели. Произошло это, мне кажется, после того, как писатели первыми столь активно вступились за наши реки, за охрану природы. И выиграли хотя бы частично этот бой. Кроме того, выяснилось и то, что литература наша все эти годы довольно мужественно рассказывала о вещах, которые ныне раскрылись во всей неприглядности. Прежде всего публицисты наши. По телевидению, в газетах мужественно и смело выступали писатели, литераторы, вспомним выступления Д. С. Лихачева, Ю. Д. Черниченко, А. М. Адамовича, В. Быкова, Е. А. Евтушенко, С. П. Залыгина. Преобразились журналы, редактируемые Баклановым, Коротичем, Залыгиным, Баруздиным, Ананьевым. Словом, гласность, демократизация показали писателей как активных сторонников перестройки и подняли престиж советского писателя.

Событие это не просто приятное, оно важный факт в истории нашей литературы, это совершенно своеобразный момент, ничего подобного не было, литература вдруг стала ответчиком, ответственной. «Почему вы прекратили борьбу за чистоту Ладоги?», «Можно ли надеяться, что вам удастся ускорить строительство в Ленинграде очистных сооружений?» Спрос с писателя, может быть, и почетный, но роль эта не совсем свойственна литературе.

«Не считаете ли Вы, что надо поставить памятники жертвам репрессий 1937 года, всем невинно погибшим, тем более что это был цвет народа?»

«Почему мы не делаем открытых процессов над теми, кто линчевал лучших наших ученых, режиссеров, писателей. Даже поименно называть их не хотим?»

«Почему в печати не называют организаторов травли А. Твардовского»

Возмездие! Вот мотив, наиболее часто встречающийся в записках, в вопросах. Требование возмездия. Что это? Мстительность, желание отыграться на ком-то за долгую цепь беззаконий, несправедливостей?

«Какая может быть история литературы, если скрывают имена писателей и критиков, которые требовали исключить из Союза писателей Пастернака, доносили на Бабеля, на Мандельштама, на Ахматову?»

Может быть, люди хотят полноту правды, истории, хотят знать, как это было, что за люди занимались доносами, травлей.

В требовании возмездия сильнее всего здоровый довод народный — безнаказанность учит потворству. После XX съезда, вскрывшего беззакония вопиющие, ведь не было ни одного открытого процесса над следователями, судьями, прокурорами — нарушителями правопорядка. Ни разу я не слышал, чтобы судили доносчика, по вине которого погибали люди, чтобы судили истязателя. Берию, Абакумова и еще нескольких отпетых судили закрытыми судами. Остальная сталинская... благополучно ушла в отставку, доживала, получая пенсии, а то и почетные привилегии, и никто не думал привлекать их к ответственности за бесчисленные убийства и беззакония. На глазах у всего народа жили-поживали и Маленков, и Каганович, и Булганин, Шкирятов и прочие деятели той поры. Никого не привлекли к ответственности, чтобы было назидание другим. В этом смысле огромная роль XX съезда не имела поучительных, воспитательных последствий. Правовое самосознание народа разрушилось и не было восстановлено. Оказалось, что есть преступления, за которые не наказывают.

ИМЯ ЕГО...

Наше путешествие напомнило мне Данте, мы посещали мир усопших. Кладбище за кладбищем. Кладбища в Германии, во Франции, в Голландии, Бельгии. Мы — это деятели немецкого Союза военных захоронений, а кладбища — это воинские кладбища. Союз пригласил в эту поездку меня. Как участника войны. Еще потому, что я пытался помогать немецким ветеранам, тем, кто приезжал сюда в поисках солдатских захоронений своих близких, однополчан.

Вообще-то я люблю кладбища. За их покой, за отключение от будней. Туда приходишь на свидание с вечностью. Кладбища сельские, городские, кладбища заброшенные, некрополи, эпитафии — трогательные, смешные. Памятники, где вкус родных подавляет личность покойного.

Мысли о смерти, о бренности жизни необходимы человеку. Посещая мертвых, иначе видишь живых, да и самого себя.

Данте беседовал с душами усопших. Наши усопшие молчали. Но безмолвие их рассказывало о многом.

Воинские кладбища — особые. Шеренга за шеренгой тянутся кресты. Они выстроились как на параде. Только без командиров впереди. Командиры тут же, ■ общих рядах. Эти кладбища стройные, однообразные. Они впечатляют своей единостью, словно отряд за отрядом чеканным строем сходили в небытие.

Когда посещаешь их подряд, кажется, что Европа усеяна кладбищами. В сущности это почти единственные следы войны, которые сохранились. К моему удивлению, следы не только Второй мировой войны, но и Первой. Европа бережно сохраняет воинские захоронения Первой мировой войны.

У нас ■ России, по-моему, не осталось ни одного воинского кладбища Первой мировой войны, или, как ее называли, «империалистической». Хотя русских солдат погибло на ней два миллиона. А ■ Германии я был на кладбище русских воинов, погибших ■ Первую мировую войну. Оно содержится в том же идеальном порядке, как и все военные кладбища: трава подстрижена, надгробия вычищены, так что все имена прочитываются, дорожки посыпаны песком, ограды в порядке.

Раньше на крестах и могильных плитах указывали воинское звание. Теперь нет. Только имя, фамилия, год рождения и смерти. Перед лицом смерти все равны, и офицеры, и рядовые. У всех одинаковый крест, как одинакова была пуля. Кладбища американских солдат побогаче — кресты белого мрамора, кругом цветники. Мы проходим через часовню — мемориал. Стоянка для автомашин, туалеты, только что нет ресторана. Это кладбище содержат США, так же как Англия содержит кладбища своих солдат во Франции. Большое английское кладбище среди полей и пашен благодатной земли. Огромный тяжеловесный мемориал, темно-серый мрачный камень, тысячи и тысячи высеченных на стенах фамилий.

Французское кладбище Нотр-Дам де Лоретте, где 30 тысяч могил. Солдаты, солдаты первой войны, второй. Сюда же подзахоронены погибшие в Алжире, Индонезии. Большая пышная капелла. Играет музыка, дежурят капралы в традиционной французской форме. Театрально, торжественно и без чувства. Это все во славу героев. На Британском кладбище

возле Арраса надпись: «Эти имена живут для вечности». На другом кладбище: «Они погибли во славу Родины».

По тому же парадному образцу строились и наши мемориалы. Богатые памятники, начиная от Сталинграда до Поклонной горы в Москве. На Пискаревском (Ленинградском) кладбище тоже стоит каменная, упитанная Мать-Родина, но кладбище это отличается от прочих чувством скорби.

Для меня все явственнее обозначалась разница между кладбищами Первой и Второй войны. Кладбища Первой войны и в Германии и во Франции сооружались в память героев. Кладбища Второй мировой и у победителей, и у побежденных пронизаны памятью о жертвах. Это очень важно, что погибшие на войне и американские, и немецкие, и французские войны ныне становятся не героями, а жертвами.

В Голландии мы посетили немецкое воинское кладбище в Иссельштейне. Кладбище огромное. Во все стороны света тянутся отряды, нет, не отряды — целые полки крестов. Я долго бродил между ними, читая незнакомые немецкие имена, а впрочем, почему незнакомые? Это были солдаты, с которыми я воевал, в которых стрелял, которые убивали меня, но не успели. Мои враги, мои бывшие враги. Бродил по кладбищу советских воинов в Гамбурге. Серые плиты надгробий заменяли кресты, надгробия были в полном порядке. Ни одно не поросло мхом. Я читал имена, надеясь найти своих однополчан.

Я бы тоже мог лежать здесь, под одним из этих камней, я попадал в окружение. Наш полк попал в окружение, лагеря военнопленных. Они все здесь были из лагерей и госпиталей. Но странное дело, к концу путешествия на этом немецком кладбище в Голландии все эти Отто, Гансы, Фрицы предстали предо мною 20-летними, такими же молодыми солдатиками, как и наши. Они все лежали здесь под датами 1943, 1944, 1945 годов. На фронте они вызывали ненависть. Ныне я стоял перед их могилами с тоской и печалью.

В Голландии земли не хватает. Каждый клочок ее отвоевывается у моря, достается с трудом. Зачем сохранять это огромное кладбище? Наверное, потому, что оно впечатляет сильнее любого памятника. Смотритель этого кладбища показал нам выставку. Она расположена тут же, в доме при мемориале. На фотографиях показано, как немецкие школьники ухаживают за могилами. Они приезжают сюда каждое лето. Поначалу

голландцы встречали их неприязненно. В голландцах сохраняется тяжелая память о фашистской оккупации, о гитлеровцах. Однако постепенно, год за годом к ним относились терпимее. Ныне, как сказал смотритель, их даже привечают. Дело не в том, что эти дети не имеют никакого отношения к прошлому, что это совсем не те немцы. Дело ■ другом, в том, что они, ухаживая за этими могилами, понимают ужас ■ трагедию кровавой бойни, которая называется войной. Гибель тысяч и тысяч лежащих здесь юношей предстает ныне бессмысленной. Они, школьники, видят, как нелепа война, затеянная Германией. Тысячи немецких детей уже прошли через кладбищенские работы. Заслуга Германского народного союза по уходу за воинскими захоронениями состоит не только в уходе за этими воинскими кладбищами, но и в том, что они стали средством воспитания мира. Ныне создаются международные лагеря, школьники разных стран ухаживают за воинскими захоронениями, без различия национальностей... Французские, канадские солдаты, английские, американские, немецкие, советские — для детей они все одинаковые жертвы мирового безумия 1939–1945 годов.

Интересная эта организация — Германский народный союз по уходу за воинскими захоронениями. Я был в их главном офисе, в Касселе. Кроме того, что они содержат эти кладбища, причем не только за счет государства, но и за счет пожертвований, они воспитывают уважение к памяти погибших. Воспитывают сочувствие к жертвам войны с обеих сторон, без различия национальностей. И третье. Кладбища солдат — это средство осознать ценность мира. Эта работа против войны.

Для меня несколько неожиданно было посещение Музея Первой мировой войны 1914–1918 годов в Перроне (Франция). Музей и научно-исследовательский центр. Это музей рассказывает ход Первой мировой войны, историю крупных сражений. Музей, я бы сказал, архисовременный. В каждом зале видеокамеры, где непрерывно идут фильмы времен той войны, чем-то милые, чем-то смешные. Они показывают первые военные самолеты, дирижабли, как с них стреляли, бомбили. В другом зале показывают пушки, танки той войны. Она кажется почти игрушечной. Смешные винтовки, скачут кавалеристы. Они еще с саблями. В холле музея — выставка детских рисунков о Первой мировой войне, как они ее себе

представляют, посетив музей. Дерутся солдаты в касках, окопы, стреляют пушечки. Для детей это все равно, что римские войны Цезаря. Я не сразу понял, откуда такое внимание к той, казалось бы, позабытой всеми войне. И вдруг догадался — все же это была победа для Франции. Это украшение ее военной истории. Особенно после горького поражения в войне 1870—1871 годов. Они, французы, тоже не свободны от культа победы, столь хорошо знакомого нам. Увы, та победа не сослужила им своей службы в следующей войне с Германией. Я не стал воспринимать этот музей всерьез, да он и не располагал к этому. За стеклянными стенами — парк, пруды, лебеди. Но музей — подробный, и научно-исследовательский центр при нем ведет большую работу: разыскивают безвестные захоронения на полях сражений Первой мировой войны. Находят останки солдат, идентифицируют их, устраивают захоронения, а те, чьи имена остались неизвестными, — им пишут на кресте «имя его известно Богу». Трогательная эта надпись часто встречалась мне на разных кладбищах.

90 лет прошло с окончания Первой мировой войны, а французы не успокаиваются, стараются похоронить каждого ее солдата. Вроде неблагодарная, тяжелая работа по розыску останков идет и будет идти дальше, потому что ни один солдат не должен остаться не похороненным.

Мне не хотелось сравнивать наши военные кладбища с европейскими, не хотелось вспоминать о миллионах наших солдат, чьи останки рассеяны по лесам и болотам, по дорогам наших отступлений, да и наступлений тоже. Даже те кладбища, которые мы сооружали, кое-как долбя мерзлую землю, водружая в головах латунную снарядную гильзу с выцарапанной на ней фамилией, даже они с годами куда-то исчезли.

В Германии есть закон, по которому воинские кладбища охраняются навечно. Могилы их — забота и попечение государства. В Петербурге на Марсовом поле сооружены братские могилы. Когда-то для меня «братская могила» звучала как нечто почетное. Сейчас она мне кажется понятием варварским. Почему «братская»? Почему сваливали ■ одну кучу тех, кого считали героями? На Марсовом поле похоронены жертвы Февральской, а затем и Октябрьской революций. Впрочем, на камнях надгробия высечены слова Луначарского: «Не жертвы, а герои лежат под этой могилой». Слова, которыми мы когда-

то восхищались, как странно и сомнительно они звучат сейчас. Может быть все-таки жертвы, а не герои...

ЗАПРЕТНАЯ ГЛАВА

Случилось это в 1978 году. Мы с Алексеем Адамовичем работали над второй частью «Блокадной книги». Не помню уж, через кого вышли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы записывали, передавали нас друг другу. О Б-ве мы были наслышаны от многих и давно добирались до него, однако получилось это не сразу, он жил в Москве, был человек занятой: первый зам союзного министра. Во время блокады Б-ов работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, направленного представителем Государственного комитета обороны в Ленинград. Услышать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное время как бы с иной стороны — государственных усилий по снабжению осажденного города, по эвакуации населения и ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, бытовые истории, но мы чувствовали, что читателю надо приподняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледяных норах.

Б-ов отнекивался, как мог, наконец, сдался и щедро потратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросовестностью уточнял каждую цифру, факт, а когда речь заходила о самом Косыгине, шепетильно проверял по каким-то источникам даты, маршруты поездок, названия предприятий. Чувствовались глубочайшее почтение к Косыгину и школа. Но эта же школа исключала проявление всякого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, пояснительная записка. При чем тут личные переживания? Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассуждений, впечатлений, догадок.

Добиться от Б-ва рассказа о том, как прожил в блокадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов, пожаров, трупов нам не удалось. Он выступал лишь как функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он помощник Косыгина, все они были помощниками Косыгина. Ну а сам Косыгин? Сам-то как? Волновался, боялся, страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его ленинградская, казарменная, проходила на ваших глазах.

Он смотрел на нас с недоумением. Такие вопросы в голову не приходили, да и вообще... Он был несколько смущен, не представлял себе, как такие переживания отзовутся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем председателе Совета министров страны. Да и в ту блокадную пору Косыгин был тоже заместителем председателя Совнаркома. О людях такого ранга не принято... Да и нельзя за другого. И вот тогда нас осенило: а если спросить у самого Косыгина? Взять и записать его рассказ! Точно так же, как мы записывали рассказы других блокадников. Он для нас в данном случае такой же блокадник, как и все другие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и записывать как обыкновенного блокадника, явно ошарашила Б-ва. Сперва он высмеял нас. Это было легче, чем возразить. Мы настаивали, и воистину — «толцые и отверзятся»; вскоре он призадумался, закричал и разродился туманно-осторожным: «Попробуем узнать».

По своей провинциальной простоте мы полагали, что Б-ву для этого стоит снять трубку и по ихней кремлевской вертушке позвонить своему бывшему шефу: так, мол, и так. Все же почти фронтовые кореша, да и по должности своей Б-ов тоже не жук на палочке. На это Б-ов зажмурился от невозможности слушать такую дичь.

Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах власти, неизвестно. Время от времени Б-ов сообщал нам: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «дело движется...» Потом оно перестало двигаться. А потом двинулось вспять. Почему, отчего — нам не сообщалось, фамилии Косыгина в телефонных разговорах не упоминалось. Текст применялся иносказательный. Мы решили, что вступаем в особую зону правительственных контактов, шут его знает, может у них положена такая таинственность и постоянная опаска — «это не телефонный разговор».

Уж не рады были, что втянули Б-ва в эту историю. Сказал бы: да — да, нет — нет, что там мудрить. Но, оказывается, чего-то там зацепилось, и назад ходу не было.

Однажды Б-ов позвонил мне в Ленинград и попросил завтра быть в Москве. Достать билет в тот же день было не просто, но я понимал, что с такими мелочами Б-ов считаться не может, тем более лицо, которое он представлял.

В Москву я прибыл. К вечеру Б-ов заехал за мной, и мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что согласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь.

Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все блестит, начищено. Приемная... Минута в минуту, нас уже ждали, сразу провели в кабинет.

Косыгин существовал для меня издавна. На портретах, которые мы носили во время демонстрации, на портретах, которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одинаково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница была в золотых звездочках Героев — были с одной, были с двумя. Годами десятилетиями они пребывали, не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их жен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.

...Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать. Но мне надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет, и высокие окна, и вид из них оказались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда? Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина», — подсказал мне Косыгин.

Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.

Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.

— М-м-да-а, — протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин бросил на меня взгляд, линиялые его глазки похолодели.

Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подалее от того рабочего письменного стола. Втроем. Косыгин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.

Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой. «Нельзя!» «Почему?» — я недоуменно уставился на него. «Нельзя», — повторил он именно это слово. «А от руки записывать карандашом?» «Это можно». И предупредил, что когда запись будет обработана, прежде чем включать в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все мероприятия проводились совместно с Военным советом и городскими организациями.

Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.

Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..

Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Известно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сортировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудованием, цветными металлами для военных заводов. Почему это произошло? Можно ли было отправить их до того, как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как можно было наладить эвакуацию по Дороге жизни всякого рода приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одновременно срочно вывозить голодающих детей, женщин, мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..

Б-ов сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель, что ли? Похоже, что совершалась какая-то процедура, как бы ритуал, предназначенный неизвестно для кого.

Отвечать Косыгин начал издалека. Но вскоре я понял, что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался рассказать, независимо от моих вопросов. Блокадники тоже рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им интересно.

Это меня устраивало. Тем более что это действительно было интересно. И рассказывал он хорошо — предметно, лаконично.

В конце августа в Ленинград из Москвы была направлена комиссия: Молотов В. М. (председатель), Маленков Г. М., Берия Л. П., Косыгин А. Н., Кузнецов Н. Г. (нарком военно-морских сил), Жигарев П. Ф. (командующий военнo-воздушными силами), Воронов Н. Н. (начальник артиллерии).

...Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя — шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном. Недалеко от Мги попали под бомбежку. Вышли из вагона, укрылись в кювете, впереди зарево: горят станция, склады, поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову: «Пойдем посмотрим, что делается впереди». Пошли. Кое-где ремонтники появились, еле шевелятся. Стоит какой-то состав. Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом нас шуганул. Представляете — наркома и меня, заместителя Председателя Совнаркома! — Он благодушно удивился. — Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская дивизия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ленинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами бронепоезд — два вагона плюс зенитки.

Этот рассказ я записал буквально. Картина была впечатляющая: ■ мокрой канаве, ночью, приткнулись в сущности все высшие чины правительства и армии. Воют бомбардировщики. Грохочут зенитки. Полыхают пожары. Впервые в жизни попали они в такую передрыгу. Вжались ■ землю, съежились... По себе знаю, какой это страх — первая фронтовая бомбежка. Любопытно, конечно, кто там как себя вел — всемогущий Берия, ■ Маленков, и Молотов. Как они держались, хлебнув на несколько минут хотя такой войны?

Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смольный, собрали командование. О положении на фронте докладывал Ворошилов — главком Северо-Западного направления. Наступление немецких войск удержать не удалось. Немецкие

армии двигались на город с нескольких сторон. Обстановка была запутанной, нарушалось управление фронтами. Вечером комиссия подвела итоги. Несколько военных советов — Северо-Западного направления, города, красногвардейского укрепрайона и других — создавали неразбериху. Решено было создать единый Военный совет, выделить самостоятельный Карельский фронт, передать ему такие-то части.

Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая опасности, угрожающей Ленинграду, не заботилось обеспечить эвакуацию жителей и промышленности.

Формулировки Косыгина были сдержанны. Можно было бы сказать и резче. Мы с Адамовичем столкнулись, например, с фактами агитации и настроений тех дней, когда отъезд из города считался малодушием, неверием. Поощрялась бравада: «Мы, истые ленинградцы, не покинем своего города!», и это затрудняло организованную эвакуацию.

Комиссия должна была определить, можно ли оставлять Ворошилова командующим, как наладить взаимодействие армии и Балтийского флота. А за всем этим поднимался грозный вопрос: удастся ли удержать город? Следовало предусмотреть самые тяжкие варианты. Если не удастся, — что делать тогда с флотом, с населением, с городом?.. Назавтра разбились на группы. Молотов занимался Смольным, Берия — НКВД, Косыгин — промышленностью. Вечером докладывали в Москву. Молотов сказал Косыгину: «Вы здесь задержитесь. Так сказал Сталин. Потом созвонимся». Косыгин остался организовывать эвакуацию предприятий на восток. Вместе с заводами надо было отправлять специалистов.

Вскоре Ставка отозвала Ворошилова, в Ленинград прибыл Жуков. «Провожали Ворошилова тепло, устроили ему товарищеский обед, так что все было по-человечески, — подчеркнул Косыгин, — а не так, как изображено в некоторых романах». Он старался внушить сочувствие и уважение к Ворошилову: «Одно его имя воодушевляло, а появление его на передовой поднимало войска».

Мне вспомнились августовское наше отступление и сентябрьские бои под Ленинградом, уход из Пушкина. Связи со штабами не было, снаряды не подвозили, обстановки никто не знал, офицеры командовали то так, то эдак. Легенды о Ворошилове вызывали насмешку, даже ругань: где-то, мол, он

поднял солдат и повел их в атаку. На кой нам эта атака и этот вояка!.. Два месяца боев нас многому научили, мы понимали, что если командующий фронтом ведет в атаку, то никакая это не доблесть, а отчаяние. К середине сентября фронт окончательно рухнул, мы оставили Пушкин, мы просто бежали. На нашем участке противник мог без всяких препятствий идти до самого Ленинграда. Таково было наше солдатское понимание, вытекающее из того, что видели мы на своем отрезке от Шущар до Пулково.

Я мог бы кое-что еще выложить Косыгину про командование Ворошилова, до чего оно довело, и как переменялось на фронте, когда появился Жуков, даже до наших окопов дошло... Но я не стал прерывать, понял, что Косыгин не знает военного дела и не знает про Ленинградский фронт. Зато про блокаду он знал то, чего не знал никто.

...Постепенно он увлекся, видно ему самому интересно было показать, какие масштабы приняла помощь окруженному Ленинграду (это уже в январе 1942 года), как ему удалось мобилизовать обкомы партии разных областей на сбор продовольствия, как наладили в областях прием эвакуированных. Память у него сохраняла фамилии, количества продуктов, машин, названия предприятий. Поразительная была память. Думаю, что рассказывал он про это впервые. Так свежо было удовольствие, которое он испытывал, вспоминая. Бесстрастный голос его смягчался, его уносило в какие-то отступления, которые вроде и не относились напрямую к нашей теме. Но они были интересны ему самому. Одно из них касалось октябрьских дней 1941 года в Москве, самых критических дней войны. Москва поспешно эвакуировалась, в Куйбышев отбыл дипломатический корпус, отправили артистов, Академию наук, наркомов... Из руководителей остались Сталин, Маленков, Берия и он, Косыгин. Между прочим, организуя отправку, Косыгин назначил Николая Алексеевича Вознесенского главным в правительственном поезде. Вознесенского такое поручение рассердило, характер у него был крутой, его побаивались, тем более что он пребывал в любимцах у Сталина. Сталин его каждый вечер принимал. Вознесенский пригрозил Косыгину, что пожалуется на это дурацкое назначение. Следует заметить, что Вознесенский был уже кандидатом в Политбюро, а это много значило.

— Я не отступил, и Вознесенский вскоре сдался: черт с тобой, буду старшим. А я не боялся, мы с ним друзья с ленинградских времен...

Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая себя.

Мало уже кто слышал про Вознесенского. Сделали все, чтобы имя это прочно забыли. Как и «ленинградское дело». Не было такого, и следов нет. Тем более что делу этому не предшествовала борьба мнений, оппозиция, никого не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не было публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех заклеямили, проклинали, но толком никто не понимал, за что, почему.

Значит, они были друзья... Вознесенский Николай Алексеевич, один из самых образованный и талантливых в том составе Политбюро. «Один из» — это я по привычке. Просто самый образованный, талантливый, знающий экономист. Заодно уничтожили и брата его, министра просвещения РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университета, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленинграда, всю их замечательную семью. Все подверстали к ленинградским руководителям — П. Попкову, Я. Капустину, А. Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происходило это спустя четыре года после войны, в 1949–1950 годах. Те, кто вернулся оттуда в шестидесятые годы, случайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова, и других. Добивались от них, чтобы признали заговор, будто собирались создать российское ЦК, сделать Ленинград столицей России, противопоставить, расколоть партию... Словом, даже для того времени — бредовина, состряпанная кое-как. Преподносил ее и Ленинграде на активе Маленков, не заботясь о правдоподобии: наплевать, сожрут.

Кто там с кем боролся за власть — Маленков с Берией, оба ли они против Вознесенского, — не разбери-пойми. Убрать Вознесенского устраивало и остальных, поскольку Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была отработана.

Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных репрессий, что опустошили Ленинград, перекинулись и на Москву и на другие города. Брали бывших ленинградцев, и не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 1949–1950 годов за ним могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оставался

на вершине власти, его чтили, боялись, сам же он жил день и ночь в непрестанном ожидании ареста. Смерть предстояла совсем иная, чем наша, фронтовая, солдатская, с пулевым при-свистом или снарядным грохотом, отчаянная или нечаянная, и другая, чем блокадная — обессиленно-тихая, угасание... Он-то хорошо знал, что вытворяли с его друзьями, про пыточную, издевательскую...

Понимал ли он гнусность происходившего? Или все простил за то, что его минуло? Нет, вроде не простил... Но оправдывал ли Сталина? Чем он мог его оправдать? Позволял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозволенные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда же они деваются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мысли, во что превращаются старые страхи?

Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно прибранном лице.

— За что же его так, — начал я про Вознесенского, — если Сталин его привечал, то почему же?..

Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавливающий жест и продолжал свой рассказ. Позже я понял значение этого предупреждающего жеста.

Одну за другой выкладывал он интереснейшие подробности о том, как шестнадцатого октября здание Совнаркома опустело — двери кабинетов настежь распахнуты, валяются бумаги, шуршат под ногами и повсюду звонят телефоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку, алёкал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: проверяют, есть ли кто в Кремле. Поэтому и носился от телефона к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают...

Тут я вставил про нашего лейтенанта, который прикрывая отход, бегал от пулемета к пулемету, стрелял очередями, как будто мы еще сидим в окопах.

Один из звонивших назвал себя. Это был известный человек. Деловито справился: «Ну как, Москву сдавать будем?» Косыгин всадил ему: «А вы что готовы?» И выругался. Никогда не ругался, а тут выругался.

В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Решилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел

П. Попков, в то время председатель Ленгорисполкома. Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они дружили — земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то работал в Ленинграде на той же должности. За разговором припозднились, и Косыгин предложил поужинать вместе. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: «Где будешь Новый год встречать?» — «Не знаю». — «Давай у меня дома». — «Хорошо, но я с Попковым приду». — «Годится». Договорились, поехали к Вознесенскому, поужинали у него, хозяин предложил посмотреть какую-нибудь комедию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал на Гнезниковский переулок. Сидят, смотрят, смеются, вдруг появляется дежурный — Косыгина к телефону. «Вас товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его разыскал, спрашивает, что он, Косыгин, делает? Кино смотрит? С кем смотрит? Выслушал, помолчал, потом спрашивает, — каким образом вы вместе собрались? Косыгин подробно объяснил, как происходило дело. Сталин говорит: «Оставь их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Было часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков, Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в канаве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ленинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуацию».

— Так состоялось мое назначение.

— Ну и ну, — сказал я. — Хорош Сталин, что ж это он на каждом шагу подозревал своих верных соратников?

У меня это вырвалось непроизвольно, я был полон искреннего сочувствия к Косыгину.

Он помрачнел и вдруг с маху ударил ладонью по столу плашмя, так что телефон подпрыгнул.

— Довольно! Что вы понимаете!

Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор никак не вязался с такой оплеухой.

Меня в жар бросило. И его бескровно-серое лицо пошло багровыми пятнами. Б-ов опустил голову. Молчание зашипело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропади он пропадом, этот визит, и эта запись, и эти сведения. Обойдемся. Ни от кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.

Но тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся, этого не было, но изменил лицо. Качнул головой, как бы признавая, что сорвался и сказал примиренно:

— О Сталине лучше не будем. Это другая тема.

И сразу, без перехода, стал рассказывать о том, как готовился уехать в блокадный Ленинград в январе 1942 года, как собирал автоколонны для Дороги жизни, обеспечивал их водителями, ремонтниками, добывал автобусы, нельзя же в стужу везти по озеру детей и женщин и открытых грузовиках.

Записывал я машинально, все еще не мог прийти в себя. На кой он выдал мне эту историю про Сталина, мог же понять, что любой слушатель на это отозвался бы так же. Если у тебя болит, так какого черта ковыряешь? Сталинист он или кто? В самом деле, почему он ничего не изменил в этом кабинете, все оставил, как было? Почитаает? Боится?

Исподлобья, по-новому я озираю громоздкую мебель кабинета, угрюмо-добротную, лишенную украшений и примет, торжество канцелярского стиля... Массивная дверь в глубине, позади письменного стола, откуда, бесшумно ступая и мягких сапожках, появлялся вождь народов.

Спустя четверть века дух его благополучно сохранился и мог привольно чувствовать себя среди привычной обстановки. Есть ли они, духи прошлого, обитают ли они в местах своего жития? Не знаю, какая-то чертовщина все же действует, для меня ведь что-то витало, для нынешнего хозяина тем более многое должно было оставаться. Он-то наглядно представлял, как решались здесь судьбы того же Вознесенского, и Попкова, и Кузнецова, и всех остальных уничтоженных по «ленинградскому делу», как обговаривали здесь выселение калмыков, чеченцев, балкар с родных мест, проведение разных кампаний то по борьбе с преклонением, то с космополитизмом, то со всякими шостаковичами, зоценками, ахматовыми.

Господи, какие молитвы и какие проклятия неслись к стенам этого респектабельного кабинета из всех тюрем, лагерей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуждали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться? Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали министры, замы, референты, секретари приноровисто двигались сквозь бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как радиация.

Сталинист, не сталинист — такое упрощение определенно не годилось. Он вспылал необязательно из-за Сталина, тут ведь тоже вникнуть надо: вам излагают факты, преподносят случай разительный, вот и толкуйте его, как хотите. Но не вслух! И не требуйте выводов! Факты святы, толкование свободно... Это не то чтоб осторожность, это условие выживания. Не трактуйте, и не трактован будешь. Усвоено, стало привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения и правоте вождя опасны. Чем выше поднимаешься, тем осмотрительней надо держаться, тем продуманней вести себя. Взвешивая каждый жест, взгляд. Оплотка приводила к падению, а то и к гибели. Недаром большая часть членов Политбюро погибла.

Выучка обходилась дорого. Личность по мере подъема состругивалась, исчезала. Когда-то Федор Раскольников довольно точно описал, как Сталин растаптывал души своих приближенных, как заставлял своих соратников с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

Страх хватало. На всех. Ни с того ни с сего высывались чудовищные морды подозрений: а не агент ли ты чей-нибудь?.. Страх сковывал самых честных, порядочных.

«Вот и вся хитрость — запугивали. Все боялись», — подхватывают молодые, и в голосе их звучит пренебрежение.

Попробуй объяснить, что кроме страха была вера, были обожествление, надежда, радость свершений — сколько всякого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не разобраться, следующие и вовсе не собираются вникать. «Уважать? — спрашивают молодые. — За что? Предъявите!» Упрощают самонадеянно, обидно, несправедливо, но, наверное, так всегда обходятся с прошлым. Оно или славное, или негодное.

Прибыв в Ленинград, он все усилия сосредоточил на Дороге жизни — единственной жилке, по которой еле пульсировала кровь, питая умирающий город. Изю дня и день налаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспорядок на обоих берегах Ладоги. Пришлось устранять излишество приказов, пустословия, улаживать столкновения гражданских властей и военных, моряков и пехотинцев, больных и здоровых. Надо было превратить эти водовороты в напористый гладкий поток, чтобы пропустить вдвое, впятеро, и пятнадцать раз больше: из города — людей, а и город — муки, консервов, куры, мяса...

Проложили через озеро трубопровод, чтобы снабжать город и фронт горючим. Наладили доставку угля электростанциям города. Мобилизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, чтобы навести порядок на складах, потому что с хранением продуктов творилось черт знает что. Он переплавлялся по этой дороге туда — назад. Когда лед сошел, ходил на катере. Однажды угодил под прицельный огонь вражеского берега так, что еле выбрался. По катеру сажали из крупнокалиберных пулеметов... Он рассказывал об этом не без фронтовой небрежности. Хлопотная была работа, на ногах, без кабинетов, бумаг. Боевая и с точным результатом: каждый день столько тысяч спасенных людей — и тех, кого вывозили на Большую землю, и тех, кому доставляли хлеб. Звездные месяцы его жизни располагались среди штабелей легких, иссушенных голодом трупов, аккуратно, по расписанию наступающих бомбежек, воя сирен, артиллерийских обстрелов, сна в душном, затхлом бомбоубежище Смольного. Странная вещь: для большинства блокандиков, которых я наслушался, трагическая эта, наиболее ужасающая пора ■ то же время озарена счастливым состоянием духа. Никогда они не дышали такой вольностью, была подлинность отношений, люди кругом открылись. Это, казалось бы, невозможное сочетание горя и счастья подметили и Ольга Бергтгольц в своих блокадных стихах, и Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих записках: «Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование».

В Ленинграде Косыгин был сам себе хозяин, был избавлен от каждодневного гнета, хоть отчасти, но свободен. Поэтому ему вспомнилось иначе, с признательностью. Мотался по заводам, отбирал станки, прессы, приборы, специалистов — для вывоза. Скорей, скорей готовить в районах детей, родителей, кто еще мог передвигаться для отправки их. Поездами — с Финляндского вокзала, а дальше пересадить на автобусы и туда, на тот берег, а там тоже наладить прием, кормление, медицинскую помощь и отправку этих сотен тысяч дистрофиков, доходяг, обессиленных, беспомощных людей с их малым скарбом, одеждой, фотографиями, остатками прежней жизни в глубь страны. Отладить систему взаимодействия военных с милицией, с медиками, с железнодорожниками...

Вдруг он спохватился, прервал рассказ: нет, нет, все делалось совместно, разумеется, совместно с Военным советом или же с горкомом партии. Произносил отчетливо, словно бы не только для меня.

...Тем более совместно, что кругом были друзья-товарищи: и А. А. Кузнецов (с ним в некотором роде родственники), и Я. Капустин, и В. С. Соловьев, и В. С. Ефремов, и Б. С. Страупе... Полузабытые фамилии из той питерской гвардии, которую я еще застал, вернувшись с войны. Слой, что отстоялся после Кировского дела. Когда убили Кирова, тоже произошли массовые репрессии в Ленинграде, почти все они погибли, ленинградские руководители, специалисты, хозяйственники тех лет.

Во времена Ленинградского дела опять стали косить подчистую. Не унять было. Заметное, яркое, тех, кто с честью прошел военное лихолетье, выдвинулся, — всех под корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. Приедешь в управление — того нет, этого. Где? Молчат. Исчезли директора электростанций, главные инженеры. Рядом, в Смольнинском райисполкоме, творилось то же самое. Город затих. Снова — в который раз — навалилась беда: одна не угасла, другая разгорелась. Чего только ни натерпелся этот великий город и до войны, и в войну, и после; кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер обрядить.

Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по какому поводу, а может, и без повода, он рассказал, что учился в Петровском реальном училище, там, где теперь Нахимовское училище, там, где высоко, в нише здания стоит черный бюст Петра Великого. В прошлом году, будучи в Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть на классы своего детства.

— ...Представляете, в спальне двухэтажные кровати стоят! — сердито недоумевал он. — Будто места мало. В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы, не можем будущих офицеров обеспечить?..

Главная досада была на то, что неприглядней стало, чем в его школьные годы.

Опасно возвращаться в места своего детства: большей частью там поселяются разочарования. И все же детство надо иногда навещать, нельзя чтобы оно зарастало, заглохло. Мне

нравилось, что он любил свое детство и бывал там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей и попросил провести его по старой экспозиции, по тем залам, по которым водили до революции. Разыскиали сотрудника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин признался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то показывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останавливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За время своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы кто-то из высшего начальства сам по себе, без делегации посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокровищами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленинградского обкома и тот за все годы не нашел времени походить по Эрмитажу.

В чем состояла сложность работы в блокадном городе? Вот что мне захотелось узнать. Всегда ищешь конфликты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые проблемы. Дружбя дружьями, но ведь приходилось добиваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А. А. Ждановым было непросто. Тем более что ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал плохо. На это жаловались многие блокадники. К чему же сводились разногласия? То, что они были, — известно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не помянул Жданова, ни по какому поводу.

— Разногласия? — Косыгин посмотрел поверх меня вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улыбочку. — Никаких разногласий быть не могло... Не могло, — повторил он, настаивая. — Вот Хрулев, генерал армии, тот помогал всячески.

Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских милиционеров, которые, помирая с голоду, продолжали нести службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с Большой земли свежие милицейские подразделения. Они крепко помогли тогда.

— Берия не хотел... Отношения Сталина и Жданова к тому времени стали неважными, — как бы невзначай бросил он. — Это Берия постарался...

Разговор коснулся продовольственных поставок, что шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жданов жало-

вался Сталину на Микояна. От всего это возникали дополнительные трудности в снабжении города, Косыгину приходилось маневрировать, учитывать сложные взаимоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо просматривались коридоры власти. Скупые его замечания высвечивали малый промежуток — лишь на шаг, чтоб не запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне было трудно, у меня появлялась другая картина, привычная мне: подстанция, распреустройства высокого напряжения, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины. Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает, гудит...

Как-то пришлось работать под напряжением у самых шин вопреки всем правилам безопасности. Поднимаешь руку медленно, глаз не спуская с басовито жужжащей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизмеряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое поле, готовое вот-вот пробить тебя насквозь смертельным ударом. Примерно с тем же замедленным, бесконечно растянутым страхом ползли мы однажды через минное поле.

Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочувствовать, спросить... По обеим сторонам тянулись запертые, опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда еще придется повторить эту дорогу! Времени впереди немного. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда ничего нельзя откладывать. Голова его хранила огромные материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Расскажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ доверил тебе в решающие годы руководить промышленностью, правительством, ключевыми событиями, и будь добр, отчитайся. Напиши или расскажи. Тем более что творили вы эту нашу историю, судьбу нашу — безгласно, решали при закрытых дверях, никому не открывались ■ сомнениях или ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое сознание. И большие, и малые деятели понимали свою ответственность перед детьми, внуками, свою включенность ■ историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так немо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь сделано много хорошего. Если что не так, то тем

более надо поделиться... Ты же остался последний из всех твоих друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного совета тоже нет ■ живых...

Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши сошлись.

— Нельзя того, нельзя этого, а что можно? — вырвалось у меня.

Он понял, о чем я, и понял, что я понял, что перешло из глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей бестолковостью, то ли над тем, что я не в состоянии был увидеть.

Молчаливый телефон стоял между нами на пустом столе. Присутствие его мешало. Он стоял, как соглядатай, слухач.

Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете! Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат.

...Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, бараками, машинами, но транспорта было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что вывозить раньше, — людей или металл, кого спасать, кому помогать: фронтовикам — танками, самолетами или же ленинградцам... Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность?

— И людей вывозили, и оборудование. Одновременно, — ответил Косыгин.

— Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.

— Так и решали, и то, и другое, — сердито настаивал Косыгин. — А как тут еще можно выбирать?

— Но приходилось выбирать!..

Я упорствовал и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безвыходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания я добивался — о мучитель-

ности положения, о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время надо было вывозить горожан, каждый день умирали тысячи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли дождаться наших истребителей. Такая вот сшибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло, — было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил. Или наоборот, не помог, упустил...

Но нет, ничего не мог добиться.

Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою кирзу. Подшили свежие подворотнички. Штаб помещался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запацкаться, в Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас — человек шестьдесят. Я мало что видел, и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнились его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он поднимал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.

Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать дадут, — это мы знали, это полагалось. Но обед был на скатерти,

на фарфоровых тарелках, с казенными ложками. Дали суп гороховый — с кусочком сала, на второе — перловую кашу и котлетку, на третье — розовый кисель. Порции крохотные, не обед, а воспоминание. Зато лежали вилка, чайная ложка. Самое трогательное — на блюдечке три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали в карманы, в планшетки, на память, друзей угостить. Из всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт московских артистов. Пела певица, крупная женщина в длинном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, запомнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели, похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы, — говорит, — летели из Москвы, чтобы порадовать своим искусством, а тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли, артисты жизнью рисковали и надежде... Концерт этот дорогого стоит...» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тогда Витя Левашов, комвзвода артразведки, сунул руки за ремень, голову набок и спрашивает: «А сколько вы, дорогой товарищ, весите?» Тот оторопел. Левашов оглядел его: «Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с остальными артистами, да еще баян прибавить, составит шестьсот кило, не меньше. Вопрос к вам такой: если эти шестьсот кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили: что касается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы. Артисты, конечно, тут ни при чем им спасибо, но концерт, точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия проспать, за это наказывать надо!» Все посмеивались, даже концертный начальник заулыбался, один только помощник помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его потом долго драили. Шутка шуткой, однако прошла по армии, занозистой оказалась. После нее мы стали кое-что как бы на вес прикидывать.

...Мне было известно про Косыгина несколько историй сердечных, добрых. Одну из них я слышал от Михаила Михайловича Ковальчука, врача на Ладогe. Я попробовал напомнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похоже, что забыл.

И про мальчика, умиравшего на проходной Кировского завода, забыл, как нестоящее, как слабость души. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело отношения к делу, память его не удерживала, отбрасывала.

Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в одном из писем отец попросил провести их ленинградскую квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пустая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно, повыбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном всех угощал.

Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредоточены были на Деле. Насчет Дела он мог рассказывать сколько угодно.

Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливости. Меня сморил напруг этого кабинета, вымотали сложные извороты нашего разговора. Пора было подниматься и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да еще после рабочего дня, и всякое такое. Косыгин встал, пожелал успеха в издании книги. На это я сказал, что со второй частью у нас будут трудности. По поводу первой части наш ленинградский партийный руководитель заявил, что никому такая книга не нужна, что ленинградская блокада — это прежде всего подвиг и героизм, а мы зачем-то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие примеры ничему не учат. Его слова, конечно, поспешили передать нашему московскому издателю, и тот, человек чуткий к начальственному мнению, попятился.

— Только героизм признает, — сказал Косыгин. — Знает, — и он вложил в это слово ту иронию, с какой мы, фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.

— И никто не вступится, — обрадовано сказал я, помогая, подталкивая его, Косыгина. «Ну это мы вам пособим, поможем», — должен был ответить он. Первую часть он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Следовательно, возражений не имел. Разве он не мог дать отповедь и нашему начальству, и кому угодно! Пристыдить, подтвердить. Достаточно

было поручить своему помощнику позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен...

Но на его узловатом лице не появилось никакого сочувствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, осталось каменное равнодушие, как будто не было ни этой встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он отвергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Издательства не по его части. И все. Рука его была теплой, бескостно-мягкой.

Молча мы с Б-вым миновали застеленные дорожками коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площади горели прожектора. По мощеной брусчатке растекалось вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно, свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный, бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал лицом, почувствовал, как внутри расслабляются, отходят натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.

Б-ов тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею, затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои гримасы.

— Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы...

— Что я?

— Подвели. Вопросыки ваши! Что ни вопрос — как в лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неужели не чувствовали? А меня от стыда потом прошибало.

— За вопросы? Да? А за ответы?

— Разве тактично спрашивать о разногласиях с Ждановым? Вы должны понимать: Жданов в то время был членом Политбюро.

— А Косыгин?

— Не был.

— И что с того? Теперь-то он...

Б-ов рукой махнул, весь скривился от невыносимого моего невежества. Есть правила, есть субординация, существует, наконец, этикет, если угодно, церемониал. И насчет личного не принято у людей такого ранга выпрашивать. Где вы слышали, где читали, про кого, чтобы вам раскрывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не положено... Значит, есть тому основания.

О чем он? Моя беда другая — слишком стеснялся! стыда много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это вопросы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык держал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не виноват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ленинградцев погибли, и все было безупречно. Кроме фашистов никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говорили: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в цене дело, победителей не судят, виновных искать — правых потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина, а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то и дело приписывать свои заслуги Военному совету, предупреждать, чтобы не упоминалось лишнее имя. Неужели не известно, что литература имеет дело с человеком, а не с организациями! Какая тут к черту скромность, все кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай бог, не вспугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую навоображали себе...

Тут Б-ов не вытерпел, вскинулся. Будь я в его министерском кабинете, он бы грохнул по столу: «Молчать!» Выставил бы меня. Но тут, на площади, стола нет, чтобы грохнуть, и выставить некуда. Заругался — писатель, называется, насочиняют с три короба, а разобраться в живой душе — кишка тонка.

Чего разбираться, когда и так ясно: не посмел вступить за нашу книгу! Да какая она наша, она голоса погибших, память всех блокадников, свою собственную славу предал, так чиновно оттолкнул — не по моей части! Трепетный порядок зато соблюл...

— ...Речи слышать, а сердца не учуять, мыслитель, мать вашу за ногу! — прервал Б-ов и первый спохватился, что мы перешли на крик, оглянулся на окна Кремля, крепко взял меня под руку, потащил поскорее с площади. Выйдя на улицу Горького и сменив гнев на своем голосе на смиренное терпение, Б-ов осведомился: неужели я и впрямь не понял, что к чему? Допустим, пошли бы мне навстречу, похлопотали бы за нашу книгу, то есть за книгу, где будут воспоминания, которые я выслушал. Допустим. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая оборона, лишения, пример поллитрабеты, пример руководителя. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на иностранные языки переводят,

ваши писатели хвалят ее взхлеб. Она сегодня Главная книга. Вслед за ней вторая часть вышла, «Возрождение», то же самое. И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здравствуйте, пожалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да какая! И размах, и заслуга, и достоверность — сортом выше, душой краше. Это как, по-вашему, — приятно будет? Сразу же выяснят и преподнесут хлопоты за «Блокадную книгу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы опубликовать ■ пику, чтобы принизить. Конкуренция, подножка, вызов — истолкуют подлейшим образом. Найдутся охотники, лизунов полно.

— Фактически это, знаете, как выглядело? Как будто вы сталкивали, как будто вы требовали противопоставить! — с некоторым даже ужасом заключил он.

Я вдруг увидел по-новому наш разговор — глазами их обоих, физиономия у меня, надо полагать, стала озадаченная, а может, идиотская. Кто бы мог подумать, что за всем этим стояло? Вот, значит, в чем разгадка. Довольно просто и убедительно. Да, нехорошо получилось. Я смотрел вниз, на затоптанный асфальт, где дружно шагали наши ноги.

— Так что неизвестно, кто кому должен предъявлять, — сказал Б-ов, дожидая меня. Ясно ли мне теперь, что встречаться было вообще-то нехоти? Потому и тянули. И все-таки не убоились, пошли на это. Настоящая смелость ума требует. Другой оценил бы: кремень характер. И как в кремне огонь не виден, так в человеке этом — душа.

Передаю лишь общий смысл его торжествующей нотации, ибо ловкое косноязычие его, со вздохами, междометиями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Брежнева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреблял множественное число третьего лица — они.

— Ладно, не унывай, — отходчиво сказал Б-ов. — Наука будет.

— Ох, и большая у вас наука, — сказал я. — Далеко видите. Здорово они вычисляют наперед, телескопы у них, локаторы, предвидят каждый ход и что в ответ может быть, все варианты продумывают. Поднаторели. Провидцы...

Злость неудержимо подступала ко мне, потому что эти два с лишним года я жил среди отчаяния и голодухи блокадной памяти, среди рассказов, смешанных с рыданиями, там

не было места расчетам, хитри не хитри, не выкроишь себе ни лишней корочки, ни тарелки бурды. Если только не украдешь, не обездолишь кого-то. Откуда брали они мужество жить по совести?

— Знаете, чего они боялись? Расчеловечиться боялись! — сказал я. — Вы же были там, вам смерть была нипочем...

— Все относительно, — сказал Б-ов.

— Нет, не все... Если кому персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину. Он бы мог держать себя...

Б-ов остановился и так посмотрел на меня, что я заткнулся.

— Больно вы лихой... И вообще... Лучше до поры до времени помалкивать о посещении. — Взгляд его был сердечен и заботлив.

Мы помалкивали.

Но все равно главу с рассказом Косыгина в «Блокадную книгу» не пропустили. Б-ов всячески пытался нам помочь и не смог. Ничего нам толком не поясняли, никакие вычерки их не удовлетворяли, нельзя и все. Косыгин в эти месяцы болел, не мог вмешаться. Так мы с Адамовичем уверяли себя и других, ждали, тянули.

...А вскоре Косыгин умер. Главу нам пришлось переделать, прямую речь убрать, превратить рассказ в набор сведений, неизвестно от кого полученных. Из «Блокадной книги» удалили немало дорогих нам мест, кое-что удалось отстоять. Но были потери особо чувствительные, и эта глава — одна из них. Раз уж мы не могли обличить виновных, то хотелось отдать должное человеку, который в тех условиях сумел наладить эвакуацию и спасти тысячи и тысячи ленинградцев. Не позволили. А может, и хорошо, что Косыгин не увидел свой рассказ в таком изуродованном, безликом виде.

Прошли годы. Изъятую, запретную главу, за которую мы столько боролись, можно было восстановить. Но что-то с ней произошло. В ней явственно проступили пятна, подчистки, то есть умолчания, невнятная скороговорка, все то, что я пытался обойти, то, что творилось во время разговора. Фальшивая интонация временами непереносимо резала слух, тем более рядом с безыскусными рассказами блокадников. Дело было не только ■ Косыгине: написанное мною, автором, зачерст-

вело, обнаружилось, что я сам не добиваюсь ясных ответов, веду себя скованно, не смею. От этого и сухость. Главное же, не понять было моего отношения к собеседнику — то осуждаю его, то чту.

Глава, которая казалась нам такой доблестной, честной, ныне обличала нас. И меня, и моего собеседника. Я видел перед собой его сцепленные пальцы, пасмурное наше прощание, как он стоял, опустив руки, сжатый, точно связанный. Что-то сместилось в моем восприятии, как бывает с лучом света, он ломается, переходя в другую среду. Может, все дело было в том, что мы перешли в другое время. Вдруг, почти физически, я ощутил в себе этот перелом-переход, и счастливый, и болезненный...

Порой мне кажется, что, если бы Косыгин знал в тот вечер, как скоро он умрет, или знал бы, как скоро кончится то время, он чувствовал бы себя свободнее, говорил бы не так, не было бы этой оглядки. Грустно, конечно, если только такое знание может освободить нас.

ИТАЛИЯ

«Ленинградское дело» резко изменило обстановку в Ленинграде. Город-герой съезжился, втянул голову в плечи. Аресты обескровили его. Наверное, поэтому я решил уйти из Ленэнерго, уж больно тяжелым стало общение с новыми людьми в районах.

Мое заявление ходило где-то в инстанциях, пока меня не вызвал главный инженер Ленэнерго Усов, единственный, кто остался из прежнего руководства. Я впервые удостоился визита к такому большому начальству. Красная дорожка в коридоре, множество телефонов — белых, черных.

После долгих расспросов о том, у кого кончал, кто нам читал сети, кто изоляционные материалы, и всякое другое, он неожиданно спросил не соглашусь ли я отправиться в длительную командировку в Италию, представителем Ленэнерго по закупке кабелей.

Шел 1952 год. Железный занавес не был поднят. Предложение звучало фантастически. Да еще в Италию. Все равно что в космос. Да еще длительная. Да еще с семьей, то есть с

женой и ребенком. Да еще зарплата раз в пять больше. Да еще жилье... Там нет коммунальных квартир — со смешком пояснил мне Усов. Звали его Сергей Васильевич.

Я попросил у него тайм-аут на сутки.

От Усова я пошел в Публичку к Юле, она бывала в Италии, знала итальянский.

В студенческие годы мы, политехники, ходили к филологам на танцы, Юля там блистала. Она выделялась копной огненно-рыжих волос, звенящим колокольчатым голосом и красотой. Красота была ледяная, редко кто решался подойти к этой девушке. У меня с ней что то завязалось, но появилась Римма, и отношения перешли в приятельство.

Юля признавалась мне, что мужчины не решаются подступать к ней, то ли слишком красива, то ли есть в ней какая-то холодность, которую она не может в себе перебороть, а холодность эта от ума, не может удержаться, чтобы не выставить их глупыми.

С ходу я выложил ей про командировку. Юля аж подпрыгнула от восторга, потащила в какой-то отдел, принесла альбомы с видами Неаполя, Генуи, Милана, роскошные альбомы, где небо всегда солнечно-голубое, море гладко-синее, улицы празднично чистые. Нет ничего легче, уверяла она, выучить итальянский, когда он «по делу», половина итальянского языка это жестикуляция, через нее можно понять все что угодно, итальянцы самый легкий в общении народ. Обещала снабдить меня кучей писем и друзей...

Но вдруг остановилась, вгляделась. Что-то не так, спросила она, что меня смущает? Значит, это все же торчало из меня. Я чувствовал, что погружаюсь, и думал о том, что чем дальше, тем труднее будет вылезти. Спросил Юлю про жилье, зачем спросил, не надо было спрашивать. Она рассказала, что там не бывает коммуналок, квартира там, может три комнаты, гарантировала ванну. Рассказывала о правилах советских представителей. Когда я уходил, она вдруг расплакалась. «Что ты», — спросил я. Она ничего не ответила, замахала рукой — уходи, уходи. Я шел мимо бесконечных книжных стеллажей, пахло книжной пылью, о чем-то я догадывался — тоска, зависть, воспоминания...

Римма восприняла новость куда спокойнее, чем я ожидал, как будто нечто подобное мне полагалось. Для нее главным оказалось то, что для Маринки будет детская, солнце, тепло. Лишь бы выбраться из этой сырой коммуналки, где стены цвели плесенью и мои ботинки то и дело становились зелеными. Я рассказывал ей про вид на Неаполитанский залив, пинии на бульварах, я извлекал из юлиных альбомов эту туристскую красоту. Зачем я это делал? Наверное, уговаривал сам себя. Все было за отъезд, все. Разве только одно — то, что по ночам я писал свой роман, первый роман.

Но какую это роль могло играть? В мой литературный талант Римма не верила, для нее я существовал как инженер, она сама была инженер, и я был инженер — это было понятно. Недавно я напечатал статью в журнале «Электростанции» про свои электросети, чего то я там придумал, это было настоящее дело, она понимала, по какой дороге я иду.

Италия появилась, как сказочное видение, но на той же самой дороге, это было все равно как попутка, счастливый случай, нам повезло, несбыточная жизнь вдруг приоткрылась перед нами. Римма внимательно уточняла, не доверяя ни мне, ни себе, я уверял, что ни о чем знать не знал, это как с неба свалилось — белый город на берегу моря, кажется, Усов назвал Геную. Или Ливорно? После Юлиных альбомов все запуталось: Адриатика, Венеция, Тирренское море, Флоренция. Римма повторяла за мной эти прекрасные мелодичные имена.

С работы я приходил поздно, ужинал, ложился вздремнуть и ночью, когда стихнет, садился к столу. Иногда и ночью, если случалась крупная авария, мне звонили. Телефон был накрыт одеялом, я нырял под него и тихо отвечал диспетчеру. Происходила реконструкция поврежденных в блокаду подстанций.

Между тем в романе шли свои события, герои не считались с тем, чем занимался автор, они требовали все больше внимания. Совмещать роман с моим кабельным районом у меня уже не хватало сил. Уйти с работы значило лишиться зарплаты. И что, сесть на шею Римме? А уверен ли я, что роман получится?

Вопрос этот она не задавала, она знала, что я не мог на него ответить, но когда я написал заявление, она сказала, что ладно,

как-нибудь перебьемся, хватит надрываться, или разрываться, точно уж не помню, словом, мы решились. И тут на нас обрушилась эта Италия.

Италия избавляла от всех проблем, избавляла от очередей и плесени, от возни с дровами и с печкой, она позволяла покинуть этот напуганный, пришибленный «ленинградским делом» город и уехать от арестов в неведомую новую нашу жизнь; было сладко, что мы возьмем с собой, что оставим здесь. Я-то думал о своем — я думал о рукописи, есть ли смысл везти ее с собой, что с ней там будет. Посреди ночи, уже под утро, Римма разбудила меня: «Знаешь, я передумала, — сказала она, — все таки тебе надо закончить роман».

— Что на самом деле вас держит? — спросил меня на следующий день Усов.

— Язык... Другие правила...

Сергей Васильевич махнул рукой.

— Ерунда... Освойте, деваться-то некуда.

Он подождал, нахмурился...

— Учтите, есть дисциплина, партийная и прочая. Пошлем вас в командировку, и конец вашим сомнениям.

Может быть, так и следовало со мной поступить. Сергей Васильевич присмотрелся к моей физиономии.

— А еще что?

Я неохотно признался ему про роман.

Седые брови его поднялись.

— Роман?..

Последовал проклятый вопрос насчет того, уверен ли я, что ради этой синей птицы стоит отказываться от такого предложения.

— Да, уверен.

Неуверенность еще много лет будет сопровождать каждую мою новую работу, но и ту минуту она исчезла. Я даже подумал, что все к лучшему, теперь отступать некуда, во что бы то ни стало я должен добиться своего. Что означало «своего», я не знал.

Роман «Искатели» был напечатан в журнале «Звезда» и вскоре вышел книгой. Первый экземпляр я преподнес Римме. Мы все еще жили в той старой коммуналке.

Вторую книгу я привез Сергею Васильевичу.

ПО ПОВОДУ СМЫСЛА

То, что я понял в этой жизни, восходит к таким проблемам, как смысл жизни: зачем мы живем? Чего мы хотим от жизни? Вещи коренные и, к счастью, безответные. И думая, что, к счастью, если бы был установлен раз и навсегда смысл человеческой жизни, то он мог бы стать всеобщим правилом, всеобщим законом, и жить стало бы неинтересно. А уж что касается искусства... Оно бы навсегда осталось без работы.

Но, славу Богу, смысл жизни каждый определяет сам. Кем-то он выстрадан, кем-то понят, а большей частью не понят. Потому что люди не отдают себе в этом отчета, не хотят отдавать отчета, и, может быть они в этом правы.

Что же я понял в этой жизни? Подводить итоги ужасно трудно. Потому что, хочешь — не хочешь, надо признаваться — далеко не все получилось. И то не вышло, и это.

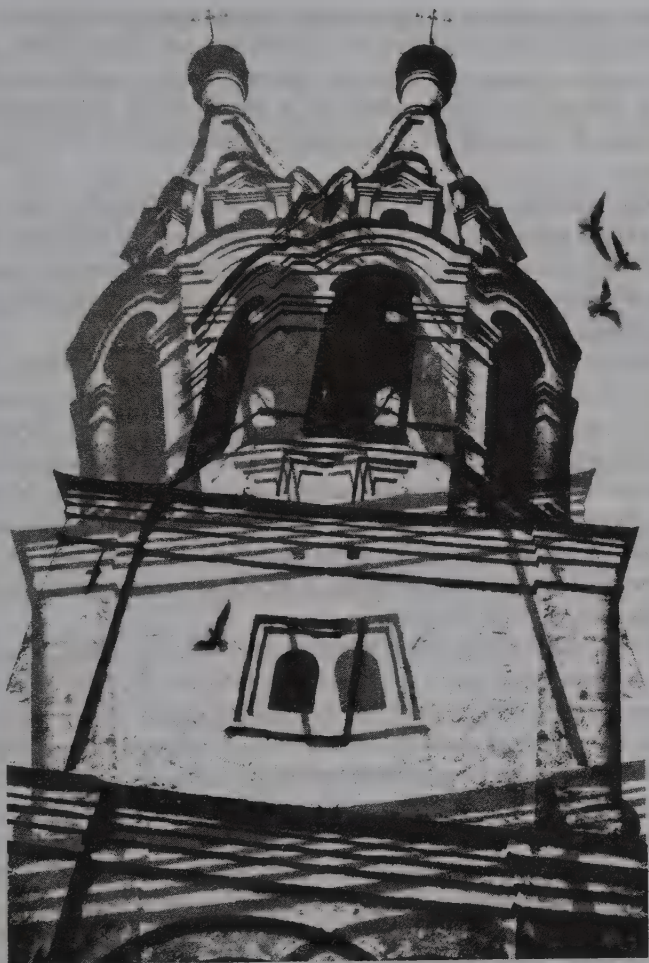
Было много вариантов жизненаполнения, которое всякий раз казалось первоочередным и самым важным. В какой-то момент я со страхом решил: надо писать, надо попробовать. Никаких гарантий нет. Кто я такой? Инженер. На это есть диплом. А на писателя ни диплома, ни справки, ничего.

Я понял когда-то, что писать надо не вообще, а надо писать о чем-то, ради чего-то. Хотелось пробудить в людях стремление к творчеству. Это делает человека более свободным. Творческий человек — это наиболее красивый человек. Человек создан для творчества. Только в творчестве он себя и реализует. Такую возвышенную цель для себя сформулировал, мне мало было просто желания писать. Обязательно надо было понять — во имя чего.

В какой-то момент, когда я был на войне, я понял, что главное — это выиграть войну, добиться победы. Чтобы страна стала свободной, чтобы не было ужаса оккупации и так далее. Перед этой задачей отступали все остальные. Но кончилась война, и жизнь опять стала требовать какого-то осмысленного продолжения.

Так что время от времени появлялись разные осмысления жизни: что в ней главное, для чего она существует?

Но вот сейчас, когда мне много лет, когда жизнь подходит к завершению, оглядываясь назад, я понял то, чего раньше не то что не понимал, но считал, что это не главное. Я понял, что



главное в жизни, в моей жизни, для меня — это любовь. Можно по-разному расширять это понятие: любовь к женщине, любовь к детям, любовь к своим друзьям.

Это не значит, что все, что я понимал раньше, было неправильным. Никогда не знаешь, когда ты был прав: когда тебе было двадцать лет, когда тебе было пятьдесят лет? У каждого возраста, наверное, своя правота и своя истина есть. Но

сейчас, когда кажется, что ты можешь оценить всю прожитую жизнь, когда кажется, что ты сейчас самый мудрый из всех тех других сущностей, которые проявлялись в твои двадцать, сорок, шестьдесят лет, сейчас-то я точно знаю, что является настоящей истиной. И я говорю: самое главное в жизни — любовь!

Как написал поэт: «И море движется любовью». Все, как мне нынче видится, все любовь, все движется любовью. Ничего более осмысленного нет. Слава, деньги, должности, написанные книги и всякие другие реализации ничего не значат по сравнению с этим.

Может быть... Может быть, любовь — это лучшее, что способен дать человек другому человеку, людям. Это гораздо больше, чем всякое другое творчество. Ну хорошо, научное творчество, искусство. Одна книга, десять, двадцать книг. Но и в искусстве самые лучшие моменты связаны с любовью. У того же Пушкина. Наиболее красиво и счастливо он раскрывался в любви. То же относится ко всем великим художникам. Я думаю, что то же самое относится к любому виду деятельности, да и вообще к любой жизни.

Когда подводишь итог, оказывается, что все, даже лучшие твои достижения, все это временно, все это уносится рекой времен, и остается только то, что ты пережил, когда ты был лучше всего, когда ты был в наибольшей степени самим собой и в ответ получал ту же наивысшую радость настоящего, подлинного.

Есть люди, которые никогда не любили по-настоящему и полноты этого чувства не знают. Это потеря. Горькая. Жизнь оказывается ущербной. Я не имею права осуждать этих людей, говорить, что это люди неполноценные. Но жаль, что они не осуществили себя, того прекрасного, что расцветает в любви. Если человек не любил, он не жил. Он работал, чего-то достигал, но в каком-то большом смысле это движение на месте и труд вхолостую.



Когда я потерял отца, я не сразу, постепенно начал понимать прелесть отцовской жизни. Он был очень добрым человеком. Я не замечал тогда, я считал, что так положено — отно-

шения отца с сыном: через доброту, через всепрощение, через заботу.

Он был выслан. Какие письма он писал! Как он скучал! Как он радовался, когда вернулся! Это был человек, полный любви.

Что он там делал? Работал в леспромхозах. Добросовестно, хорошо работал. Для меня это все не существует. Да, это существовало, как служба для других людей. Но для меня осталась его любовь. Больше от него ничего не осталось. Никто не помнит эти лесосеки, эти смолокурни, лежневые дороги, пилорамы. Никто ничего не помнит. Это смывается временем. Осталась его любовь. Люди, которые соприкасались с ним, у них, я знаю, тоже остались в памяти его доброта, его любовь. У меня она осталась полностью. Она осталась у моей сестры. Она оставалась у матери, пока она была жива. Это остается, ничто другое не остается.

То же я могу сказать и про мать, которая бесконечно любила своего сына, свою дочь и вложила всю свою жизнь в эту любовь. Неблагодарные дети. Матери уже нет. Но возвращается потом вот это чувство вины, чувство того, что не отдал, не возместил. Это и есть любовь, которая осталась.

Любовь — это то, что остается от человека. Наиболее прочно. Хотя это совершенно непрочный вроде бы материал.



А на войне любовь ничего не значит. На войне с любовью плохо дело обстоит. Ну влюбишься в какую-то женщину или просто увлечешься ею... Но это не обязательная принадлежность войны. Война слишком грязное, жестокое, бесчеловечное дело. Нельзя себе даже позволить принимать все к сердцу. Это плохо кончается. Война учит жестокости.

Вот был случай у нас. Застали спящих немцев. Четверо их было или пятеро. Они устали, легли на траве, на солнышке, развалились, уснули. А то еще выпили, наверное. И командир взвода не велел стрелять. Ушли.

Его потом судили за это. Что это такое? Увидишь немца, убей! А он не мог спящих убивать. Молодые ребята, разомлевшие, лежали сопели, храпели, спали.

Это что? Это было человеческое чувство какое-то, да? Дрогнули сердца и других его однополчан. И не застрелили их.

Я не имею права сейчас это оценивать. Судить человека можно только по тем законам, которые были в его время. А тогда мы воспринимали суд над ним, в общем, как справедливость. Как справедливое наказание. Хотя мы и сами в тот момент все размягчились. Но нельзя было этого себе позволять.

Много таких случаев было, много. Ну вот типичный случай. Влюбился офицер в женщину-врача. Дивная у них была любовь, прекрасная. Война кончается, и он прощается с ней, потому что его ждет семья: жена и двое детей. Я видел, что с ней творилось. Но я знал также, что и он иначе не мог. Любовь к детям была, жажда вернуться в семью после страшной войны — это огромное чувство. Ну что это?

Насколько я знаю, любовь эта осталась у него навсегда. Как воспоминание о том лучшем, что было на войне. Но иного решения у него не было.

Война — это масса искушений. Возможность захватить какие-то трофеи, например. Многие наши военачальники целые машины отправляли с трофеями. А потом прошло несколько лет, и каждый задумался: зачем все это было? для чего? Как итог войны это воспринималось ужасно. Но война вся — исключение.



Я и раньше читал Евангелие, недавно я его перечитал. И вдруг внезапно, неожиданно понял... А что это такое? Каждое из четырех Евангелий — это рассказ, довольно простой рассказ-биография из серии «Жизнь замечательных людей». Про трагическую жизнь одного человека.

Почему, спрашивается, этот рассказ обладает такой силой и такой художественной неповторимостью? Вот Лев Николаевич Толстой пробовал написать свое Евангелие. Не получилось у него, я читал. Сухо, нравоучительно, неинтересно по сравнению с рассказами этих плотников и рыбаков. Что это такое? В чем тайна этого сочинения?

Не знаю, наверное, есть какие-то литературоведческие подходы к этому. Я их не читал. Но удивительность этого повествования, она, конечно, меня поражает.

Почему это так действует? Почему люди читают это уже две тысячи лет почти? И по-прежнему это действует, по-прежнему каждый что-то находит для себя. В чем дело? В чем секрет этого? Если подойти к этому как к чисто литературному явлению, откидывая то, что это священная книга?

Вы скажете: нельзя это откинуть. А почему? Это текст. Это всего лишь текст. Рассказ. Биография. Вот такой человек появился на свет божий, такие у него были злоключения, такие у него были ученики, так он погиб.

Ан нет! Что-то еще сверх этого появляется. Как это? Чем это объяснить? Даже у человека, который, как я, воспитывался в атеизме, и то волей-неволей возникает какое-то странное чувство, и не понимаешь: как это достигнуто?

Говорят: сакральный смысл. Но ведь это просто расположенные в каком-то порядке слова и фразы. Почему же даже религиозный человек не может создать ничего подобного? Почему священники, блаженные, святые, написав массу текстов (блаженный Августин, Фома и так далее), не смогли поднять-ся до этих вершин? Их можно читать, иногда интересно, но это совсем не тот уровень. У меня нет объяснений. Я не знаю, есть ли они у кого-нибудь.

Да, можно заслониться словами «это Священное писание». Прибавить веру, божественное что-то. Но все это не объясняет чисто художественной силы. И не только Евангелия, но, например, поразительной «Книги Иова». Что это такое? Связано ли это как-то с чувством любви к людям или любовью к Богу, верой и подобными ощущениями?

Когда говоришь о том, что ты понял, надо помнить еще вот о чем: я понял то, что я не понял. Это важная часть.



Я встречался в жизни с несколькими людьми, которых я считаю гениальными. Что такое гений? Гений для меня — это человек, которому дано видеть окружающий мир немножко по-другому, чем видят его обычные люди. Немного. Если много, это уже сумасшедший. Эйнштейн немного увидел по-другому, Достоевский немного увидел по-другому. Какой-нибудь художник вроде Гойи или Модильяни: немного увидел по-другому. Эти продолговатые овалы и вытянутые линии. Или

Шагал. Чуть-чуть увидеть по-другому, это вот свойство гениального человека. У меня было несколько людей, которые для меня были такими гениями.

Я расскажу про одного из них. Это Тимофеев-Ресовский, герой моей повести «Зубр». Это был человек, который многое открыл в генетике, в науке о жизни. А он не только генетикой занимался, он был широким человеком и мыслителем и все видел по-иному. Очень был увлеченный, плодотворный ученый с огромными результатами. Обожал свою жену, Елену Александровну.

И вот она умирает. И жизнь для него теряет интерес. То есть он продолжает по инерции работать, у него постоянно собираются ученики, он им что-то рассказывает, отвечает на вопросы, пишет книги. Но интерес к жизни погас. Без жены он жить не мог. Вскоре он умер.

Никакая наука, никакие успехи, ни слава, которая наконец-то догнала его, не могли возместить этой потери. Я увидел, что значит в жизни великого человека любовь к женщине. Она была замечательная женщина, но она была обыкновенным человеком.

Что это означает?

Каждый встреченный человек что-то вносит в твою жизнь. Вот, например, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Тот период жизни, в котором жил Дмитрий Сергеевич (я имею в виду жизнь не только нынешнего поколения, но и предшествующего, моего и моих родителей), — это время уничтожения порядочных людей. Остаться просто честным, порядочным человеком было бесконечно трудно. В это время нельзя было не преклоняться, не предавать, не идти на компромиссы, не заискивать перед властными людьми и прочее, и прочее. Время искалеченной, погубленной нравственности. Время страхов и время искажения человека.

Дмитрий Сергеевич был просто нормальным человеком. Он не был святым, не был подвижником, не был образцом, который можно было бы предъявлять миру. Он умел в максимальной степени сохранять свое душеустройство — вот и вся его заслуга. Вы не найдете в его работах политического или научного приспособленчества. Казалось бы, у него и специальность такая была, которая позволяла уклоняться: текстология, древнерусская литература. Но и в этой науке тоже

были свои мерзости и интриги. Дмитрий Сергеевич много лет работал корректором. И все равно укрыться совсем было невозможно.

Как мы знаем, он был сослан. Однако и на опыте этой жизни, на этом материале Лихачев написал замечательную работу о воровском языке. Потому что он был ученым по всему своему складу, а не только по образованию. Такие люди, которые ■ ссылке оставались учеными, уникальны. В этом ряду можно назвать еще Флоренского, Чижевского.

Дмитрий Сергеевич счастливо уцелел. В его биографии после выхода из Соловков, которые также попали на мерзостные годы, мы не найдем того, что есть в биографиях большинства людей его профессии и его социального калибра. Он не выступал с требованием смертной казни оппозиции на митингах, которые проходили ■ академических учреждениях. В биографии Лихачева нет верноподданнических статей.

Люди моего поколения познакомились с Дмитрием Сергеевичем по-настоящему, когда он стал выступать по телевидению. Он использовал телевидение не для саморекламы и не для рекламы своих научных работ. Случалось, что и до него писатели использовали эфир. Ираклий Андроников, например. Однако в Андроникове говорила потребность не только литературоведа, но и артиста. На телевидении раскрылся его талант рассказчика.

История выхода на экраны Дмитрия Сергеевича — совсем другая. Заслуга его ■ том, что он использовал телевидение для пропаганды нравственных ценностей. Каких?

Он рассказывал о традициях своей семьи, своего детства. Оказалось вдруг, что все наше общество давно забыло, что такое русская интеллигентная семья. Какие правила были там, какие взаимоотношения со старшими? Как общались друг с другом братья? Что такое отец? Что такое мать? Что такое отношения родителей между собой? Что такое дачная жизнь? Дмитрий Сергеевич обо всем этом бесхитростно рассказывал. Перед нами вставали все прелести этой ушедшей от нас жизни в их нравственном наполнении. Никаких проповедей. Он вспоминал с восторгом (но это была не проповедь) о том, например, что нельзя было обманывать, о гостях, которыми были люди, достойные восхищения. Самые простые вещи.

В то же примерно время, что и Лихачев, появился Сахаров, отчасти Солженицын. Но имя Солженицына всегда было связано с острым политическим конфликтом, это был вызов системе. Сахаров — тоже была политизированная фигура. А Лихачев был прежде всего фигурой нравственной. Это было приемлемо, близко и понятно для большинства.

Он говорил о забытых понятиях. Что такое учтивость? Я испытал это на себе, когда заговорил о милосердии. Забытое слово, почти запретное. Сколько писем ко мне тогда пришло!

Предки. Семейная честь. В квартире Лихачева висели портреты дедушек и бабушек. Этого же нет у нас. Мы боимся своих предков. А он ими гордился.



Очень много написано, наговорено, надумано по поводу дуэли Пушкина и его смерти. Ну, дуэль как вопрос чести, и все прочее. Обязательность этой дуэли... несчастный случай... Но все же, все же он ее любил, и любил настолько, чтобы не считаться с возможностью гибели. Вот эта сторона, она как-то нами недопонята. Для него любовь была важнее, чем его творчество, его стихи и слава. Да, честь, конечно. Но была тут еще, по-моему, очень большая составляющая трагедии, это его любовь к ней. Конечно, были дуэли без любви. У Лермонтова, например. Но меня интересует вот эта сторона жизни гения: любовь, которая превышает всего. Эти примеры можно продолжить.

Надежда Яковлевна Мандельштам. До Мандельштама и даже при нем — обыкновенная женщина, казалось бы. Жена, преданная, любящая и так далее. Погибает он, и вдруг эта любовь, смешанная с ненавистью к его губителям, с желанием раскрыть, рассказать, возвышает ее, открывает талантливого писателя. Замечательные у нее воспоминания. Откуда это появилось?

В этом смысле любовь может творить удивительные вещи.



Я думаю, что я так и не понял себя. Человек — больше чем его жизнь. Иногда гораздо больше. Человек состоит из упущений, неосуществленных желаний и стремлений, возмож-

ностей. То, что осуществлено, — это жизнь. Но огромная часть человека — это неосуществленное.

Толстой когда-то говорил, что есть числитель и знаменатель у человека. Числитель — это то, чем он является на самом деле, а знаменатель — это то, что он о себе воображает. А я думаю, что да, это дробь, но в числителе то, что ему удалось осуществить, а в знаменателе то, что ему не удалось осуществить. То есть то, чем он был. В числителе то, чем он стал.

У каждого человека, вероятно, есть это соотношение, когда он сам куда больше, чем его жизнь. Поэтому сказать, понял он себя или нет, невозможно. Я не могу.

Я мог стать и тем, и другим, и третьим. Я многое потерял, не сумел, или не стал, или не захотел тогда, а потом уже не смог. То есть я состою из множества несбывшихся, неосуществленных людей. И я не знаю, какой бы из них был мне важнее, дороже, какой из них добился бы большего. Не знаю и не могу даже это представить себе.

Поэтому я не могу ответить на вопрос: понял ли я себя? Могу только сказать, что я себя во многом не понял.

Я теперь не понимаю, чего я боялся, допустим, в пятидесятые годы? Чего я боялся? Страхи у нас многое отняли. Я не понял, почему я так примитивно, и грубо, и неполно любил? Теперь только я понял, как я не понимал себя.

В итоге жизни получается всегда величина отрицательная, потому что, как я уже сказал, человек всегда больше, чем жизнь. Возможно, есть какие-то случаи более счастливых дробей.

А гении? Может быть, у них значения числителя и знаменателя максимально сближены? Трудно сказать. Обычно считается, и, наверное, не без основания, что гений успевает осуществить себя полностью. Что ему предназначено, то он и успевает сделать. Возможно, это и так. Но ведь есть гении, которые пережили себя. Ну, допустим, Россини или Артюре Рембо. Писал, писал, перестал писать, стал купцом. Осуществил то, что у него было запрограммировано, программу свою гениальную, или гениевую, осуществил, а потом ушел и все. Есть еще, наверное, такие примеры, я сейчас просто не помню. Так что с гениями трудно.

Есть у гения пророческие черты, а есть провалы и неудачи. Никто этого не понимает. Вот Пушкин. Родился в пошлой семье. Я говорю грубо, но в принципе так. Его не понимали.

Дядя его — банальный стихотворец. Почему вдруг в этой среде появляется нечто невероятное? И исчезает, не повторяясь, навсегда. Что такое Моцарт? Тоже появилось нечто божественное и исчезло. Откуда? Почему? Что, сочетание генов? Это беспомощное объяснение.

Это очень странные вещи, но очень важные. Потому что жизнь без гениев была бы неинтересной. Гений — это не пример для жизни, ему нельзя следовать. Таланту еще как-то можно следовать. А гению...

Во-первых, нет никакого соотношения между жизнью гения и его созданиями. Это никак не соотносится. Гений может быть шалопаем, бродягой, пьяницей, распутником, хамом и так далее. А создает при этом гениальные вещи. Но гений может быть и примерным человеком, педантом. Гете, например. Тайный советник, благопристойный немецкий быт.

Я не рискну ничего определенного сказать про гения. Все, что сделал Моцарт, это так прекрасно и так велико, что бесовестно считать, что он мог бы еще многое написать. Может быть. Думается, что если бы Пушкин еще прожил, он написал бы не одну замечательную вещь. Или нет? Это вещи таинственные, которых грех касаться.

Литературно-художественное издание

Гранин Даниил Александрович

ПРИЧУДЫ МОЕЙ ПАМЯТИ

Публикуется ■ авторской редакции

Заведующая редакцией *Т.М. Минеджян*

Ответственный за выпуск *Л.И. Янцева*

Корректоры *О.Ю. Гуршева, М.В. Чебыкина*

Верстка *Е.Ю. Кузьменок*

Подписано в печать 19.10.2009.

Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная. Гарнитура «Петербург».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 22,84.

Тираж 3 000 экз. Заказ № 8376

ЗАО «Центрполиграф»

111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15

E-MAIL: CNPOL@CNPOL.RU

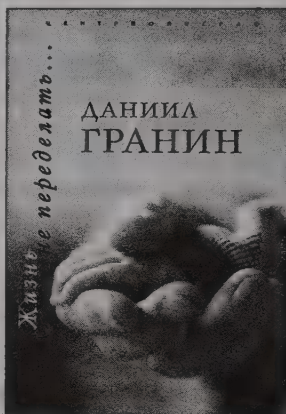
WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано с готовых файлов заказчика ■ ОАО «ИПК

«Ульяновский Дом печати». 432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Даниил Гранин

ЖИЗНЬ НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ...



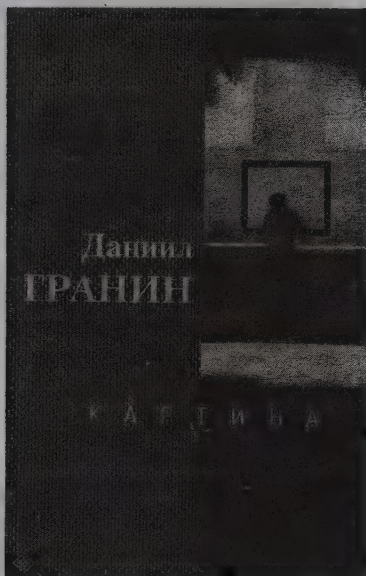
Даниил Александрович Гранин — классик отечественной литературы, лауреат Государственных премий СССР и России.

Новую книгу выдающегося писателя составили разноплановые произведения — мемуары, повести и рассказы о войне. Отмеченные пронзительной искренностью повествования, они объединены вниманием автора к душевному состоянию героев, оказавшихся в предельных по остроте жизненных обстоятельствах.

Страницы, посвященные Великой Отечественной войне, позднему ее осмыслению, удивительно злободневны в наше время непрерывной череды локальных войн и разгула терроризма. Любая война оставляет незаживающие раны в душах людей. Как участник войны, автор без назойливой дидактики рассказывает об этом.

Даниил Гранин

КАРТИНА

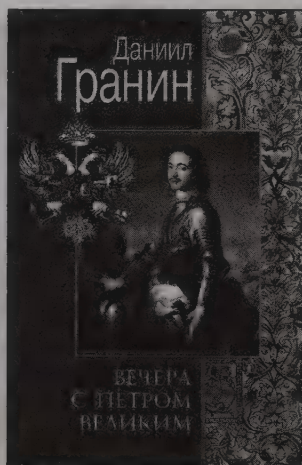


Даниил Гранин, лауреат Госпремии России и дважды лауреат Госпремии СССР, в романе «Картина» вновь обращается к проблемам большого общественного звучания.

Действие книги разворачивается в России конца XX века. Ответственность перед малой родиной, памятными с детства местами заставляет героя романа Сергея Лосева совершать неординарные поступки, идти наперекор устоявшемуся мнению большинства.

Даниил Гранин

ВЕЧЕРА С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ



Новый роман популярного прозаика позволяет заглянуть в глубь эпохи, называемой ныне Петровской, и написан на интереснейшем историческом материале, вобравшем малоизвестные широкой аудитории факты.

Устремленный к великой цели, свершающий судьбоносные для страны деяния, Петр I представлен глобальной, всеевропейского масштаба фигурой. Однако для автора важнее показать внутренний облик императора: он детально исследует душевные качества Петра I, осмысливает переломные моменты его духовной жизни, раскрывает драматические страницы личной, в том числе семейной и любовной, биографии.

Произведение Д. Гранина необычно по форме и значительно по содержанию, написано ярким, образным языком, с большим уважением к главному герою.

ЦЕНТРОЛИГРАФ

Книга-почтой

Приобретайте книги издательства «Центрполиграф»
без торговой наценки, с помощью нашей
службы «Книга-почтой»!

Книги высылаются наложенным платежом без предварительной оплаты. Заказы принимаются на отдельные издания, а также на целые серии, выпускаемые нашим издательством.

Обращаем ваше внимание, что цены указаны без учета стоимости доставки и услуг Почты РФ.

Заполните почтовую карточку по образцу четко и разборчиво и отправляйте по адресу: 111024, Москва, 1-я улица Энтузиастов, д. 15 («Центрполиграф»).

Также вы можете заказать книги через сайт издательства «Центрполиграф» www.centrpoligraf.ru.

КАРТОЧКА ПОЧТОВАЯ		
От кого	Ивановой Г.П.	
Откуда	г. Хабаровск, ул. Мира, д. 10, кв. 5	
Индекс места отправления 680011		
Кому «Центрполиграф»		
Куда г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 15		
Индекс места назначения 111024		 ПОЧТА РОССИИ
		
Поддержка государственных услуг почтовой оплатой присоединяется по заявке © Редакция «Мир»-Москва-Россия, 2003. 2 178448 1001		

На обратной стороне карточки укажите количество экземпляров книг, которые вы хотите приобрести, или серию, на которую вы хотели бы подписаться.

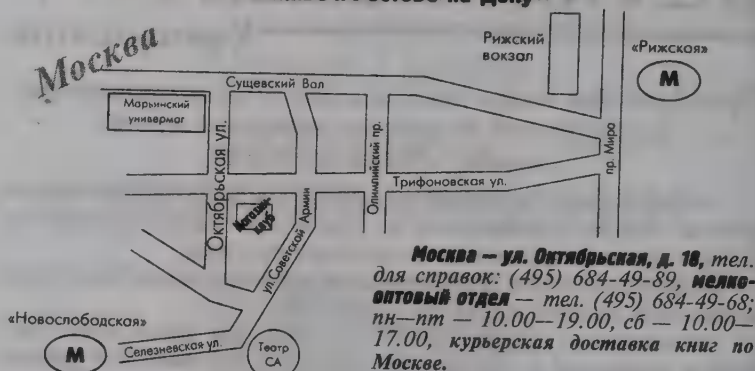
В зависимости от суммы заказа, веса посылки и удаленности места заказа общая стоимость книг может увеличиться от 20 до 70%.

Если вам необходима подробная информация, пришлите письмо с вложенным конвертом и вам отправят бесплатный и подробный прайс-лист.

Стоимость пересылки почтового перевода наложенным платежом составляет от 7% от стоимости заказа.

МЫ РАДЫ ВАШИМ ЗАКАЗАМ!

Фирменные магазины издательства «Центрполиграф» в Москве и Ростове-на-Дону

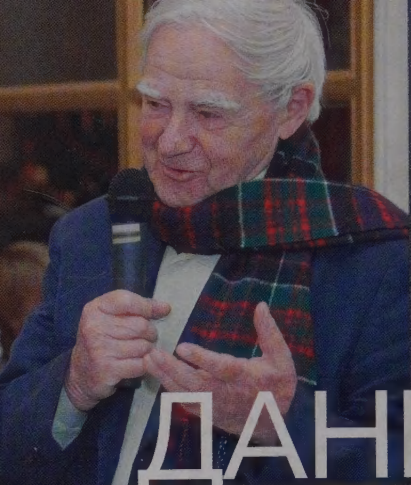


Ростов-на-Дону — Привокзальная пл., д. 1/2 (мелкооптовый отдел), тел.: (8632) 38-38-02; пн—пт — 9.00—18.00.



Официальный дистрибьютор издательства ООО «АТОН». Санкт-Петербург, набережная р. Фонтанки, д. 64, пом. 7-н, тел. для справок: (812) 575-52-80, (812) 575-52-81. Пн—пт — 9.00—18.30; сб, вскр — выходной. E-mail: aton@peterlink.ru





ДАНИИЛ ГРАНИН

Причуды моей памяти

Даниил Александрович Гранин — лауреат Государственной премии, Герой Социалистического Труда, кавалер многих орденов, бывший член Президентского совета, почетный гражданин Санкт-Петербурга, член Германской академии искусств, лауреат премии Генриха Гейне... и, несомненно, талантливый писатель.

Его новая книга — книга-размышление — написана в форме кратких заметок, собранных автором на протяжении всей жизни. В изящных новеллах Гранину удалось передать гнетущую атмосферу послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. Беспощадны его мастерские «штрихи», рисующие современную действительность. Важные серьезные вещи перемежаются заметками из записных книжек об увиденном и услышанном — нелепом, смешном, анекдотичном.

Искренне рассказывая о пережитом, автор не соблюдает формальной хронологии событий. Последовательность эпизодов подчиняется лишь причудливо всплывающим из глубинных закоулков памяти воспоминаниям и собственным ассоциациям автора...



ЦЕНТРОЛИГРАФ®